3

Галина Серебрякова

Галина Серебрякова

3

Галина Серебрякова

собрание сочинений в шести томах

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

Галина Серебрякова

собрание сочинений
том третий

ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ

РОМАН

Книга вторая

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

Р 2
С 32

Оформление художника
И. САЛЬНИКОВОЙ

С $\frac{70302-023}{028(01)-78}$ подписное

Похищение огня

роман

книга вторая

Глава первая

В ИЗГНАНИИ

Невозможно отделить Англию от ее туманов. Они то же для нее, что солнце для тропических островов, что северное сияние и долгая ночь для Заполярья. В их мутной пелене таится вдохновляющая сила. Туман — творец сказок. Без него не могло быть ирландской саги, шотландских поэм, английских легенд. Туман-кудесник по своей прихоти изменяет окружающее. Окрашенный перегаром очагов, он нередко побеждает солнце и повисает над землей непроницаемой завесой. Тогда днем темнее, чем ночью. С мигающими фонарями бродят по улицам прохожие-невидимки. Туман прополз в щели и наполнил жилище дымом, свет в окнах от этого багровый, тусклый. Заунывно гудят повсюду сигнальные гонги, непрестанно визжат звонки. Человек идет на звуки. Небо — как опрокинутая чернильница.

Наиболее обманчив желтый туман. Он зловонен, жирен, ползуч, как гной. Огни бессильны и не могут пробиться сквозь его мельчайшие ядовитые клетки. В дни желтых туманов гибнут в столкновениях корабли. Пастухи и животные, потеряв дорогу, блуждают в горах, срываются в пропасти, поезда идут под откос, люди наталкиваются друг на друга. Все тонет беззвучно и невидимо в разъедающем глаза и горло желтом киселе. Ноет тело, сердце, тупеет мозг, не получая живительного кислорода. Человек вязнет в мокрой вате, слепой и оглохший. Туман лишает его основных двух чувств, обостряя лишь осязание.

Прекрасен белый туман, иногда легкий, прозрачный, иногда густой, но светлый, как внутренние стенки раковины.

Мглистая дымка никогда не исчезает, не рассеивается над Англией. Туманы выдают секрет своеобразной английской живописи, происхождение блеклых закатов и восходов солнца на полотнах великого британского художника Тернера.

Волшебный туман создает из золушки принцессу. Грустные, бесцветные озера в туманное утро величественны и безбрежны.

Пастух со стадом на бурых пастбищах, подобно путнику в пустыне, окружен миражами. Туман превращает дальнее дерево в башню, камни — в причудливые здания. Плеск ручья, приглушенный туманом, доносится говором толпы. Так рождаются сказки, стихи, легенды.

Поразителен в сумеречный туманный день Лондон. Ограды особняков вырастают внезапно на узкой улице, как войско, обнажившее мечи, укрытое щитами. Каждая рыбная лавчонка под пологом тумана — корзина, полная только что выловленных, влажных, с матовым блеском жемчужин.

Великобритания в середине XIX века стала самой сильной колониальной и промышленной империей мира. Ничто, казалось, не угрожало ее процветанию. Фунт стерлингов был наиболее устойчивой валютой, и государственный банк Британии диктовал свои законы всем биржам. Не только британские деньги, но и печать обрела огромное могущество. Газета «Таймс» была настолько влиятельной, что к каждому ее слову прислушивались правительства Европы и Америки.

Чопорное самодовольство окутывало уверенный в себе Лондон.

В один из первых дней после переезда в Англию Маркс направился в Монтег-хаус, где в то время помещался Британский музей, затерявшийся в сложном лабиринте столичных улиц. В холодных, темных залах громоздились доставленные туда со всех концов земли трофеи Великобритании.

Карл внимательно осматривал один отдел этого святилища за другим. По особому закону вещь, попавшая сюда, никогда не может быть изъята.

Не Персия или Турция, позаимствовавшие для своих поразительных ковров цвета и краски у неба, у поэтов — сюжеты, у гаремных затворниц — их преувеличенное представление о недосягаемом для них мире, владеют совершеннейшим из ковров. Лучший ковер мира, страшный по числу затраченных на его создание часов труда, висит не в мечети на Востоке, не в прославленном дворце шахов, а в одном из неприветливых, холодных залов Британского музея. В сокровищнице Великобритании есть величайшие алмазы и кровеподобные рубины Индии, неповторимые по раскраске вазы и священные древнейшие будды Китая.

Карл, размышляя о могуществе британского колониализма, медленно шел из зала в зал, пока не оказался в огромном египетском отделе. Справочные таблички перечисляли статуи, расставленные подряд вдоль стен, словно в антикварной лавке. Собранные здесь бесчисленные реликвии древней цивилизации потрясли Маркса, но в то же время вызвали чувство досады. Напыщенные фараоны, свирепые священные быки, звероликие Изиды и Озирисы, испещренные иероглифами двери и фасады храмов, куски колонн лежали здесь, немые, неинтересные, вдали от породившей их нильской культуры, оторванные от африканской земли и солнца. Так думал Маркс, наклоняясь над десятками мумий, которым узкие комнаты Британского музея заменили темные своды пирамид.

За смелую неосуществимую мечту — обрести бессмертие — властелины Египта спустя несколько тысячелетий расплачиваются тем, что превращены в интригующие экспонаты музеев. Миллионы человеческих глаз рассматривают, изучают, как древние письмена, иссушенные, выпотрошенные оболочки некогда живых людей. Смерть лишена индивидуальности, и одинаково жалки и отталкивающе безличны трупы храбрых египетских полководцев и прославленных красотой танцовщиц храмов.

Мысли Карла были далеко, и он не сразу услышал, как толстый краснощекий старик сторож сказал ему, позевывая:

— Веселее жить среди дохлых крокодилов, чем сидеть на этом кладбище с утра до сумерек и следить, чтобы кто-нибудь не стащил эти чучела.

Маркс улыбнулся. Он всегда рад был случаю послушать человека, не лишенного чувства юмора. Сторож оказался в прошлом полисменом. Когда-то в течение многих лет этот рослый шотландец украшал своей величественной фигурой перекресток Сити. Стоило ему поднять руку, имевшую силу плотины, мгновенно задерживающую бурные потоки карет и омнибусов, как движение замирало. А теперь, в старости, он был приставлен охранять гробы египетской знати.

Расставшись с фараонами, Маркс прошел в античный отдел музея. Он показался ему не менее обширным, утомительным и скучным. Лепные украшения, амфоры, надгробия должны были воссоздать быт римских патрициев и греческих деспотов. Среди изуродованных временем грустных обломков — останков далекого прошлого — Маркс искал то, что рассказало бы о жизни миллионов рабов, ремесленников и крестьян. Это большинство человечества нередко лишено было исторического воскрешения.

Не только храмом искусства, не только неудачной иллюстрацией истории казался ему музей, но и образцовой рекламой великобританского колониализма.

Церковь и школа с малолетства приучали каждого островитянина думать о возвеличении империи королевы Виктории. Не случайно ее корону украшали и величайшая жемчужина Индии, и драгоценные камни, добытые в колониях. В Британском музее Карл видел, как ловко восхваляются благодеяния бриттов в порабощенных землях. Диким и страшным показан быт островитян Тихого и Индийского океанов до того, как там водрузили флаг Британской империи. Ничто не напоминает о зверствах завоевателей. Из-за стекол шкафов смеются и хмурятся языческие боги, восковые негритянки в уродливых белых рубахах плетут из пальмовых листьев циновки, в то время как приветливый миссионер читает им полезные наставления. На картине английского художника изображена резвящаяся в день рождения королевы Виктории чернокожая детвора.

Карл вышел покурить. Многое открыл ему великий Британский музей, подобный сказочной пещере жадных разбойников, воспетых Шехерезадой, знаменитый сообщник знатных путешественников, безжалостных солдат и решительных миссионеров в грабеже колоний.

Тут же, в здании Монтег-хауса, находилась библиотека-читальня — мрачный, длинный зал с неисчислимыми богатствами. Карл был потрясен обилием книг, перечисленных в сотнях огромных каталогов. Библиотекарь заполнил карточку Маркса на право постоянного посещения читальни, предварительно шепотом выяснив фамилию, имя, возраст.

— Ваша профессия или звание? — спросил он, не поднимая головы.

— Доктор философии,— ответил Карл.

Передавая Марксу книги, библиотекарь сказал с гордостью:

— Британский музей основан в тысяча семьсот пятьдесят третьем году и открыт для публики в тысяча семьсот пятьдесят девятом. Сейчас он не вмещает уже всего, что имеет, а новые исторические реликвии и книги непрестанно прибывают. Рад сообщить вам, что через несколько лет, я надеюсь, не только музей, но и вся библиотека, которыми так гордится Великобритания, будут находиться в великолепном помещении.

Маркс погрузился в чтение, радуясь тишине вокруг, нарушаемой только шелестом страниц.

За книжными переплетами жили мысли, фантазии, научные догадки, гениальные открытия многих столетий. Редко кто умел, подобно Карлу, чувствовать и понимать книгу. С ранних лет она была ему нужна, как хлеб, воздух, вода. Он не помнил себя без книги. Сотни книг перебывали в его руках, будоражили мысли, смягчали горести, рождали негодование или улыбку. С годами, узнавая все больше и больше, он становился требовательнее. Все труднее было найти желаемое, и тем больше радости приносили те книги, которые помогали работе.

Маркс, как верного друга, полюбил читальню Британского музея.

Хрупкие листы бумаги, буквы обладают заманчивой тайной продления человеческого бытия. Перегруженные гигантские полки, упирающиеся в потолок, напоминают грандиозный колумбарий. Но в старинных кожаных или изящных матерчатых и обычных картонных переплетах — урнах — не хлопья пепла, а перешагнувшие века полнокровные, обжигающие, бодрящие, утешающие, звонкие, унылые, родящие смех, деловые и мудрые слова.

Но, как и кладбище, книжные шкафы, наперекор былым раздорам, соединили на одном пространстве — полке — лютых врагов и разбросали верных друзей в угоду расчетливым, умело составленным каталогам.

В отделе французской революции опять встретились и поставлены рядом Дантон и Робеспьер, Марат и госпожа Ролан.

Одинок, как и в жизни, многотомный Данте.

Маркс, тщательно знакомясь с драгоценностями библиотеки, узнал, что в особом тайнике хранится до двух тысяч папирусов, извлеченных во время раскопок. Десятки ученых посвятили себя их расшифровке, проводя в читальне Британского музея большую часть жизни.

Рядом с Марксом за узеньким столиком сидел молодой астроном. Он просматривал античные небесные карты и зачитывался средневековыми многословными и неясными записями астрологов о затмении солнца и загадочных нашествиях комет. Поодаль уезжающий в Индию чиновник знакомился с разнообразными проявлениями тропической лихорадки, описаниями охоты на слонов, правовыми преимуществами англичан перед индийцами.

Французский историк приехал в Лондон, чтобы перерыть письма и счета Марата, долго жившего в Англии, а заодно перечитать любовный бред и памфлеты неугомонного политикана Мирабо. Историк жаждал оклеветать великого революционера Марата и воспеть продажного болтуна Мирабо. Не найдя достаточно материалов в Национальной библиотеке Парижа, он пересек Ла-Манш. В архивных хранилищах Британского музея много редкостных документов.

Неудачливый компилятор с важным видом выдергивал цифры из справочников, чтобы подтвердить ранее выкраденные и плохо перелицованные размышления и анализы знатоков вопроса. Весьма напыщенная дама читала исследование об особенностях фламандской школы живописи.

Иосиф Молль, соратник и друг Маркса, пал героически во время Баденского восстания в битве при Мурге. Девяностотысячное прусское войско с трудом, ценой большой крови, одержало победу над пятнадцатью тысячами солдат революционной армии. Иосиф Молль сра-

жался до последнего патрона. Его смерть была тяжелым ударом для всей партии коммунистов.

Энгельса потрясла гибель Иосифа Молля. Чуткая, сильная и вместе крайне отзывчивая душа Фридриха горевала.

«Тем жертвам баденского восстания,— писал Энгельс,— которые в той или иной мере принадлежали к образованным классам, в прессе, в демократических союзах воздаются всякого рода почести в стихах и прозе. Но никто не поминает ни словом о сотнях и тысячах рабочих, которые вынесли на себе всю тяжесть боев и пали на полях сражений, о тех, которые заживо сгнили в раштаттских казематах, или о тех, которым теперь за границей, единственным из всех эмигрантов, приходится в изгнании испить до дна горькую чашу нужды... Наши «демократы» слишком невежественны и слишком проникнуты буржуазным духом, чтобы постичь революционное положение пролетариата, постичь будущее рабочего класса. Поэтому им ненавистны также те истинно пролетарские характеры, которые слишком горды для того, чтобы льстить им, слишком проницательны... Но если так называемые демократы не заинтересованы в том, чтобы оценивать по достоинству таких рабочих, то долг партии пролетариата — воздать им по заслугам. И к лучшим из этих рабочих принадлежал *Иосиф Молль из Кёльна*...

...После февральской революции он вернулся в Германию и вскоре вместе со своим другом Шаппером принял на себя руководство Кёльнским рабочим союзом. Эмигрировав в Лондон после кёльнских сентябрьских событий 1848 г., он вскоре вернулся в Германию под чужой фамилией, вел агитационную работу в самых различных местностях и принимал на себя выполнение миссий, которые отпугивали всех других своим опасным характером. Я снова встретил его в Кайзерслаутерне. И здесь он взялся за выполнение таких поручений в Пруссии, которые подвели бы его прямо под расстрел, если бы он был узнан. Возвращаясь из своей второй поездки такого рода, он благополучно пробрался через расположение всех неприятельских армий до самого Раштатта, где немедленно вступил в наш отряд, в безансонскую рабочую роту. Спустя три дня он был убит. Я потерял в нем старого друга, а партия — одного из своих самых неутомимых, бесстрашных и надежных передовых бойцов».

Прошло немного времени со дня гибели Молля. Фридрих Энгельс жил в Швейцарии. Он изнемогал от тоски. Но вернуться в Германию означало быть немедленно арестованным и, может быть, даже казненным. Его друзья и соратники решительно требовали, чтобы он оставался за границей.

Тихо плескались в каменных берегах серо-синие чистые воды озера Леман. Было воскресенье.

Швейцарские города в воскресные дни бывали пусты, безжизненны, как будто эпидемия чумы или холеры загнала в дома все живое. Пятьдесят два дня в году Швейцария вычеркивала из календаря — этого счетчика времени, пятьдесят два интервала, пятьдесят две долгие паузы в жизни — пятьдесят два воскресенья. Молчаливые тени людей в темной одежде с молитвенниками в руках дважды в день отправлялись в храмы. Редкие полицейские дремали на пустых улицах. Кофейни, рестораны, двери и ставни жилищ были наглухо закрыты. Казалось, что по воле бессердечного Кальвина, чья религия утвердилась в Швейцарии, смерть или опустошительное бедствие нависли над страной. Верующие шли молиться, опустив головы, как беженцы или как сопровождающие похоронную колесницу.

Энгельс, отбрасывая носком узкого штиблета камешки, прогуливался по чистенькой набережной Женевы. Приближались прозрачные сумерки, ранние в этой горной стране. Жаркий день сменился прохладой. На пышных каштанах созрели плоды; иногда они с шумом падали и раскалывались на песке приозерного бульвара.

Когда Энгельс подходил к пристани, его заметил молодой человек в поношенном, но тщательно выутюженном костюме, сидевший на скамье с газетой в руках. Юноша вскочил и, жестикулируя, бросился навстречу.

— Рад видеть вас, Энгельс.

— Добрый вечер, Либкнехт.

Они пошли рядом вдоль озера. У Вильгельма Либкнехта была очень привлекательная внешность. Особенно выразительны были большой нос с горбинкой и продолговатый овал лица. Выражение глаз и манеры молодого человека отражали застенчивость, маскируемую развязностью. Он часто краснел, то размахивал руками, то пря-

тал их, вдруг замолкал в разговоре, как бы подыскивая нужные слова.

— Поймите меня правильно. Я считаю вас человеком чересчур резким, но ценю ваши знания и отвагу. Не только умом, но и талантом надо обладать, чтобы в столь молодые годы написать книгу о положении рабочего класса в Англии, быть таким колким публицистом, военным тактиком и теоретиком. Это удивительно.

— Вы говорите так высокопарно, точно готовите мне эпитафию,— попытался остановить похвалы собеседника Энгельс.

Но тот не унимался:

— Я видел немало так называемых великих мужей...

— Надеюсь, дорогой Либкнехт, вы не имеете в виду великих пигмеев, вроде Гейнцена и Струве, которых хорошо знавали,— расхохотался Энгельс. — Сравнение с ними я уж как-нибудь выдержу. Не огорчайтесь. У вас передо мной преимущество: шесть лет разницы в вашу пользу. Все приходит к тому, кто умеет ждать,— говорят французы, а я добавляю: бороться.

— Вы прозорливый человек. Я, право, хотел бы сражаться под вашим командованием.

— Не забывайте, что я всего лишь лейтенант Виллиха в пору Баденского восстания. Там сражались и вы, Вильгельм.

— Мне кажется, Фридрих, вы быстро ориентируетесь в любой сложной обстановке. Ваши статьи в «Новой Рейнской газете» о революционной войне в Венгрии всеми, кто их читал, приписывались крупнейшим военачальникам. Все, что вы в них предсказывали, сбывалось. Признайтесь, какими документами вы располагали? — допытывался Вильгельм.

Энгельс хитро прищурился. Широкие ноздри его слегка шевелились. Что-то ребяческое и задорное было в выражении энергичного лица.

— Я не имел ничего, кроме официальных сводок, печатавшихся в газетах австрийского правительства. Официозы постоянно врали, что австрийцы одерживают победы в Венгрии.

— Что ж, у вас талант ясновидца?

— Нет. Я просто брал факты, а не плутал за дымовой завесой газетных выдумок. Названия местности, расположение частей до и после боя, передвижение войск

служили мне лучшим опровержением официальной лжи и помогали делать правильные выводы. Карта военных действий опрокидывала все фальсификации, по которым получалось, что австрийцы-победители наступают назад, а венгры отходят вперед.

— Благодаря вашим статьям мы знали: несмотря на фанфары австрийцев, объявивших о разгроме венгров, они фактически стремительно бежали от войск Кошута. Для меня было счастьем познакомиться с вами во время баденских боев. Что сказать об этих днях? Хотя поход был бездарно организован и заранее обречен, мне он дороже всего в жизни. А теперь я прозябаю в этом рае дремлющего сытого буржуа.

— Не унывайте, Вильгельм. На нашей планете еще много для нас дел и свершений.

Долго прохаживались они в этот вечер по набережной Женевы.

Вскоре Энгельс отправился в Италию. Это был единственный путь, по которому он мог добраться до Лондона без риска.

Страна великих полководцев, революционеров, ученых и поэтов волновала его воображение с юности.

Братья Гракхи, Брут и Катулл были так же дороги ему, как неистовый Джордано Бруно, проницательный Галилей, мечтательный Петрарка и мудрый Данте. Давно задумывался Энгельс над историей развития и гибели разных цивилизаций. Древний Рим, Венеция и пришедшая ей на смену Генуя не раз приковывали к себе его беспокойную, пытливую мысль.

Не отрываясь от окна почтовой кареты, наслаждался Фридрих величавым зрелищем горного перевала. Вот уже отошли снежные вершины. Потеплело. Открылся вид на озеро. На веревках вялилась на солнце рыба, высыхали на ветру макароны. Была чудесная осенняя пора.

Энгельс остановился на ночлег в придорожном трактире. До полуночи любовался он итальянским небом, на котором даже тусклый Млечный Путь казался россыпью алмазов. Когда он проснулся на рассвете, до его слуха донесся сильный, нежный мужской голос, поющий волнующую арию из «Нормы».

«Здесь, очевидно, остановился какой-то прославленный тенор»,— подумал Фридрих и поспешил к окну. По улице, громко распевая, шел погонщик осла, запряжен-

ного в маленькую тележку. Обросший и загорелый, в коротких штанах и порванной, как после драки, белой рубахе, подхваченной кожаным старым поясом, он точно сошел с жанровой картины.

Ничто так не обогащает ум человека, не расширяет его горизонтов, как путешествия и знакомство с чужими странами. Энгельс жадно впитывал в себя новые впечатления. Он совершенствовал и проверял также свое знание итальянского языка.

Италия переживала тяжелые времена. После яркой, озарившей на миг страну революционной вспышки 1848 года опустилась мрачная тьма реакции. Австрия мстила за ненадолго потерянное ею господство и требовала от маленьких государств раздробленной Италии повиновения и расправы с революционерами.

Террор свирепствовал в Венецианской и Ломбардской провинциях. Только в маленьком Пьемонте в Сардинии король Виктор-Эммануил сохранил основной статут — конституцию 1848 года. Этот молодой монарх не забыл уроков минувшего года, стоившего престола его отцу, и под влиянием министров — известного писателя и художника дальновидного Адзельо и либерала Кавура — не уступал венскому двору в его требованиях отказаться от всяких национальных претензий. Понимая силу сопротивления народа наступившей реакции, он устоял против подкупа австрийцев, предлагавших значительные экономические уступки. Король Виктор-Эммануил мог проявлять твердость, так как государство его было отлично защищено с тыла непроходимыми Альпами. К тому же он заручился поддержкой Наполеона III, который искал только повода для раздоров с Австрией. В ожидании часа, когда Италия попытается объединиться и раздвинет свои границы до Адриатики и Сицилии, Пьемонт превратился в центр объединения итальянских патриотов. Энгельс с особым интересом читал издававшиеся в Турине пьемонтские газеты и отмечал, как быстро развивались там промышленность и торговля, были построены крепости, перевооружалась армия.

В октябре Фридрих приехал в Геную. Невозможно остаться равнодушным к этому бело-голубому городу — большому порту на Средиземном море. Рощи кипарисов

и тамарисков спускаются с холмов, смягчая зной улиц, где живут купцы, торгующие со всем светом. Голы и раскалены тупики и закоулки вокруг порта, где ютится генуэзская голытьба, грузчики, разносчики, рабочие и матросы. Осмотрев домик Колумба и до утомления пробродив по городу, Энгельс спустился к пристани и зашел в харчевню пообедать. Он любил, усевшись поодаль, наблюдать многоязычную портовую толпу. Но не моряки с чужеземных судов привлекли на этот раз его внимание. У ничем не покрытого стола, позабыв о тарелке с остывшими, причудливо рассыпавшимися макаронами в жирном томатном соусе, сидел смуглый итальянец с суровым лицом древнеримского гладиатора. Опустив голову, он рассматривал, прикрыв рукой, какую-то картинку.

«Ему бы плащ и широкополую шляпу — был бы типичный карбонарий, как его представляют себе слабонервные дамы»,— думал Энгельс. Он доел уже вторую порцию превосходных макарон, а рабочий все еще о чем-то размышлял, не поднимая глаз.

— Ты, верно, очень любишь свою невесту, раз позабыл об обеде,— пошутил Энгельс.

Итальянец быстро закрыл большой грубой рукой картинку и ответил резко:

— А может, я молюсь пресвятой деве!

Затем он подвинул еду и принялся с громким присвистом, сложив губы трубочкой, ловко втягивать остывшие макароны. Покончив с ними, он искоса снова поглядел на Фридриха и, облизав измазанный пунцовым соусом рот, заговорил:

— Вы, синьор, из иностранцев, а ловко говорите на нашем языке. Если бы я не прожил много лет в чужих странах, то не разобрался бы в этом. Иной калабриец, к примеру, говорит по-итальянски так, точно щелкает орехи. Его и не поймешь сразу. Самый правильный язык — генуэзский.

— Корни языка одни и те же, а произношение может несколько отличаться. Я знаю некоторые ваши наречия.

Так завязалась беседа у Энгельса с Пьетро Диверолли, который, покинув около двух лет назад Париж, возвратился в Италию. Он был свидетелем объявления Римской

республики, насладился недолгой свободой, едва не лишился жизни во время австро-итальянской войны и теперь скрывался под другим именем в родной Генуе.

Убедившись, что Энгельс заслуживает доверия, он показал ему яркий литографированный портрет, который прятал.

— Узнаешь? — спросил он, блеснув маленькими карими глазами.

Фридрих увидел грубо нарисованного высокого, узкого в талии человека с ненатурально выпяченной грудью. Светло-коричневые волосы падали по плечам, и на бронзовом загорелом лице с густыми усами и бородой резко выделялись фиолетово-синие глаза. Маленькая, расшитая золотом ермолка, лихо надетая набекрень, и полосатый жилет были необычны и переняты, очевидно, у турок.

— Да кто же не знает теперь Джузеппе Мария Гарибальди, спроси любого. Необыкновенная жизнь у этого отчаянного храбреца. Многое повидал он, плавая на бригантинах «Констанция» и «Сперанца». Родись он тремя веками раньше, был бы великим конкистадором. Смелый мореходец и воин.

Диверолли от неожиданности обронил кисет с табаком. Он был уверен, что иностранец не знал в лицо Гарибальди.

— Откуда ты все о нем знаешь?

— Ну, не все. Но слыхал кое-что. Я уверен, что его не смутит поражение и он еще появится в Италии. Апрельские дни того года, когда его легионы вступили в освобожденный Рим, повторятся.

— Я был в головном отряде,— тихо признался Диверолли. — Ты прав, немец, это не забывается и повторится. Впервые я встретился с Гарибальди в Марселе. Его партийная кличка была тогда «Борель». Я был там с Мадзини.

Пришла очередь удивиться Энгельсу:

— Значит, ты член «Молодой Италии», мадзинист?

— Да, я друг великого итальянца,— последовал ответ.

До самого отъезда из Генуи Энгельс часто встречался с Диверолли, который посвятил себя борьбе за славное будущее вольной Италии и выполнял тайные поручения Мадзини.

Искренний и честный, Пьетро Диверолли не мог жить без поклонения кому-либо. В это время он страдал оттого, что не знал, кому отдать предпочтение: Мадзини, который привлек его к революции, или Гарибальди, казавшемуся генуэзцу чуть ли не полубогом.

— К сожалению,— доверчиво сообщал он Энгельсу,— оба эти великих человека не очень дружны. Я был свидетелем их жестокой размолвки. Один учен и осторожен, проницателен, как Макиавелли, и настойчив, как Риенци, а другой — великий воин, закаленный бурями и крушениями, хочет возвеличить Италию не меньше, чем сам Юлий Цезарь. Теперь посуди, могут ли эти два героя, достойные Ромула и Рема, ужиться в одной норе? Но это необходимо, они двое — опора нашего объединения.

— Чего ты хочешь, Пьетро,— спрашивал Фридрих,— федерации всех государств твоей родины или единой Италии?

— Зачем нам федерация? Мы — кости одного тела. Мы умираем потому, что нас рассекли.

— Ты прав.

Как-то Диверолли показал Энгельсу свой любимый холм Санто-Кампо, где некогда прощался с Мадзини. Внизу раскинулось Средиземное море. Долго сидели они молча на нескошенной траве. Кружевные тонкие ветви тамариска раскачивались над ними, словно опахало. В такие минуты хочется говорить о самом сокровенном.

— Ты одинок или женат? Вряд ли такой красивый парень не снится какой-нибудь девушке? — спросил ласково Диверолли.

— Женщину, которую я люблю, зовут Мери,— просто ответил Энгельс. — Ты слыхал про Ирландию? Эйрин — зеленая страна, как называют ее ирландцы. Она бедна. Народ ее порабощен Англией и тоже непрестанно дерется за свою независимость. — Помолчав, он добавил: — У Мери глаза прекрасные, как кипарисовая роща у моря. Она меня, кажется, очень любит. А твоя жена где, Пьетро?

— Я вдовец,— начал Диверолли. — В Париже судьба свела меня с добрым и веселым юношей-французом Кабьеном, немцем Стоком и поляком Красоцким. Какие это были люди! Поляк был из твоей породы — ученый и вежливый. По вечерам играл он на скрипке, да так, что полюбился всей улице. Музыка переворачивает и потрясает

душу. Я вот не могу жить без песни. И полюбил-то я раз в жизни не женщину, а ее голос. Однажды здесь, в Генуе, услышал за оградой сада чудесное сопрано и стал каждый вечер ходить к этому дому. Когда мы встретились наконец с певицей, она оказалась горбуньей, но мое сердце уже полюбило.

— Ты женился на ней?

— Да, и не жалел. Мы прожили всего один год. Бедняжка умерла, а я не могу утешиться. Голос ее звучит во мне до сих пор.

Вскоре Диверолли проводил Энгельса на парусное судно, идущее в Англию. В последний раз выпили они вязкое, пряное «кьянти». Энгельс дал итальянцу свой адрес в Манчестере.

— Взялся за древко красного знамени,— сказал он с обычной приветливой улыбкой,— будь готов к странствиям.

До Лондона Энгельсу предстояло плыть около полутора месяцев. Трудолюбивый Фридрих не мирился с бесцельной потерей времени. Едва ступив на палубу, он решил тотчас же заняться изучением навигационных наук и принялся с присущей ему тщательностью и прилежанием записывать в дневник особенности погоды, направление ветров, состояние моря, изменения в очертаниях берегов.

Фридрих очень любил море. Оно больше, чем иная стихия, было созвучно его отважной, чуждой всему низменному, мелкому душе. Он наслаждался и морским покоем, и всеразрушающими могучими штормами, которые сопутствовали ему в этом долгом осеннем путешествии. Подобно норвежским берсеркерам, не знавшим страха, радовался Энгельс буйству водной стихии, в которой звучала для него сама вечность.

Прекрасный, многогранный, смелый, он сам был как море.

В середине ноября он наконец добрался до Лондона и снова очутился у своего друга Маркса.

В первые дни пребывания в Лондоне Маркс чувствовал себя одиноким. Погиб Иосиф Молль. Не было в Англии ни Энгельса, ни Карла Шаппера, ни Вильгельма Вольфа. Вскоре приехал Георг Веерт, все такой же

лихорадочно энергичный, легко загорающийся, насмешливый.

Карл ждал Женни. Она много странствовала в этом году, весной побывала во Франкфурте-на-Майне, где издавал газету Вейдемейер. Он и его домовитая жена Луиза встретили ее очень радушно. Там с их помощью она снова заложила в ломбард и превратила в деньги серебряную посуду с чеканными баронскими гербами. Сколько уже раз фамильное серебро Женни спасало от голода и холода ее детей и мужа! Совсем недавно Энгельс выкупил его из брюссельского ломбарда, и вот оно снова оказалось сданным под залог во Франкфурте-на-Майне. Затем Женни повезла детей в Париж, но и там семья осела ненадолго. Проводив мужа, больная, обеспокоенная неопределенным будущим в изгнании, ждала Женни переезда с детьми и Ленхен в Англию.

Был хмурый, слякотный день, когда она сошла на незнакомый, чужой берег. Лондон был окутан густым туманом.

Георг Веерт помог устроить Женни с детьми в крошечных меблированных комнатах у знакомого портного, проживавшего на Лестер-сквере. Но так как Женни была накануне родов, пришлось искать более просторную квартиру. Карл снял ее в Челси, в небольшом потускневшем кирпичном здании.

Дома в Челси чрезвычайно похожи один на другой, будто отобранная по росту, ширине плеч, охвату талии британская полиция. В этом районе города, помимо иностранцев и мелких лавочников, жило в ту пору много клерков и продавщиц, которых так много в британской столице. В Челси, более чем где бы то ни было, становилось ясным, что Лондон — город по преимуществу среднего класса. Служащие торговых контор, банков и страховых компаний, приказчики, лавочники — таков был основной массив лондонского населения. Промышленность и заводской пролетариат преобладали в центре и на севере страны, ближе к месторождениям угля и железа.

Из унылых домов Челси по утрам отправлялись на работу степенные, поблекшие клерки. Они шли в конторы, на вывесках которых хвастливо подчеркивалось, что фирмы существуют пятьдесят — семьдесят пять лет. Давность служит гарантией их деловой добросовестности.

Неодолимая тоска охватывала каждого входящего под старые своды контор. Низкие потолки, пыльные доски полов, крепко сложенные, претендующие быть вечными, холодные стены, украшенные купеческими доспехами — похвальными листами, дипломами гильдий, когда-то полученными медалями на бархате в черных тяжелых рамах. Чернильные пятна проползли угрями в поры деревянных конторок. Желтый свет едва пробивался сквозь узкие окна со стеклом мутным, как слюда. Траурной вуалью лежали черные тени противоположных домов. Спертый воздух в непроветривавшихся десятилетиями комнатах одурял, как туман, затопляющий Лондон.

Бесполезно было бороться с мертвящей обстановкой старых «солидных» контор. Бесцельно сопротивляться цепкому, ядовитому, обвивающемуся змеей, черному туману, густому, как тропический лес. Контора, словно лондонский туман, засасывала.

Клерк, проводящий значительную часть жизни в своеобразной гробнице, не мог устоять перед гипнотической силой мумифицированного прошлого, тем более что, возвращаясь домой, он продолжал то же условное, оторванное от настоящего бытие.

Все настойчивее, все громче было шуршание переворачиваемых историей страниц, но английский клерк слышал лишь скрип конторских половиц и крысиный писк под ними. Понимание исторических процессов не обязательно для клерка. Хозяину нужна была его точная цифровая память, исполнительность автомата. Английский клерк — наиболее безличное, после наемного гвардейца короля, существо. Среди прочих примет он отличался также отсутствием возраста; жил без молодости, зрелости, старости — трех по-разному окрашенных стадий жизни — излюбленной темы в классической поэзии. Легче было, пользуясь системой Кювье, по одной кости определить весь облик ископаемого, чем по бездумному, застывшему лицу клерка определить количество прожитых им лет. Конторские служащие Англии были очень вежливы, очень уравновешенны и очень упрямы. Каждый клерк мечтал жениться, в согласии с традицией диккенсовского романа, на дочери хозяина и иметь затем свою контору. Но обычно после долгих лет, ступая по узеньким ступенькам служебных повышений, он довольствовался скромной пенсией и доживал век на положе-

нии рантье. Консервативный, боязливый, но брюзжащий, он уважал короля и своего пастора.

Старость для клерка — венец дел и жизни, в особенности если наследство родителей и удачно выбранные процентные бумаги пополняли его скудные средства.

Тогда осуществлялись извечные стремления: появлялся счет в банке, карета, вмещающая всю его семью, включая внуков и собак, да выборный пост в церкви.

Уважая свою профессию и предназначая ей одного из своих наследников, клерк, однако, таил в замурованных конторских стенах точащую зависть к богатому, независимому господину. Но богатство в сознании английского клерка укладывалось только как случай необычный, вроде миллионного выигрыша на ирландских или калькуттских скачках, на которых он сам неизбежно проигрывал.

Хозяйка квартиры, снятой Марксом, была вдовой клерка. После смерти мужа она сдавала две из трех комнат в доме, который сама снимала. Это была дама, чья внешность полностью опровергала пословицу, что «лицо — зеркало души». Оно казалось высеченным из серого пористого камня, и на нем невозможно было увидеть проявления какого бы то ни было чувства. Радость, испуг, удивление либо беспокойство не отражались на этой отталкивающей маске с узким загнутым подбородком и несколькими синими бородавками на сухих щеках, уходящих под серые, как зола, волосы.

Пятое ноября — день «порохового заговора» — своеобразно отмечается в Лондоне.

Двести с лишним лет тому назад отчаявшийся в поисках справедливости смельчак Гай Фокс в сырых темных ямах-погребах наполнил бочки порохом, мечтая взорвать продажный парламент. Выданный сообщником, он погиб на плахе Тауэра раньше, чем успел поджечь фитиль. С той поры призрак заговорщика пугает парламентариев. Каждый раз перед началом сессии традиционный обход всего здания парламента и его погребов служит как бы поминовением несчастливого мятежника XVII века.

В день, когда Гай Фокс должен был осуществить взрыв парламента, на улицах столицы появляется молодежь в масках, верхом на ослиных чучелах. Раздаются

громкие выкрики: «Да здравствует Гай Фокс!», рвутся в воздухе сотни хлопушек, гудят трещотки.

Пятого ноября 1849 года под гам, грохот и смех, раздававшиеся в Челси, у Женни Маркс родился четвертый ребенок — сын Генрих. В честь великого заговорщика ему дали прозвище — Фоксик.

Скромная квартирка стала еще более шумной. Несмотря на все возрастающие материальные лишения, тесноту, не было, казалось, предела гостеприимству и радушию хозяев. Из Швейцарии в лондонское изгнание прибыл и поселился у Маркса артиллерийский лейтенант Август Виллих, бывший командир отряда, доблестно сражавшегося под Баденом. Это был крайне неуклюжий, высокий, громоздкий, круглоголовый человек, с жидкими гладкими волосами, начинавшимися на макушке и покрывавшими только затылок, с светлыми живыми маленькими глазами.

По утрам Август имел обыкновение врываться к Женни и Карлу. Ему с ночи не терпелось продолжить неиссякаемые дебаты обо всем, что надо предвидеть и учесть к тому скорому времени, когда коммунизм победит на земле. Долговязая фигура Виллиха, его серая фуфайка, подпоясанная на испанский манер красным шарфом, напыщенность речи удивляли и смешили Женни.

— Вы настоящий Дон-Кихот,— говорила она шутливо.

— Может быть, и так, но прошу учесть, госпожа Маркс, что я никогда не воевал с ветряными мельницами, зато уже не однажды расправлялся с германскими мракобесами и намерен сражаться до конца жизни, как истый пруссак,— раскатисто гогоча, заявлял Виллих.

Присев в ногах постели Карла, он начинал бесконечный спор по поводу той или иной проблемы, которая может возникнуть при победе коммунизма. Маркс настороженно присматривался к этому человеку, большому путанику в вопросах теории.

Пока Женни, а затем и Ленхен не прекращали жарких дебатов о «естественном» коммунизме, напоминая Карлу и Августу о завтраке, они оба увлеченно разговаривали, шутили, курили или ожесточенно спорили.

В Лондон прибывали эмигранты. Большей частью без денег, без прибежища и работы, они встречали под осенним свинцовым небом Англии вначале одни только

лишения и беды. Это было нелегким испытанием. Худшие чувства, такие, как мелочная зависть, злоба, у самых слабых быстро пускали ростки и развивались, отравляя и без того трудное существование.

Маркс деятельно принялся за организацию помощи политическим эмигрантам. Комитет помощи нуждающимся демократам, в который он входил, опубликовал воззвание:

«Теперь, когда в Германии в дикой суматохе военной расправы снова воцарились «порядок и спокойствие»... когда военные суды едва успевают отправлять в могилу с простреленной головой одного «мятежника» за другим; когда тюрьмы уже не в состоянии вместить всех «государственных изменников» и единственным существующим еще правом является право военно-полевых судов,— тысячи и тысячи немцев скитаются без крова на чужбине.

С каждым днем растет их масса, а вместе с нею и бедствия этих лишившихся родины людей; гонимые с места на место, они утром не знают, где им удастся найти ночлег вечером, а вечером не знают, где достанут себе кусок хлеба завтра утром.

Бесчисленное множество эмигрантов заполняет города Швейцарии, Франции и Англии. Со всех концов Германии стекаются несчастные. Кто сражался на венских баррикадах против черно-желтой лиги... кто бежал из Пруссии от военщины Врангеля и Бранденбурга, кто в Дрездене с ружьем в руках защищал имперскую конституцию, кто воевал в Бадене в рядах республиканской армии против объединившихся в крестовый поход государей,— независимо от того, либерал он или демократ, республиканец или социалист,— все они, сторонники самых различных политических учений и интересов, объединены теперь общей судьбой: изгнанием и нищетой.

Половина нации в лохмотьях с протянутой рукой просит милостыню у чужого порога.

И в Лондоне наши соотечественники-эмигранты ищут приюта на холодной мостовой блестящей мировой столицы. Каждый корабль, пересекающий канал, привозит из-за моря новые толпы людей, лишившихся родины; на всех улицах Лондона раздаются жалобы изгнанников на нашем родном языке.

Эта нужда глубоко взволновала многих немецких друзей свободы, проживающих в Лондоне. 18 сентября текущего года состоялось общее собрание Просветительного общества немецких рабочих и прибывших немецких эмигрантов для организации Комитета помощи нуждающимся демократам. Избраны следующие лица: *Карл Маркс,* бывший редактор «Neue Rheinische Zeitung»; *Карл Блинд,* бывший посланник баденско-пфальцского правительства в Париже; *Антон Фюстер,* бывший член австрийского рейхстага в Вене; *Генрих Бауэр,* сапожный мастер в Лондоне, и *Карл Пфендер,* живописец в этом городе.

Этот Комитет будет ежемесячно представлять публичный отчет общему собранию, а также — в сокращенном виде — на страницах немецких газет. Во избежание всяких кривотолков принято решение, что *ни один член Комитета впредь не должен получать какого-либо пособия из комитетской кассы.* Если кто-нибудь из членов Комитета вынужден будет когда-либо обратиться за помощью, то он с того же момента перестает являться членом Комитета.

Мы просим вас, друзья и братья, сделать все, что в ваших силах. Если вы хотите, чтобы повергнутая в прах и закованная в цепи свобода снова воспрянула, если вы сочувствуете страданиям ваших лучших передовых борцов, то вы откликнетесь на наш призыв без особых увещаний с нашей стороны».

Карл и Женни, сами на краю нищеты, делились с немецкими изгнанниками всем, чем могли. Ленхен надрывалась от работы. Ночами вместе с Женни она стирала пеленки, штопала чулки, чинила белье, днем шла за покупками, стряпала, топила камины, возилась с четырьмя детьми, из которых всегда кто-нибудь, а то и все разом бывали нездоровы.

Женни кормила грудью Генриха. Часто ребенок громко плакал и корчился от колик, так как молоко матери бывало испорчено чрезмерными заботами, бессонницей и переутомлением.

Нищета надвигалась и окутывала Маркса и его семью, как черный туман. Неприятности следовали одна за другой.

Эмигрантский мир, состоявший из разнородных, часто глубоко чуждых и враждебных друг другу людей, раскололся.

Счастье, как пестрый ароматный цветок, привлекает и украшает человека, несчастье испытывает и срывает с него покровы, будто лютая пурга. Лишь подлинная любовь и дружба, только крепкие, чистые души выдерживают проверку бедой и лишениями.

Маркс тотчас же по приезде в Англию занялся делами Союза коммунистов. Время было трудное. Революционный ураган, пронесшийся над Европой, раскидал по разным странам многих членов Союза. Слабые метались, теряли веру в будущее, сильные рвались к действию, к дальнейшей борьбе. Одни погибли, другие были в заточении. Больше чем когда бы то ни было передовому отряду требовался командир. Неутомимый, упорный, бодрый, вопреки возникающим и нарастающим трудностям, Карл Маркс властно понес вперед коммунистическое знамя.

Необходимо было перестроить работу внутри Союза. Реакционеры наступали. Переписка и связь с единомышленниками в других странах становилась либо невозможной, либо крайне затрудненной. Письма перехватывались, вскрывались, адресаты преследовались.

Благодаря энергии и влиянию Маркса уже в сентябре 1849 года был воссоздан Центральный комитет Союза коммунистов. Энгельс обрадовался, когда встретил в числе членов Центрального комитета Августа Виллиха, с которым проделал всю баденско-пфальцскую кампанию.

К началу нового года было разослано извещение о выходе в Лондоне журнала «Новая Рейнская газета. Политико-экономическое обозрение» под редакцией Маркса. Ответственный издатель К. Шрамм опубликовал написанное Марксом и Энгельсом сообщение:

«Журнал носит название той газеты, *продолжением* которой его и следует рассматривать. Одна из его задач будет состоять в том, чтобы в ряде ретроспективных обзоров обрисовать период, прошедший со времени насильственного прекращения выхода «Neue Rheinische Zeitung».

То, что представляет наибольший интерес газеты — ее повседневное вмешательство в движение и возможность

быть непосредственным рупором этого движения, отражение текущей истории во всей ее полноте, непрерывное живое взаимодействие между народом и ежедневной печатью народа,— все это неизбежно утрачивается, когда имеешь дело с журналом. Зато у журнала то преимущество, что он позволяет рассматривать события в более широком плане и останавливаться только на наиболее важном. Журнал дает возможность подробно и научно исследовать *экономические* отношения, которые составляют основу всего политического движения.

Такое время кажущегося затишья, как теперешнее, должно быть использовано именно для того, чтобы уяснить пережитый период революции, характер борющихся партий, общественные отношения, которые обусловливают существование и борьбу этих партий.

Журнал будет выходить раз в месяц отдельными выпусками объемом не менее *пяти* листов... Распространение взяла на себя книготорговая фирма Шуберт и К° в Гамбурге.

Просьба к друзьям «Neue Rheinische Zeitung» организовать подписку в той местности, где они находятся, и возможно быстрее переслать подписные листы нижеподписавшемуся...

Лондон, 15 декабря 1849 г.

К. Шрамм

Ответственный издатель»

Женни старалась скрыть от окружающих страх перед нараставшими трудностями. Огромная сила воли требовалась, чтобы терпеть бедность, придирки злой и недобросовестной квартирной хозяйки, заниматься изнуряющей не только физически, но главным образом духовно домашней работой. Если бы не помощь Ленхен, она сломилась бы совсем под тяжестью быта. День обе женщины проводили в стряпне, починке белья, бесконечном мытье посуды, уборке тесных, уставленных вещами комнат, ухаживали за четырьмя маленькими детьми. Тарелки, ложки, вилки, пеленки то и дело нуждались в том, чтобы их мыли и стирали. Женни понимала тех женщин, которые становятся раздражительными, опустошенными от постоянной однообразной, невидимой работы в доме, от борьбы с нищетой.

«Каменщик,— думала она,— трудится тяжело, но он знает, что из-под его рук поднимутся стены домов; плотник, столяр создает много полезного для людей; красильщик, каретник — все видят плоды своих дел. Ученые, врачи, учителя обогащают, спасают, учат, воспитывают человечество, а я с утра до ночи думаю, как бы перебиться без денег, накормить, обшить и обстирать дорогих мне людей. Как колесо прялки, верчусь я на месте».

Ее мучила мысль, что она отстает от того, чем живет Карл, и недостаточно читает. По ночам беспокойные думы отгоняли сон. Она лежала, глядя в темноту большими карими глазами, стараясь скрыть от мужа свою бессонницу. Что делать, как найти выход из тупика? Женни страшилась надломиться, уподобиться ворчливым, погрязшим в засасывающей тине житейских мелочей и дрязг женщинам, которых встречала в эмигрантских семьях. Нищета в чужой стране была великим испытанием. Выдержит ли она? Легко быть красивой, начитанной, блистательной, когда со всех сторон не подпирает бедность, заботы, неблагодарный домашний труд. Она старалась перенять у Карла его неиссякаемое жизнелюбие и титаническую волю. Но как только раздавался слабый крик Генриха-Фоксика в рядом стоящей колыбельке или кашель и детский плач из соседней комнаты, нервы ее напрягались до боли. Она вскакивала и бежала к детям, страдая и думая о том, как уберечь их от опасностей, которых было так много у людей, терпящих недостаток во всем необходимом.

Хозяйка квартиры, где жили Марксы, оказалась не менее подлой, нежели мисс Мардстон из романа Диккенса, на которую была так похожа. Получая деньги от жильцов, она, однако, ничего не платила домовладельцу. События разыгрались с быстротой, обычной в Англии при выселении неплательщиков. В сырой, черный от тумана день Маркс со всей семьей оказался на улице.

Женни Маркс писала об этом Вейдемейеру:

«Мой муж ищет для нас помещение, но с четырьмя детьми никто не хочет нас пускать. Наконец нам оказывает помощь один друг, мы уплачиваем за квартиру, и я быстро продаю все свои кровати, чтобы заплатить аптекарю, булочнику, мяснику и молочнику, напуганным

скандалом с описью имущества и внезапно набросившимся на меня со своими счетами. Проданные кровати выносят из дома, погружают на тележку — и что же происходит? Было уже поздно, после захода солнца; вывозить вещи в такое время запрещается английским законом, и вот появляется домохозяин в сопровождении полицейских и заявляет, что здесь могут быть и его вещи и что мы хотим сбежать за границу. Не прошло и пяти минут, как перед нашей квартирой собралось не менее двухсот — трехсот зевак, весь сброд из Челси. Кровати вносят обратно; отдать их покупателю можно было лишь на следующее утро, после восхода солнца. Когда, наконец, продав все наши пожитки, мы оказались в состоянии уплатить все до последнего гроша, я переехала с моими милыми малышами в наши теперешние две комнатки в немецкой гостинице по адресу: Лестер-стрит, 1, Лестер-сквер, где мы более или менее сносно устроились за $5^1/_2$ фунтов стерлингов в неделю.

Простите, дорогой друг, что я так подробно и обстоятельно описала один лишь день нашей здешней жизни. Я знаю, это нескромно, но сегодня вечером сердце мое переполнено, руки мои дрожат и мне захотелось хоть раз излить душу одному из наших старейших, лучших и вернейших друзей. Не думайте, что эти страдания из-за мелочей меня сломили. Я слишком хорошо знаю, что мы далеко не одиноки в нашей борьбе и что ко мне судьба еще милостива,— я принадлежу к немногим счастливицам, потому что рядом со мной мой дорогой муж, опора моей жизни. ...Никогда, даже в самые ужасные минуты, он не терял веры в будущее, всегда сохранял самый живой юмор и был вполне доволен, когда видел веселой меня и наших милых детей, с нежностью ласкающихся к своей мамочке...

До свидания, дорогой друг! Передайте самый сердечный привет Вашей милой жене и поцелуйте Вашего крошку от имени матери, уронившей не одну слезу на своего младенца... Наши трое старших детей прекрасно себя чувствуют, вопреки всему. Девочки красивые, цветущие, веселые, жизнерадостные, а наш толстый мальчуган полон юмора и самых забавных затей. Этот бесенок целые дни самым громким голосом распевает с необычайным пафосом забавные песни. Весь дом дрожит, когда

он во весь голос поет слова из фрейлигратовской марсельезы:

Приди ж, июнь, пора свершений!
Мы жаждем подвигов и дел.

Быть может, всемирно-историческое призвание этого месяца... состоит в том, чтобы начать гигантскую борьбу, в которой мы все снова будем сражаться рука об руку».

Пришлось ненадолго поселиться в немецком отеле на Лестер-стрит, возле Лестер-сквера, после чего Карл и Женни обосновались, прельщенные дешевизной, в двух маленьких комнатках на Дин-стрит — узкой и мрачной улице возле Сохо-сквера. Это был безрадостный квартал, расположенный неподалеку от центральной площади Пиккадилли.

В Сохо жила иноземная голытьба: ирландцы, немцы, французы, итальянцы. Они перебивались случайной работой и едва сводили концы с концами. Приземистые здания с небольшими окнами, вычурные фонари с грязными стеклами не украшали узкую Дин-стрит, на которой не росло ни одного деревца. В осенние и зимние дни вид этой серой, как и небо, улицы производил удручающее впечатление. Ленхен выводила детей в сквер Сохо — угрюмое подобие садика с низко подстриженными чахлыми деревцами и густым газоном. Чад многочисленных каминов спускался на низко расположенную Дин-стрит и черной траурной каймой обводил дома. Воздух в кривых закоулках Сохо не проветривался, и дышать здесь было всегда как-то особенно тяжело. Англичане охотно сдавали квартиры в этом проклятом мрачном квартале иностранцам, так как считали его небезопасным для своего здоровья.

Чума, появлявшаяся время от времени в эпоху позднего средневековья, в значительной мере избавляла город от бедняков, не имевших пищи и крова и, естественно, становившихся первыми ее жертвами. Трупы бродяг и нищих валялись тогда по немощеным улицам старого Лондона, распространяя страшную заразу и угрожая особнякам городских буржуа. Зажиточные семьи бежали из чумной столицы в свои поместья, но часто, зараженные, умирали в пути. Стоны, заглушаемые колокольным звоном, сигнализировавшим о бедствии, стояли над Лондоном.

Наиболее опустошаемым эпидемиями местом была припортовая часть английской столицы. Трупы чумных хоронили там, где теперь находилось Сохо. Они отравили воду квартала, и улица Дин-стрит считалась убийственным местом в Лондоне.

Карл и Женни не знали этого. Они были рады дешево стоившему пристанищу и полны надежд на удачливое будущее.

Когда дети бывали здоровы, Женни оставляла их с Ленхен и шла осматривать незнакомый громадный город.

Она никогда не бывала до этого в Англии, но язык, культура, история этой страны были ей с детства близки и знакомы.

Бабушка Женни, в память которой она получила свое имя, унаследовав также ее необычайную нежную красоту и статность, была чистокровной шотландской аристократкой из рода суровых и мятежных Аргайлей. Внешнее сходство между двумя Женни поражало. Волосы шотландской красавицы были светлые и походили на омытый морской водой, пронизанный солнечными лучами песок.

Все в Лондоне интересовало Женни. Вместе с Карлом осмотрела она Британский музей, картинную галерею, парки и тоскливые верфи порта. Однажды Энгельс предложил Женни пойти в паноптикум госпожи Тюссо, знакомый ей по рассказам родных с детства. Карл присоединился к ним.

Живописец воплощает жизнь, фантазию, эпоху на полотне, скульптор подчиняет резцу камень. В конце XVIII века мадам Тюссо с упорством пчелы попыталась отлить свой век из несопротивляющегося воска. Она родилась в царствование Людовика XV. Только фарфор и раскрашенный воск могли отразить фальшивую позолоту и мишуру быта, разнообразие многоцветных костюмов, завитушки париков, жеманство вырождающейся чванной знати.

Ловкая, едва перебивающаяся, искавшая заработка Мари Трезхольд, по мужу Тюссо, одаренная торгашьим нюхом, искусными руками и точным глазом копировщика, быстро разбогатела, создав первый паноптикум в Париже. Придворные дамы, скрывавшие грязь плохо мытых тел и волос под слоем пудры, наперебой заказы-

вали ей свои восковые изображения. Богачи третьего сословия подражали им. Восковых двойников наряжали в дорогие костюмы и ставили в нишах будуаров.

Так было до 1789 года. Налетевшая революция столкнула не одну куклу монархической Франции. Хозяйка паноптикума была разорена. Тщетно отклеивала она с розовых щек кукол мушки (измышление аристократических модниц), прицепляла им трехцветные кокарды на взбитые пышно волосы и переодевала королевских дам санкюлотками. На рынках и площадях редкий гражданин заходил в передвижной балаган смотреть на запыленного, скалящего восковые зубы Вольтера и дряблощеких светских дам, с которыми неподалеку сводила окончательные счеты гильотина.

Упрятав в ящики не приносившие более прибыли куклы, мадам Тюссо искала иных средств к существованию. Она декорировала революционные празднества и на заработанные деньги неустанно скупала вещи, которые, по ее расчетам, должны были со временем дать внушительные барыши.

Востроносая прыткая женщина стала неустанным посетителем всех аукционных залов, где за гроши распродавались конфискованные, подчас редкостные вещи гильотинированных и эмигрировавших контрреволюционеров. Палач Сансон после долгого торга продал ей один из притупившихся ножей «народной бритвы». На потемневшем лезвии мадам Тюссо нашла следы крови Марии-Антуанетты, Дантона.

В дни террора складной стульчик предприимчивой гражданки стоял у подножия эшафота. Она рисовала лица смертников, делала слепки с еще не остывших отсеченных голов. Хлам тюрем и моргов наполнял каморку неприметной собирательницы исторических лохмотьев.

После термидора мадам Тюссо оказалась владелицей многих «сокровищ», быстро возраставших в цене. У нее были ключ от главных ворот снесенной Бастилии, кафтаны и парики Робеспьера, книги с пометками Сен-Жюста, рукописные декреты Конвента, посмертные маски последних революционеров — кровавые отпечатки погибшей революции.

В начале XIX века мадам Тюссо напрасно пыталась соблазнить новую знать восковыми фигурами; раскрашенные куклы казались особенно уродливыми после прекрас-

ных творений художника Давида и гениального скульптора Кановы.

Разочарованная и обедневшая мадам покинула Францию и увезла восковой груз через Ла-Манш в невозмутимую, медлительную Англию.

Не познавшие тревог революции бритты с интересом и страхом взирали с острова, огражденного водой, на смутный континент. Полубезумный, одноглазый Нельсон сторожил их покой, беспощадно расстреливая с морских судов все, что было помечено словами: свобода, равенство, братство.

В спокойном, нетребовательном Лондоне хозяйка паноптикума нашла пристанище. Созванные многообещающими афишами богатые зеваки подолгу разглядывали французскую революцию в «приготовлении мадам Тюссо»: Марата под окровавленной простыней, нарядную Жозефину Богарне за тюремной решеткой, санкюлота, подозрительно похожего на герцога Конти — первого покровителя паноптикума. Картонная гильотина с подлинным ножом и корзинкой для голов собирала толпы зрителей. Англичане, после ста с небольшим лет, прошедших со времени кровопролитной революции их предков, охотно подставляли тугие нервы под ледяной душ чужих «ужасов».

Но и кровоточащие головы постепенно приелись. Неутомимая кукольная мастерица поспешила иначе потрафить публике. Паноптикум разросся: рядом с угрюмым Наполеоном появился модный цирковой клоун. Марата оттеснил повешенный за подложные векселя и растрату денег английского банка денди Генри Фоунтлерой, Марию-Антуанетту затмила леди Гамильтон, умершая как раз в это время в одной из лондонских трущоб.

Мадам Тюссо изо всех сил старалась подменить жизнь восковой копией. Англия служила ей благородной моделью.

Но и в глубокой старости основной интерес мадам сосредоточивался на преступлениях, на невообразимых злодеяниях и криминальных драмах.

Крошечная, высушенная временем старушка — постоянный гость беспощадных английских судов, жадный коллекционер всего, что пахнет и окрашено кровью. Отравители, детоубийцы, грабители, поджигатели служили ей моделями. Она скупала истрепавшиеся веревки

виселиц, всевозможные орудия убийств и пыток, черепа жертв.

Ежегодно менялись экспонаты музея. Устаревшие театральные знаменитости, жертвы сенсационной катастрофы и, наконец, свергнутые революцией или ушедшие в отставку правительства безжалостно уничтожались. Прежде чем бросить в чан-гроб недавних кумиров, им выковыривали стеклянные глаза, выщипывали волосы, ресницы, брови. Огонь мгновенно расплавлял желтые туловища и размалеванные головы.

Умелые руки специалистов перевоплощали восковую маску. Костюмерши кое-как перешивали платья, сообразно с размерами и привычкой одеваться новых героев, в изобилии поставляемых газетной шумихой, сменой власти, успехом или трагедией.

В полутемном зале экс-министры спешно освобождали места членам нового кабинета. В особых нишах стояли восковые фигуры видных общественных деятелей Великобритании: Пальмерстона, Гладстона и любимца королевы Дизраэли.

Карл, Женни и Фридрих подошли к восковым копиям подлинных властителей империи.

Ничто, даже льстивый резец скульптора госпожи Тюссо, не смогло уничтожить выражения надменности и властолюбия в обрамленном жиденькими седыми волосами хищном лице с губами скряги лорда Пальмерстона.

— Ему уже шестьдесят шесть лет,— заметил Энгельс. — Пальмерстон учился вместе с Байроном и тоже пытался писать стихи, но они были очень плохие.

— Вот как! — удивилась Женни. — Он вовсе не похож на поэта. Скорее ростовщик по виду. Но как удалось ему приобрести столь большое влияние на ход британской политики?

— Сумма свойств. Он отнюдь не Демосфен, но саркастической злости, расчета и хитрости у него в избытке. Он коварен. В начале карьеры он, подобно Пилю и Гладстону, был фанатичный тори, но после тысяча восемьсот тридцатого года, учуяв иное направление международной политики, перешел к вигам. Это подняло его акции. Он стал заигрывать с революционерами Италии и Венгрии, лобызался с Кошутом, но, бьюсь об заклад, давно уже

субсидирует всех реакционеров мира. Пальмерстон беспощаден и лжив, но кого он искренне ненавидит и боится, так это Россию.

— Его циничная наглость служит ему защитой от всяких неожиданностей,— вмешался в разговор Маркс. — Он умеет казаться покровителем, тогда как на самом деле предает; умеет ублажать явного врага и доводить до отчаяния союзника; умеет в надлежащий момент оказаться на стороне сильного против слабого и обладает искусством произносить смелые слова, обращаясь в бегство. По его мнению, масса народа не должна иметь никаких прав, и телесные наказания он всегда считал абсолютно необходимым благом.

В это время слуга музея, с мягкой тряпкой и щеткой в руке, подошел к восковой кукле и, почтительно наклонившись, почистил штиблеты министра Пальмерстона. Женни, Карл и Фридрих не могли удержаться от смеха.

— А вот и сам Уильям Юарт Гладстон, шотландский буржуа, полуархиепископ, полуделец. Он еще молод, ему не более сорока. Витая на словах в небесных сферах, он на деле отличается вполне земным практицизмом, скаредностью и редкой даже для политика изворотливостью,— снова заговорил Энгельс.

Из ниши недоверчиво и настороженно смотрел в зал высокий человек в черном сюртуке. Волевая линия жестокосердных подобранных губ, надменный нос, чуть раздутые нетерпеливо ноздри и так называемый «чистый» лоб под откинутыми прямыми волосами протестантского пастора были у восковой копии, как и у живого оригинала. Чуть согнутые, крепкие плечи, которые мгновенно могли выпрямиться, деспотический жест сжатой в кулак руки, как бы едва удерживаемой от того, чтобы не подкрепить резким движением слова грубой команды, и в то же время выжидательный лжепокорный наклон большой головы удачно раскрывали противоречивые черты характера Гладстона.

Иначе выглядел рядом стоявший его постоянный соперник, любимец королевы Виктории — Дизраэли.

Все в этом смуглом худом человеке с насмешливыми глазами, похожем на испанского гранда, отражало откровенное, сжигающее честолюбие. Политический задор, нетерпение избалованного удачами, не знавшего преград, цинично умного Дизраэли еще больше подчеркивали

скрытность, притворство, точный расчет ждущего своей минуты, готового к прыжку купеческого сына Гладстона.

Карл тщетно искал среди восковых фигур, размещенных вдоль стен наперекор историческим былям и датам, любимого своего поэта Шелли. Его не было, так же как и могучего крестьянского поэта Шотландии Бёрнса и мечтательного Китса. Но Женни увидела Шекспира. Он стоял, подняв руку в кружевных манжетах, подле хмурого Свифта.

Восковой Диккенс с нескрываемой скукой отмечал в толпе те же надоевшие, слишком знакомые лица: тощую даму с шелковой суповой миской, опрокинутой на макушку; чинного болезненного мальчика, притупленного «хорошим воспитанием»; лысого скептика; любителя виски, дымящего трубкой отставного моряка; остроголового скрягу; напыщенного ханжу; неуклюжего блеклого клерка; одинокую немолодую девушку, отдающую неисчерпанную нежность кошкам. Дольше чем перед другими куклами простаивали зрители возле шеренги выстроенных в исторической последовательности королей и королев Британии всех династий, от норманнских завоевателей до современных Виндзоров. Ревнивая Елизавета и ее соперница — королева шотландская стояли друг против друга. И тут же художники представили в воске сцену казни Марии Стюарт. Палач держал в руках отсеченную голову, из которой (грубый фокус) текла красная жидкость.

Сын шотландской королевы Яков, преемник рыжей распутной «девственницы» на англо-шотландском престоле примирил убийцу с ее жертвой, похоронив их в одной могиле в Вестминстерском аббатстве. «Музей», следуя тому же правилу, смирил былую вражду «усопших душ». Поэтому дюжий Генрих VIII опять соединен был со всеми шестью своими женами, из которых трех он отправил на эшафот. Нумерованные Георги, Вильгельмы и Шарлотты завистливо поглядывали на маленькую немку Викторию, нынешнюю королеву Великобритании.

Маркс с женой и Энгельс прошли вдоль этого своеобразного воскового парада истории, обмениваясь ироническими репликами и взглядами.

— Англичане весьма гордятся произведениями госпожи Тюссо. Но мне это кажется пародией на подлинное искусство,— сказала Женни.

— Помесь балагана с бульварной прессой,— заметил Карл.

— Это, пожалуй, подлинное отражение испорченных вкусов и представлений процветающей империи королевы Виктории,— добавил Энгельс.

В январе 1850 года Маркс начал работать над новой книгой о классовой борьбе во Франции последних двух лет. Это должна была быть, по его замыслу, летопись революции с 1848 по 1850 год.

В тиши читальни Британского музея Карл обдумывал и готовил каждый раздел этой книги.

«Нет,— думал он,— в этих поражениях погибала не революция. Погибали пережитки дореволюционных традиций, результаты общественных отношений, не заострившихся еще до степени резких классовых противоположностей, погибали лица, иллюзии, представления, проекты, от которых революционная партия не была свободна до февральской революции, от которых ее могла освободить не *февральская победа,* а только целый ряд *поражений*».

Эту мысль Карл решил изложить как вступление к новому труду. Записав ее на бумаге, он добавил:

«Одним словом, революция шла вперед и прокладывала себе дорогу не своими непосредственными трагикомическими завоеваниями, а, напротив, тем, что она порождала сплоченную и крепкую контрреволюцию, порождала врага, в борьбе с которым партия переворота только и вырастала в подлинно революционную партию».

В этом глубоком диалектическом выводе сказался революционный вождь, мыслитель, гигант, вызвавший на бой все злые силы мира и видевший даже в поражении верный путь к победе.

Маркс, доказывая необходимость завоевания рабочим классом политической власти, впервые употребляет классическую формулу «диктатура пролетариата» и раскрывает ее политический и экономический смысл. Говоря об отличии революционного социализма и коммунизма от мелкобуржуазных утопических теорий, обанкротившихся во время революции, Маркс писал, что научный социализм есть объявление непрерывной революции, а классовая диктатура пролетариата — необходимая переходная ступень к уничтожению классовых различий вообще.

В это же время Маркс вместе с Энгельсом выпустил несколько номеров нового журнала. К сотрудничеству в нем они привлекли своих верных сторонников — Вейдемейера, Вильгельма Вольфа и других.

На ничем не примечательной обложке «Новой Рейнской газеты. Политико-экономического обозрения» наряду с Лондоном, где жили Маркс и Энгельс, значились в качестве места издания Гамбург и Нью-Йорк. Немало немцев — участников недавней революции — эмигрировало в Америку. Издатели надеялись, что за океаном журнал найдет большой спрос. Рассчитывая на новый подъем революционного движения, Маркс и Энгельс предполагали вскоре перейти к выпуску еженедельной и даже ежедневной газеты. Как всегда, Карл находил безмерное удовлетворение в многообразной работе, которой отдавался со всей присущей ему могучей страстью. Действие, как и мышление, несло для него всегда в себе то, что зовется на земле счастьем.

Ранним апрельским утром Энгельс ворвался к Марксу необычайно возбужденный.

— Не угодно ли? — торопливо глотая слова, начал он, сняв цилиндр и протягивая Марксу газету. — Австрийская «Abend-Post» напечатала-таки всю гнусную речь господина Кинкеля в суде. Отрекшись от революции, этот подлец фактически выдал палачам пролетариев, обвиняемых по одному с ним делу.

— Что ж, надо разоблачить Кинкеля, невзирая на то, что все германские сентиментальные лжецы и демократические фразеры отчаянно завопят. Впрочем, он-то в душе будет нам только благодарен. Своим нападением мы лишь улучшим отношение к нему прусских мракобесов-реакционеров. Они убедятся еще раз в том, что он был искренен на суде, уверуют в его благонамеренность и пригодность служить в любом королевско-юнкерском департаменте,— саркастически говорил Маркс.

— Этот слабодушный актер прикидывается мягкосердечным младенцем в то время, когда двадцать шесть его товарищей тем же судом приговорены к смерти и расстреляны. Я знал этих людей. Смело и гордо пошли они на казнь. Вся защитительная речь Кинкеля — прямой донос

на взятых в плен повстанцев. На нем кровь Янсена и Бернигау, которых казнили,— горячился Фридрих.

Карл прочитал речь Кинкеля и с отвращением отбросил газету.

— Кинкель выдал военному суду свою собственную партию! — воскликнул он. — Сообщил о ее намерениях отдать Франции левый берег Рейна. Ему ли не знать, что в момент решительных схваток между революцией и контрреволюцией пролетарский боец обязательно поддержит революцию, кто бы ее ни представлял — французы, китайцы или какая-либо иная нация.

В тот же день Маркс и Энгельс написали статью для «Обозрения», назвав ее «Готфрид Кинкель».

Готфрид Кинкель, посредственный немецкий поэт, мелкобуржуазный демократ, после суда над участниками революционных боев под Раштаттом бежал из тюрьмы и поселился в Англии, где его подняли на щит как героя и мученика недруги коммунистов из немецкой эмиграции, рьяно травившие Маркса и Энгельса.

После мрачной зимы, изнуряющей туманами и дождями, в марте в Лондоне наступила весна, хрупкая, окрашенная в нежные полутона. Стало светлее и суше. Даже узкая Дин-стрит в Сохо под блеклыми сиреневo-розовыми лучами солнца казалась менее убогой и безрадостной. Ленхен с детьми отправлялась в скверик, огороженный железной решеткой с низенькими, еще безлистыми деревцами и яркой, как водоросли, травой. Маленькие Женни и Лаура, в шубках, из-под которых спускались оборки теплых панталончиков, бегали по серым дорожкам, перебрасываясь мячом. Возле Ленхен играл Эдгар, которого в семье все звали ласково Муш. Иногда мальчик поднимал свое удивительно осмысленное личико с задумчивыми недетскими глазами.

— Муш, лови! — крикнула шалунья Лаура и бросила мяч.

Мальчик неуверенно поднялся на ножки, протянул вверх руки. Потеряв равновесие, упал, ударившись о скамью. Скривив от боли рот, он боролся с собой, чтобы не заплакать, и пытался улыбнуться. На большом выпуклом, как у отца, красивом лбу появился синяк. Ленхен достала из кармана широкой юбки медный пенс и, прило-

жив к ушибленному месту, другой рукой принялась шлепать скамеечку.

— Зачем ты ударила Муша, гадкая такая,— приговаривала девушка, хитро сощурив глаза и поглядывая вбок на Муша.

Успокоившись, он с удовольствием смотрел на этот акт отмщения, затем сказал снисходительно:

— Не надо. Ей ведь тоже больно.

Обе сестренки весело засмеялись, и снова началась игра.

В это время Женни Маркс, побледневшая от бессонной ночи, с пятимесячным Генрихом на руках, медленно ходила из угла в угол неуютной, нищенски обставленной комнаты. Было сыро и холодно. Горячий камин давал мало тепла. Малыш был снова болен. Он отказывался от материнской груди, извивался, стараясь высвободить худенькие, крепко спеленатые ножки. Обессилев от крика, ребенок жалобно стонал. Капельки пота выступили на посиневшем личике, и такое страдание отражалось в его глазах, что у Женни подгибались ноги и останавливалось сердце. Не было в мире жертвы, которую она не принесла бы сейчас, чтобы облегчить муки этого беспомощного существа. Сознание бессилия страшнее всего.

Дверь отворилась. Встревоженный, вошел на цыпочках Карл.

— Как наш маленький заговорщик? — спросил он шепотом с таким растерянным выражением, что Женни не решилась сказать правду.

— Ему лучше. Не тревожься,— успокаивала она мужа и крепче прижимала горячее детское тельце к груди.

Карл вздохнул с облегчением.

— Чем я могу тебе помочь? — спросил он, ободренный.

— Иди, пиши спокойно. Все хорошо. Закрой только, пожалуйста, окно.

Под квартирой, где жил Маркс с семьей, находилась прачечная, и тяжелые пары от лоханей, в которых намокало в мыле белье, проникали сквозь стены, поднимались наверх и отравляли и без того тяжелый воздух.

— Я жду вечером Фреда, Виллиха, Бауэра,— сказал Карл и вернулся во вторую, такую же сумрачную и душную комнатенку, чтобы продолжать работу за столом, заваленным книгами.

Вечером Генриху стало лучше. Обессиленная Женни по настоянию мужа прилегла подле заснувших детей. Ленхен возилась по хозяйству. Из комнаты Карла доносились оживленные мужские голоса.

Обычно заседания Центрального комитета Союза коммунистов происходили либо в помещении Просветительного общества немецких рабочих в Лондоне или в кабачках, малодоступных вниманию агентов тайной полиции, но в этот раз Маркс был не совсем здоров, и решено было собраться у него на квартире.

— Итак, согласно общему решению, эмиссаром Центрального комитета в Германии будет Генрих Бауэр. Что скажет по поводу этого достопочтенный джентльмен? — подражая лишенному оттенков скрипучему голосу парламентского спикера, закончил по-английски Энгельс, повернувшись к давнишнему своему соратнику.

— Поехать-то можно, но хватит ли моего разумения? — ответил смущенно Бауэр по-немецки. — Во всяком случае, я такой человек: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Кем нужно быть для нашего дела, тем и буду. С тех пор как не стало Иосифа Молля, мне нигде не сидится, а особенно в этом киселе — Лондоне. Очень рад поехать на родину.

— Отлично. Вопрос решен,— подвел черту Виллих. — Теперь послушаем обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов. Кто из двух авторов, Маркс или Энгельс, его зачитает?

— Тише, Август, с твоим голосом, подобным иерихонской трубе, командовать только на плацу. Разбудишь детей,— попросил Карл.

— Прости, дружище. Сам не рад своей глотке,— извинился Виллих.

Энгельс подкрутил фитиль мигающей лампы, уселся поближе к столу и начал:

— «Братья!»

Стало тихо. Из соседней комнаты донесся шепот Ленхен, укладывавшей Фоксика.

— «В течение обоих революционных лет, тысяча восемьсот сорок восьмого — тысяча восемьсот сорок девятого, Союз коммунистов вдвойне выдержал испытания: во-первых, тем, что его члены повсюду энергично участвовали в движении, что они и в печати, и на баррикадах, и на полях сражений стояли в первых рядах

единственного решительно революционного класса, пролетариата. Союз, далее, выдержал испытание и в том смысле, что его воззрения на движение, как они были изложены в циркулярных письмах конгрессов и Центрального комитета в тысяча восемьсот сорок седьмом году и в «Коммунистическом Манифесте», оказались единственно правильными и что высказанные в этих документах ожидания вполне оправдались, а понимание современного общественного положения — пропагандировавшееся раньше Союзом только тайно,— теперь у всех на устах и публично проповедуется на площадях».

Карл, стараясь не шуметь, поднялся, вышел из комнаты и вернулся со стаканом сладкого чая, который заботливо подвинул Энгельсу.

— «Мы говорили вам, братья, уже в тысяча восемьсот сорок восьмом году,— продолжал читать Энгельс своим ровным, приятным голосом,— что немецкие либеральные буржуа скоро придут к власти и тотчас же обратят свою только что приобретенную власть против рабочих. Вы видели, как это сбылось. В самом деле, именно буржуа после мартовского движения тысяча восемьсот сорок восьмого года немедленно захватили государственную власть и тотчас использовали эту власть для того, чтобы заставить рабочих, своих союзников по борьбе, вернуться в их прежнее, угнетенное положение».

Энгельс отпил чаю и снова наклонился к столу. Он читал медленно, четко, изредка поднимая глаза на слушателей. Виллих то вставал, то садился. Он заметно нервничал. Бауэр, положив на колени натруженные рабочие руки с короткими пальцами, казался очень довольным.

— Все было предсказано так, точно в воду глядели,— не выдержал он.

— «И роль, которую немецкие либеральные буржуа в тысяча восемьсот сорок восьмом году сыграли по отношению к народу, в предстоящей революции эту столь предательскую роль возьмут на себя демократические мелкие буржуа...»

— Святая правда,— снова не выдержал Генрих Бауэр.

— «Мелкобуржуазно-демократическая партия в Германии очень сильна. Она охватывает не только значительное большинство бюргерского населения городов, мелкого торгово-промышленного люда и ремесленных мастеров: за ней идут крестьяне и сельский пролетариат, пока он еще

не нашел опоры в самостоятельном пролетариате городов...

Далекие от мысли произвести переворот во всем обществе в интересах революционных пролетариев, демократические мелкие буржуа стремятся к такому изменению общественных порядков, которое сделало бы для них по возможности более сносным и удобным существующее общество».

Виллих подошел сзади к Энгельсу.

— Но где же главные задачи Союза? — нетерпеливо и резко спросил он.

Фридрих недоуменно поднял голову.

— Терпение, старина,— ответил он сухо.

Прочитав большой абзац о вреде объединения с мелкобуржуазными демократами, он повысил голос, окинул всех, и особенно Виллиха, строгим взглядом и продолжал:

— «...наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти...»

Энгельс читал все громче, подчеркивая слова и делая внушительные паузы:

— «Вместо того, чтобы еще раз опуститься до роли хора, одобрительно рукоплещущего буржуазным демократам, рабочие и прежде всего Союз должны добиваться того, чтобы наряду с официальными демократами создать самостоятельную тайную и открытую организацию рабочей партии и превратить каждую свою общину в центр и ядро рабочих союзов, в которых позиция и интересы пролетариата могли бы обсуждаться независимо от буржуазных влияний».

— Вот это по мне,— возбужденно заявил Виллих. Его удлиненное лицо с маленькими хитрыми глазками, окаймленное большой бородой, покраснело от возбуждения.

В соседней комнате было совершенно тихо. Спали Женни и дети. Карл облегченно откинулся на спинку кресла и закурил. Чтение документа подходило к концу:

— «Если немецкие рабочие и не смогут достигнуть господства и осуществления своих классовых интересов, не пройдя полностью более длительного пути революционного развития, то на этот раз у них есть, по крайней мере, уверенность, что первый акт этой приближающейся революционной драмы совпадет с прямой победой их соб-

ственного класса во Франции и тем самым будет сильно ускорен.

Но для своей конечной победы они сами больше всего сделают тем, что уяснят себе свои классовые интересы, займут как можно скорее свою самостоятельную партийную позицию».

Когда Виллих и Бауэр ушли, Фридрих, оставшись наедине с Карлом, сказал:

— Приехал Бартелеми. Бежал до суда из тюрьмы Бель-Иль-ан-Мер. Он находился в камере рядом с Бланки.

— Бартелеми? Что же, этот мрачный парень снова бредит террором? Боюсь, если он не образумится, то бессмысленно сложит голову на плахе.

— Да, пожалуй. Бартелеми уже отсидел десять лет за никому не нужное убийство полицейского. Жаль, что у бланкистов он усвоил только их ошибки. Однако, как показали июньские дни, он превосходный, испытанный баррикадный боец.

— Скорее заговорщик по профессии. В организованном им «Клубе баррикад двадцать четвертого февраля» этот парень показал полное невежество в какой бы то ни было теории и опасную путаницу в понимании революционного движения. Он легко может стать орудием любой провокации. Тем не менее он, видимо, честен в своих заблуждениях и отчаянно смел. Надо попытаться вернуть ему голову.

Пока Маркс и Энгельс говорили о Бартелеми, сам он находился неподалеку от лондонского порта в кабачке Джонатана Брауна.

Неизвестно откуда пришел в английскую столицу кабатчик. Он переменил немало разных профессий, прежде чем осуществил свою мечту — основал большой кабак в лондонских доках.

Лицо Джо Брауна перекроили неисчислимые драки, запойное пьянство, наркотики, морские ветры и кораблекрушения. Каждая из десятков стран, мимо которых проходят английские корабли, пометила его. Он привез в лондонские доки низкий раболепный поклон содержателей опиекурилен Гонконга, прищуренный, настороженный взгляд японцев, изощренную ругань английских чиновников в Бомбее. На лице кабатчика, огромном и рыхлом, как разваренная свекла, торчал отталкивающий нос со сломанной переносицей, свисающий продолговатым ком-

ком мяса и кожи к развороченному отвратительному рту.

В пивной Джонатана Брауна было всегда людно. Безработный грузчик огромными руками, привыкшими поддерживать многопудовые тюки колониальных товаров, осторожно подносил ко рту маленькую кружку пива, купленную на последний пенс. Его жена, с лицом узким и желтым, как подгнивший банан, жадно следила за его движениями в надежде, что и ей останется немного. Матросы, только что покинувшие пароходы, пришедшие из Норвегии и Китая, грубо прижимали к себе золотушных накрашенных девиц и угощали их виски. Табачный дым заволакивал пивную, скрывал деревянный потолок и стены.

Прорезая голоса, топот ног и смех, в кабак ворвался протяжный детский плач. Неровным шагом, стараясь не расплескать питье, мать шла на зов ребенка, оставленного в рваной соломенной коляске под окном дома. Вперемежку с пьяными ласками поила она продрогшее дитя черным острым элем.

Рядом с пивной у Джо Брауна имелись еще две комнаты. Одной он особенно гордился. В огромном стеклянном шкафу находились заспиртованные останки пестрых ядовитых змей, скорпионов, пауков, тарантулов, которые могли бы украсить не один балаган на базарах английской провинции. Напоминая о беспредельных просторах сухих американских прерий, смотанные лассо лежали возле почерневшего человеческого черепа и чучел редкостных тропических птиц.

Девушки ист-эндских доков, рожденные в семьях докеров и грузчиков, с детства познавшие только лишения, попадали в руки разных Джонатанов Браунов и становились их агентами по завлечению и спаиванию клиентов.

С утра сотни проституток ждали прилива Темзы — в часы солнечного заката обычно прибывали в доки корабли. Трепетно, будто заждавшиеся жены моряков, прислушивались они к сиренам с моря, волнуясь, читали на черных заборах дока бюллетени об ожидаемых судах, выслеживали в дождь и ветер матросов у порта.

Обреченным созданиям в дешевеньких платьях ярких расцветок, скрывающим под пудрой больные, несвежие лица, обязан был Джо Браун своими сокровищами. На

столах, полках, в витринах находились разноликие будды, неуклюжие языческие божки, многоцветные вазы, слоновые клыки, укутанные в кружево резьбы статуэтки белой, желтой, черной рас. Каждая вещь имела свою историю, одинаково завершенную. За бутылку виски или пива под залог в несколько шиллингов попали к Джо Брауну эти, иногда художественные, иногда грубо поддельные, предметы.

Хитро улыбающегося деревянного Будду спас из разрушенного канонадой тысячелетнего деревенского храма и отдал Джо Брауну за две кружки пива моряк.

Голую размалеванную танцовщицу — типичный рекламный товар парижских кафешантанов — хозяин пивной выиграл в карты у угрюмого пароходного повара, приехавшего в Лондон из Марселя. Из оттопыренного кармана кабатчика всегда вылезала колода грязных карт. Джо был азартный картежник.

Но как попала к Джо грациозная поющая венецианская люстра, каменный многовековой идол с Огненной Земли, старинная ваза, увитая фарфоровыми хризантемами, с острова Формоза? Об этом хозяин пивной предпочитал не говорить.

За «музеем» Джонатана Брауна находилась полутемная комната-чулан. Там-то и собрал Бартелеми своих единомышленников — несколько французских и немецких эмигрантов. Он рассказывал им о своем смелом побеге и дальнейших планах.

У Бартелеми были звучный проникновенный голос и манеры светского человека, умеющего держать себя с достоинством в любом обществе. Односторонняя логика, упорство фанатика не могли не действовать на слушателей. Этот человек был совсем лишен гибкого мышления, но какая-то одержимость одной целью гипнотически заражала слабых. Спорить с ним было почти невозможно. Лицо синеватого оттенка, густые брови и мрачные темные глаза с желтыми белками, вспыхивавшие нездоровым блеском,— все это производило тяжелое впечатление.

— Мы должны сделать все, чтобы революция не была снова украдена из наших рук. Враг среди нас, в нашей семье. Тем легче его обезглавить. Его надо искать повсюду — за прилавком, за конторкой. Он прикидывается другом. Будем бить друзей насмерть, если они подозрительны. Самый страшный враг — это тот, кто маскируется

другом и бродит среди нас. Не верьте никому, никогда. Я клянусь вот этими, уже не раз наносившими смертельные удары по врагам, руками уничтожить диктатора буржуазии, предателя из предателей, одного из тех, кто объявлял себя другом нашим,— Ледрю-Роллена.

Кабатчик Джонатан Браун стоял у двери с видом опытного заговорщика. Слушатели сидели, завороженные мелодическим ровным голосом, страстностью и магнетической безумной силой этого странного человека.

— Всегда ли ты был таким неукротимым? — спросил молодой светлоглазый добродушный механик, работавший с Бартелеми до июня на одном заводе.

— Я был кротким щенком, как ты, пока, после участия в мятеже при Луи-Филиппе, жандарм, ударив меня, закованного, по лицу, не пробудил во мне — рабе — человека. Я убил его спустя три дня.

— Он пробудил в тебе тигра,— сказал кто-то.

— С врагами надо действовать их методами,— нашелся Бартелеми.

— Что ты намерен делать теперь?

— Попытаться освободить Бланки и других братьев из тюрьмы Бель-Иль и затем убивать тиранов и предателей. Первый в списке моей души — Ледрю-Роллен. Мы должны организовать тайное общество, найти верных людей. Без заговора нет революции. А теперь, братья, воздадим должное нашему усталому телу.

Кабатчик принес вино, и все собравшиеся не без удовольствия распили его.

— Смерть предателям и тиранам! — провозгласил Бартелеми.

В полночь все поднялись.

— Ты, Эммануэль, переночуешь здесь. Моя жена и дочь уже готовят тебе постель,— сказал Джонатан Браун, скривив лицо, что означало у него улыбку. Жена кабатчика — пухлая сводня — и хорошенькая дочь Ненси, которой Бартелеми понравился с первого взгляда, старательно разложили на нескольких ящиках тюфяк и подушки.

Эммануэль почувствовал неудержимое желание приобщить Ненси к новому заговору. Он начал с того, что крепко поцеловал ее в щеку. Ненси вспылила, но Эммануэль умел быть нежным и быстро получил прощение.

— Быть может, завтра я буду болтаться в петле виселицы,— говорил он. — Моя жизнь — вспышка пороха. Пусть же хоть мгновение да будет мое.

— Как можешь ты жить в непрерывной опасности? — спрашивала дочь кабатчика.

Из пивной все еще доносились топот танцующих, пиликание скрипки и пьяные голоса.

— Опасности и составляют самую прелесть жизни заговорщика. На каждом шагу полиция ставит нам западню, мы не выходим из тюрем или каторги. Там, а не здесь проходит наша жизнь, там наш родной дом. Может быть, завтра я буду снова на баррикаде и где-то уже лежит пуля, которая прекратит биение моего сердца. Я хочу насладиться настоящим,— нашептывал Бартелеми, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Слова твои жгут, но сердце остается холодным,— сказала Ненси, вдруг поняв душу этого человека.

Он внимательно, даже подозрительно заглянул в ее глаза, чистые и добрые.

— Ты точно кувшинка, выросшая на этом кабацком болоте,— сказал он раздумчиво,— умная кувшинка. Ты права, сердце мое холодно. Я очень устал, но и это тоже только миг. Привычка играть жизнью, точно бильярдным шаром, притупила во мне страсти, хотя этого никто не видит. Я равнодушен даже к свободе, иначе как мог бы снова рисковать тем, что попаду в тюрьму. Я безразличен к жизни, иначе не мог бы убивать во имя революции и быть готовым к казни. Если бы я мог уничтожить всех наших врагов, всех тиранов, я, быть может, опять стал бы веселым и простым парнем.

— У тебя больная душа,— жалостливо сказала Ненси и погладила его пышные волосы.

Вскоре после приезда в Англию Бартелеми встретился с Марксом и Энгельсом.

— Я знаю вперед все, что вы оба мне скажете,— начал Бартелеми раздраженно. — Но мы никогда, как это ни жаль, не поймем, видимо, друг друга. Напрасный труд уговаривать меня. Мы с вами люди одной идеи, но разных методов ее осуществления.

Саркастические линии в уголках губ Маркса, четко обозначившиеся за последние годы, стали резче. Он слегка улыбнулся.

— Вам, Бартелеми, всегда были нужны революцион-

ные приключения, экспромты. Вы хотите жить и бороться вне времени и пространства, без необходимых исторических и экономических условий. Вы неизбежно обанкротитесь. Нельзя пренебрегать всем тем, что определяет исход борьбы и победу.

— Победу,— сказал Бартелеми,— определяют порох, вовремя взорвавшаяся бомба, пуля, пробившая насмерть преступную голову.

Карл грузно подался вперед и облокотился на стол руками, пристально глядя в черные глаза говорившего.

— Феодализм и нынешний буржуазный строй — это тысячеглавые гидры,— произнес он сурово. — Уничтожьте одну голову, взамен тотчас же вырастут тысячи новых. Нужно быть умалишенным или одержимым, чтобы отрицать законы, движущие обществом. Вы чудовищно заблуждаетесь и тем вредите революции. Как средневековые алхимики, вы отрицаете теорию и обрекаете себя на бессмысленную гибель. Ваши заговоры, адские машины, пистолеты — это роковое недомыслие.

— Если идти за вами, то никогда не дойдешь до победной революции,— огрызнулся Бартелеми.

— Других дорог нет. Не мы их выдумали. Вы не остановите течения событий,— вмешался в разговор Энгельс. Его, как и Маркса, начало раздражать тупое упорство собеседника. — Вы много старше нас, Эммануэль, и петушиный задор вам не к лицу. Обуздайте свой опасный темперамент и примитесь за организацию революционных рабочих.

— Занимайтесь этим вы, мое дело повернуть течение истории так, как это нужно нам.

— Напрасные старания, история не рычаг, которым вы, механики, управляете в совершенстве. Она отбросит и раздавит вас без пощады,— сказал Маркс. Чувство досады и острого раздражения против казавшегося ему неумным пожилого человека улеглось, сменившись чем-то похожим на сострадание.

— Вы все еще живете у Джонатана Брауна в его кабаке? — спросил Фридрих.

— Зря вы не доверяете этому почтенному человеку.

— Боюсь, что и в этом выборе вас ждут только одни разочарования,— усмехнулся Фридрих.

— Ерунда! — вспылил Бартелеми. — Вместе с Джо мы прощупываем настроения рабочих, отыскиваем нужных

людей, вербуем их для работы. Кабак — отличное место для секретных свиданий. Нас никто не выследит.

— В этих мерзких притонах члены ваших групп приобретают, очевидно, навыки не столько революционеров, сколько забулдыг, прожигателей жизни. Как же это увязать? — спросил Маркс и обменялся с Энгельсом взглядом.

— Зато мы одурачиваем шпионов прусского и здешнего правительства, которыми кишмя кишит Лондон,— упорно настаивал на своем Бартелеми.

До позднего вечера то затихал, то разгорался спор Маркса и Энгельса с нетерпимым проповедником терроризма. Было совсем уже темно, когда все трое вышли на улицу и тотчас же за ними увязалось несколько шпиков. Завидев плотного, широкоплечего Маркса, по-военному прямого Энгельса, долговязого Бартелеми, они устремились за ними, словно рыбы-прилипалы, шныряющие подле могучих обитателей океана.

— Бартелеми, как я и думал, фразер,— сказал Карл жестко, когда остался наедине с Фридрихом. Слово «фразер» было одним из самых уничтожающих в его лексиконе. С людьми, которых Маркс считал краснобаями, он не хотел иметь никакого дела.

В омнибусе, кафе, читальне Карл уже много раз замечал пухленького господина с плоским бледным лицом, покрытым веснушками. Запомнилась не только его физиономия в крапинку, но и редингот, обтягивающий большой живот, и маленькая рыжая шляпа пирожком.

У Энгельса был также свой «хвост», как Виллих называл полицейских шпиков. И Маркс и Энгельс относились к полицейскому наблюдению с ироническим спокойствием. Иногда, пока Маркс и Энгельс работали вдвоем, оба сыщика жаловались друг другу на неудобство своей профессии.

— Не знаю,— говорил кругленький веснушчатый шпик,— зачем только тратит правительство деньги на этого немца.

— У полиции бывают свои причуды или очень секретные соображения.

— Я под видом агента одной фирмы был в квартире Маркса,— продолжал веснушчатый. — Это совсем бедные люди. У них одна комната и чулан, который служит так-

же спальней. Детвора не выглядит здоровой. Говоря честно, мой дом во много раз лучше.

— Ты хотел бы следить за каким-нибудь лордом или банкиром?

— Не в этом дело, но мой объект торчит иногда целый день в читальне. Можно разориться на том количестве бумаги, которую он исписывает.

— Что же ты делаешь, пока он набивает себе голову всякими науками?

— Вот в этом-то и дело. Мне приходится читать из-за него все газеты нашей империи. От этого болит голова. Только так и спасаюсь от сонливости.

— А я вот читаю, наоборот, чтобы спать. «Таймс» на меня действует очень быстро. В нашей профессии лучше выпить вовремя кружку эля.

Пока полицейские шпики изо дня в день делились своими невзгодами, Карл и Фридрих просматривали материалы для «Обозрения». Маркс заканчивал книгу о классовой борьбе во Франции. Энгельс работал над историей Крестьянской войны в Германии, он анализировал причины, ход и итоги великого антифеодального восстания крестьянства в 1525 году. Несмотря на то что Фридрих мастерски воскрешал далекое прошлое своей родины, в книге его звучали громовые раскаты современности.

Энгельс объяснил значение крестьянства в классовой борьбе. Он доказал необходимость для революционного пролетариата добиваться руководства крестьянством. Причины поражения крестьянского восстания в Германии в 1525 году крылись, по его мнению, в предательстве бюргеров — предшественников современной буржуазии — и в политической раздробленности страны.

Воскрешая могучие характеры бойцов Великой крестьянской войны, Энгельс писал о том времени, когда Германия породила выдающиеся личности, равные лучшим революционным деятелям истории всех веков.

Немецкий народ проявил в ту войну стойкость и выдержку, развил великую энергию. У немецких крестьян и плебеев зародились тогда идеи, которые приводят и поныне в содрогание потомков бюргеров. На образах людей того времени и выводах о классовой борьбе XVI века Энгельс показал сущность революционных боев 1848 и 1849 годов.

Хэмптон-корт, расположенный неподалеку от Лондона, считается одним из живописнейших мест Англии. Негустые леса и луга примыкают к запущенному строгому парку угрюмого замка Генриха VIII, этого неукротимого, порочного человека и дальновидного политика, расцветившего историю Англии буйными празднествами, турнирами, религиозными и феодальными распрями, личными преступлениями и государственными завоеваниями.

Леса и холмы, просторы полей в Хэмптон-корте напоминали немцам-изгнанникам их родину. Может, именно поэтому Просветительное общество немецких рабочих часто избирало этот красивый уголок местом пикников.

Рано утром одного из летних воскресных дней 1850 года Ленхен разбудила Карла, Женни и девочек, чтобы отправить их поскорее на загородную прогулку. Долго разглаживала она накануне вечером ленты для кос и светлые платья. Сборы были короткими. Еще раз зорким оком оглядела Ленхен маленьких Женнихен и Лауру, поправила банты в их пышных, вьющихся волосах, распрямила умелыми пальцами оборки на платьицах.

— Наши девочки и их мама обязательно затмят всех красотой на празднике,— пророчески изрекла она и затем, что-то вспомнив, стремглав бросилась к ящику комода и осторожно извлекла оттуда четыре накрахмаленных носовых платка.

— Карл, не забудь, что билеты на дорогу лежат в правом кармане твоего сюртука, туда же ты положил и кошелек. Ох уж эта рассеянность ученых людей! — приговаривала она.

— Не рассеянность, а поглощенность более важным делом,— улыбнулась Женни.

— Нечего защищать мужа. Вот когда вас всех, как безбилетных, высадят в поле, тогда и объясняйте кондуктору. Носовые платки я дала всем. Пожалуйста, не теряйте их,— тем же наставительным тоном добавила Ленхен и заботливо еще раз оглядела Карла, Женни и детей.

Был на редкость теплый, яркий день, и праздник, сопровождавшийся песнями, музыкой, играми и танцами на поляне Хэмптон-корта, удался на славу.

Вильгельм Либкнехт, недавно приехавший из Швейцарии, где напоследок просидел несколько месяцев в тюрьме, чувствовал себя как дома среди этих мало знакомых ему людей.

Здесь, на солнечной поляне Хэмптон-корта, среди празднично настроенных соотечественников отчетливо выявлялись обаяние, простота и вместе какая-то особенность Карла.

Есть люди, перед которыми нельзя не подтянуться духовно, не собрать волю и мысль, не сделаться чище и правдивее. Таким был Маркс. В его присутствии беседа становилась содержательнее, мысли окрылялись и очищались души.

Либкнехту казалось, что он не только по рассказам Энгельса и по сочинениям, но и лично давно знал Карла, хотя видел его впервые. Он заранее мысленно создал себе его живой образ. Обычно человек редко соответствует тому идеалу, который сложился в воображении другого. Маркс оказался еще более могучим, излучающим ум, веселье, волю, нежели о нем думал молодой и несколько восторженный Либкнехт.

«У него голова и могучая грива волос мифического небожителя. Какая бездна юмора и проницательности в каждом его слове»,— думал Вильгельм, прислушиваясь к беседе, которую вел Маркс, шуткам и раскатистому, заражающему смеху.

«Отец Маркс», как его звали члены Просветительного общества, рассказывал с необычайным воодушевлением, что несколько дней назад осматривал на Риджент-стрит модель электрической машины, везущей железнодорожный состав.

— Я увидел в витрине, как проворный электрический локомотив тянет множество маленьких вагонов. Бездымно, бесшумно несся вперед этот великий вестник будущего. Отныне задача разрешена, но последствия открытия еще не поддаются учету. Технический прогресс поведет в дальнейшем к экономической революции, которая неизбежно окончится политической.

Царствование пара, перевернувшего мир в прошлом столетии, по мнению Карла, окончилось; его заменит неизмеримо более революционная сила — электрическая искра.

Речь зашла о естествознании, о достижениях в других науках. Маркс принялся высмеивать тупоумие европейских реакционеров, воображающих себя победителями.

— Нет,— говорил он,— революция не задушена

насмерть, она воспрянет и победит. Наука, в частности естествознание, электрическая энергия исподволь готовят новый взрыв против мракобесов и реакционеров.

— Мне тоже казалось, когда я смотрел через стекло на модель электрического локомотива, что он похож на коня, который принес гибель священной Трое,— сказал Либкнехт и подошел к Марксу с робостью, которую всегда вызывает сознание, что перед тобой нечто выдающееся, значительно превосходящее обычные нормы. Он почувствовал неуверенность ученика перед учителем и заметно смутился.

У Маркса был проникновенный, глубокий взор; он имел обыкновение смотреть прямо, неотрывно, как бы разгадывая и проверяя внутренний мир собеседника. Либкнехт легко выдержал это безмолвное испытание. Между ними завязалась оживленная дружеская беседа. Вильгельм говорил по-немецки с резко выраженным верхнегессенским акцентом, и Карл стал, подшучивая, поправлять его.

Отыскав глазами среди играющих в жмурки у опушки леса Женни и детей, он направился туда и познакомил Либкнехта с ними. Обе маленькие девочки вскоре принялись бегать вперегонки и играть в прятки с новым знакомым.

В пять часов все участники пикника уселись на траве пить чай и закусывать бутербродами.

Ничто: ни смычок великого Паганини, ни парламентские распри, ни известие о начавшейся где-либо войне — не мешало жителям острова ровно в пять пить обязательно чай. В эти часы пустели концертные залы, палата общин, редакции газет, редела толпа на улицах и площадях. Этот обычай переняли и немецкие изгнанники. И на лугу Хэмптон-корта чай и сандвичи казались особенно вкусными.

Маркс не допускал празднословия и пересудов. Он и в беседе всегда преследовал определенную цель: либо давать — и тогда он становился преподавателем, советчиком, либо брать — тогда он сам охотно выспрашивал и слушал того, с кем говорил. Либкнехт сразу ощутил эту особенность и понял, что встреча с Марксом обогащает его.

Карл любил людей и не уставал всматриваться, искать в них хорошее, самобытное, значительное.

— Вы, кажется, филолог? — поинтересовался он, ко-

гда Либкнехт окончил рассказ о своих злоключениях после Баденского восстания и о том, как с проходным свидетельством пробирался из заключения через Францию в Лондон. — Я тоже очень увлекаюсь языкознанием,— продолжал Карл. — И, представьте, старые языки интересуют меня не меньше новых. Кстати, знаете ли вы испанский?

Вильгельм не изучал этого языка.

— Жаль, знать его филологу обязательно нужно. Это ведь язык Сервантеса, Лопе де Вега, Кальдерона. Я помогу вам, приходите ко мне. Захватите дитцевскую сравнительную грамматику романских языков и повторите основы и структуры слов.

На другой же день Либкнехт, живший неподалеку — на Черч-стрит, пришел к Марксу и стал с тех пор бывать у него почти ежедневно.

Он принес грамматику и с помощью Карла принялся изучать испанский язык. Каждый день Маркс проверял его и требовал прочесть новые отрывки из «Дон-Кихота».

Всегда порывистый, легко вспыхивающий Маркс был чрезвычайно выдержан, терпелив и спокоен, когда становился преподавателем, чем крайне удивил Либкнехта. Великолепная память, необозримая начитанность и внутренняя цельность познаний Маркса не могли не поражать всякого, кому он хотел помочь и с кем делился сокровищами, которые вмещал его необычайный мозг. Он дополнял, по-новому видел, понимал и заставлял служить себе и тем самым людям прошлое и настоящее.

Зайдя однажды на Дин-стрит, Либкнехт услышал, что в этот день к Марксу являлся Луи Блан. Женни, смеясь, рассказывала обо всех подробностях этого визита.

Дверь Блану открыла Ленхен и была чрезвычайно удивлена. Перед ней стоял франтоватый человечек, ростом не выше восьмилетнего ребенка, в высоченном блестящем цилиндре и обуви на таких высоких каблуках, каких не надевала ни одна модница.

— Доложите обо мне,— сказал он важно, с неохотой снимая головной убор, делавший его на вид более высоким.

— Итак, сам «великий» историк и политик, крошечный Луи Блан, которого за женственное личико Карл зовет Белой Луизой, пожаловал к нам. Ленхен ввела его в наши апартаменты,— рассказывала Женни, обводя

рукой маленькую квартирку, первая комната которой служила приемной, рабочим кабинетом, гостиной, столовой и спальней, а вторая — кухней и детской. — Оставшись один, Луи Блан отыскал в углу наше маленькое плохонькое зеркало и подскочил к нему. В полуоткрытую дверь я увидела презабавную сцену. Господин Блан начал прихорашиваться, любуясь собой, принимая разные позы, проверял в зеркале жесты, стараясь придать себе наиболее внушительный вид. Карл и я едва удержались от смеха, сделавшись невольными свидетелями столь необычного спектакля.

— Да, мне пришлось кашлянуть, чтобы этот актеришка перестал наконец кривляться у зеркала,— добавил Маркс. — Надо было видеть, с какой грацией, достойной разве что герцога Сен-Симона, представляющегося Людовику Четырнадцатому, склонился этот шут перед Женни. Однако я дал ему понять, что поза и фиглярство мне кажутся отвратительными, и Луи Блан вынужден был заговорить естественным, достойным тоном.

Маркс был хорошо известен среди эмигрантов Лондона, и Луи Блан рассчитывал свести с ним близкое знакомство. Он надеялся произвести благоприятное впечатление своими многосторонними познаниями, красноречием. Но Маркс слишком хорошо знал этого вертлявого, честолюбивого, непоследовательного в политике человека, принесшего немалый вред революции. Луи Блан быстро понял, что не найдет в Марксе союзника. Больше они уже не встречались.

Вскоре Либкнехт начал посещать курс лекций по политической экономии, которые читал Маркс, развивая в основных чертах цельную, совершенно новую систему.

Либкнехта все глубоко поражало в Марксе: манера необыкновенно ясно говорить, умение заинтересовать и донести до рабочего столь трудные понятия.

«Ясность языка,— думал Вильгельм,— конечно, результат ясного мышления, а ясная мысль неизбежно обусловливает ясную форму».

Во время лекций Маркс пользовался грифельной доской, на которой писал мелом формулы. Точно так же делал он и в Брюсселе, когда впервые начал преподавать в рабочем обществе политическую экономию. В конце занятий он обычно задавал вопросы, чтобы проверить не только слушателей, но и себя, а также выяснить труд-

ности в изложении, которые остались непонятными. Он был врожденным педагогом и умел говорить языком, доступным любой аудитории, какой бы она ни была по уровню знаний и подготовленности.

Иногда после лекций на Грейт-Уиндмилл-стрит Маркс и Либкнехт отправлялись на Ратбонскую площадь. Там в одном из старых домов находились тир и зал для фехтования, снятые в аренду французскими эмигрантами. Обычно они встречали тут Бартелеми. Этот маниакальный террорист, не довольствуясь тем, что был отличным фехтовальщиком, подолгу упражнялся в стрельбе из пистолета.

— Когда-нибудь,— говорил Бартелеми, сумрачно сдвинув густые темные брови,— я пробью одну за другой головы всех тиранов и предателей, вроде Ледрю-Роллена.

— Бессмыслица,— раздражался Маркс. — Этот безумец дойдет до виселицы, воображая, что приносит себя в жертву революции. Какая ограниченность мышления! — Карл, досадливо тряхнув головой, шел из тира в фехтовальный зал.

С середины XIX века в Англии стало модным брить начисто лицо. Но все без исключения французы сохраняли если не бороды, то усы, которым придавали разнообразную форму: от густых щеток до тонких, фатовато закрученных вверх стрелок. В обтягивающих костюмах и масках они выглядели очень эффектно и ловко орудовали рапирой, шпагой или эспадроном.

Со времени счастливых дней в благословенном беспечном Бонне Карл увлекался фехтованием и метко наносил удары противнику. Много раз в университетские годы участвовал он в лихих студенческих турнирах и всегда охотно выходил на поединок. Карл знал толк в отточенной шпаге и считал фехтование демонстрацией силы, ловкости и отваги.

После долгого перерыва он сначала чувствовал себя не совсем уверенным, состязаясь с французами, тем более что вначале не знал их приемов. Но, скоро освоясь, получал преимущество благодаря стремительной атаке и редкой находчивости. Карл припомнил приемы знаменитого в Бонне фехтовальщика Медведя и, подражая ему, ловко отступал, заманивая противника, и с удивительной для его комплекции и возраста легкостью носился по залу, пока не добивался победы в горячей схватке.

Вильгельм, который был значительно моложе Маркса, фехтовал тоже хорошо, но уступал ему в мастерстве и часто после долгого состязания бывал вынужден сдаться, не выдерживая неукротимого натиска.

Утомленные, возбужденные, в отличном настроении покидали они Ратбонскую площадь и выходили на расположенную рядом чинную Оксфорд-стрит.

Однажды вечером, ввиду редкой в Англии прекрасной погоды, Либкнехт уговорил Маркса взобраться на открытый империал омнибуса и прокатиться в сторону живописного зеленого Хэмпстед-хис, чтобы подышать немного свежим вечерним воздухом. На одной из остановок около пивной столпились люди, и чей-то женский голос отчаянно вопил: «Помогите, убивают!»

Мгновенно Карл, а за ним и Вильгельм спрыгнули с омнибуса на мостовую и очутились в самой гуще народа. Какая-то пьяная женщина, визжа, отбивалась от мужа, который, не жалея тумаков, тащил ее прочь. Мужья, избивающие жен, были в Лондоне не в диковинку и всегда вызывали ярость Маркса. Услыхав женские вопли, он бросился вперед, желая защитить жертву. Либкнехт последовал за ним. Но пьяная женщина тотчас же встала на защиту своего супруга и, подняв кулаки, перешла в наступление, тесня своих защитников, которым пришлось ретироваться.

— Это могло кончиться хуже. Вот уж поистине, где двое дерутся, третий не суйся. Но, признаюсь, мужа, бьющего жену, я и впредь готов буду избить до полусмерти,— сказал, смеясь, Маркс.

— Да, но мы могли дорого заплатить за филантропическую попытку вмешательства. Ваш порывистый характер порой бывает опасен,— заметил Либкнехт.

Недолго длилась относительно беспечная пора в жизни Маркса. Есть странная закономерность в нашествии бедствий, когда для них открылись двери дома. Как змеи перед холодом, ползут они полчищами. С нищеты начинаются болезни, смерть, мелкие дрязги, отравляющие душу, обнажается сущность людей, разрушаются иллюзии. Первыми жертвами бедности становятся самые слабые.

Нищета изнуряет мужчину, калечит женщину, убивает детей.

Женни металась, видя, как хиреет Муш, гибнет маленький Генрих, часто хворает Карл.

Каждую неделю домохозяйка приносила ей счет за квартиру. Одна комнатка и каморка, какой, по сути, была вторая, стоили таких денег, за которые в Трире можно было снимать огромный дом. Цены в столице королевы Виктории были невероятно высокие. Забота о хлебе насущном для шести человек мучила Карла и Женни своей трагической неразрешимостью. Пришлось просить Иосифа Вейдемейера продать последние ценности семьи — фамильное серебро, заложенное во Франкфурте-на-Майне. Так как не было денег для выкупа его из ломбарда, Карл предложил занять их с немедленной отдачей после продажи.

Все свои деньги Маркс израсходовал на нужды революции и остался к этому времени нищим. Энгельс не имел возможности помогать ему, так как сам нуждался. С отцом своим, текстильным фабрикантом, он был тогда в ссоре и поэтому не переезжал в Манчестер, ожидая, чтобы старик сам попросил его поступить на службу в свою контору.

Маркс заканчивал трудно дававшееся ему письмо к Вейдемейеру, когда в комнату ворвались с веселым смехом две девочки и тотчас же взобрались на колени отца. Ни лондонские туманы, ни мрачная Дин-стрит не были в состоянии стереть румянец и ослабить блеск глаз этих здоровых, жизнерадостных малюток. Они потребовали сказок, и Карл, чья воля в каждом деле поражала его друзей и врагов, покорно подчинился их требованиям. Не задумываясь, он принялся рассказывать о девочках, которые не слушались старших, чуть не попали из-за этого под омнибус, заболели, выпив воды без спросу из бочки в сквере, и в конце концов в наказание очутились у злого волшебника.

— Продолжение завтра,— сказал Карл и осторожно опустил Женнихен и Лауру на пол.

Девочки, все еще находившиеся во власти сказки, не решились спорить.

Хитро улыбнувшись, Карл сказал:

— Вы ведь не хотите попасть в мешок скверного колдуна?

Они действительно этого боялись. Затем он вернулся к письму, в котором попросил Вейдемейера продать все серебро, но сохранить маленькие нож, вилку, кубок и тарелочку, подаренные шестилетней Женнихен.

В эти гнетущие дни Карл совместно с Фридрихом работал с удвоенной энергией. Они писали рецензии на новые книги. Издавна обоих интересовал Томас Карлейль. Он был единственным английским писателем, на которого оказала значительное влияние немецкая литература.

— Что ж,— заметил Карл,— мы хотя бы в порядке вежливости должны обратить внимание на его памфлеты.

Томас Карлейль после февральской революции во Франции стал ярым ее врагом. Он попытался утвердить культ отдельных героев, противопоставляя их народу. С презрительным пренебрежением отрицал он роль массы. Эти-то высказывания Карлейля заставили Маркса и Энгельса вооружиться пером для смелой и резкой отповеди.

Мелкобуржуазные демократы, их историки и литераторы придавали чрезмерное значение роли отдельной личности. Юлий Цезарь и Наполеон, римские папы и всевозможные законодатели заслоняли для них истинного творца человеческой истории — народ. Преклонение перед отдельными лицами было свойственно и некоторым приверженцам Вейтлинга.

Карл и Фридрих понимали, какая опасность таится в этом противопоставлении отдельной личности трудовому народу.

Прежде чем писать статью, Карл и Фридрих весь вечер проговорили о Карлейле.

— Каковы его идеи, таков и стиль. В прошлых своих работах он находил новые слова в английском языке и дерзко переплавлял устарелые обороты и образы. Его стиль был часто слишком высокопарен, но подчас блестящ и уж, во всяком случае, всегда оригинален. А вот теперь совсем не то. Послушай-ка, как плохо написаны его «Современные памфлеты». Это явный регресс,— сказал Маркс и прочел вслух несколько абзацев.

— Культ гения у Карлейля в его последних брошюрах покинут гением, остался один культ,— добавил насмешливо Энгельс.— Книга Карлейля начинается с заявления, что современность есть дочь прошлого и мать будущего. Это неплохо сказано, но в новой эре, начало

которой Карлейль видит сегодня, первым значительным явлением отмечен — кто бы ты думал? — папа Пий Девятый, который с высоты Ватикана возвещает «закон правды». Какой продуманный идиотизм! Какое сознательное недомыслие!

Культ одной личности. Как выгоден он тем, кто рассчитывает получить титулы и богатство. Но сколько неисчислимых бед несет он народу. Произвол, каприз и прихоть постепенно узакониваются, и вот уже всех тех, кто творит историю, подменяет одна воля, одно имя, доброе или злое, кто может предугадать это? Народ вначале незаметно подталкивают к неведомой бездне, какой является всегда характер человека, получившего бесконтрольную власть в государстве. Десятки случайных влияний, подозрительность и распущенность, усиливающиеся вместе с самовластием, решают подчас судьбы не только отдельных зависимых людей, но и всего народа.

Работая над статьей о Карлейле, Карл и Фридрих отметили цитаты в рецензируемой книге, которые уточняли ту мысль, что обожествлением отдельных личностей и почитанием их Карлейль усугубляет все гнусности буржуазии, он видит в рабочих толпу, лишенную разума, которая должна подчиниться людям, самой природой наделенным силой власти. Карлейль узаконивает деление общества на рабов и господ. Напыщенными, восторженными фразами о героях он оправдывает угнетение народных масс, пытаясь лишить их подлинной и великой исторической значимости.

Покончив с памфлетами Карлейля, Карл и Фридрих принялись за рецензию на печатную клевету Шеню и Делаода — двух полицейских французских провокаторов.

В ней снова коснулись волновавшей их мысли о характерах и значимости тех, кто стал вождями революции, тайных обществ и государств. «Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во главе партии движения,— писали Маркс и Энгельс,— ...были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде. Во всех существующих описаниях эти лица никогда не изображаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих восторженно преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения».

Карл и Фридрих неистово сражались с представителями мелкобуржуазного эмигрантского болота. Зловонная клевета отравляла воздух, мешала их большому делу.

Женни не раз приходилось успокаивать крайне раздраженного мужа. Когда дрязги и ложь касались Энгельса, ярости Карла не было предела.

— Всякие мерзавцы распространяют в немецких газетах слух, что наш Комитет помощи изгнанникам сам проедает эмигрантские деньги. Человеческие отбросы, вроде Теллеринга, бесчестно клевещут при этом на Энгельса. Я вызвал бы кое-кого из них на дуэль, если бы они были достойны этого,— гремел Карл. — Однако я еще встречусь с ними на ином поле и сорву с них маску революционной честности. Мир упорно отказывается замечать этих моллюсков, и они готовы с помощью грязной клеветы и травли тех, кого все уважают, привлечь и к своей особе внимание. Зависть, мелочность, ничтожество — вот что порождает всю их возню.

Он вскакивал с кресла и шагал из угла в угол маленькой комнаты, выкуривая одну за другой крепкие пахитоски.

— Этот Теллеринг,— сказал он,— лебезил передо мной и пытался навязать мне роль демократического далай-ламы, этакого нового владыки будущего. А когда я наотрез отказался, высмеяв подобную нелепость, он проделал немало всяческих трюков, пока наконец не обрушился на Фридриха.

Узнав о мерзком ударе в спину и попытке опозорить Комитет помощи, Энгельс писал Вейдемейеру:

«...импотентные «великие мужи» мещанства оказались настолько подлыми, чтобы распространять подобные гнусности. Наш Комитет уже три раза представлял отчеты, и каждый раз мы просили посылавших деньги назначить уполномоченных для проверки книг и расписок. Разве какой-нибудь другой комитет это делал? На каждый сантим у нас имеется расписка. *Ни один* член Комитета не получал никогда ни одного сантима...»

Карл и Фридрих шли к цели. Но время и силы, нужные для больших дел, приходилось тратить подчас впустую, и сознание этого угнетало обоих.

Что может принести отдохновение и творческий покой душе? Чем глубже духовный мир человека, тем шире

простор для его мысли, тем легче поднимается он над мелочами, которые, как тина, грозят засосать его.

Вся противоречивая планета постоянно оставалась перед умственным взором Маркса и Энгельса, и по сравнению с этой громадой чуть видимыми пузырьками на болоте были дрязги Теллеринга и его группки.

Промышленный кризис 1847 года, подготовивший февральское восстание, в это время в большинстве европейских стран прекратился и сменился бурным подъемом. Работая над отчетами, прессой, экономическими обзорами, Маркс и Энгельс пришли к выводу, что их былые надежды на скорую революцию не имеют под собой в данное время никакой почвы. Этот вывод потребовал новой боевой тактики.

«При таком всеобщем процветании,— писали Маркс и Энгельс,— когда производительные силы буржуазного общества развиваются настолько пышно, насколько это вообще возможно в рамках буржуазных отношений, о действительной революции не может быть и речи».

Они утверждали, что подъем революционной волны будет следствием нового кризиса, который неизбежен, как и сама революция.

Совсем иными были настроения Виллиха и только что вернувшегося из Германии Карла Шаппера. Оба они увлекли за собой многих лондонских членов Союза. Как узник, заточенный в тюрьме, теряя ощущение действительности, постоянно ждет и верит в освобождение и строит несбыточные планы, так обреченные на изгнание немецкие революционеры жаждали нового восстания и считали, что могут ускорить его по своей воле. Они рвались в бой, который неизбежно закончился бы поражением, и требовали действий, не считаясь с экономической и политической обстановкой. Это было опасное безумие, похожее на то, которое обуяло Гервега и обрекло затем на гибель горсточку храбрецов его отряда.

Тщетно Карл и Фридрих порознь и вместе со своими сторонниками пытались образумить Виллиха и Шаппера. Ничто не помогало. Доводы разума и логики только ожесточали их. Они не были ни достаточно образованны, ни предусмотрительны. Жизнь в эмиграции приводила их в отчаяние. Раскол среди членов Центрального комитета Союза становился неотвратимым, осложняя и без того трудные дни изгнанников.

Конрад Шрамм пришел к Марксу обедать, чтобы затем вместе с ним идти на заседание. Ничто в Конраде Шрамме не напоминало купца. Он скорее походил на романтического поэта. Худое лицо его было обрамлено копной длинных, вьющихся волос, и глаза, очень ясные и блестящие, смотрели дерзко и мечтательно. Вспыльчивый, прямолинейный, подверженный смене настроений, он был страстно предан идее коммунизма и самому Марксу. Женни и дети любили Шрамма, радовались его посещениям. В их квартирке молодой человек чувствовал себя непринужденно и легко.

Карл встречал его обычно шутливым приветствием:

— Салют, юный романтик коммунизма, какие виды на погоду?

— Если вы имеете в виду сегодняшнее заседание, то я предвижу, какой ураган словесной пыли поднимет Виллих.

— Да, у Виллиха ведь, как он любит повторять, все всегда просто. Он шныряет по поверхности, не мучая себя ни изучением исторического и экономического материала, ни вообще глубоким мышлением. Он верит в наитие свыше, а для этого лучше иметь пустую башку. Таких демократических простачков сейчас появилось много. Шаппер уперся как осел. Это вполне первобытный коммунист, как его называет Энгельс. Беда в том, что, запутавшись вместе с Виллихом, он вообразил, что желаемое может сделаться действительным по мановению волшебной палочки.

После более чем скромного обеда и крепкого черного кофе Карл и Конрад собрались уходить. Женни настояла на том, чтобы Маркс взял с собой свой большой черный зонт.

Был ясный тихий день, каких немало бывает в сентябре на острове. Природа точно хочет дать людям возможность собрать силы, чтобы противостоять приближающимся туманам и слякоти. Но погоде в Лондоне нельзя довериться. И действительно, не успели они пройти по узким улицам квартала Сохо до площади Пиккадилли, где была стоянка омнибуса, как начался проливной дождь.

На заседание Центрального комитета явилось девять человек, в том числе Энгельс, Генрих Бауэр, Эккариус, Шаппер и Виллих.

Маркс заговорил первым. Он предложил перевести

Центральный комитет из Лондона в Кёльн, поручив кёльнскому округу создать новый Центральный комитет. Решение должно было быть сообщено немедленно членам Союза в Париже, Бельгии, Швейцарии и Германии. Далее Маркс настаивал на выработке новым Центральным комитетом устава и создании в Лондоне двух округов Союза коммунистов, не поддерживающих отныне друг с другом никаких сношений и связанных только тем, что оба принадлежали к одной партии.

— Мои мотивы,— сдерживая возрастающее возбуждение, продолжал говорить Маркс,— следующие: на место универсальных воззрений «Манифеста» ставится немецкое национальное воззрение, льстящее национальному чувству немецких ремесленников. Вместо материалистического воззрения «Манифеста» выдвигается идеалистическое. Вместо действительных отношений главным в революции изображается воля. В то время как мы говорим рабочим: вам, может быть, придется пережить еще пятнадцать, двадцать, пятьдесят лет гражданских войн для того, чтобы изменить существующие условия и чтобы сделать самих себя способными к политическому господству, — им вместо этого говорят: мы должны тотчас достигнуть власти, или же мы можем лечь спать. Подобно тому как демократы употребляют слово «народ», так употребляется ныне слово «пролетариат»,— как пустая фраза. Для того чтобы претворить эту фразу в жизнь, пришлось бы объявить всех мелких буржуа пролетариями, то есть... представлять мелких буржуа, а не пролетариев. На место действительного революционного развития пришлось бы поставить революционную фразу.

— Вы не станете отрицать, Маркс, что без воли нет победы? Спросите любого военачальника. Все, право, так просто. Надо разойтись, нам не по пути! — зычно крикнул Виллих.

Маркс посмотрел на него уничтожающим взглядом и продолжал, повернувшись к Шапперу, который ерзал на стуле и лихорадочно записывал что-то.

— Эта дискуссия наконец ясно показала, какие принципиальные разногласия составляют подоплеку личных раздоров, и теперь уж пришло время принять меры,— не отвечая Виллиху, говорил далее Маркс. — Именно эти противоположные утверждения и стали боевыми лозунгами обеих фракций; некоторые члены Союза называли

защитников «Манифеста» реакционерами, пытаясь таким путем сделать их непопулярными, что, впрочем, им совершенно безразлично, ибо они не стремятся к популярности... Однако ясно само собой, что оставаться вместе было бы просто вредной тратой времени. Шаппер часто говорил о разрыве,— что ж, я отношусь к разрыву серьезно. Я думаю, что нашел путь, на котором мы разойдемся, не вызывая раскола партии.

— Ну, а если мы думаем по-иному? Как это называется — изменой рабочему делу или борьбой за него? Мы не боимся раскола,— прорычал Шаппер.

— Призываю вас к порядку,— властно вмешался председатель и поднял маленький колокольчик.

Морщинка на переносице Маркса углубилась, черные с проседью волосы растрепались и, как грозный нимб, окружали лицо. Снова заговорил Шаппер. От волнения он побледнел и непрерывно вытирал потный лоб фуляровым платком.

— Я полагаю, что новая революция выдвинет людей, которые будут вести себя лучше, чем те, кто пользовался известностью в тысяча восемьсот сорок восьмом году. Я высказал подвергшийся здесь нападкам взгляд потому, что я вообще с энтузиазмом отношусь к этому делу. Речь идет о том, мы ли сами начнем рубить головы или нам будут рубить головы. Во Франции настанет черед для рабочих, а тем самым и для нас в Германии. Не будь этого, я, конечно, отправился бы на покой, и тогда у меня было бы иное материальное положение. Если же мы этого достигнем, то сможем принять такие меры, которые обеспечат господство пролетариата. Я являюсь фанатическим сторонником этого взгляда. Но Центральный комитет хотел противоположного. Однако если вы больше не хотите иметь с нами дела, что ж, тогда расстанемся. В предстоящей революции меня наверняка гильотинируют, но я поеду в Германию. Смерть так смерть!—Шаппер откашлялся и опустил глаза.— Я давнишний друг Маркса, но если придется идти на разрыв, что ж, тогда мы пойдем одни.

— Что касается энтузиазма,— вновь заговорил Маркс,— то немного его требуется, чтобы принадлежать к партии, о которой думаешь, что она вот-вот придет к власти. Пролетариат, если бы он пришел к власти, проводил бы не непосредственно пролетарские, а мелкобур-

жуазные меры. Наша партия может прийти к власти лишь тогда, когда условия позволят проводить в жизнь *ее* взгляды.

Маркс привел в пример Луи Блана, его провал и, обведя зорким взглядом всех присутствующих, спросил, почему же не высказывается никто из остальных членов меньшинства.

Виллих демонстративно поднялся и молча покинул помещение.

Спустя несколько дней на собрании Просветительного общества Шаппер снова отстаивал свою точку зрения. Он призывал немедленно приняться за конспиративную работу и делать революцию.

— Безумцы! — закричал Конрад Шрамм, теряя терпение от пустозвонного многословия выступившего затем Виллиха.— Вы требуете немедленной революции или грозитесь уйти на покой. Вы призываете нас к немедленному вооруженному восстанию, лишь бы проливать кровь, заранее зная о поражении, только ради вашего нетерпения. Вы предлагаете игру в революцию и вредной болтовней вносите сумятицу в наши ряды вместо серьезного революционного дела.

— С каких пор всякие купцы будут учить нас, истинных бойцов, тактике? — бросаясь вперед и грозя кулаками Шрамму, завопил тощий Виллих.— Я командовал революционной армией на фронте, а вы, Шрамм, наверно, прятались в это время под прилавком. Трусы, здесь собрались трусы!

— В погоне за успехом вы уже готовы выносить помойные ведра мелких буржуа, прикрываясь при этом громкой фразой,— раздался голос портного Эккариуса, сторонника большинства Центрального комитета.

Все вскочили со своих мест.

— Позор меньшинству, ведущему нас в такую трудную пору к расколу! Мы не позволим этого. Виллих, Шаппер и компания будут нести отныне ответственность за то, что нет более должного единства в Союзе коммунистов, а в нем — наша сила! — повысил голос Энгельс.

В это время, не жалея бранных слов и наступая друг на друга, в углу комнаты схватились в крайнем раздражении Конрад Шрамм и Август Виллих. К концу словесной перепалки Виллих заявил, что вызывает на дуэль

самого Маркса, вождя партийного большинства. При этом он не поскупился на клеветнические выпады.

— Я требую немедленной сатисфакции за оскорбление Маркса и моих друзей. Вы — раскольник и подлый лгун, к барьеру! — задыхаясь и кашляя, заявил Шрамм.

— Если бы вы не потребовали этого первым, я вынудил бы у вас согласие на дуэль пощечиной. Мы будем стреляться на пистолетах! — заорал Виллих, который был превосходным стрелком и попадал на расстоянии двадцати шагов в любую мишень.

Несмотря на все попытки Маркса и Энгельса предотвратить дуэль, она состоялась вблизи Антверпена на берегу моря. Секундантом Виллиха был Бартелеми.

На Дин-стрит, в семье Маркса, в предполагаемый день дуэли царило большое волнение. Все боялись за жизнь Конрада Шрамма.

Неожиданно, когда Карла не было дома, раздался резкий стук во входную дверь, и перед Ленхен, бросившейся открывать, появился Бартелеми в черной пелерине и мягкой широкополой шляпе.

— Вы из Бельгии? Какие новости о Шрамме? — спросила Женни.

Низко поклонившись, Бартелеми ответил замогильным тоном:

— Пуля в голову!..— и тотчас же удалился.

Женни, потрясенная столь трагической вестью, бросилась искать мужа, Либкнехта и всех остальных друзей Шрамма. Никто не сомневался в его гибели.

На другой день, когда на Дин-стрит все были безутешны, внезапно вошел сам мнимоумерший. Голова его была забинтована, настроение бодрое. Оказалось, что Шрамм был только контужен и потерял сознание. Не разобрав, в чем дело, Виллих и Бартелеми распространили слухи о смертельном исходе дуэли.

Большинство членов Центрального комитета с Марксом и Энгельсом во главе постановили перенести местопребывание Центрального комитета Союза коммунистов в Кёльн. К сторонникам Виллиха и Шаппера вскоре присоединились несколько французов, в том числе и Бартелеми.

Не в силах дольше видеть лишения в семье Карла, Фридрих поступил конторщиком в фирму отца и переселился в Манчестер. Без его помощи шесть человек на

Дин-стрит были обречены на медленную гибель, а Карл Маркс не мог бы довести до конца ни одного задуманного труда: помимо текущей работы, он продолжал собирать материалы для книги по политической экономии.

В хмурый, серый, как пасть камина, день внезапно умер Фоксик. За несколько минут до смерти он смеялся и шалил. Вдруг личико его исказилось, по телу прошли конвульсии, которыми он страдал с рождения, и дыхание остановилось.

В одно мгновение в комнате, где играли дети, чинила белье Ленхен и писала письма Женни, все переменилось. Смерть впервые ворвалась в эту крепко спаянную любовью семью.

— Это родимчик. Его убил паралич! — закричала Ленхен.

Мать остекленевшими глазами смотрела на мертвое тельце.

— Мой мальчик, дитя мое! — шептала она, прижимая его крепко к себе, желая отогреть и оживить своим теплом.

Муш и девочки горько зарыдали, хотя меньше всех понимали, что именно произошло. Вопли Ленхен и стоны матери испугали их. На крики и плач прибежал Карл. Сначала он не мог понять, какое горе обрушилось на него.

— Наш маленький заговорщик, как это могло случиться? — растерянно повторял он, но вдруг режущая боль пронзила его. Это был испуг за Женни. «Ему, бедняжке, уже все равно, он ничего не ощущает, надо помочь ей»,— пронеслось в мозгу.

Смерть Генриха ошеломила Женни. С мертвым ребенком на руках сидела она, глядя остановившимися, широко раскрытыми сухими глазами перед собой.

— Это я умерла,— едва выговорила она запекшимися губами.

Карл, едва сдерживая слезы, нежно коснулся ее руки.

— Побереги себя ради нас. — Он указал на испуганно жмущихся друг к другу детей.

Ленхен горько плакала, опустив голову на руки. На полу валялся моток шерсти и крючок, которым она вязала носочки Генриху.

Женни взглянула на побледневшее личико мертвого мальчика. Он казался ей живым и спящим. Мать

коснулась губами лобика, и холод его, особый, ни с чем не сравнимый холод смерти, еще раз подтвердил ей, что все навсегда кончено. Ужас потери потряс Женни. Она закричала так протяжно, как в родах, когда давала ему жизнь. И тотчас же внутри ее забилось, затрепетало протестующе другое живое существо — ребенок, которого она в себе носила.

«Погибло одно мое дитя, а сейчас я, может быть, убиваю другое»,— подумала она.

Карл, проникновенность и чуткость которого были постоянным счастьем для Женни, сказал ей ласково:

— Пожалей маленького, который скоро родится. Я его уже так люблю. Побереги себя для живых.

Но слова не заклятье для страдания. Скорбь окутала дом Карла и Женни.

Маркс писал Энгельсу 19 ноября 1850 года:

«Дорогой Энгельс!

Пишу тебе только несколько строк. Сегодня в 10 часов утра *умер* наш маленький заговорщик Фоксик — внезапно, во время одного из тех припадков конвульсий, которые у него часто бывали. Еще за несколько минут до этого он смеялся и шалил. Все это случилось совершенно неожиданно. Можешь себе представить, что здесь творится. Из-за твоего отсутствия как раз в данный момент мы чувствуем себя очень одинокими...

Твой *К. Маркс*».

Нет большего горя, нежели смерть детей. Генрих был тем более дорог матери, что она спасала его жизнь в самых тяжелых условиях, ценой величайших усилий. Ее терзала мысль, что ребенок пал жертвой материальных лишений, нужды. Она кормила его сама грудью и ухаживала за ним, не щадя себя, днем и ночью. Он был ей особенно дорог и оттого, что она вложила в него так много забот и сил.

Женни впала в состояние нервного истощения и возбуждения, не спала, не ела и не хотела отдать мертвого ребенка, когда пришло время его хоронить.

— Моя скорбь так велика,— шептала она бескровными губами.

Ленхен, лицо которой распухло от слез, беспокоясь за Женни, принялась снова за домоводство и уход за

всеми взрослыми и маленькими членами семьи. Она же взяла на себя все заботы по похоронам.

Карл стойко скрывал свою печаль, стараясь утешить жену. Все пережитое, глубоко спрятанное в сердце, вскоре свалило Карла, и он серьезно заболел. В ответ на письмо Энгельса, полное искреннего сочувствия по поводу смерти сына, Женни спустя несколько времени, овладев собой, писала в Манчестер:

«Ваше дружеское участие в связи с постигшим нас тяжелым ударом — потерей нашего маленького любимца, моего бедного, стоившего мне стольких страданий крошки,— принесло мне большое облегчение... Моему мужу и всем нам сильно недоставало Вас, и мы часто тосковали без Вас. Все же я рада, что Вы уехали отсюда и находитесь на верном пути к тому, чтобы стать крупным хлопчатобумажным лордом... Но самое лучшее при этом все же то, что Вы, несмотря на торговлю хлопком и прочее, останетесь прежним Фрицем и, говоря языком трех архидемократов, Фридриха-Вильгельма (первого), Кинкеля и Мадзини, «не отойдете от *священного дела свободы»*. Карл уже написал Вам кое-что о здешней грязи... рыцарь... Виллих Гогенцоллерн увеличил свою благородную свиту несколькими негодяями и разбойниками с большой дороги... На недавнем польском банкете, который сообща устроили французские, немецкие, венгерские и польские *crapauds* [1] (Виллих, Фиески, Адан и др.), дело дошло до драки. Больше мы ничего не слыхали об этой шайке.

Вчера вечером мы были на первой лекции Эрнеста Джонса по истории папства. Его лекция была очень хороша и для англичанина является прямо выдающейся; для нас, немцев, прошедших муштру Гегеля, Фейербаха и т. д., она была не вполне на высоте. Бедный Гарни был при смерти; у него был нарыв в дыхательном горле. Ему еще нельзя говорить. Английский врач дважды оперировал его и не попадал на больное место. Его «Red Republican» [2] превратился в «Friend of the People» [3]. Ну, на сей раз хватит. Дети много говорят о дяде Ангельсе,

---

[1] Обыватели *(англ.)*.
[2] «Красный республиканец» *(англ.)*.
[3] «Друг народа» *(англ.)*.

а маленький Тилль, следуя Вашим уважаемым инструкциям, дорогой г-н Энгельс, великолепно поет песню о «старой шубе и лихом венике».

На рождество, я надеюсь, мы Вас увидим».

Виллих и Шаппер нашли сторонников главным образом в Просветительном обществе среди немецких ремесленников. Тогда Маркс, Энгельс и их друзья решили выйти из этой организации.

В ноябре 1850 года в Гамбурге вышел последний, сдвоенный, пятый-шестой, номер «Новой Рейнской газеты». Издание журнала отныне прекращалось. Средств на издание больше не было.

В последнем политико-экономическом обзоре за полугодие Маркс и Энгельс, говоря о причинах поражения революции, связывали их с экономическим подъемом в главных европейских государствах.

В это же время Мадзини, Ледрю-Роллен, Руге в своем воззвании писали, что сумерки, опустившиеся на Европу, объясняются честолюбием и завистью отдельных вождей и их взаимной враждой. Свою программу они излагали как веру в свободу, равенство, братство, семью, общину и видели спасение в общественном строе, вершиной которого является бог и его законы, а основанием — народ.

В последнем номере «Обозрения» член Союза Эккариус писал о положении портняжного дела в Лондоне. Он работал закройщиком в одной из городских мастерских и сумел увидеть, что вытеснение большими фабриками мелких ремесленных мастерских является положительным историческим признаком. Ученик Карла и Фридриха, он понял то, чего не могли постигнуть многие ученые-экономисты и «пророки», вроде Вейтлинга.

В развитии и процветании крупной буржуазии Эккариус увидел приближение пролетарской революции.

Материалистическое понимание современности скромным портным было большой радостью для Карла. Он восторженно приветствовал его.

— Еще до того как пролетариат завоюет свою победу на баррикадах и на полях сражений, он возвещает о наступлении своего господства рядом интеллектуальных побед,— заявил Маркс.

Со времени отъезда Энгельса в Манчестер между двумя друзьями завязался живой обмен в письмах мыслями, планами, оценками событий и людей.

В одном из писем о Луи Блане и Ледрю-Роллене Маркс писал Энгельсу:

«Луиза никогда не импровизирует своих речей. Он от слова до слова пишет свои речи и заучивает их *наизусть* перед зеркалом. Ледрю же, со своей стороны, всегда импровизирует, и в важных случаях делает себе некоторые заметки фактического характера. Совершенно независимо от их внешнего различия, Луиза уже по одному этому совершенно неспособен *рядом* с Ледрю произвести малейшее впечатление. Естественно, что он должен был ухватиться за всякий повод, который позволил бы ему избегнуть сравнения с этим опасным соперником!

Что касается его исторических работ, то он создает их, как А. Дюма свои фельетоны. Он всегда изучает материал только для следующей главы. Таким образом, появляются книги вроде «Истории десяти лет». С одной стороны, это придает его изложению известную свежесть, ибо то, что он сообщает, для него так же ново, как и для читателя, а, с другой стороны, в целом это слабо.

Это о Л. Блане».

Маркс и Энгельс были великими стилистами.

Стиль всегда неповторим, как отпечатки пальцев человека, как его лицо и выражение глаз. Никогда на протяжении существования людей не появлялись на Земле два одинаково мыслящих существа. Неисчерпаемы творческие силы природы. И так же многообразен и несхож с другими стиль человека, этот своеобразный отпечаток его души.

Величайшее правдолюбие, отвращение ко всему искусственному, предельное ощущение человеческого достоинства и внутренней честности особенно четко и явно выступают из различного и вместе с тем тождественного стиля Маркса и Энгельса.

Язык Маркса более порывист, жгуч, нежели у Энгельса, чей слог поражает изяществом и логической непринужденностью. В своих письмах Энгельс реже пользовался иноземными словами, в то время как в письмах Маркса их бывало много, и он любил перемешивать немецкий язык с английским и французским. Но особенно

мастерски он владел родным языком. Оба друга полностью подчинили слово мысли. Сатирическая зарисовка, меткая характеристика, неожиданное сравнение, точный образ перемежаются в их произведениях и письмах с всесторонним анализом предмета и совершенными по форме и сути выводами.

Глава вторая

ОСТРОВ В ТУМАНЕ

Был теплый ветреный летний день. Фридрих после скучного рабочего дня в конторе бумагопрядильной фабрики «Эрмен и Энгельс» шел по улицам Манчестера. Старый промышленный город был грязен. Ветер поднимал и кружил тряпки, бумагу и мелкий сор, валявшийся в изобилии на мостовой.

По знакомым переулкам Энгельс направился на окраину и очутился на большой дороге, соединяющей Манчестер с промышленными городами Бирмингемом и Шеффилдом, а также с пастушьим Йоркширом и далекой Шотландией.

Северный путь растянулся посерелым свитком между городами, храня невидимые отпластования прошлого. Когда-то гладкие римские плиты покрывали здесь пыльную землю. Потом по неровным камням пробегали кони революционной армии Кромвеля, двигавшейся мимо Манчестера на север.

Энгельс думал об этом, вдыхая запах трав. По дороге мимо него шумно проезжали в близлежащие селения почтовые дилижансы, удобные кареты и нескладные омнибусы.

Фридрих был страстным охотником. Вдыхая широкими ноздрями доносящийся издалека свежий аромат леса, он подумал, как хорошо будет зимой отправиться, с ружьем и сумкой за плечами, на охоту за лисами и мелким зверем.

Обычно по вечерам прогулка Фридриха длилась не более двух часов. Он возвращался домой легким шагом тренированного альпиниста мимо однообразных домов зажиточных горожан. Небольшие палисадники были обнесены добротными решетками, на овальных клумбах

цвели цветы. Дорожки, посыпанные гравием, вели к нарядному крыльцу. Из-за густых занавесок пробивался на улицу мягкий свет.

В полутьме резче выделялись контуры старой ратуши и пуританского храма на главной площади города. Вяло плескалась вода в канале.

Во всех английских городах, свято хранящих давние традиции, прошлое воскрешается не конструктивно по отдельному камню, а по всем деталям живой архитектуры и быта.

Дом, где жил Фридрих, был обычным двухэтажным коттеджем, воспроизводящим в улучшенных формах жилище феодальных времен, с лестницей внутри, ведущей на жилой чердак. Там в новые времена располагались маленькие спальни. Дом этот, с узкой кирпичной трубой на черепичной покатой крыше, недавно построенный, являлся точной копией такого же, существовавшего сотни лет назад.

В Манчестере, как и во всех городах острова, фантастически смешались века. Разве не средневековьем навеяна идея каминов? Точно так же тепло очага с тлеющими поленьями собирало вокруг себя семью скотовода или ткача в XIII—XIV веках, как привлекал людей камин в пору королевы Виктории. В маленьких домиках и в угрюмо-величественных усадьбах безмерно богатых английских лордов под каменным выступом разводятся костры, подобные тем, на которых бесшабашный кутила Яков I, сын Марии Стюарт, король Соединенного Англо-Шотландского государства, задавая пиры, велел поджаривать кабанов, оленей, медведей — трофеи охоты, подношения придворных, крестьян.

Фридрих вошел в маленький дом, который недавно снял в Манчестере. Мери Бёрнс была в отъезде. Старуха — владелица домика — ежедневно убирала комнаты Энгельса и готовила ему пищу. У нее было отталкивающе безобразное лицо. Большой угристый нос, красноватые глаза одряхлевшей птицы, загнутый подбородок, костлявая шея вызывали в памяти Фридриха представление об одной из макбетовских ведьм. Но обладательница столь чудовищной внешности была совсем не таким уж зловещим существом. Она состояла членом нескольких благотворительных обществ, верила, что бог — это Красота и Разум, и завещала все достояние своему священнику и

дому призрения бездомных собак. Фридрих называл старуху ведьмой за то, что, стирая пыль с книг, она часто при этом творила беспорядок на его столе и полках. Нередко в груде бумаг не сразу находились нужные письма и документы, что вызывало раздражение и досаду у чрезвычайно аккуратного Энгельса.

Вечером, как всегда, старуха подала ужин и, пожелав квартиранту приятных сновидений, ушла. Большие стенные часы завозились, заохали и с трудом отзвонили девять раз. Энгельс тотчас же поднялся и вошел в маленькую комнату, служившую ему кабинетом. Там уже горела лампа на письменном столе. Было очень тихо. Где-то далеко, может быть в саду, трещали сверчки. Эти неожиданные живые голоски вызвали улыбку на лице Фридриха. «Не хватает только печи и чайника для полной диккенсовской идиллии»,— подумал он, пододвигая кресло и раскрывая книгу. Осторожно разрезав красивым ножом слоновой кости несколько страниц, Энгельс принялся громко, слегка запинаясь, читать по-русски:

Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты...

Не поняв «мечты», он взял словарь и стал отыскивать значение этого слова, чтобы затем выписать его в особую тетрадь.

Совсем недавно Энгельс начал заниматься русским языком и, как это всегда бывало при изучении им иностранных языков, достиг уже очень многого.

«Евгений Онегин» пленил его. Хотя он слыхал немало о поразительном богатстве современной русской литературы, о гении Пушкина, но был еще больше поражен, когда смог черпать из самого родника, не нуждаясь отныне в нередко умерщвляющих оригинал переводах.

«Как в гербарии растение не может дать подлинного представления о прелести и аромате живого цветка, так только в подлиннике можно насладиться поэзией и прозой незнакомого народа»,— думал Энгельс. С увлечением и редким прилежанием изучал он русский язык, откладывая грамматику для того, чтобы прочитать неповторимые строки пушкинского романа.

Обычно после часа этих занятий Энгельс принимался за военные науки, к которым с юности имел призвание.

Он доставал военные карты, руководство по артиллерии Бема, военную историю Монтекукколи и множество других немецких, французских и английских книг. Особенно усердно изучал он англичанина Нейпира, француза Жомини и немца Клаузевица.

Со времени переселения в Манчестер Энгельс напряженно работал над материалами о наполеоновских и революционных войнах. Чрезвычайно требовательный к себе в любой области знаний, он считал, что недостаточно, еще поверхностно разбирается в тех или иных деталях, чтобы понимать и правильно оценивать военно-исторические факты. Элементарная тактика, теория укреплений, начиная с Вобана и кончая современными системами отдельных фортов, полевые укрепления, различные виды мостов и, наконец, история всей военной науки, меняющейся непрерывно в связи с развитием и усовершенствованием оружия и методов его применения,— все это глубоко изучал Фридрих. Он писал своему другу Иосифу Вейдемейеру, артиллерийскому офицеру, делясь сомнениями и спрашивая о новой организации армий, дивизий, корпусов, о лазаретах и военном снабжении, о различных конструкциях лафетов.

Большой атлас Штилера и всевозможные подробные описания сражений лежали на столах и стульях в рабочей комнате Энгельса.

«Если не работать систематически, то не достигнешь никаких серьезных результатов»,— любил он повторять.

Все, чем бы ни занимался и что бы ни изучал тщательно и глубоко Энгельс, должно было служить одной конечной цели — пролетарско-освободительной борьбе. Как и Маркс, он считал, что знание иностранных языков необходимо.

Предвидя грядущие революционные столкновения в царской России, Энгельс начал систематически изучать русский язык. В то же время осложнения на Востоке привели его к мысли о необходимости знать восточные языки. Персидский язык показался ему необычайно легким, и он усвоил его структуру в несколько недель.

Изучение военных наук, помимо пристрастия к ним, было вызвано также еще и тем, что Энгельс считал весьма значительной роль армии в предстоящих революциях. Пролетариату, по его мнению, не хватало опытных, знающих военачальников. О современных ему представителях

офицерства он составил себе крайне отрицательное мнение.

— Этот сброд,— говорил Фридрих презрительно о прусских военных,— проникнут отвратительным сословным духом. Они смертельно ненавидят друг друга, завидуют один другому, как школьники по поводу малейшего отличия, но все — заодно по отношению к штатским.

Рано утром, тщательно одевшись и скромно позавтракав, Фридрих отправлялся в контору. Дела текстильных фабрик шли успешно. В 1851 году английская хлопчатобумажная промышленность потребляла еженедельно тридцать две тысячи кип хлопка против двадцати девяти в 1850 году. Манчестер торговал особенно широко с Ост-Индией и Китаем.

С глубоким вздохом принимался Энгельс за конторские и фабричные книги и работал до полудня, когда наступал час ленча.

Между часом и двумя прекращалась деловая жизнь Великобритании. Останавливались заводы, пустели конторы, запирались едва ли не все магазины. От часа до двух англичане ели горячий второй завтрак. В это священное время в близлежащие от контор харчевни, трактиры, таверны торопились клерки, чиновники, мелкие лавочники — многоликие представители среднего сословия. Фабриканты, владельцы больших магазинов, дельцы отправлялись домой в своих экипажах.

Энгельс заходил в маленький трактир, где бывал обычно самый разнообразный народ. Он заказывал бифштекс и с неиссякаемым интересом ко всему, что входит в понятие «жизнь», принимался рассматривать окружающих. Глядя, как едят вокруг него, он думал, внутренне улыбаясь, что только в церквах и за столом у мелкого буржуа появляется эта блаженная отрешенность от мирской суеты.

Англичане жуют медленно, сосредоточенно, будто читают Библию или тянут псалмы.

Отсутствие привередливости, крайняя нетребовательность к качеству и привычка к однообразной, просто приготовленной пище являются завидной особенностью британской нации.

Эта особенность досталась современным бриттам от предков, странствовавших по морям в поисках земель и

сокровищ. Впоследствии пуританская мораль также требовала поста и простоты обихода.

Гастрономическое гурманство изгонялось суровыми догмами протестантства.

Еда усложнялась позднее только внешним оформлением, появилась сложная сервировка и много столовых украшений. Континентальные скептики говорят, что англичанин, не поморщившись, съест котлету из соломы, если ее подадут с бумажными розетками на блюде, в сопровождении обязательных для обеда четырех ножей, трех вилок и двух ложек.

Клерк, которому в годы детства и отрочества подаваемые матерью к обеду пудинги разных сортов заменяли календарь, так как их сладкая подливка находилась в непосредственной зависимости от того или иного дня недели, естественно, всю жизнь полуавтоматически выбирает привычные ему блюда. В четверг пудинг всегда будет залит соусом из черной смородины, а в воскресенье — яблоками в желтках. Но разваренная картошка и лишенная вкуса, как поджаренная трава, брюссельская капуста, так же как и пресная рыба, вписаны традицией в ежедневный английский обед.

Гастрономическим шедевром Англии являются ее шестнадцать сортов мороженого. На трогательных, украшенных цветами и голубками меню ресторанов мороженому посвящается особый раздел, в котором размещен на первый взгляд не столько перечень еды, сколько опись инвентаря неведомого сентиментального стихотворца: весна, грезы, рай, роза...

Когда после ленча Энгельс вернулся к своему рабочему столу в конторе, он открыл записную книжку и увидел, что ему следует отправить госпоже Маркс разноцветную бумажную пряжу для вязания, которую он обещал ей в последнюю встречу. Клубки были уже приготовлены и уложены в коробку. Оставалось сдать их на почту. Он позвал привратника и передал ему посылку для отправки в Лондон. Затем Фридрих принялся за отчеты, поступившие с текстильной фабрики.

К его столу подошел компаньон отца, Пит Эрмен, сухопарый старик представительной внешности с голубовато-серебристыми завитыми волосами, обрамлявшими узкое бронзовое лицо с выпуклыми сиреневыми прожилками на лбу и носу.

— Читали ли вы знаменитую Хатха-Йоги, это великое открытие, исчерпывающий рецепт эликсира жизни, который тщетно искали алхимики? — начал он.

Фридрих знал, что Эрмен, недавно побывавший в Индии, увлекается учением йогов, и понял, что ему придется набраться терпения и выслушать очередную лекцию текстильного промышленника.

— Знаешь ли ты, Фред, что во время эпидемии оспы в прошлом веке на английском судне погибли только те моряки, которые спали с открытым ртом?

— Поразительно, сэр! — удивился Энгельс. — Не могу понять, в чем же тут причина? Разве оспа проникает через рот? Дженнер иначе объяснил пути заражения.

— Они умерли потому, что не дышали носом. Как вы дышите, мой мальчик? Запомните раз и навсегда, что вам необходимо выучиться дышать носом. Для этого рекомендуется, втягивая воду, попеременно дышать одной ноздрей. Мудрые йоги узнали также, что, если во время душевных потрясений какие-либо органы перестали повиноваться нам, усилием воли можно и нужно заставить их правильно функционировать. Видите ли, все высшие йоги обладают способностью воздействовать на отдельные клетки. Повторением одного или группы слов вы сможете также подчинить их себе. Для этого нужно твердым голосом многократно повторять приказание какому-либо органу, поглаживая или поколачивая его. Например: «Печень, исполняй лучше свою работу, ты слишком медлительна. Я тобой недоволен. Теперь ты должна работать лучше. Работай, работай, я тебе говорю, и чтобы больше не было этих глупостей». А вот сердце нельзя запугивать, с ним надо обращаться очень мягко и нежно. Его следует просить вот так. — Господин Эрмен постарался придать своему обветренному лицу умильное выражение и начал ласково приговаривать: — «Дорогое сердце, успокойся, бейся не так напряженно, будь добрым и умным, добрым и умным...»

Затем, ласково похлопав себя по жилету в том месте, где находилось сердце, фабрикант снова перешел к обычному тону и продолжал с непроницаемой улыбкой:

— Можно заранее дать срок, и даже довольно большой, для исправления отдельного нашего органа, и каждый день надо мягко напоминать ему об оставшемся времени, чтобы он не торопился, но по мере приближения

быть настойчивее. Однако все это требует практики, терпения и терпения. Советую заняться этим учением. Знаешь ли такую заповедь йогов? «Благо йогу, умеющему дышать своими костями. Учитесь направлять поток праны по всем семи жизненным центрам». Все это я узнал от мудрейшего йога в Бенаресе.

Вот каков мой вывод: если человек может управлять всеми своими органами, даже печенью, то, несомненно, он способен предотвращать все бедствия современной промышленности и торговли, такие, как колебание цен и кризисы сбыта. Как ты думаешь, Фред? Твой отец поседел не столько от нашей трудной эпохи, сколько от твоих упражнений в политической экономии и социализме. Но мое мнение, которое я имел удовольствие не раз уже высказывать моему достопочтенному компаньону, такое, что со временем, когда ты сам станешь фабрикантом, ты сумеешь достичь процветания и богатства... Кстати, как поживает твой неизменный друг и корреспондент господин Маркс?

При последних словах Фридрих нахмурился, так как давно уже подозревал, что кто-то в конторе вскрывает приходящие на его имя письма. Может быть, это был приказчик Эрмена, который докладывал все своему хозяину?

Посоветовав Фридриху дышать носом, компаньон отца степенно проследовал в свой кабинет.

К концу унылого рабочего дня Энгельс получил обширную почту. Письма были от Мери из Ирландии, от Иосифа Вейдемейера, от Вольфа и Маркса из Лондона. Убедившись, что жена здорова, Фридрих, отложив письма остальных друзей, сорвал сургучную печать и принялся за чтение письма с обратным адресом «Дин-стрит, 28».

Письмо Маркса было тревожным и кратким. Он сообщал об аресте в Кёльне коммуниста врача Даниельса. Вейдемейер вынужден в связи с репрессиями скрываться в окрестностях Франкфурта. Карл сообщал другу, что им обоим следует уничтожить или спрятать немедленно все письма ввиду возможного обыска.

«И ты тоже хорошо сделаешь,— писал он,— если менее важные письма сожжешь, а остальные, заключающие в себе какие-либо данные и тому подобное, поместишь в запечатанном пакете у Мери или у вашего приказчика».

Сообщение о происходящих в Германии преследованиях коммунистов не застало Фридриха врасплох. Он

постоянно читал немецкие газеты, в том числе и «Кёльнскую газету», которые сообщали о раскрытии «коммунистического заговора», готовившего акт государственной измены.

Энгельсу было известно, что 10 мая в Лейпциге был арестован эмиссар Союза коммунистов портной Нотъюнг. Полиция по отобранным у него бумагам узнала о существовании и действиях коммунистической партии.

Вскоре в Кёльне арестовали членов Центрального комитета Союза коммунистов. Фрейлиграт едва избежал ареста благодаря тому, что случайно, ничего еще не зная о подстерегающей его опасности, незадолго до этого уехал в Лондон.

С некоторых пор Фридрих заметил, что усилилась слежка. Он не мог шагу ступить без того, чтобы шпионы не следовали за ним по пятам.

«Прусский посол в Лондоне, фон Бунзен, этот попик во фраке,— думал Энгельс,— не упустит случая представить английскому правительству новые и важные объяснения об опасности нашего пребывания здесь, изображая нас чудовищами, способными подорвать благоденствие Великобритании».

В эти погожие летние дни 1851 года в Манчестер неожиданно приехал второй из двух владельцев бумагопрядильной фабрики — Фридрих Энгельс-старший. Появление отца в Англии не слишком обрадовало сына, но безукоризненное воспитание и выдержка помогли ему ничем не выразить подлинных чувств.

Несмотря на то что Фридриху-младшему было уже около тридцати одного года, отец держал себя с ним все еще как с вышедшим из повиновения подростком. Характер старика Энгельса никогда не отличался покладистостью, с годами же деспотизм и самонадеянность его значительно усилились. Сколь терпелива и чутка была мать Фридриха Элиза, столь же нетерпим, властен и ханжески религиозен отец. В этот приезд, однако, старик, упоенный победой реакции в Германии и возрастающими прибылями, был менее раздражительным и придирчивым.

— Итак, дорогой Фридрих, слава господу богу, я оказался прав! Стадо подчинилось пастырю своему. Револю-

ция потерпела крах, провалилась, как всякое исчадие ада, раз и навсегда. О, немцы не так глупы, чтобы поддаться болтовне недоучек, дураков и представителей «черноземной силы»,— говорил Энгельс-старший, прохаживаясь по гостиной. Из кармана его черного длинного сюртука высовывался переплет маленькой дорожной Библии.

Слуга доложил с порога о Питере Эрмене, который был приглашен к обеду.

Старик Энгельс не доверял своим компаньонам Эрменам и потому послал Фридриха в Манчестер, чтобы тот контролировал их деятельность как коммерсантов. Но, в свою очередь, он беспокоился и за сына, зная его безбожие и приверженность революционным идеям, и в этом отношении хотел бы, чтобы кто-либо сообщал ему о поведении Фридриха.

Оба Энгельса, старший и младший, пошли навстречу гостю. Высокие, широкоплечие, они очень походили друг на друга. Только совсем разное было выражение их глаз: одушевленные, ясные, поражающие умом — у сына, мутные и жестоко-суровые — у отца.

За столом Энгельс-старший стоя прочитал молитву и затем подал знак всем садиться за стол.

— Люблю Англию, — начал он, завязывая салфетку вокруг свекольно-красной шеи.— Это страна богомольных людей. Господь не посылает ей испытаний. Промышленность и торговля преуспевают, не правда ли, Питер?

Фабриканты разговорились о прибылях, о промышленном и торговом подъеме. Отец Энгельса признался, что с 1837 года, за четырнадцать лет, он удвоил свое состояние.

— При этих условиях можно претерпевать даже революции, особенно когда во главе государства стоят такие превосходные монархи, как наш прусский король.

— Не надо забывать, что английская королева Виктория его родная и достойная племянница,— присовокупил Эрмен.

После нескольких кровоточащих бифштексов, запиваемых рейнландскими винами, оба компаньона-фабриканта почувствовали прилив бодрости и заметно оживились.

— В Германии выскребают остатки коммунистического сора,— хитро сощурив глаза, начал Энгельс-старший. — Никто из порядочных людей, впрочем, не боится больше красного призрака. С этим навсегда покончено.

Король разделался с горсткой мятежников и сумасшедших, как некогда господь бог с вавилонянами.

Энгельс-младший закусил губу, чтобы сдержаться и не поссориться с отцом, который открыто вызывал на спор. Но глаза его загорелись недобрым блеском. Старик поймал брошенный через стол сердитый взгляд сына. Его расчеты на то, что в присутствии гостя Фридрих вынужден будет молчать, могли и не оправдаться. Энгельс-старший знал по опыту, каким даром речи, какой беспощадной находчивостью обладал его сын в словесном единоборстве. Всю эту немую сцену заметил наблюдательный и хитрый Питер Эрмен и пришел на помощь своему компаньону.

— Йоги учат, что мысли оформляются в действии, а действие, в свою очередь, порождает их. Что ты думаешь об этом, Фридрих?

— Все это зависит, по-видимому, главным образом от того, дышит ли человек носом,— ответил все еще очень бледный Энгельс-младший. При этом он, едва слушая болтовню Эрмена, думал: «Мой старик становится вызывающим. За то, что я заставил его замолчать, он отомстит мне — сократит еще больше мое жалованье, а деньги так нужны сейчас Марксу. Необходимы они и для Мери. Впрочем, если эта стычка не будет иметь дурных последствий, то холодные, деловые отношения с отцом будут гораздо приятнее для меня, нежели душевное лицемерие. Мне ничего не остается другого, как заниматься этой собачьей коммерцией».

Энгельс постоянно помогал деньгами Марксу в это тяжелое время. Он хотел дать возможность другу не отрываться от работы над новой книгой по политической экономии, считая, что Маркс является гениальным мозгом партии. И, как всегда в жизни, Энгельс решил так не только по велению сердца, горячо любившего Маркса и его семью, но и потому, что этого требовал его целеустремленный ум, все подчинявший интересам революционного дела.

Во имя победы пролетариата Энгельс готов был принести себя в жертву, превратившись в рядового конторщика, а Маркс, подчинившись силе его убеждения, принял это самоотречение. Оба друга доказали этим величие своего духа, ибо принимать жертву самого близкого че-

ловека бывает подчас для некоторых натур не менее трудно, нежели приносить ее.

После обеда подали кофе с ликерами и сигары. Фридрих Энгельс-старший встал, прошелся по комнате и начал играть на виолончели. Он сыграл с большим чувством мелодию Глюка и кое-что из Моцарта.

Господин Эрмен продолжал рассказывать о семи жизненных центрах йогов: лбе, затылке, мозге, солнечном сплетении, области крестца, верхушке и низе живота. Старик Энгельс слушал, едва скрывая зевоту, занятый своими думами. Внезапно он прервал разглагольствования друга:

— Оставим индусов, Питер. Прошу выслушать меня. Сколько раз я предлагал моему сыну отправиться в Индию. В Калькутте компании «Эрмен и Энгельс» особенно необходимо иметь доверенного человека. Как ты смотришь на это предложение, Фридрих?

— Я снова отказываюсь наотрез и не поеду из Манчестера никуда.

— В таком случае не ропщи, что я плачу тебе жалованье, которое получает любой конторщик в этом городе. В твоем возрасте деньги только развращают человека. Впрочем, скорее господь и я простили бы тебе грехи, свойственные юности: чревоугодие, умеренный блу́д и разные светские развлечения, нежели подрыв государственных и общественных устоев, подстрекательство к анархии, к господству дьявола на земле.

Энгельс-младший снова искоса гневно взглянул на отца, поднялся, извинился перед гостем и вышел из комнаты.

— Питер, мне остается сказать, как в Евангелии: имеющие уши да слышат, имеющие глаза да видят. Таково мое чадо. Ты лучше других понимаешь, что я спасаю сына от окончательного падения в греховную пропасть тем, что оберегаю от соблазнов, не давая денег. Три фунта в неделю — и ни гроша больше. Это, правда, мало, но так надо для спасения его души. Когда я уеду в Бармен, ты не должен уступать просьбам Фридриха о деньгах. Обещай мне.

— Будь спокоен,— ответил Эрмен торжественно,— мы не станем оплачивать топор, который подрубает наш сук. Помогать всякому революционному сброду через твоего сына и наследника было бы слишком неблагоразумно.

Надейся на меня. Я ведь не спускаю глаз с твоего мальчика. На наше жалованье ему особенно не развернуться. А ты, старина, дыши носом — в этом секрет долговечности и душевного спокойствия. Помни, главное — наша взяла!

Через несколько дней Фридрих проводил отца в Германию. В тот же вечер он писал Марксу:

«Провозившись целую неделю со своим стариком, я отправил его благополучно обратно и могу, наконец, послать тебе сегодня прилагаемый перевод на 5 фунтов. В общем, я могу быть доволен результатом моего свидания со стариком. Я ему нужен здесь, по крайней мере, еще года три, а я не взял на себя никаких постоянных обязательств даже на эти три года...»

Извиваясь и путаясь, убогие улицы Сохо, внезапно сплетаясь, обрывались у круглой, богатой площади Пиккадилли. Там находились нарядные театры, магазины и рестораны. От Дин-стрит, где жил Маркс, до Пиккадилли было не более пятнадцати минут хода.

Рядом с площадью Пиккадилли, в одной из кривых улочек, находился маленький ресторан, где по вечерам собирались чартисты и иноземные изгнанники. За небольшим общим залом была комната, выкрашенная в серый цвет, в которой помещался дубовый стол и несколько узких, очень неудобных скамеек. Газовый фонарь под потолком лил неприятный тусклый свет. Если бы не камин из кирпичей, комната походила бы на тюремную камеру. На каминном выступе стоял деревянный слон с отбитым хоботом, очень похожий на бегемота. В «комнате слона», как ее торжественно звали в ресторане, в холодный, слякотный декабрьский вечер собрались Маркс и оба Вольфа — Фердинанд, по прозвищу «Красный», и Вильгельм, которого в семье Маркса звали Люпусом. Ждали Веерта, но, простуженный, он не смог прийти и остался дома, где изгонял инфлюэнцу крепким грогом и медом.

Переворот Луи Бонапарта в Париже, подобно землетрясению, вызвал своеобразное колебание почвы и в британской столице. Но на бирже было пока спокойно, акции почти не дрогнули, хотя при дворе королевы Виктории и в правительстве высказывалось недовольство — вспоминали, сколько тревог и бедствий принес некогда Великобритании Наполеон I. Только скрытный и дальновидный

Пальмерстон потихоньку потирал руки от удовольствия и готовил приветствие Луи Бонапарту. Любопытство обывателей все возрастало, и у газетных киосков толпился народ.

В эти дни всех занимало одно — бонапартистский переворот в Париже. Со времени, когда Луи Бонапарт с большим перевесом голосов был избран президентом, возможность захвата им всей власти в стране казалась Карлу и Фридриху вполне осуществимой. «Елисейская братия» постоянно прочила его в императоры Франции. И, однако, между предполагаемым и свершившимся всегда большая дистанция.

— Ловко обделывает свои грязные делишки этот прохвост и король шутов,— сказал Фердинанд Вольф, разматывая ярко-красный шерстяной шарф, которым обычно повязывал шею.

Дрова в камине разгорелись и трещали. Стало жарко.

— Это уже не Страсбург и Булонь,— тихо заметил Вильгельм Вольф, неторопливо размешивая сахар в чашке с крепким кофе.— Переворот будет стоить жизни многим тысячам людей. Террор елисейских пиратов, купивших армию, только начинается.

Маркс курил. Фердинанд Вольф встал, подошел к камину и разворошил горящие поленья, чтобы убавить несколько жару. Это был рослый, здоровый человек сангвинического, порывистого характера, одетый небрежно и в то же время экстравагантно.

— Вечерние газеты сообщают, что новый Цезарь уже перетащил свои сундуки из Елисейского дворца в Тюильри. Кавалеристы приветствовали его криками: «Да здравствует император, да здравствует колбаса!» Луи Бонапарт не зря закармливал их, поил шампанским и пивом.

Маркс улыбнулся.

— Энгельс мне пишет,— сказал он,— что именно ты, Фердинанд с твоим исчерпывающим знанием богемы и колючим пером, создан быть историографом этого императора бандитов, люмпенов, сидельцев и рыбных торговок. Эти старые ослы из Национального собрания оказались захваченными врасплох, хотя постоянно вопили об опасности переворота. Самая хитрая бестия во всей Франции, старый лис Тьер, и господин палач Кавеньяк проспали восемнадцатое брюмера и провалились в волчьи ямы, которые вырыла им «елисейская братия».

— Хорошо сказал один из местных газетных писак,— отозвался Фердинанд,— что политические горничные Франции старыми вениками выметают раскаленную лаву революции и при этом отчаянно колотят друг друга. Одна светская дама уверяет, что Францией не раз правили метрессы, но впервые на трон взбирается альфонс.

— Что ты думаешь, Карл, о происходящем? — прервал Фердинанда Вильгельм.— Несомненно, в самое ближайшее время этот проходимец коронуется императором.

— Да, в этом его цель, дорогой Люпус. Однако крот истории роет славно,— ответил Маркс, резким движением погасив сигару. — Революция проходит через чистилище. Она действует методически. Второе декабря отделило первую половину ее пути. Революция довела до кульминации парламентарную власть и ниспровергла ее. Теперь она перед всем миром вскроет, как гнойник, государственную власть буржуазии, чтобы собрать против нее всю силу разрушения. А когда будет закончена и эта вторая часть ее предварительной работы, тогда Европа поднимется и скажет: «Ты хорошо роешь, старый крот!»

Черный туман навис над Лондоном. На смену ночи не приходил рассвет. Отчаянно выли сирены, гудели гонги, бренчали звонки в руках прохожих и на облучках карет и омнибусов. Черный туман вползал, как змей, в щели домов. Он вызывал удушье, тошноту, головную боль. Казалось, никогда уже луч света не прорежет ночь и мрак преисподней навсегда окутал землю.

В двух комнатах в доме 28 на Дин-стрит было в эти дни особенно неуютно и печально. Дети притихли и реже принимались петь и бегать. Троим взрослым и четверым малышам было очень тесно в маленьком жилище, тем более что у Карла и Женни часто ночевали бездомные немецкие изгнанники.

Февраль — отвратительный месяц на острове. Желтый туман, зловонный и липкий, чередуется с черным.

Почти весь этот месяц Карл Маркс не мог посещать библиотеку Британского музея и вообще покидать квартиру. Его сюртук и обувь были заложены в ломбарде. Денежный залог под его одежду, который пошел на уплату долга домохозяйке, спас всю семью от того, чтобы не

очутиться на улице, под открытым небом. Давно уже Ленхен не готовила к обеду мяса и не покупала детям молока. Картофель, овсяная каша и хлеб составляли еду взрослых и детей. Зеленщик и бакалейщик грозили прекратить продажу в кредит, и призрак полного голода неустанно преследовал во сне и наяву измученную нищетой Женни. Нервы ее совсем расстроились, и она часто плакала. Это приводило Карла в отчаяние. Но снова и снова он собирал силы и с еще большим рвением отдавался работе.

В старых брюках, тщательно залатанных Ленхен, в теплой рубахе сидел он за своим письменным столом, поглощенный, несмотря на трагизм создавшегося положения, работой.

За окном была черная, непроницаемая пелена. Стонала на руках Женни маленькая, болезненная от рождения Франциска, в доме было сыро, голодно и холодно, а мысль Маркса охватывала необъятные просторы, реяла над миром, заглядывала во все уголки, как ураган, срывала завесы с будущего человечества. Ни бедность, ни кандалами сковывающий быт не могли ослабить могучую творческую энергию и яркое пламя мышления, неустанно горевшее в этом человеке.

После долгой изнурительной болезни, перенесенной в январе, Карл, похудевший, выглядел еще более смуглым. Он точно сошел с картины, изображавшей арабского шейха или неукротимого бедуина. За прекрасные сверкающие глаза, смолисто-черные, уже с проседью, волосы, за кожу оливкового цвета родные и друзья звали его Мавром. Это прозвище полюбилось маленьким Женнихен, Лаурочке и Мушу. Отныне они редко называли его иначе, заменив «Мавром» обычное «папа».

Библиотека Британского музея была любимым местом Карла в Лондоне. В ее величавом тихом зале он мог работать сосредоточенно и спокойно. Суета перенаселенной квартиры, смех или плач детей, окрики Ленхен — неизбежные помехи, всего этого не было в Монтег-хаус, и Маркс проводил в его читальне иногда весь день, с девяти утра и до семи вечера. Это были самые безмятежные и плодотворные часы.

Но февраль 1852 года вместе с туманами, болезнями принес безысходную нужду. Небольшая сумма, которой щедро, отдавая большую часть заработанных денег, де-

лился с семьей Энгельс, не могла существенно помочь. Заработка почти не было.

Несколько месяцев назад редактор «Нью-Йорк дейли трибюн» Дана прислал Марксу письменное приглашение сотрудничать в его большой газете.

В 1848 году предприимчивый Чарлз Дана приехал в Кёльн из Нью-Йорка с одним из корреспондентов издаваемой им газеты. Маркс произвел на американцев сильное впечатление. Они слушали его необыкновенно содержательные, ясные, воодушевляющие речи и поражались сочетанию крайней сдержанности и необычной страстности в молодом редакторе «Новой Рейнской газеты» с глубиной и многогранностью его души.

В Нью-Йорке Дана вспомнил о Марксе и, узнав его адрес в Лондоне, решил привлечь к сотрудничеству в своей газете. Получив письмо от Дана, Карл, поглощенный работой над книгой по политической экономии, обратился к Энгельсу в Манчестер, и тот за его подписью направил в «Нью-Йорк дейли трибюн» просимые статьи.

Не раз сплетались воедино мышление и творчество двух друзей. Но то, что опасно для людей с маленьким или неравным интеллектом, когда сильный поглощает более слабого, не могло грозить таким титаническим умам и душам, как Маркс и Энгельс. Настолько безмерно богаты духовно и умственно были они оба, что, сливая знания, мысли, чувства, каждый из них сохранял свою полную независимость и цельность натуры. Среди совершенно равных нет проблемы самолюбия или мелочных счетов.

Скованный отсутствием одежды и обуви, Маркс дома неотрывно писал книгу о государственном перевороте, совершенном во Франции 2 декабря минувшего года.

Первую главу «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта», как назывался новый труд Маркса, он послал другу Вейдемейеру в Америку, куда тот переселился незадолго до этого с женой и двумя детьми. Преследования полиции, готовившей провокационный процесс коммунистов в Германии, а также материальные лишения вынудили Иосифа Вейдемейера искать пристанища и удачи за океаном. Не сразу Карл и Фридрих одобрили это решение преданного и дорогого им обоим друга. Но иного выхода не было.

Осенью Вейдемейер с семьей выехал из Гавра в Нью-Йорк. Сорок суток трепали осенние штормы судно, иду-

щее в далекую Америку. После многих мучений добрались немецкие эмигранты до Нового Света.

Едва устроившись на новом месте, Иосиф Вейдемейер энергично принялся за осуществление намеченного плана — издание политического еженедельника. Он попросил Маркса написать для этого предполагаемого журнала историю государственного переворота в Париже. До середины февраля Карл еженедельно писал для Вейдемейера статьи, которые озаглавил общим названием «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Он начал первую статью словами из письма к нему Энгельса:

«Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Коссидьер вместо Дантона, Луи Блан вместо Робеспьера, Гора 1848—1851 гг. вместо Горы 1793—1795 гг., племянник вместо дяди. И та же самая карикатура в обстоятельствах, сопровождающих второе издание восемнадцатого брюмера!

Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории».

В течение зимы 1852 года Вейдемейеру ничего не удавалось сделать. К весне, однако, дела его пошли лучше: он получил место землемера и одновременно приступил к изданию журнала «Революция». Первый выпуск должен был состоять из нового произведения Маркса, написанного под непосредственным впечатлением событий во Франции.

Все остающееся от домашних хлопот и неурядиц время и все силы Женни отдавала переписке «Восемнадцатого брюмера». Наиболее плодотворной для дела была

ночь. Тогда спали дети и наступала наконец тишина. Часто Карл диктовал ей текст статей, прохаживаясь по комнате. Быстро записывая, Женни вслушивалась не только в слова, но и в чистый, глубокий голос, который так любила.

— Прошу тебя, родная,— говорил Карл тихо, чтобы не потревожить спящих детей и Ленхен,—отмечать абзацы незаполненными белыми промежутками, впрочем, я поставлю сам «галочки», чтобы Вейдемейер мог легче разобраться в тексте. На чем ты остановилась?

Женни раздумчиво, стараясь оттенить мысль мужа соответствующими интонациями, прочла несколько страниц текста, который переписывала.

Внезапно Женни остановилась. Лицо ее, обычно матово-бледное, осветилось изнутри и порозовело. Она ласково улыбнулась и сказала шутливо по-английски:

— Секретарь и супруга доктора Маркса заявляет, что в книге «Восемнадцатое брюмера» много великолепных мыслей. Они изложены, Чарли, столь кратко и четко, как это умели делать только античные писатели.

От долгой ночной работы у Маркса болели глаза. Он то и дело закрывал их ладонью. Женни подошла к нему и заглянула в его усталое лицо. Вокруг покрасневших глаз залегли фиолетовые тени.

— Ложись сейчас же спать,— потребовала Женни.— Пишешь уже более месяца, не разгибаясь, с раннего утра до вечера. Дай я приложу тебе примочки из крепкого чая на глаза. Они так воспалены.

Карл очень страдал от болезни глаз, но продолжал много работать, часто до самого рассвета. В этот раз он обещал уступить просьбам жены, хотя прежде принялся за ответ на письмо Вейдемейера, в котором тот, между прочим, извещал о рождении сына.

«Желаю счастья новому гражданину мира! Нет более замечательного времени, чтобы родиться на свет, чем нынешнее,— писал Маркс.— К тому времени, когда из Лондона в Калькутту будут добираться всего за семь дней, у нас обоих головы будут давным-давно снесены или будут трястись от старости. А Австралия, Калифорния и Тихий океан! Новые граждане мира не в состоянии будут понять, до какой степени мал был наш мир».

С неохотой подчинившись жене, Карл лег в постель,

и Женни, позабыв обо всех лишениях и бедах, снова горячо принялась за переписку.

Некоторые мысли в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» так нравились ей, что она готова была вскочить с места, разбудить Карла и сказать ему, как великолепен его ум, как богат язык, необозрим духовный горизонт.

«Это превосходно стилистически. Тут нельзя убавить или прибавить ни одной мысли или слова»,— думала Женни и снова перечитывала полюбившееся ей место из новой книги:

«Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со всяким суеверным почитанием старины. Прежние революции нуждались в воспоминаниях о всемирно-исторических событиях прошлого, чтобы обмануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственное содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы...

Буржуазные революции, как, например, революции XVIII века, стремительно несутся от успеха к успеху, в них драматические эффекты один ослепительнее другого, люди и вещи как бы озарены бенгальским огнем, каждый день дышит экстазом, но они скоропреходящи, быстро достигают своего апогея, и общество охватывает длительное похмелье, прежде чем оно успеет трезво освоить результаты своего периода бури и натиска. Напротив, пролетарские революции, революции XIX века, постоянно критикуют сами себя, то и дело останавливаются в своем движении, возвращаются к тому, что кажется уже выполненным, чтобы еще раз начать это сызнова, с беспощадной основательностью высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток, сваливают своего противника с ног как бы только для того, чтобы тот из земли впитал свежие силы и снова встал во весь рост против них еще более могущественный, чем прежде, все снова и снова отступают перед неопределенной громадностью своих собственных целей, пока не создается положение, отрезывающее всякий путь к отступлению...»

Было уже три часа ночи. Проснулась и горько заплакала Франциска. Жалобный голосок младенца

отозвался в сердце матери невыносимой болью. Таким же слабым, хворым был и Фоксик всю свою недолгую жизнь. Неужели и этого ребенка Женни суждено потерять? С некоторых пор страх за жизнь детей мучил ее неотвязно. Как им помочь? В доме не было ни гроша. Одни долги. Слезы не приносили Женни больше облегчения, не растворяли горя. Они только ослабляли. Ей казалось, что нервы обнажены, лишены покрова и вибрируют от каждого случайного прикосновения. Как вернуть себе прежнее спокойствие? Потеряв сына, она не могла оправиться. Иногда, под гнетом нищеты, она казалась себе совершенно раздавленной, и тогда только Карл возвращал ей волю к жизни...

Думая обо всем этом, Женни отложила переписку и поднялась, чтобы перепеленать Франциску. Но Ленхен опередила ее. С ребенком на руках подошла она к Женни и положила его к ней на колени.

— Опять слезы. От них молоко превращается в уксус,— укоризненно шепнула Ленхен.

— Ты права,—ответила Женни, расстегивая корсаж,— но мои дети лишены всего в этом мрачном проклятом городе, они хиреют от недоедания, от недостатка дневного света.

— У самой темной тучи всегда есть, однако, серебряная подкладка. После черных туманов таким ярким покажется нам чистое небо,— сказала Ленхен.— Я видела многих богатых людей, а не хотела бы быть и дня на их месте. Когда имеешь такое верное, любящее сердце, как сердце Карла, и таких друзей, как господин Энгельс, Вольф и кое-кто еще, право, нельзя гневить судьбу. А наши детки? Разве это не сокровища? Многие могут позавидовать нам. Ведь хорошие люди — это самое дорогое и редкое на свете.

Женни ничего не отвечала. Она вспомнила, что на одной из страниц рукописи мужа, которую только что переписывала, прочла замечательные слова об «эпохах малодушия». Неужели в ее жизни началось такое время? Малодушие... Нет и нет! Не сама ли она выбрала свой жребий и не гордилась ли им всегда? Жена бойца, жена исполина. Этот удел был поистине счастливым.

Она познала такую любовь, о которой многие тщетно только мечтают. Душа ее, благодаря общению с Карлом, никогда не тускнела, не мельчала, не теряла человече-

ского величия. За годы замужества ни скука, ни пошлость, ни низменные интересы или мерзкая ревность, ни оскорбительные подозрения не вовлекли ее в свой зловонный водоворот. Карл незаметно, самим своим присутствием поднимая ее все выше, открыл перед Женни весь мир, все видимые и незримые сокровища. Это ли не сказочное богатство, не вершина счастья?!

Когда Ленхен унесла Франциску, Женни, прежде чем пойти отдохнуть, переписала две страницы «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта». Ей было жаль расстаться с рукописью.

«Конституция, Национальное собрание, династические партии, синие и красные республиканцы, африканские герои, гром трибуны, зарницы прессы, вся литература, политические имена и ученые репутации, гражданский закон и уголовное право, liberté, égalité, fraternité [1] и второе воскресенье мая 1852 г.— все исчезло, как фантасмагория, перед магической формулой человека, которого даже его враги не считают чародеем. Всеобщее избирательное право, казалось, продержалось еще одно мгновение только для того, чтобы перед глазами всего мира составить собственноручно свое завещание и заявить от имени самого народа: «Все, что возникает, достойно гибели».

Недостаточно сказать, по примеру французов, что их нация была застигнута врасплох. Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие. Подобные фразы не разрешают загадки, а только иначе ее формулируют. Ведь надо еще объяснить, каким образом три проходимца могут застигнуть врасплох и без сопротивления захватить в плен 36-миллионную нацию».

В середине февраля, раздетый и разутый нищетой, Маркс, не покидавший дома, вчерне закончил «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Женни переписывала последние листы. Как бы утомлена она ни была, живое слово со страниц, густо исписанных мелкими, сложными, рвущимися куда-то вперед буквами, мгновенно возвращало ей уверенность и внутреннее равновесие. Она пи-

---

[1] Свобода, равенство, братство *(франц.)*.

сала бы, не отрываясь, до утра, если бы властная рука Ленхен или ласковый, но твердый голос мужа: «Пора, ложись спать, ты устала»,— не возвращали ее к действительности и не заставляли прекращать работу.

Женни переписывала одну из последних глав:

«Историческая традиция породила мистическую веру французских крестьян в то, что человек по имени Наполеон возвратит им все утраченные блага. И вот нашелся некто, выдающий себя за этого человека только потому, что он — на основании статьи Code Napoléon: «La recherche de la paternité est interdite» [1] — носит имя Наполеон. После двадцатилетнего бродяжничества и целого ряда нелепых приключений сбывается предсказание и человек становится императором французов. Навязчивая идея племянника осуществилась, потому что она совпадала с навязчивой идеей самого многочисленного класса французского общества.

Но тут мне могут возразить: а крестьянские восстания в доброй половине Франции, а облавы, устраиваемые армией на крестьян, а массовые аресты, массовая ссылка крестьян?

...Династия Бонапарта является представительницей не революционного, а консервативного крестьянина, не того крестьянина, который стремится вырваться из своих социальных условий существования, определяемых парцеллой, а того крестьянина, который хочет укрепить эти условия и эту парцеллу,— не того сельского населения, которое стремится присоединиться к городам и силой своей собственной энергии ниспровергнуть старый порядок, а того, которое, наоборот, тупо замыкается в этот старый порядок и ждет от призрака империи, чтобы он спас его и его парцеллу и дал ему привилегированное положение. Династия Бонапартов является представительницей не просвещения крестьянина, а его суеверия, не его рассудка, а его предрассудка, не его будущего, а его прошлого...»

Несколько раз перечла Женни страницу, где буквы то сплетались, то рассыпались в виде острых значков и точек и напоминали нотопись. Нелегким делом было разобрать особый почерк Маркса. Но Женни это удавалось.

---

[1] Кодекса Наполеона: «Отыскание отцовства запрещается» *(франц.)*.

«У буржуазии теперь явно не было другого выбора, как голосовать за Бонапарта. Когда поборники строгости нравов на Констанцском соборе жаловались на порочную жизнь пап и вопили о необходимости реформы нравов, кардинал Пьер д'Айни прогремел им в ответ: «Только сам черт может еще спасти католическую церковь, а вы требуете ангелов!» Так и французская буржуазия кричала после государственного переворота: «Только шеф Общества 10 декабря может еще спасти буржуазное общество! Только воровство может еще спасти собственность, клятвопреступление — религию, незаконнорожденность — семью, беспорядок — порядок!»

Хотя Женни всегда оберегала краткий отдых Карла, в этот раз ей не терпелось сказать ему, как мастерски написана его новая книга о событиях в современной Франции.

Разбуженный женой, Карл не сразу понял, что произошло. Щуря больные, переутомленные глаза, он недоуменно посмотрел на Женни.

— Что-нибудь случилось? — спросил встревоженно Карл, привыкший за последнее время ко всяким неожиданным невзгодам и напастям.

— Прости, дорогой. Но, право, я не могла дождаться утра. Ты написал замечательную книгу, которая намного переживет нас с тобой. Трудно запечатлеть в момент, когда еще льется лава, извержение вулкана, или когда еще колышется почва — землетрясение.

— Ты забыла об ученом Плинии, который описал гибель Помпеи, находясь у подножия пылающего Везувия,— улыбнулся Маркс.

— То была всего лишь запись стихийного бедствия, и только. Ты же сумел объяснить причины, открыл подспудные силы, вызвавшие переворот авантюриста Бонапарта, так, что никто никогда не добавит к этому ничего более значительного.

Карл жил очень уединенно. Вейдемейер был за океаном. Веерт странствовал. Энгельс и Вольф находились в Англии, но вдали от Лондона.

В числе немецких эмигрантов, нашедших гостеприимный кров у Маркса, был двадцатишестилетний, ничем особо не замечательный, но весьма говорливый домашний учитель Вильгельм Пипер. Он чувствовал себя отлично,

ночуя на тюфяке, постланном на полу на Дин-стрит, 28, и питаясь скромными, но очень вкусными обедами, которые приготовляла добросердечная Ленхен. Пипер играл с детьми, вмешивался во все дела Женни, повторял с важным и поучающим видом, словно эхо, все, что говорил по тому или иному поводу Маркс, и охотно выполнял некоторые секретарские обязанности. Не имея собственной отчетливой индивидуальности, Пипер был подобен благообразной внешностью и характером луне, которая, являясь мертвым светилом, отражает свет солнца. Находясь возле Маркса, Пипер казался даже ярким, поскольку довольно точно использовал то, что перенимал у Карла.

Назойливый, неумный Пипер поступил в качестве домашнего учителя в семью одного из родоначальников династии банкиров Ротшильдов в Лондоне. Зимой 1852 года он снова зачастил на Дин-стрит.

Пипер, которого Карл иногда называл добрым малым, в последнее время возомнил себя теоретиком и надоедал всем поучениями. Самонадеянно, бестактно и намеренно громко он пытался излагать то, что сам довольно плохо усвоил, вмешивался в разговор, испытывая этим долготерпение Карла и Женни.

Шутки ради он принимался поддразнивать детей Маркса и как-то, подарив не по годам смышленому Мушу нарядную записную книжечку, пригрозил затем, что заберет ее обратно. Обеспокоенный малыш спрятал подарок в укромное место и с таинственным видом шепнул на ухо отцу:

— Знаешь, Мавр, теперь-то я книжечку так запрятал, что ее никто не найдет. А если Пипер спросит, я скажу, что подарил ее нищему.

Пипер, как и все, кто бывал в семье Маркса, любовался величавой прелестью Женни. Лишения не отразились на ее красоте. Скромная одежда не ослабляла впечатления, которое она производила на окружающих.

«Хороша, словно греческая богиня, и к тому же так умна, приветлива, учена и остроумна»,— думал Пипер и охотно выполнял ее поручения. Он помогал ей в переписке рукописей Маркса и в разных маленьких домашних делах.

Покинув роскошный дом Ротшильда, Пипер еще откровеннее восторгался Женни. В самых богатых хоромах ему не доводелось встретить равную ей по красоте и статности женщину.

«Ни один современный Крез не может похвалиться такой женой, как Маркс,— думал он.— И эта чудесная жемчужина находится в такой нищете, предпочла жизнь изгнанницы, отказалась от всего, что обеспечивали ей знатность и необыкновенная красота».

Кончилась зима. Женнихен и Лаура с утра уходили в школу. Прекратились черные и желтые туманы, и на площади Пиккадилли появились первые продавщицы лиловых фиалок и ярко-желтых дефидолий. Над городом повисла прозрачная дымка белого тумана.

После долгого вынужденного затворничества Карл, выкупив из ломбарда сюртук и штиблеты, вышел впервые на улицу. Он жмурился от яркого света и глубоко вбирал влажный и дымный, как всегда в столице Англии, воздух. От многодневного пребывания в четырех стенах у Карла кружилась голова. Он приподнял шляпу с квадратной тульей и широкими полями, радуясь прикосновению свежего ветерка к густым волосам.

Было воскресенье—унылый конец английской недели, день, предназначенный не только Лютером, Кальвином, но и английским парламентом для чтения Библии, размышлений о грехах и их искуплении. Более ста лет назад особым парламентским декретом в «божьи» дни были воспрещены под угрозой строгих кар всякие общественные увеселения, зрелища, музыка, танцы.

В праздники Лондон казался опустошенным, как в средневековье эпидемией оспы или великим пожаром. Театры, против которых беспощадно боролся Кромвель, ненавидевший их, как потеху презренной аристократии, все еще несли на себе клеймо пуританского проклятия. Вышедшие из подполья в эпоху реставрации королевской власти, они, однако, никогда не смогли вернуть себе привилегии шекспировской поры и безропотно подчинялись в середине XIX века парламентским гонениям, имевшим почти двухсотлетнюю давность. В день отдыха закрыты были не только все без исключения магазины, читальни, но и рестораны. Зато в этот день, когда люди изнывали от безысходной скуки, особенно бойко торговали пивные. Заглянув в одну из них, Маркс увидел за столом с кружкой пива в руке Эрнеста Джонса, с которым был дружен последние годы.

— Алло, Карл, очень рад вас видеть, садитесь, дружище,— на чистом немецком языке весело приветствовал его

Джонс — один из вождей чартистов, известный поэт и замечательный оратор.— Кончили ли вы книгу, ради которой ведете столь отшельническую жизнь? Не желая нарушать вашего творческого уединения, я не заходил к вам довольно долго. Надеюсь, вы подвели хорошую мину под негодяя Бонапарта? Никому это не удастся лучше, нежели вам. Известна ли вам резолюция, вынесенная на нашем митинге в Национальном зале?

Джонс вынул из кармана печатный текст и прочел его не без пафоса. У него был чистый, громкий голос и энергическая жестикуляция:

— «Митинг с ужасом и отвращением встретил победоносное узурпаторство Луи-Наполеона — узурпаторство, совершившееся с помощью целого ряда преступлений, измен, насилий и организованных убийств, не знающих себе равных во всей истории Европы. Мы глубоко сочувствуем великодушному французскому народу, видя, как национальные права и свободы, завоеванные им с такими тяжелыми усилиями, грубо попираются военной силой, и мы твердо надеемся вместе со всеми благомыслящими людьми, что Европа скоро увидит конец этой узурпаторской власти, конец, достойный его царствования, достойный его преступления и его неблагодарности по отношению к французскому народу».

— Что ж, резолюция резка, и это хорошо,— сказал Карл.

— За нее голосовало большинство присутствовавших. Между прочим, время оказалось хорошим учителем для господ вроде Карлейля. Второе декабря — великолепная иллюстрация к их теории о великих личностях, творящих историю. Если такое продажное и трусливое ничтожество смогло возглавить государство великих свободолюбцев, чего же стоят все разглагольствования о культе героев?

— На гребне исторической волны иногда может оказаться скорлупа от яйца или даже навоз,— саркастически улыбнулся Карл.

— Ого, сильно и точно сказано.— Свежее, приветливое лицо Джонса приняло чрезвычайно серьезное и даже несколько суровое выражение напряженно думающего человека. Рука англичанина поднялась, напряглась и точно схватила что-то.— Я понял, Маркс, что вы, именно вы являетесь живым опровержением тех, кто считает решаю-

щей силой роль личности в истории. У вас проникновенный, нечеловеческий разум, ваша самоотверженность почти божественного свойства. Не мешайте мне говорить. Оттого, что вы пришли в этот мир тогда, когда, согласно вами же найденной разгадке, экономические, исторические предпосылки для осуществления самых благородных целей человечества еще отсутствуют в должной степени, вы, Маркс, еще не стали душой и мыслью масс, вы, мудрый и сильнейший из сильных, не оценены пока по достоинству. Вы принадлежите будущему.

Маркс несколько раз пытался остановить пылкую речь Джонса, но ему удалось только задержать его руку, то и дело выбрасываемую вверх, как бы следом за словом.

— Не прерывайте меня, Карл. Для рабочего класса, когда он победит, будут святы имена революционеров и теоретиков.

Джонс принялся за кружку эля и сандвичи. Вскоре Маркс и Джонс вышли на безлюдную улицу. Было еще светло.

— Проклятое воскресенье, день, когда воистину некуда податься. Сидеть на скамейках в парках рискованно, легко осложнить себе жизнь ревматизмом. Давайте погуляем,— предложил Джонс.

— Отлично,— согласился Карл, любивший ходьбу.

Они медленно направились к Гайд-парку по широкой степенной улице магазинов — Оксфорд-стрит. Джонс был ростом ниже Маркса, но так же широкоплеч и крепко скроен.

— Вы так-таки ничего еще мне не сказали о своей новой книге,— заговорил снова англичанин.— Слыхали ли вы о двух французских сочинениях, посвященных, так же как и ваше, перевороту второго декабря?

— Да, я их читал. Переворот «елисейской банды» волнует и будет еще долго будоражить умы всех демократов мира. Одна из книг называется «Наполеон Малый». Автор — Виктор Гюго, другая — «Государственный переворот» небезызвестного вам Прудона. Гюго и я, как видите, эмигранты, и оба нашли прибежище на земле туманного Альбиона.

— Не хочу ставить вас, Маркс, в один ряд с другими. Нельзя не уважать таланта Гюго, он, в конце концов, смелый человек. Что же касается достопочтенного Пру-

дона, то чем дальше, тем больше он становится похожим на свистульку, воображающую себя органом.

Карл принялся рассказывать Эрнесту Джонсу о двух французских книгах, посвященных столь волновавшей его теме.

— Для Гюго события второго декабря явились громом среди ясного неба. По его мнению, это чуть ли не рок. Он видит в случившемся лишь насильственное деяние одного человека и, пытаясь умалить значение политического прохвоста, каким, несомненно, является Луи Бонапарт, возвеличивает его, приписывая безмерную мощь личной инициативе. Это неизбежно, раз не объяснены и попросту обойдены молчанием истинные исторические и политические причины такого стремительного возвышения. Поэтому книга Гюго, по-моему, несмотря на едкие и остроумные выпады, неубедительна и легковесна, как карточный домик.

— А что получилось у Прудона? — поинтересовался Джонс.

— Прудон впадает в ошибку так называемых объективных историков. Незаметно для себя самого, он хотя и стремится представить государственный переворот результатом предшествующего исторического развития, но фактически непрерывно возвеличивает Луи Бонапарта.

— Понятно, а вы, Маркс, как разрешили загадку трагикомических событий во Франции? Я обязательно прочту «Восемнадцатое брюмера». К счастью, мне не придется ждать обещанного Пипером английского перевода, так как я хорошо владею немецким. Большое удовольствие прочесть ваше сочинение в оригинале.

— Спасибо, Джонс. Я в своей книге, в противоположность Гюго и Прудону, показываю, каким образом классовая борьба во Франции создала предпосылки для того, чтобы этот скоморох Луи-Наполеон смог сыграть роль героя.

Условившись с Джонсом о встрече на следующий день, Маркс свернул в квартал Сохо. Внезапно обернувшись, он увидел круглое веснушчатое лицо следовавшего за ним почтенного господина в шляпе пирожком.

«Мой шпик тут как тут. Долго же я водил его по городу»,— подумал Карл. Это его рассмешило. Подойдя

к своему дому, Карл еще раз посмотрел на несколько смущенного шпика, который сделал такой жест, точно хотел снять свою странного фасона шляпу и раскланяться.

Насвистывая шуточную немецкую песенку, Карл поднялся на второй этаж в свою квартиру. Едва он открыл ключом дверь, как услышал хор детских голосов:

— Ура, дядя Ангельс приехал, дядя Ангельс привез леденцы, конфеты и разные вкусные вещи!

Позади оживленных, разрумянившихся Женнихен и Лауры появился Энгельс с Мушем на руках.

— Ба, вот приятная неожиданность! У нас Фредерик,— радостно воскликнул Маркс, сбросив пальто.

Осторожно поставив мальчика на пол, Фридрих подошел к Карлу, ласково всматриваясь в его лицо.

— Как твои глаза? Кажется, тебе лучше. Наконец-то я вырвался опять к вам на несколько дней из проклятого Манчестера. Госпожа Маркс рассказала мне уже много интересного о твоей книге, а Ленхен напоила превосходным кофе. Я провел часок в обществе своих маленьких друзей. Мы выстроили великолепный вигвам и раскурили трубку мира.

Весь вечер, пока не улеглись дети, в квартире Маркса не смолкали смех и шутки. Когда Ленхен наконец удалось уложить спать Женнихен, Лауру и Муша и укачать покашливающую хилую Франциску, собрались все взрослые члены семьи. Карл и Фридрих заметно истосковались друг по другу и сели рядом. Улыбка не сходила с их лиц. Переписка могла лишь отчасти заменить им живое личное общение. В редкие встречи они старались возместить время, прошедшее в разлуке.

В разговоре оба друга как бы ковали на огне мысли те положения в политике, экономике, истории, которые не раз обдумывали и проверяли порознь, отделенные десятками миль. Но вначале беседа скользила лишь по поверхности. Они как бы отдыхали рядом.

— Джонс, несомненно одареннейший из чартистов, повсюду рекламирует твою корреспонденцию, Фридрих, сохраняя, однако, твое инкогнито. Завтра ты услышишь сам его мнение об этом. Кстати, я уже писал тебе, что неудавшийся Марат — достопочтенный Гарни, любитель всяких театральных эффектов и рекламной шумихи, бесстыдно отбивает для своей газеты «Друг народа» подпис-

чиков у Джонса. Черт знает где достает он деньги. Недавно Гарни нанял и пустил по Лондону фургон с объявлениями, призывающими подписываться на «Друга народа». Во всех витринах магазинов, хозяева которых объявляют себя социалистами, ты можешь полюбоваться рекламой газеты благородного чартиста Гарни Джорджа Джулиана.

— Думаю, что госпожа Гарни, его супруга, принимает во всех этих предприятиях самое деятельное участие. Я знавал только одну женщину столь же напористую,— сказал Энгельс. — Ты догадываешься, конечно, кого я имею в виду?

— Прелестнейшую из гадюк — Эмму Гервег,— смеясь, ответил Маркс. — Я теперь еще более убежден, что Гарни тщетно пыжится и хочет доказать, что мыслит и действует самостоятельно.

— Ты превосходно заметил, Карл, когда-то о Гарни, что в душе его живут три духа,— вмешалась в разговор Женни,— один усмирен вами, господин Энгельс, вот отчего мистер Гарни всегда отступает и как-то сжимается, когда вы с ним спорите, второй — это он сам в неприкосновенном виде, но третий и к тому же самый могущественный — это семейный дух, его достойная супруга.

— Эта дама,— говорил, смеясь, Карл,— превосходит всех героинь Шеридановой «Школы злословия». Бекки Шарп из «Ярмарки тщеславия» по сравнению с ней новорожденный младенец. Даже меня и Женни она умудрилась впутать в свои мерзкие сплетни. Эта женщина сует свои длинные руки не только в кухонные кастрюли знакомых, но и во все политические начинания мужа. Немало хороших людей уже поплатились только за то, что встречались с ней когда-либо. Но довольно об этом. Хорошо, что Эрнест Джонс другой. Несмотря на некоторую мягкость характера и частые колебания, он, несомненно, последовательный, надежный борец. Читал ли ты его новую поэму?

— Стихи Джонса очень хороши,— заметила Женни, оживившись.

В соседней комнате раздались стоны и мучительный детский кашель.

— Франциска снова больна. У нее, по-видимому, бронхит. Как я боюсь за эту крошку! — Сказав это, Женни поспешно вышла из комнаты.

— Я разделяю тревоги госпожи Маркс,— произнес Фридрих. — Ребенок кажется мне очень слабеньким. Хорошо, если не будет воспаления легких.

Маркс помрачнел и нервно принялся отыскивать на столе коробку с пахитосками. Он тяжело вздохнул.

— Бедное дитя,— сказал Карл тихо. — Оно пришло в мир в тяжелое для нас время. Женни горестно оплакивала нашего умершего сынишку. После родов, как ты, наверно, помнишь, она долго болела. Материальное положение мое так плачевно, что больная малютка не имеет необходимых лекарств и достаточной врачебной помощи. Если бы не ты, Фредерик, мы уже, должно быть, не существовали бы больше.

Энгельс не мог усидеть на месте. Он встал, прошелся по комнате, стиснул руки и сказал с горечью:

— Молчи, Карл. Я так мало могу сделать теперь для тебя и твоей семьи. Но терпение, друг! Когда я перестану быть всего лишь конторщиком и сделаюсь компаньоном фирмы отца, где бы она ни была — в Манчестере или Ливерпуле,— все сразу изменится в твоей жизни. Я не могу дождаться той минуты, когда твоя семья будет иметь все необходимое и ты спокойно сможешь писать свою столь важную для нашей борьбы и победы книгу по политической экономии. То, что ты мне показывал, нужно миру и человечеству как воздух. Ты допишешь свой труд, чего бы нам это ни стоило, а пока...

Голос Энгельса, всегда такой ровный, уверенный, дрогнул. Маркс посмотрел на него сверкающим благодарным взглядом. Они молча закурили. Вскоре разговор возобновился, сначала отрывисто, вяло, затем с нарастающей силой и увлечением. Оба друга как бы домысливали в беседе все, что было не до конца уяснено. Взаимопонимание Карла и Фридриха было так велико, что, едва один начинал говорить, другой мгновенно безошибочно мог продолжать его мысль. В этом отчетливо сказывались их совершенная близость и единство.

Оба они отлично знали все, что касалось развития английской экономики и важнейших политических событий. Маркс и Энгельс жили интересами всей планеты, и разговор их был подобен кругосветному путешествию. Индия, Америка, Китай и европейские страны — все это было в поле их зрения и мысли.

Но вот беседа перешла к волновавшим их особенно делам Союза коммунистов. Маркс, негодуя, рассказывал о подлом прусском провокаторе Гирше, втершемся в Союз коммунистов.

— По моему предложению,— говорил он,— этот юркий негодяй был исключен на очередном собрании коммунистов Лондонского округа. Пришлось изменить адрес и день еженедельных собраний, чтобы скрыться от полиции. Вместо Фаррингтон-стрит в Сити, где мы собирались по четвергам, отныне встречаться будем в таверне «Роза и корона», неподалеку отсюда, в Сохо, на Краун-стрит. Как видишь, Фред, мы окружены шпиками. Наши письма перлюстрируются. Необходима осторожность, чтобы ничем не подвести арестованных в Кёльне братьев по партии.

Борьба за соратников, которых привлекли к суду, обвиняя в участии в так называемом немецко-французском заговоре, была кровным делом Маркса и Энгельса, и они долго обсуждали, как следует им ее вести. Было уже далеко за полночь, когда они заговорили об американских друзьях Вейдемейере и Клуссе, который недавно сообщал в письме много важных сведений о деятельности за океаном мелкобуржуазных политических дельцов, таких, как Кинкель и Гейнцен.

— Ну, а как ведут себя эмигрантские инфузории здесь, в Лондоне? — спросил насмешливо Энгельс.

— Копошатся. Чтобы различить их деятельность, требуется сильнейший микроскоп. Но переступим через них. Я уже знакомил тебя с тем, что установил для самого себя со всей ясностью в сложном вопросе о классах и классовой борьбе в истории. Существование классов связано лишь с определенными фазами развития производства — это первое; классовая борьба неизбежно ведет к диктатуре пролетариата — второе, и, наконец, третье — эта диктатура сама собой составляет лишь переходную ступень к уничтожению всяких классов и к обществу без классов вообще.

На следующий день Фридрих пришел на Дин-стрит в холодные серые сумерки. Здоровье Франциски ухудшалось, и в квартире царило беспокойство. Женни и Ленхен не отходили от больного ребенка. То они принимались обогревать его, закутывая в теплую шаль, то, не добившись облегчения, бросались поднимать раму окна, чтобы

освежить комнату притоком воздуха. Ничто не помогало.

Старшие дети, Карл и Фридрих перешли в соседнюю комнату. Камин чадил, и Карл принялся сам растапливать его. У огня на рваном полосатом пледе лежал хилый котенок. Все в семье Маркса и он сам трогательно жалели и любили этого принесенного с прогулки бездомного котенка.

Энгельс раскладывал на тонких ломтиках белого хлеба сыр. Он был большим мастером делать сандвичи. Женнихен и Лаура с детской беспечностью помогали ему. Потом они окружили Энгельса, требуя сказок. Только Мавр, по мнению детей, умел сочинять их лучше Фридриха. Но в этот печальный день они не решались просить о чем-нибудь отца.

Прежде чем начать рассказ, Энгельс прошел в соседнюю комнату.

Женни бросилась к нему навстречу, тревожно говоря:

— Малютка очень страдает. Она задыхается. Я никогда не видела, чтобы бронхит был столь мучительным. Не знаете ли вы какого-либо исцеляющего средства?

— По моему разумению, надо искупать ее,— вмешалась решительно Ленхен. — Когда-то господин Гейне спас горячей ванной от смерти нашу крошку Женнихен.

— Что ты думаешь о ванне, Фред? — с надеждой в голосе спросил Маркс, взяв на руки хрипящую потную Франциску.

Маленькие ноздри девочки раздувались. Иногда она открывала мутные тоскливые глазки, глядя в пространство. Впервые в жизни Карл вдруг почувствовал желание закричать о помощи. Он крепко закусил губу и отвернулся, чтобы скрыть слезы.

— Конечно, это не может причинить вреда малютке. Ванна, во всяком случае, совершенно безвредна,— ответил Энгельс и принялся деятельно помогать Ленхен готовить горячую воду. Про себя он думал: «Ребенок очень болен. Неужели и он, как Фоксик, погибнет в Лондоне?»

После ванны Франциске стало лучше, и надежда — эта злейшая и желаннейшая обманщица — снова внесла успокоение в семью Маркса.

Фридрих вернулся к терпеливо поджидавшим его детям. Он пододвинул единственное кресло к камину, и Муш тотчас же забрался на его колени, а девочки уселись

рядом. Насытившийся котенок улегся у их ног, поближе к огню.

— Надеюсь, я не помешаю импровизации? — спросил Маркс и подошел к рабочему столу, чтобы просмотреть свежий номер «Таймса».

— Нет, Мавр. Но, увы, я не обладаю твоим даром фантазии. Хорошо, что мои слушатели весьма снисходительны. Итак, хотите ли вы, высокочтимые леди и джентльмены, послушать миф о Прометее? — сказал Энгельс, обняв одной рукой Муша, другой — Лауру и Женнихен.

— Да, да, о Прометее! — закричали дети, которым понравилось звучное, никогда ранее не слышанное имя.

Фридрих понизил голос и медленно, таинственно, как надлежало, начал рассказывать сказку:

— Это было давным-давно, на далеком рубеже земли, принадлежавшей жестокосердным скифам. Там всегда грохотало и пенилось море. Узкие и острые скалы, будто ножи и кинжалы, торчали на берегу, омываемые волнами. Никогда не ступала в этой дикой и пустынной местности нога человека. Но вот однажды появились там страшные стражи сурового греческого бога Зевса. Их звали Власть и Сила. Они гнали перед собой титана — Прометея, чтобы приковать его навеки к вершине самой высокой скалы. Позади Прометея, печально понурив голову, брел его друг, сын Зевса, кузнец Гефест. Ему было приказано приковать к скале руки и ноги пленника. Но мало показалось Зевсу этого наказания, и он велел также пронзить грудь титана стальным острием. «Сильней бей молотом! Крепче стягивай оковы!» — приказывали Власть и Сила Гефесту. «О Прометей! — шептал тот печально. — Я страдаю, видя твои муки, но не могу ослушаться грозного бога Зевса». — «Торопись, бей крепче, иначе и ты тоже будешь закован!» — прервала Гефеста суровая Власть.

И вот все было кончено. Титана приковали к скале и в грудь воткнули стальное копье.

«Безумец, ты помог людям и навлек гнев богов, а эти жалкие однодневки на земле не придут облегчить теперь твои страдания. Зачем ты пожалел их, дерзкий?» — насмехались над титаном Власть и Сила.

Маркс давно отложил газету и, опершись головой на руку, то ли слушал, то ли думал о чем-то.

— Распростерт на высокой скале, — продолжал Энгельс громче, — пригвожден и опутан оковами Прометей.

Жгут его тело палящие лучи солнца, проносятся над ним бури, по изможденному телу хлещут дожди и град, зимой леденящий холод сковывает искалеченное тело. Каждый день громадный орел прилетает и садится на грудь Прометея и рвет клювом его печень. Потоками льется кровь, обагряя скалу. За ночь заживают раны и вновь отрастает печень, но утром прилетает орел и клюет ее снова. Многие сотни лет длятся эти муки, но не сломлен гордый дух Прометея страданиями. Бессильны перед ним его лютые враги.

— Какая страшная сказка! — говорит Лаура.

— А за что приковали Прометея к скале? — спрашивает Женнихен, блестя черными, в голубой оправе белков, такими же яркими, как у отца, глазами.

Муш силится понять сказку и напряженно морщит лобик.

— Могучий Прометей, вопреки воле Зевса, похитил с божественной горы Олимп небесный огонь и передал его людям,— продолжает Энгельс. — Полудикие, жалкие, несчастные люди благодаря огню обрели письменность, числа и ремесла. Прометей принес им счастье и подорвал безграничную власть над человеком мстительных богов.

За помощь сильную
Главарь богов неистовыми пытками
Мне отомстил наградою чудовищной,—

декламировал Фридрих строфы из Эсхилова «Прикованного Прометея».

Ведь такова болезнь самодержавия:
Друзьям не верить, презирать союзников.
Вы спрашивали, почему постыдно так
Меня калечит,— ясный дам, прямой ответ.
Едва он на престол сел родительский,
Распределять меж божествами начал он
Уделы, власти, почести: одним — одни,
Другим — другие. Про людское горькое
Забыл лишь племя. Выкорчевать с корнем род
Людской замыслил он, чтоб новый вырастить.
Никто за них не заступился, я один!
Один лишь я отважился! И смертных спас!

Энгельс помолчал.

— Вот что еще говорит Прометей,—сказал он затем:— «Я людям подарил огонь...»

Женнихен протянула ручки к камину.

— Он стащил с неба огонь? — сказала она, удивленно вскинув вверх черные ресницы. — Но как стали бы люди жить без него? Они замерзли бы, наверное?

Никто ей не ответил. Муш дремал на руках Энгельса. Лаура прикорнула, положив голову на его колено. И Женнихен одна, пораженная загадочной сказкой, смотрела, не мигая, в пасть камина. Ей казалось, что сквозь пунцовые языки пламени она видит распластанное тело Прометея, которое разрывает острый птичий клюв.

В тихой комнате снова зазвучал мужественный голос Энгельса. Он продолжал читать наизусть столь любимые Марксом и им стихи Эсхила:

...Но врагу от врагов
Казнь и муку терпеть не постыдно ничуть.
Ну так пусть двухлезвийные кудри огня
В грудь мне ринутся, в клочья пускай разорвут
Воздух — громы и дурь сумасшедших ветров.
Пусть тяжелую землю до самого дна,
До кремнистых корней потрясет ураган.
Пусть в кипенье и бешенстве хляби морей
Вперемежку сплетутся с дорогами звезд.
Пусть швырнут мое тело в бездонный провал
Чернокрылого тусклого Тартара, пусть
Закружат меня вихри железной судьбы,
Умертвить меня все же не смогут!

Энгельс опустил глаза и увидел, что только Женнихен по-прежнему жадно слушала, раскрасневшись, миф о Прометее. Муш и Лаура тихо спали.

— Несчастный титан. Неужели всегда Зевс будет его так жестоко мучить? — спросила Женнихен испуганно.

— Прометей — огненосец и провидец. За это-то больше всего и ненавидел его злобный бог. Прометей предсказал, что Зевс должен погибнуть.

Пускай сейчас надменен Зевс и счастьем горд,
Смирится скоро!..
...Пускай царит, небесными гордясь громами.
Пускай царит,
В руке стрелою потрясая огненной!
Нет, не помогут молнии. В прах рухнет Зевс
Постыдным и чудовищным крушением.
Соперника на горе сам себе родит,
Бойца непобедимейшего, чудного!
Огонь найдет он гибельней, чем молния,
И грохот оглушительнее грома гроз...
И содрогнется в страхе Зевс.

Наступило молчание. Затем, улыбнувшись широкой ласковой улыбкой, Фридрих продолжал, обращаясь к своей единственной слушательнице:

— Запомни, малютка, Прометей был великий и благородный мученик, как сказал некогда наш Мавр. Он принес себя в жертву потому, что больше всего на свете любил людей. Ничто и никто не мог сломить его волю. Только божественный огонь мог принести счастье людям. И раз боги не отдали добровольно, Прометей его похитил.

Тринадцатого апреля, после нескольких дней пребывания в столице, Фридрих уехал в Манчестер. А днем позже в тяжких страданиях умерла маленькая дочь Маркса.

Снова светило лондонское солнце сквозь прозрачную дымку. Наступила пасха. Продавщицы цветов вывезли на улицу тележки с букетиками разноцветных голландских тюльпанов и серебристых нарциссов. Звонили колокола. В сквере Сохо зеленела свежая трава, веселились воробьи. Только в квартирке на Дин-стрит, 28, стало еще мрачнее. Крохотное бездыханное тельце умершей покоилось в маленькой комнате. Трое детей и трое взрослых горько оплакивали Франциску.

Смерть вошла в дом, где господствовала нищета. Ленхен первая, со свойственной ей трезвостью и силой перед лицом всяких страданий, вспомнила о том, что нужен гробик, но в кошельке Маркса не нашлось ни гроша для его покупки. Эрнест Джонс хотел достать денег, но и ему это не удалось. Мертвое дитя, у которого никогда не было при жизни колыбельки, лежало на столе, не имея последнего прибежища. Ночью вся семья укладывалась вместе в соседней комнате.

Будущее не предвещало им скорого избавления от страшных лишений. Закрыв глаза, без сна лежала Женни возле своих детей. Мысли, одна мрачнее другой, возникали в ее утомленном мозгу. Что будет с Мушем? Не по летам развитой, необыкновенно одаренный мальчик заметно слабел, прозрачно бледным было его личико, темные круги лежали вокруг прекрасных, глубоких, полных мысли глаз.

Женни поднялась с постели, похожая на смелую прекрасную орлицу, готовую погибнуть, но спасти своих птенцов. Дети спали. Стараясь не разбудить мужа и Лен-

хен, со свечой в руке прошла она в соседнюю комнату, где лежало уже три дня ее мертвое дитя. Здесь, в полном одиночестве, окаменев от горя, глядя без слез на застывшее белое личико, она вдруг вспомнила Трир и огромный сад с беседкой, обвитой виноградными лозами, где так любила сидеть в знойный день ее мать, баронесса Каролина фон Вестфален. Девочка, бегавшая среди цветов в белоснежном платье с оборками и бантами, похожими на стрекоз, веселая, нарядная, неужели это была она? Если бы Муш, Лаура, Женнихен росли в достатке, если бы маленькая Франциска и бедный Фоксик резвились в старом вестфаленском доме, может быть, смерть не осмелилась бы приблизиться к ним.

Больному воображению Женни послышались звуки музыки. Кто это играл обычно Моцарта на белом клавесине в зале, убранном в шотландском стиле? Это ее брат. Теперь Фердинанд фон Вестфален стал чванным прусским министром. Он богат, но никогда сестра не обратится к нему за помощью.

Снова далекий Трир приблизился к Женни. Как беспечно начиналась ее жизнь в отчем доме! Вот и платан на Римской улице, свидетель счастливых свиданий. Часто стояла она в его тени, слушая Карла. Впереди, казалось ей тогда, была одна только радость. Женни закрыла лицо руками.

— «Нет горя горше, чем в несчастье о счастии минувшем вспоминать»,— прошептала она слова поэта.

В это время знакомая, бесконечно дорогая рука легла на ее плечо.

— Карл,— прошептала она вошедшему незаметно мужу,— мне трудно, невыносимо. Как нам быть дальше? Поддержи меня, я слабею. Сколько раз ты уже возвращал мне силы. Откуда только ты их черпаешь?

— Это и есть жизнь, Женни. Будем сильны в час испытаний. Рождение и смерть чередуются и неизбежны, как ночь и день, покой и буря, прилив и отлив.

— Пусть мы только однодневки на земле,— печально сказала Женни,— но все-таки дороже всего для нас дети. Скоро ли наступит время, когда на свете не будет больше столь несчастных, как мы с тобой, родителей, которым не на что похоронить своего умершего от бедности и лишений младенца?

Немного успокоив и уложив жену, Маркс подошел к чуть тлеющему камину и закурил. Скоро горка окурков

выросла в пепельнице. Он взволнованно зажигал и раскуривал одну за другой тонкие пахитоски. Мысли, тяжелые, как жизнь на Дин-стрит, давили его. Облокотясь головой на крепкую руку, Карл думал о том, имел ли он право обречь на столь тяжкие испытания Женни и детей. Может быть, следовало, избрав столь тернистый боевой путь, идти в жизни одному?

С юности Карл выбирал только трудные дороги, был верен одной цели — сделать наибольшее число людей счастливыми. Бесстрашно ради этого он спустился в ад, где жило большинство человечества. В философии, истории, экономической науке искал он упорно средства вывести людей к счастью. Нищета, потери детей, голод, болезни — удел тех, кому он посвятил себя,— стали и его судьбой. Иначе быть не могло. Вместе с Карлом терпели лишения Женни и их дети.

Мог ли Маркс с его чуткой душой, строгим, правдивым сердцем и титаническим умом избрать иную жизнь? Тогда это был бы другой человек.

Возле умершего ребенка Карл сурово допрашивал свою совесть: был ли он прав, не жесток ли к семье? И совесть отвечала без колебаний: «Иди дальше той же тропой. Она ведет к тому, чтобы победить все несчастья. Эта потеря еще раз поможет тебе понять безмерность горестей на земле, твои слезы — едва зримая капля в море других».

Карл отошел от камина, глаза его были подернуты страданием и грустью. Вокруг все спали. На одной из кроватей лежали вместе Женнихен, Лаура и Муш. Склонившись над ними, едва сдерживая желание обнять их, Маркс вглядывался в спящих. Как горячо любил он детей! Не размышляя, пожертвовал бы отец ради них своей жизнью, но отступиться от своей совести, целей, идей не смог бы никогда.

Женнихен и Лаура спали, раскинувшись на постели, порозовевшие, как бы готовые улыбнуться, и тем более бледным казался маленький Муш. Мальчик видел, верно, тяжелый сон, и его умное, нежное, вдохновенное личико горестно кривилось. Подле олицетворявших здоровье сестер он казался хрупким стебельком, растущим без достаточного дневного света.

Нервы Карла были крайне напряжены, и он внезапно содрогнулся от тяжелого предчувствия и боязни за сына.

Это длилось только мгновение. Отогнав страшную мысль, отец не сдержался, наклонился и осторожно, ласково коснулся губами трех пушистых головок, пахнувших свежескошенной травой.

Настало утро.

Маленькую Франциску все еще не на что было похоронить.

Обезумев от отчаяния и смятения, Женни бросилась к одному французскому эмигранту, жившему в квартале Сохо, и попросила о помощи. Это был добрый, отзывчивый человек. Он тотчас же дал ей два фунта стерлингов. На эти деньги куплен был гробик. Годовалую Франциску похоронили на кладбище для бедных.

Неудачи преследовали Маркса, и казалось, судьба удавом обвилась вокруг его дома. Из Америки шли вести одна печальнее другой. Издание брошюры «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» задерживалось — у Вейдемейера не было средств.

И только в конце апреля, прекраснейшего месяца на острове, до Дин-стрит добрался первый луч надежды. Благодаря помощи одного немецкого рабочего-эмигранта, отдавшего все сорок долларов своих сбережений, можно было опубликовать книгу в виде выпуска журнала «Революция».

Горе как бы отхлынуло на время от семьи Маркса. Издатель «Нью-Йорк дейли трибюн» Дана предложил Марксу написать для его газеты статьи о текущих английских делах, а Энгельс прислал другу денег и ободрил его сообщением, что, получив прибавку жалованья, сможет отныне несколько увеличить материальную помощь. В бессолнечной квартирке на Дин-стрит, 28, снова стало веселее. К обеду Ленхен жарила мясо и пекла детям сладкие пирожки. Женни смогла купить себе и детям новые платья, и Муш получил игрушки.

Вильгельм Либкнехт достиг того чудесного возраста, когда человек с особой силой вбирает в себя все, что может, и неутомимо действует. Хотя перед ним было еще очень много полноценных лет жизни и он знал это, как всякий совершенно здоровый физически и духовно человек, ощущение не до конца использованного времени, нетерпение, желание все испытать постоянно томили его.

Этим-то он особенно нравился Карлу и Фридриху, так как был им сродни.

Мысли о любви тревожили Вильгельма. Он смотрел на каждую привлекательную женщину с необъяснимой грустью и растерянностью. Рано лишившись матери, Вильгельм получил суровое воспитание и особенно стеснялся женщин. Но в Женни с недавнего времени он нашел заботливую сестру и мать и делился с ней всем, что волновало и мучило его в печальном изгнании. По его мнению, Женни совмещала в себе все самое лучшее: красоту, слегка насмешливый, глубокий ум, душевное благородство.

— Я уверен,— сказал Вильгельм Женни, помогая ей складывать переписанные листы рукописи Карла,— что вы поймете то, о чем я часто думал в последнее время, и не сочтете меня чудаком. Я попытаюсь заглянуть в будущее, теоретически обобщить ряд житейских наблюдений и кое-каких фактов.

Женни вопросительно посмотрела на Либкнехта, отложив работу.

— Короче говоря,— продолжал он,— речь идет о семье и о браке в будущем.

— Вот как! И что же вы об этом думаете? — заинтересовалась Женни.

Вильгельм, собрав всю силу воли, чтобы преодолеть нахлынувшее смущение под прекрасным сияющим и ободряющим взглядом, заметно повысил голос и принялся говорить очень быстро:

— Литературные образы и ситуации, всякие случаи из жизни и думы об этом извечном вопросе, который притягивает и вбирает в себя много духовных и физических сил человека, говорят мне, что многое изменится в будущем. В подлинно человеческом, то есть коммунистическом, обществе не будет любовных драм с кровавой развязкой. Яснее: между любовью и семейными узами не возникнет роковых противоречий. Ведь главное, что порождает драму,— это судьба детей. А при коммунизме люди будут так богаты, что дети найдут заботу не только семьи, но и общества, благоденствие и счастье. Исчезнет в литературе и искусстве тема о брошенных детях. Человек подчинится в любви только велению сердца. Сгинет ревность, и ничье чувство собственного достоинства не будет более уязвлено. И, говоря библейскими оборотами,

сбросит человек последнее иго, и увидит он, как хорошо быть вечно молодым.

— Вы еще не любили,— сказала тихо Женни. — Когда вам посчастливится отыскать единственную любимую, вы воскликнете, как Фауст: «Остановись, мгновенье!» Никогда ничто не сможет сравниться для вас с многообразием и глубиной охватившего сердце великого чувства. — Женни помолчала. — Вы правы в том, что люди при коммунизме будут прекрасны, одухотворенны и цельны. Любовь к одному или одной подчинит все инстинкты. Как духовно постоянно развивается человечество, стремясь достигнуть совершенства, так в коммунистическом обществе будет углубляться и шириться способность любить преданно и верно одно существо.

— Нет,— все более удивляясь своеобразию и ясности мысли Женни, оживился Либкнехт,— я не согласен с вами, хотя то, что вы говорите, и очень заманчиво. По правде говоря, меня пугает однообразие в любви, моногамия кажется мне пресной и тягостной, от нее веет пуританством.

— Милый теоретик, вы чрезмерно умствуете,— засмеялась Женни. — Пуританская мораль — это провозглашение устоев собственности. При коммунизме, я думаю, все будут настолько свободны, что человек сможет связать себя таким чувством, которое, раз родившись, умрет только вместе с ним самим. Когда вы полюбите, то поймете без всяких теоретизирований, как многогранна, безгранична и всегда нова подлинная любовь. Впрочем, представим будущим поколениям устраивать свою жизнь так, как будет диктовать им их время и сердце.

В немногие свободные часы Вильгельм отправлялся бродить по огромному Лондону. Иногда он встречался с Бартелеми, который уводил его на окраины. Как-то они попали на излюбленное зрелище столичных жителей — собачьи бега. Как и петушиные бои, эти бега привлекали множество зрителей.

Невозмутимая в повседневности толпа, к изумлению Либкнехта, совершенно преображалась на игрищах и состязаниях. Вой, стоны, крики сопровождали бегущих к финишу собак, догонявших зайца. Не оставалось тогда и следа от пресловутой английской чопорности, сдержанности, контроля над жестом и словом.

Бартелеми был весьма охоч до таких зрелищ и, если были деньги, ставил на тотализатор. Еще больше нрави-

лись ему петушиные бои в лондонских трущобах, устраиваемые в больших старых сараях. Либкнехта возмутила эта страшная садистская забава. Петухи, обреченные на взаимное растерзание, бились с чудовищной отвагой и смертельным упорством. С подсказанной инстинктом предельной злобой кололи они один другого шпорами, клювами, бились общипанными крыльями, грудью. Диким криком одобрения сопровождали зрители удар старого, хромого, израненного петуха, мгновенно ослепившего соперника. В этом бою не было победителей и финиша. Это была война насмерть. И слепой петух, кровоточащий, общипанный, собрал последние силы, чтобы умереть отомщенным. Внезапно, высоко закинув костлявую шею, он взлетел над противником, повалился на него коршуном и ударом клюва пробил ему голову. Птицы сплелись и издали победный хриплый клич. Оба победили, оба были мертвы.

Вильгельм с отвращением отвернулся. Его тошнило. Бессмысленными, жестокими показались ему озверелые лица присутствовавших, их открытые слюнявые рты, их сладострастно сожмуренные глаза, их вздохи и рев. Чувствуя нараставшее омерзение, Вильгельм потребовал, чтобы Бартелеми вышел с ним из зловонного сарая.

— Как можешь ты, Эммануэль, развлекаться зрелищем, достойным людоедов Соломоновых островов? — спросил он раздраженно.

— У нас с тобой разные вкусы, да и взгляды тоже. Как видишь, здесь всегда тьма народу. Я люблю толпу. К тому же нужно ожесточить сердце, чтобы принести кровавые жертвы во имя победы. Нельзя в наше время бояться крови. Не ты ее прольешь, так тебя обескровят. Недавно я читал, что где-то на Кавказе, в горах, есть люди, поклоняющиеся дьяволу. Они рассудили, что бог — начало добра, его бояться нечего и молиться ему не стоит. Другое дело дьявол. Он беспощаден и потому опасен.

— Это секта иезидов,— подтвердил Либкнехт.

— Мне все равно, как она называется. Зло торжествует в современном мире. Бедные перепуганные человечки пытаются молениями и жертвами умилостивить черта. Я не их единомышленник и поднял меч. Со злом я буду бороться злом и уничтожу тиранию.

— Ого, ты возомнил себя безмерно могущественным и хочешь всех чертей перебить из одного своего

пистолета. Ты безмозглый петух и не видишь ничего дальше своего клюва.

Бартелеми вспылил и разразился бранью, как всегда, когда у него не было аргументов. Рассорившись с Либкнехтом, он отправился в трактир Джо Брауна, где его давно уже поджидала юная Ненси.

В эти дни Маркс часто уходил в Гайд-парк. Он и во время прогулок не расставался с записной книжкой, чтобы не потерять мелькнувшую мысль, подчас счастливую находку, подводившую итог многим часам работы за письменным столом или в читальне Британского музея. Его мозг работал неутомимо, с величайшей основательностью. Ночь или день не имели для него решающего значения. Все больше часов проводил он в это время без сна. Его организм, созданный для большого напряжения и творчества, настойчиво требовал также и физических упражнений. Карл уходил в далекие прогулки пешком. По длинной Оксфорд-стрит, одной из наряднейших улиц Лондона, расположенной неподалеку от Сохо, он шел до Марбль-Арч, где начинался просторный, зеленый Гайд-парк.

Памятником, напоминающим о средневековом простолюдине, служит не Ченсери-корт, где его судили, не парламент, где его обращали в рабство, не Вестминстерское аббатство, где отпевали его королей, а обширные городские парки — общинные луга средних веков. Таков Гайд-парк, широкая оголенная лужайка посреди города. Там пасутся отягощенные свалявшейся серо-желтой шерстью бараны — последнее напоминание о детских годах нации.

В Лондоне, объединившем много отдельных городов, слившихся воедино в процессе роста, о былом раздельном существовании напоминают парки-луга.

Карл, у которого была необычайно живая фантазия, любил представлять себе, усаживаясь на взятом под залог стуле под древним дубом, как на светлой траве возле исчезнувших теперь колодцев танцевала в праздники молодежь средневековья, как бродячий зверинец выгружал тут свои клетки и медведь потешал публику кривлянием и фокусами.

Иногда, встречая на прогулке своего молодого ученика и друга Либкнехта, он охотно рассказывал ему о средневековом Гайд-парке, где в дни праздников ставились на лугу мистерии, а девушки, одетые ангелами, визжа, убе-

гали от заигрывающих с ними юношей — чертей. Божья матерь дискутировала с сатаной, а зрители, рассевшись на траве, то и дело вмешивались в театральное действие, вставляли свои замечания, ругали актеров, кидали им яблоки и букеты цветов. Раскатистый смех непрерывно сотрясал навес — защиту от дождя. Нередко цеховые главари собирали на этом лугу своих членов и устраивали торжественные шествия с знаменами и цеховыми отличиями. Цирюльники несли символическое мыло, бритвы, миски и полотенца, портные — иглы, нитки и ножницы. В дни частых ярмарок траву Гайд-парка вытаптывали выведенные на продажу кони, коровы, бараны и свиньи. Зазывно кричали лоточники, и неутомимый гигант дни и ночи вертел визжащую карусель, а пивовары не успевали выкатывать бочки.

В годы чумы на лугах жгли трупы.

Гайд-парк ничем не был похож на кичливые общественные сады континентальной Европы.

Нарядные парки Парижа или Вены стесняли, как богатая гостиная, заставленная хрупкой мебелью и тончайшим фарфором. Там на каждом шагу ковровые клумбы, плетеные ограждения, начищенные, разглаженные дорожки, печатные угрозы и правила поведения, полные забот не о людях, ищущих отдыха, а об изнеженных и дорогих растениях. В венском Шенбрунне или парижском Люксембургском саду люди — только невольное и нередко досадное дополнение к траве и цветам.

Нищета нигде не кажется такой уродливой, как на фоне какого-либо старого фонтана, статуй или цветочных узоров берлинского Тиргартена.

В Гайд-парке почти нет фонтанов, нет клумб, нет дорог. Есть трава и проложенные по ней тропинки. Гайд-парк — не пестрое городское украшение. Расположенный в самом центре Лондона, опоясанный наиболее людными улицами, он, однако, достаточно просторен и безыскусствен, чтобы тотчас же заставить позабыть о городе. Нет оград, нет запрещений. Трава городского сада доступна, как скамейка. Умело посаженные по краям парка тополя, ольхи, липы, дубы скрывают городские постройки, поглощают городские шумы.

Покидая Гайд-парк, один или с друзьями, Карл всегда останавливался на углу маленькой площади Марбль-Арч, чтобы послушать ораторов.

В Англии, где парламент существовал более шестисот лет, каждая деталь городского быта насчитывала века. Под бесстрастными ольхами представители социальных и богословских идей вербовали себе сторонников. Не было ни одного общественного течения, которое не заявило бы о себе на углу Гайд-парка. Дождь и туман не препятствовали ораторам и слушателям, запасшимся огромными черными зонтами и калошами.

Карл наблюдал за высушенным, коричневым, как гусеница, старичком квакером, воодушевленно дирижировавшим хором из десяти — пятнадцати доисторических персонажей с лицами закоренелых грешников.

— «Вечность, вечность, где мы проведем вечность?» — надрывались певцы псалмов.

Двое безработных в рваной одежонке обратились к Марксу и, показывая на поющих, сказали презрительно:

— Черт с ней, с вечностью, хотели бы мы знать, где провести ночь сегодня на земле.

Маркс остановил их, и вскоре разговор стал таким интересным и важным для всех троих, что они пошли вместе прочь от квакеров, католического священника, дающего справки о чудесах, совершенных святым Сульпицием, и охрипшей дамы неопределенного возраста, призывающей вернуться к библейским заветам и презреть римского папу.

Один из безработных, с характерным для уэльсцев гортанным произношением, метко и зло шутил по адресу правительства, описывая печальную судьбу своих братьев углекопов.

— Уэльсца не обдуришь, мозги у него пенятся, как добрый эль,— сказал второй безработный шотландец из города Глазго.

Маркс пригласил обоих рабочих в маленькую харчевню и, хотя был крайне ограничен в деньгах, накормил их скромным ужином. Слушал он шотландского грузчика, и ему казалось, что Глазго, в котором он никогда не был, исхожен им, как Манчестер и Лондон.

Рабочий говорил о том, почему покинул родные места. Глазго — второй по населенности город Великобритании, столица нищеты. Там живут рудокопы, грузчики, металлисты, передавая свою профессию по наследству из поколения в поколение.

— От нашей бедности, ядовитых газов земного нутра фабриканты и заводчики бежали прочь. Они знают, где жить. Их замки расположены в тридцати милях от города. Хорошо на берегах суровых озер, среди заповедных лесов, в шотландских горах, густо поросших папоротником,— рассказывал случайный знакомый Карла.

Маркс слушал и думал о мрачном городе Шотландии:

«Есть на свете города, возникшие как пристань в укрытой от ветров бухте. Есть города-базары, родившиеся на месте обычного привала кочевников; там травы бывших пастбищ погребены под камнями улиц, древние реки, служившие водопоем для скота, давно высохли. Есть города, которые теперь только памятники былой культуры, тоскливые кладбища, напоминающие о давних событиях. Черный Глазго, видно, не похож ни на один из этих городов. Его построили на каменноугольных пластах близ моря, как строят шахту. Построили, чтобы вырвать из недр земли ее сокровища и тотчас же услать их прочь».

Глазго — город тружеников. На расстоянии многих километров тянутся низенькие домики рабочих кварталов. Тусклые стекла и заштопанные занавески напрасно пытаются скрыть убогую пустоту комнат, почерневший от ветхости очаг и худобу босоногих светловолосых ребят, играющих на полу.

Город не раз попадал в когти свирепой безработицы. Казалось тогда, что по огромным судостроительным заводам и верфям пронесся страшный опустошительный смерч, потопивший корабли, разметавший грузы и разогнавший людей. Работа в порту почти замирала. Кое-где прямо на земле валялись неубранные бревна, недоделанные мачты, куски заржавевшего железа и гнилого каната, пустые бочки. В сухих доках крюки кранов напоминали петли виселиц... С моря почти не приходили суда. Огромнейшие портовые склады были переполнены товарами.

Тщетно отборные силачи-грузчики, толкаемые искоркой надежды, собирались под серыми стенами грузохранилищ. Двери контор по найму были наглухо закрыты, напрасно стояли здесь толпы высоких рыжих шотландцев и худощавых подвижных темноволосых ирландцев. Это были матросы, не нужные ни одному кораблю. Они стояли здесь, пока не спускались сумерки, и только тогда молчаливо и согбенно плелись к своим лачугам. Многие

шли в зловонные закоулки. Там была жалкая утеха нищеты: пивные, курильни опиума.

Лишь немногие одиночные гудки будили утром окраины. Большинство труб не дымилось. Хмурые заводские строения, окружающие Глазго, как крепостные бастионы, были темны и безлюдны.

Только в центре города жизнь текла по-обычному. Горожане побогаче, купцы и коммивояжеры посещали скучные театры и парк с искусственным прудом и гротами, покупали в магазинах пестрые шотландские пледы, клетчатые юбки шотландских стрелков королевской армии, шапочки с перышками, воющие шотландские волынки — смешные побрякушки прошлых лет.

Маркс пристально наблюдал, как из страны скотоводства, домотканой шерсти и крестьянского труда Шотландия превращалась в страну больших и малых Глазго, угрюмых промышленных городов.

Вильгельм Вольф знал жену Энгельса со времен брюссельского изгнания. Приехав в Манчестер, Люпус пришел к Мери. Как все люди, познавшие с детства нужду, выросшие среди народа, она была очень наблюдательна, по-особому умна, чутка и чрезвычайно благожелательна к простым людям. С ними ей было легче и проще, нежели с теми, чья культура, воспитание и знания намного превосходили ее собственные.

Люпус увидел на столике в гостиной, кроме рукоделия, много книг. Желая вызвать улыбку на хмуром лице вначале упорно молчавшего гостя, Мери с присущим ей ирландским юмором начала рассказывать о скупости соседнего лавочника-шотландца.

— Он, вероятно, пишет своей невесте, что готов был бы умереть от любви к ней, если бы похороны не стоили так дорого,— шутила Мери. — Нельзя о каком-нибудь народе судить строго, люди ведь бывают разные, однако «сендей маки», как англичане называют шотландцев, очень уж мелочны. Я работала когда-то в Манчестере у хозяина-шотландца и натерпелась немало горя.

— «Сендей маки»? — спросил, улыбнувшись, Вольф.

— Я и забыла, что вы иностранец. У шотландцев волосы «сендей», то есть песочного цвета. Их фамилиям обычно предшествует слово «мак».

Разговорились. Мери с добродушным юмором описывала годы, когда она работала на фабрике «Эрмен и Энгельс».

— Ни одна леди в Виндзорском дворце не гордится так своим происхождением, как я. Было время, когда я стеснялась этого, но теперь многому хорошему научил меня Фридрих.

В комнату с корзинкой для рукоделия вошла молодая темноволосая девушка.

— Это моя сестренка Лиззи,— сказала Мери.

В конце мая Маркс уехал к Энгельсу в Манчестер и пробыл у него почти весь день. Оба друга собирались совместно писать памфлет о «великих мужах эмиграции», для которого собирали задолго до этого различные материалы.

Эрнест Джонс также находился в Манчестере, где происходила конференция чартистской партии.

Ирландец Фергюс О'Коннор, вождь английских рабочих, был безнадежно болен и лежал в больнице. Чернокудрый красавец доктор Тейлор умер, Джулиан Гарни не пользовался больше популярностью; в погоне за успехом и карьерой он промотал доверие масс.

Хартия из шести пунктов, содержавших требование всеобщего избирательного права, все еще не была претворена в жизнь, и борьба за нее, несколько видоизменившись, продолжалась. Всеобщее избирательное право в Англии, где пролетариат составлял большинство населения, угрожало политическому господству правящих классов и встречало их бешеное сопротивление.

Эрнест Джонс был родом из Уэльса, но рос и получил образование в Германии. Он принадлежал к старинному аристократическому роду. С детства Эрнест проявлял необычайное поэтическое дарование и, вернувшись в Англию, делил время между адвокатурой и литературой. Он вскоре стал известен как поэт, но в 1846 году, познакомившись с Фергюсом О'Коннором, вступил в ряды чартистов и отдался борьбе за права народа. Его необыкновенный дар, знания, ум высоко оценили рабочие. Народ поверил и полюбил его. Джонс был готов бесстрашно встретить и дать отпор любой враждебной атаке заступников старой Англии — важных тори, хитрых вигов,

Всегда жизнерадостный, обходительный, исключительно выносливый, Джонс мог говорить с трибуны много часов подряд при невероятной жаре или под рев бури. Он умел, как никто, ладить с людьми, нравиться с первого взгляда, щедро делился всем, что имел, будь то материальные или духовные ценности. В то время как Гарни приступил к изданию «Звезды свободы» О'Коннора, Эрнест Джонс, преодолев многочисленные препятствия, создал «Народную газету». Первый номер ее вышел в мае 1852 года. Маркс и Энгельс стали деятельнейшими сотрудниками этого органа. Газета полюбилась народу, число подписчиков ее возрастало, и она приобрела большое влияние.

В середине мая в спорах и обсуждениях пять дней заседала конференция чартистов в Манчестере. Джонс, несмотря на самоотвод в связи со своей издательской работой, был избран во Временный исполнительный комитет партии.

Завистливый Гарни, отброшенный от руководства, в своей газете «Звезда свободы» тщетно нападал на Джонса и новый Исполнительный комитет. Джонс был выдвинут кандидатом в парламент от Галифакса.

Чтобы иметь право избирать в британский парламент, мужчина должен владеть домом, дающим к тому же значительный доход. Этот закон, естественно, лишал большинство рабочих права голоса, но в первый день выборов, когда кандидаты публично обращались к народу, за них могли голосовать все собравшиеся простым поднятием рук, независимо от того, избиратели это были или неизбиратели. Такова была традиционная церемония. Затем начиналась баллотировка, и в ней участвовали только привилегированные избиратели. Тогда-то и решался исход выборов. Иногда достаточно было быть выдвинутым в кандидаты поднятием рук народа, чтобы провалиться при баллотировке. А избрание в кругу имущих сопровождалось взрывом негодования тех, кто был слишком беден, чтобы иметь право голоса.

Именно так произошло летом 1852 года в промышленном городе Галифаксе, где Эрнест Джонс был избран двадцатью тысячами рук под ликующие крики народа, а затем провален пятьюстами голосов тех, кто являлся правомочным избирателем от зажиточных горожан.

Это, однако, был незабываемый день, о котором долго не могли забыть английские рабочие. Джонс произнес

тогда одну из лучших, самых ярких речей и превзошел в ораторском искусстве О'Коннора и Тейлора.

Вторым кандидатом в парламент от Галифакса был богатый, знатный буржуа Чарлз Вуд. Его косноязычная, самонадеянная речь не имела никакого успеха у слушателей.

Немало часов, готовясь к своему выступлению, провел Джонс на Дин-стрит, внимательно вслушивался, запоминал, вписывал в записную книжку поразившие его простотой, новизной и неоспоримостью мысли своего друга о труде и капитале.

Встреченный взрывом восторга, Эрнест Джонс сказал:

— Избиратели и неизбиратели! Вы собрались сюда по случаю великого и торжественного праздника. Перед вами стоят сегодня представители двух систем, и вам надлежит решить, которые из них должны управлять вами в течение семи лет. Семь лет — это целая небольшая жизнь! Вы, двадцать тысяч человек, примете сегодня решение, может быть, только для того, чтобы завтра пятьсот человек нарушили вашу волю! Итак, перед вами представители двух систем. Правда, налево от меня находятся виги, тори и фритредеры, но, по существу, между ними нет никакой разницы. Богач предприниматель говорит: дешево покупайте и дорого продавайте. Тори говорит: дорого покупайте и еще дороже продавайте. Для рабочих оба они одинаковы... Труд — вот создатель всех богатств. Для того чтобы выросло хотя бы одно зерно или был выткан хоть один ярд ткани, человек должен трудиться. Труд тоже является товаром, который отдается внаем, труд выступает на рынке как предмет куплипродажи; поскольку же труд создает всякое богатство, его и необходимо прежде всего покупать. «Покупайте дешево, покупайте дешево!» Труд покупается на самом дешевом рынке. Но за этим следует: «Продавайте дорого, продавайте дорого!» Что продавать? Продукты труда... Предприниматель дешево покупает труд, он затем продает товары и при этом должен получить прибыль. Он продает самому рабочему, и в результате каждая сделка между предпринимателем и нанимающимся представляет собой преднамеренное мошенничество со стороны предпринимателя. Так труд от непрерывного ущерба опускается все ниже, а капитал от постоянных обманов поднимается все выше...

Эрнест Джонс стал развивать свои взгляды на политические и экономические реформы и затем продолжал:

— Избиратели и неизбиратели! За то, что я пытался расширить вашу свободу, меня лишили моей. За то, что я стремился воздвигнуть для всех вас храм свободы, меня бросили в тюремную камеру для уголовных преступников. За то, что я пытался поднять голос в защиту истины, я был осужден на молчание. Два года и одну неделю меня держали в тюрьме в одиночном заключении. Могут сказать, что это не общественное дело. Но это именно такое дело! Это — общественное дело, ибо человек, который не сочувствует жене арестованного, не станет сочувствовать и жене рабочего. Тот, кто не желает сочувствовать детям заключенного, не станет сочувствовать детям наемного раба...

— Слушайте, слушайте! — раздались тысячи голосов в толпе.

— Кто голосовал против понижения пошлин на сахар и отмены налога на солод? — продолжал Джонс. — Виг! Вот он! Долой его! Кто голосовал против сокращения ночного труда рабочих, против обследования положения вязальщиков на фабриках, против запрещения начала работы малолетних ранее шести часов утра, против помощи беременным женщинам из бедноты, против билля о десятичасовом рабочем дне? Виг! Вот он! Долой его! Долой его во имя бога и человечности! Граждане Галифакса! Граждане Англии! Обе системы перед вами. Судите и выбирайте!

«Дорогой Энгельс!

Твое письмо попало сегодня в весьма возбужденную атмосферу.

Моя жена больна, Женничка больна, у Ленхен что-то вроде нервной лихорадки. Врача я не мог и не могу позвать, так как у меня нет денег на лекарства. В течение 8—10 дней моя семья питалась хлебом и картофелем, а сегодня еще сомнительно, смогу ли я достать и это. Разумеется, при теперешних климатических условиях эта диета не была полезна».

Карл невольно взглянул в окно. Шел проливной дождь. Смывая с карнизов пласты угольной пыли, по стеклам

текли грязно-серые потоки воды. Стиснув челюсти, сведя в одну широкую скорбную линию темные брови, Карл снова взял перо.

«Статью для Дана я не написал, так как не имел ни одного пенни на чтение газет».

Карл откинулся на спинку стула. Он испытывал гнетущую усталость. Несколько пахитос, выкуренных одна за другой, успокоили его. Карл думал о неудачах, преследовавших его в последнее время. Вейдемейер не выслал ему всего гонорара. В Германии, напуганный расправами с коммунистами, издатель Брокхауз в очень вежливом письме отверг статью Маркса. Тщетно пытался Карл с помощью знакомого англичанина добиться учета векселей на имя нью-йоркского издателя Дана. Круг бедствий замыкался. Ему ничего не удавалось.

«Самое лучшее и желательное,— писал Маркс Фридриху, и скачущие вкривь и вкось буквы отразили предельное нервное напряжение,— что могло бы случиться, это — если бы хозяйка дома вышвырнула меня из квартиры. Тогда я расквитался бы, по крайней мере, с суммой в 22 фунта стерлингов. Но такого большого одолжения от нее вряд ли можно ожидать. К тому же еще булочник, торговец молоком, чаеторговец, зеленщик, старый долг мяснику. Как я могу разделаться со всей этой дрянью? Наконец, в последние 8—10 дней я занял несколько шиллингов и пенсов у кое-каких обывателей, что мне неприятнее всего, но это было необходимо, чтобы не подохнуть с голоду».

Карл закончил письмо, с искаженным горечью лицом запечатал конверт и опять закурил.

Нищета — испытание на медленном огне, которое он избрал добровольно,— изнуряла его. В это же время Прудон за свою псевдокритическую, а в действительности возвеличившую Луи Бонапарта книгу получил несколько сот тысяч франков.

Никто лучше Маркса не знал, как добываются и накапливаются богатства в буржуазном мире, но ни разу мысль о возможности сговора, уступке своей совести не промелькнула в его неукротимой голове. Жребий был брошен им раз и навсегда.

Карл не заметил, как, встав с постели, к нему подошла больная, исхудавшая жена. Глаза ее лихорадочно блестели, она ежилась от озноба, куталась в шаль. Тщетно Карл попытался уговорить ее снова лечь.

— Родная моя,— говорил Карл, укутывая ноги Женни стареньким клетчатым пледом,— поверь, все будет в конце концов хорошо. Только бы ты была здорова. Я знаю, как малейший луч надежды возвращает вновь силы твоей гибкой, чуткой душе. Ты подлинный феникс, возрождающийся еще более прекрасным из всеразрушающего пламени. Ты — мое сокровище... — Карл прижался лбом к горячим рукам Женни.

— Это не моя, а твоя сила духа, Мавр, побеждает все испытания. Как меняется с годами представление о счастье! В юности оно суетно, полно тщеславия, жажды сверхъестественных приключений, побед и блеска, в зрелости — гораздо более человечно, скромно и глубоко.

— Не у всех,— улыбнулся Карл.

— Помнишь, мы читали о китайском мудреце Тао. Он говорил, что счастье, во-первых, в том, чтобы обрести истинного друга, и, во-вторых, в чистой совести. Хотя нам очень тяжело сейчас и в доме нет ни гроша, я добавила бы к этим заветам Тао также любовь — такую, которая с каждым днем становится ярче и сильнее, как у нас с тобой. Только неудачник может говорить о том, что время убивает чувство. Мне кажется, что я уже с детских лет полюбила тебя, но настоящая, большая привязанность пришла только после свадьбы. Как заблуждается тот, кто думает, что лучшие мгновения любви — до брака. Союз двух влюбленных — это только начало настоящего счастья, и ни бедность, ни лишения не в силах его ослабить. Стоит мне подумать, что тебя может не быть рядом со мной, и ужас холодит сердце. Разлука убила бы меня. А вдвоем нет ничего непреодолимого.

Женни умолкла, внимательно вглядываясь в лицо мужа.

— Карл, мне кажется, ты в последние дни чем-то обеспокоен. Из-за болезни я не знаю твоих дел. Но думаю, что это не только проклятые долги и кредиторы. Прошу тебя, расскажи все сейчас же. Ты ведь знаешь, что неизвестность всегда гнетет.

Карл уступил.

— Что ты думаешь о венгерском эмигранте Бандья, который заходил к нам несколько раз?

— Ты как будто не особенно доверял ему?

— Да, мне внушала подозрение его близость с орлеанистами, бонапартистами и всякой иной нечистью. Однако он рассеял мои сомнения, представив подписанный самим Кошутом приказ о назначении его в пору венгерской революции шефом полиции. Это в корне меняло дело. Но до конца я все же не доверял этому субъекту и, кажется, был прав. Все же ему удалось взять у меня для издания в Берлине наш с Фредериком памфлет «Великие мужи эмиграции». И что бы ты думала? Он попросту украл эту рукопись, направленную против «великолепных» Кинкеля, Руге, «рыцарственного» Виллиха и других жаб нашей эмиграции. Я подозреваю теперь, что он продал эту рукопись прусскому правительству.

Женни всплеснула руками.

— Значит, Бандья подослан к тебе прусской полицией? Карл, милый, как много шпионов уже было возле нас. Они, как змеи, вот уже сколько лет вьются вокруг тебя. Уверена, что и сейчас этот веснушчатый толстячок стоит под нашими окнами. Ты, видимо, чрезвычайно тревожишь полицию различных государств. Но ведь ваш памфлет никак невозможно приобщить к кёльнскому делу в качестве адской машины коммунистов?

— Да, Бандья просчитался, и очень скоро его хозяева обнаружат надувательство. В нашем памфлете нет никаких новых данных, ничего такого, что можно было бы использовать против членов нашей партии. Все характеристики и факты против «великих мужей» хорошо известны международным ищейкам. Я разоблачу Бандья в прессе, и Кошут откажется от услуг этого шпиона. Карьера Бандья в Лондоне отныне кончена, ему придется искать для своего «таланта» подмостки в других странах. Все обвинения против Бюргерса, Лесснера, Даниельса и остальных узников построены на подлогах. Их не посмеют осудить. Они будут оправданы. Никакой закон в мире не может дать основания называть Союз коммунистов заговорщической организацией, тайным сообществом.

Карл встал, резко отставил в сторону стул, заговорил возбужденно:

— Уже полтора года сидят в кёльнской тюрьме одиннадцать невиновных, весь механизм прусского государства, посольств в Лондоне и Париже работает без устали, чтобы сфабриковать обвинение, не имея при этом ничего, кроме собственных измышлений. Прусское посольство здесь, в Лондоне, превращено в настоящее отделение тайной полиции. Атташе посольства Грейф — матерый шпион и провокатор. Они идут на все. Кражи со взломом, подлоги, подделки стали их профессией. Прусские почтовые чиновники перехватывают наши письма и разоблачительные документы, которые мы посылаем в немецкие газеты и адвокатам обвиняемых. Нам предстоит сейчас очень много дел. Борьба в разгаре. Тем печальнее, что наша квартира превращена, по сути, в лазарет.

Как бы в подтверждение слов Карла, жалобно попросила воды мятущаяся в жару Лаура и громко начала бредить тяжело заболевшая Ленхен.

Уложив жену в постель, Маркс принялся исполнять обязанности сиделки. Ему старательно помогал маленький Муш. Это был чрезвычайно сообразительный, отзывчивый мальчик. Не по летам развитой, он всячески старался помогать взрослым. Все в доме горячо любили ласкового и веселого мальчугана.

В этот день, утром, у наружной двери, ведущей с улицы на лестницу, раздался резкий звонок. Муш бросился открывать. Ему очень нравилось отодвигать засов — дело весьма трудное для четырехлетнего мальчика. Когда дверь наконец была отперта, Муш увидел на пороге булочника с хмурым, злым лицом.

— Где твой отец? Он задолжал мне уже много денег,— сказал он грозно.

Муш вообразил, что перед ним сам людоед из сказки «Мальчик с пальчик», но не оробел и решил перехитрить его. Увидев в руках булочника корзину, он выхватил из нее несколько хлебцев и, крича на ходу: «Отца нет наверху!» — бросился бежать по лестнице. Булочник улыбнулся, достал из кармана замусоленную записную книжку, прибавил к счету Маркса еще несколько пенни, махнул рукой и пошел восвояси. Так в семье Маркса, не имевшей в этот день ни гроша, оказался хлеб.

На другой день пришли деньги от Энгельса, и можно было наконец уплатить самые неотложные долги, пригласить врача, которому пришлось лечить почти всех обита-

телей квартиры. Совершенно ослабевшим Женни и Ленхен был прописан крепкий бренди, целебные свойства которого исстари высоко ценились на сыром острове. Дольше всех болела Лаура, но и она поправилась.

С тех пор как шпион прусской полиции Вильгельм Гирш, молодой приказчик из Гамбурга, в начале 1852 года был разоблачен и с позором изгнан из Союза коммунистов, он не находил себе покоя. Слабовольный, ничем не примечательный, как песчинка, он с детства жаждал хоть чем-нибудь да прославиться. В мыслях Гирш часто видел себя героем, но каждый раз, когда жизнь давала ему возможность проявить лучшие свойства, он тотчас же начинал колебаться, боясь расплаты, и оказывался трусом. Агенты прусской тайной полиции в Лондоне издевались над разоблаченным шпионом, угрожали ему и требовали, чтобы он своим усердием возместил потери от неудавшейся игры. В то же время те, кто еще недавно считал его своим единомышленником-коммунистом, при виде Гирша шарахались в сторону, точно он был чумной бактерией. Нечто подобное черному туману окутало его. К тому же он не мог ничего более разведать о том, что делалось в Союзе. Он не знал, что тотчас же после его исключения собрания коммунистов по предложению Маркса были перенесены в Сохо, на Краун-стрит, а день собраний — с четверга на среду.

Гирш между тем продолжал барахтаться в сетях, которые накинула на него полиция. Прямым его начальником был крупный немецкий агент — провокатор Флёри, известный в лондонском Сити зажиточный купец-демократ. Жена, англичанка, и тесть, квакер, сами того не зная, превосходно маскировали Флёри, который прослыл почтеннейшим и весьма скромным человеком. Именно он вызвал шпика к себе в контору в Сити и тоном, не терпящим никаких возражений, приказал ему срочно сфабриковать для предстоящего процесса в Кёльне книгу протоколов собраний Союза коммунистов.

— Но, господин Флёри, вы ведь знаете, что меня не пускают более на коммунистические четверги на Фаррингтон-стрит,— плачущим голосом взмолился Гирш. — От меня бегут эмигранты, как от прокаженного. Когда недавно я встретил доктора Маркса на набережной Брай-

тона и окликнул его, то я чуть не сгорел от молнии, которую метнули его глаза. Смилуйтесь, господин Флёри, я ведь не писатель, книга получится никуда не годной, а мне, как козлу отпущения, придется отвечать за все.

— Ты неплохо писал недавно протоколы заседаний в Рабочем обществе,— рассмеялся Флёри. — Кроме того, тебе помогут опытные специалисты по составлению всяких важных документов. Приказание передано мне из Пруссии через лейтенанта Грейфа. Ты знаешь, что он — шеф всех прусских полицейских агентов в Лондоне, прикомандирован к прусскому посольству в качестве атташе, и нам с тобой не поздоровится, если все не будет чисто сработано. Я тоже только исполнитель. Присяга королю требует от нас дела, а не слов.

— Но поймите, что Маркс — юрист по образованию и не даст никому обвести себя вокруг пальца. Этот человек видит на три метра в землю. Будем откровенны, господин Флёри, где уж ослам из Берлина и Кёльна тягаться с этим черногривым львом...

— Помалкивай, олух, пока цел... Наше дело доказать, что партия Маркса готовила и готовит вооруженные восстания в Рейнской провинции и что обвиняемые в Кёльне — его агенты. Приказы Маркса и сейчас проникают к бунтовщикам сквозь тюремные стены. Он будет пытаться влиять на судебный процесс. Наша пресса подняла такой шум на весь мир о коммунистическом заговоре, что отступать некуда. Нужны доказательства, что партия Маркса стоит за немедленное вооруженное восстание...

— Господин Флёри, остановитесь, ради бога, ведь вы ничего в этом не смыслите. Партия Маркса категорически выступает против всяких авантюр. Маркс и его друзья, наоборот, считают такие действия исторически преждевременными...

— Забудьте, Гирш, об этом раз и навсегда! Или вы хотите, чтобы мы дождались, пока Маркс скажет, что уже пришло время всех нас зарезать?.. Вы, кажется, сами заразились коммунистическими идеями. Нам угрожает постоянная опасность из Лондона, а вы еще колеблетесь!

— Но, господин Флёри...

— Приступайте к делу, иначе мы будем вынуждены рассчитаться с вами, как с изменником, и при этом более жестоко, чем это сделал Маркс. Протоколы и письма, которые вам следует написать, должны быть такими, что-

бы суд не решился усомниться в их подлинности. Нам нужно помочь присяжным осудить эту банду. — И, снова смягчившись и перейдя на «ты», Флёри сочувственно добавил: — Ты неплохой парень, Гирш, но в политике ничего не смыслишь. Не будь мягкотелым. Сам знаешь, что закон для таких, как мы с тобой, суров и беспощаден. Или ты нам поможешь, или...

Гирш почувствовал себя в аду, которого так боялся с детства. Выхода не было, и он принялся за сочинительство. В течение восьми месяцев в рабочем кабинете Флёри под его надзором фабриковал Гирш подложную книгу. Для приказчика это было тягчайшим делом, но страх иногда подобен вдохновению. Кое-как книга мнимых протоколов была сфабрикована, переплетена в красный сафьян и отправлена прусской полиции.

Вскоре Грейф и Флёри вызвали Гирша и предложили ему выехать в Кёльн, чтобы подтвердить под присягой на процессе подлинность протоколов.

— Вам щедро заплатят. Затем вы получите пожизненную государственную пенсию,— уговаривал Флёри.

Но полицейский инстинкт у Гирша был слишком точен. Он понимал, что клятвопреступление осложнит его положение, если дело примет плохой оборот. Будь он прокурор или полицейский советник, вот тогда бы за него вступились. Но, маленький винтик в прусской полицейской машине, Гирш легко может быть заменен. Он сознавал это и наотрез отказался клясться в подлинности подложных документов. Рассорившись с Флёри и Грейфом, всеми отвергнутый, Гирш потерял покой, сон, аппетит. Жизнь для него больше не имела смысла. Сначала совесть и страх едва не вогнали его в петлю, затем он бросился на Боу-стрит в английский суд и там, поклявшись на Библии, сознался, что под руководством Грейфа и Флёри сфабриковал фигурирующую на Кёльнском процессе коммунистов книгу протоколов. В тот же день лейтенант Грейф упаковал свои чемоданы и бежал из Лондона.

К началу процесса коммунистов в Кёльне вокруг Маркса сгруппировались все его друзья и соратники. Отныне темные комнаты на Дин-стрит напряженной атмосферой напоминали редакцию «Новой Рейнской газеты». Позабыв о хандре и недовольстве жизнью, снова

с бумагой и карандашом в руке на подоконнике расположился Георг Веерт, степенно прохаживался темноволосый бледный Фрейлиграт, весело смеялся и балагурил добродушнейший Дронке, прозванный Малышом за низкий рост и детское выражение гладкого лица. Он был очень весел и, как часто с ним бывало, только что выбрался счастливо из беды. Когда Малыш пробирался через Францию в Лондон, его опознали и арестовали, как рьяного немецкого революционера. Но случайная удача вывела Дронке из Мазасской тюрьмы. Через Булонь он был выслан в Англию.

Приехал и Вильгельм Вольф. Он очень изменился за последние годы. Жизнь в эмиграции, стесненные обстоятельства заметно состарили его. Он стал угрюм, вспыльчив и обидчив. Глубоко уважая и любя Люпуса, Маркс всячески старался предотвращать легко возникавшие по мелочам раздоры, а Женни и Ленхен окружали его нежной, чисто родственной заботой.

В дни приближающегося суда над соратниками все, кого называли «марксианами», снова помолодели и стали плечом к плечу, чтобы отразить удары и спасти арестованных коммунистов. Карл совершенно позабыл о сне и отдыхе. Он ел на ходу, к большому огорчению Ленхен, и был весь поглощен делом. Под его руководством Женни, Дронке, Пипер и нанятые писцы непрерывно размножали, по шесть — восемь копий, различные документы, которые должны были разоблачить клевету, подлоги, лжесвидетельства полицейского процесса. Отправка корреспонденции из Англии в Германию была крайне сложной. Цензура неистовствовала, и письма Маркса вылавливались, вскрывались и похищались. Посылать почтой что-либо из Лондона стало невозможным.

Фридрих Энгельс и приехавший в Манчестер Георг Веерт, имевшие обширные знакомства среди английских купцов, принялись собирать адреса фирм, торгующих с Германией. Через Париж, Франкфурт и другие города отправлялись отныне вместе с грузом или прейскурантами документы, доказывающие невиновность обвиняемых, а также опровержения для немецких газет и адвокатов.

Адреса купцов и коммивояжеров лежали на столе Женни. Под видом коммерческих писем, не вызывая ничьих подозрений, плыли через Ла-Манш и пересекали реакционнейшую Францию словесные мины, которые раз-

рушали все хитроумные, провокационные измышления полиции, действовавшей по указу прусского правительства и короля.

Ни у кого из тех, кто боролся в крошечной бедной квартирке на Дин-стрит с могучей германской реакцией, не было достаточно средств для оплаты почтовых расходов и услуг разных лиц, к помощи которых прибегали, чтобы следить за всем происходившим во враждебном лагере, особенно среди прусских шпионов в Лондоне. Женни, у которой от постоянной работы пером немели пальцы, писала в Вашингтон другу Адольфу Клуссу:

«Вы, конечно, понимаете, что «партия Маркса» работает днем и ночью... Все утверждения полиции — чистейшая ложь. Она крадет, подделывает, взламывает письменные столы, приносит лжеприсяги, лжесвидетельствует и, вдобавок ко всему, считает, что ей все дозволено по отношению к коммунистам, которые стоят вне общества!»

Муш, Лаура и Женнихен особенно радовались, что их дом полностью превратился в канцелярию. Карандаши и бумага были отныне в неограниченном количестве, и Ленхен, которой то и дело приходилось поить кого-нибудь из работающих чаем, не мешала детям играть на полу или пускать бумажные кораблики в бадье, где она стирала белье. Входная дверь на Дин-стрит, 28, не запиралась. Дети радостно вертелись среди малознакомых людей, громко сообщавших о том, удалось ли достать деньги, отправить почту, узнать последние новости из Кёльна, проследить за действиями прусских агентов.

Трое малышей, взвинченных нашествием множества чужих людей, беспорядком и суматохой в доме, вдруг принимались петь, свистеть в свистульки и бегать взапуски, отчаянно шуметь. Тогда их усмирял грозным окриком отец и бесцеремонно выдворял в другую комнату. Но вскоре неугомонные ребятишки, которых не пугали ни нахмуренные брови Маркса, ни его угрозы, снова врывались в накуренную, переполненную людьми комнату, где все было так необычно и интересно.

Много дней и ночей отдал Карл борьбе за кёльнских собратьев-коммунистов и, как всегда, сделав все возможное в столь неравных условиях в изгнании, без гроша,

травимый не только реакционерами, но и предателями-отщепенцами, он вложил в это дело свою энергию, страстность, знания юриста и опыт политического вождя.

Маркс и Энгельс фактически направляли ход судебного процесса в Кёльне: давали указания, как выступать подсудимым, руководили защитниками и неоднократно вынуждали прокуратуру отказываться от вымышленных материалов обвинения.

Пять недель длилось судебное разбирательство. Разоблаченные прусские правительство и полиция были опозорены. Но оскорбленная буржуазия и государство требовали искупительных жертв. Семь обвиняемых были осуждены.

Двадцать девятого ноября Энгельс, Фрейлиграт, Маркс и Вольф опубликовали в английской газете заявление:

«Нижеподписавшиеся, выполняя свой долг перед собой и перед своими ныне осужденными друзьями в Кёльне, считают необходимым привести для английской публики следующие факты, связанные с недавним процессом-монстр, который происходил в упомянутом городе и не получил достаточного освещения в лондонской прессе.

Потребовалось восемнадцать месяцев только для того, чтобы добыть улики для этого судебного процесса. В течение всего этого времени наших друзей держали в одиночном заключении... заболевшим отказывали в необходимой медицинской помощи... А каковы же были предлоги для того, чтобы держать их в столь затянувшемся суровом заточении?

...Истинной причиной всех этих проволочек была боязнь прусского правительства, что объявленные им с такой помпой «неслыханные разоблачения» не выдержат испытания перед лицом столь скудных фактов. В конце концов правительству удалось подобрать такой состав суда присяжных, какого еще доселе не видывали в Рейнской провинции: в него входили шесть реакционеров-дворян, четыре представителя haute finance[1] и два лица, принадлежащих к высшему чиновничеству.

Каковы же были улики, представленные этому суду присяжных? Одни лишь нелепые воззвания и письма,

---

[1] Финансовой аристократии *(франц.)*.

принадлежащие кучке невежественных фантазеров, жаждущих приобрести вес заговорщиков, которые являлись одновременно и сообщниками и орудием некоего Шерваля, явного агента полиции. Бóльшая часть этих документов находилась до того в руках некоего Освальда Дица в Лондоне... прусская полиция, когда Дица не было дома, взломала ящики его стола и, таким образом, завладела нужными ей документами путем обычной кражи... Была пущена в ход вся полицейская машина под руководством некоего Штибера, главного свидетеля обвинения в Кёльне, королевского полицейского советника и начальника берлинской уголовной полиции. На заседании 23 октября Штибер объявил, что экстренный курьер из Лондона привез ему особо важные документы, неопровержимо доказывающие участие обвиняемых, совместно с нижеподписавшимися, в инкриминируемом им заговоре. «Среди других документов курьер доставил ему подлинную книгу протоколов заседаний тайного общества, проводившихся под председательством д-ра Маркса, с которым обвиняемые вели переписку». Однако Штибер запутался в своих противоречивых показаниях относительно даты приезда к нему его курьера. И когда д-р Шнейдер, главный защитник обвиняемых, прямо обвинил Штибера в лжесвидетельстве, последний не решился дать какой-либо другой ответ, кроме ссылок на свое достоинство как представителя короны, которому доверена важнейшая миссия со стороны высочайших властей в государстве. Что касается книги протоколов, то Штибер дважды показал под присягой, что она является «подлинной книгой протоколов лондонского коммунистического общества», но потом, окончательно прижатый к стене защитой, он признал, что она, возможно, является только записной книжкой, захваченной одним из его шпионов. В конце концов из его же собственных показаний выяснилось, что книга протоколов является преднамеренным подлогом и что следы ее происхождения ведут к трем лондонским агентам Штибера — Грейфу, Флёри и Гиршу. После этого последний сам признался в том, что он составил книгу протоколов под руководством Флёри и Грейфа. Это было с такой очевидностью доказано в Кёльне, что даже государственный обвинитель объявил столь важный штиберовский документ «в высшей степени злополучной книгой», простым подлогом. Это же лицо отказалось признать

заслуживающим внимания письмо, которое являлось одним из доказательств, выдвинутых обвинением,— в этом письме был подделан почерк д-ра Маркса; документ этот также оказался свидетельством явного и грубого подлога. Подобным же образом всякий другой документ, предъявлявшийся для доказательства не революционных стремлений, а действительного участия обвиняемых в чем-то, хотя бы издали напоминавшем заговор, превращался в доказательство совершенного полицией подлога. Страх правительства перед разоблачениями был так велик, что оно не только заставило почту задерживать все документы, адресованные защитникам, но и поручило Штиберу запугивать последних угрозами преследования за «преступную переписку» с нижеподписавшимися.

Если, несмотря на полное отсутствие убедительных судебных доказательств, тем не менее был вынесен обвинительный приговор, то это стало возможным — даже при подобном составе присяжных — лишь в результате того, что новый уголовный кодекс был применен как закон, имеющий якобы обратную силу... Кроме того, кёльнский процесс по своей продолжительности и по тем необычайным методам, к которым прибегла сторона, возбудившая обвинение, принял характер такого громкого процесса, что вынесение оправдательного приговора было бы равносильно осуждению правительства...»

Маркс писал 19 ноября 1852 года в Манчестер Энгельсу:

«В прошлую среду Союз здесь, по моему предложению, *распустил себя* и *объявил несвоевременным* дальнейшее существование Союза также на континенте. Впрочем, на континенте он фактически уже не существует... Кроме того я пишу еще литографированную корреспонденцию с подробным изложением *подлостей, совершенных полицией* [«Разоблачения о кёльнском процессе коммунистов»], а для Америки воззвание о пожертвованиях в пользу арестованных и их семей. Кассиром является Фрейлиграт. Подписано всеми нашими».

Рейнское судилище продолжало волновать Маркса, и он написал о нем книгу «Разоблачение о кёльнском процессе коммунистов».

«В лице обвиняемых перед господствующими классами, представленными судом присяжных, стоял безоружный революционный пролетариат; обвиняемые были, следовательно, заранее осуждены уже потому, что они предстали перед этим судом присяжных. Если что и могло на один момент поколебать буржуазную совесть присяжных, как оно поколебало общественное мнение, то это — обнаженная до конца правительственная интрига, растленность прусского правительства, которая раскрылась перед их глазами. Но если прусское правительство применяет по отношению к обвиняемым столь гнусные и одновременно столь рискованные методы,— сказали себе присяжные,— если оно, так сказать, поставило на карту свою европейскую репутацию, в таком случае обвиняемые, как бы ни была мала их партия, должно быть, чертовски опасны, во всяком случае их учение, должно быть, представляет большую силу. Правительство нарушило все законы уголовного кодекса, чтобы защитить нас от этого преступного чудовища.

...Рейнское дворянство и рейнская буржуазия своим вердиктом: «виновен», присоединили свой голос к воплю, который издавала французская буржуазия после 2 декабря: «Только воровство может еще спасти собственность, клятвопреступление — религию, незаконнорожденность — семью, беспорядок — порядок!»

Весь государственный аппарат Франции проституировался. И все же ни одно учреждение не было так глубоко проституировано, как французские суды и присяжные. Превзойдем же французских присяжных и судей,— воскликнули присяжные и суд в Кёльне... Превзойдем же присяжных государственного переворота 2 декабря».

В то же время, когда Маркс работал над «Разоблачениями о кёльнском процессе коммунистов», прусский министр внутренних дел с напряженным вниманием просматривал каждое новое донесение своих лондонских агентов.

Особая папка «Дело королевского полицейского управления в Берлине о литераторе докторе Карле Марксе, вожде коммунистов» непрерывно пополнялась и становилась все более громоздкой.

«Вчера вечером я был у Маркса,— сообщалось в одном из донесений от ноября 1852 года,— и застал его за работой над составлением очень подробного резюме

дебатов кёльнского процесса: это — своего рода критическое освещение с юридической и политической точек зрения; само собой разумеется, что при этом сильно достается правительству и полиции... Вам известно его гениальное перо, и мне нечего говорить вам, что этот памфлет будет шедевром и привлечет к себе в сильной мере внимание масс».

Несколько месяцев спустя после кёльнского процесса на Дин-стрит под вечер в гости к Марксу пришел Либкнехт с молодой женой. У Маркса весь день адски болела голова, но, выпив чашку кофе, он почувствовал себя лучше и присел к общему столу.

Либкнехт сообщил, что Бартелеми вызвал на дуэль Ледрю-Роллена, но тот отказался стреляться. «Я заставлю вас принять вызов испытанными средствами — плевком в лицо, пощечиной, публичным оскорблением»,— отвечал строптивый дуэлянт. Ледрю-Роллен собирается избить его палкой и обратиться в суд за защитой.

— Этот сумасброд, по-видимому, поставил себе целью стать Ринальдо-Ринальдини эмиграции. Бывает же и такого рода честолюбие,— заметил Карл.

Разговор перешел на Виллиха, который прибыл в Нью-Йорк, где его друг Вейтлинг устроил по этому случаю банкет.

— Я уже слыхал об этом,— оживился Карл. — Обвязав себя огромным красным шарфом, папаша Виллих закатил длиннейший спич о том, что хлеб дороже свободы, затем Вейтлинг поднес этому герою саблю и выступил с речью, в которой доказывал, что первым коммунистом был Иисус Христос, а его прямым преемником не кто иной, как он сам, знаменитейший Вильгельм Вейтлинг.

Все рассмеялись.

— Знаете ли вы, доктор Маркс, что Шаппер ищет к вам путей? Он понял, что ошибался и залез в грязь по уши,— сказал Либкнехт.

— Это хорошо,— обрадовался Карл,— это очень хорошо. Бедой многих эмигрантов являются иллюзии. Они, как мираж в пустыне, сбивают путников с пути и заводят в безводные пески. Мне всегда казалось, что Шаппер разберется во всем сам и найдет нас. Не случайно он был другом настоящего человека, Иосифа Молля.

В нем нет подлости, иногда его, впрочем охватывало этакое смутное томление нетерпеливой души, свойственное и неплохим людям.

— Карл наиболее требователен к тем, кого особенно ценит и уважает,— заметила Женни,— и гораздо снисходительнее к безразличным ему людям.

— Вот уж поистине про Карла можно сказать словами Евангелия: «Кого люблю, того изобличаю и наказываю». Он и ко мне бывает придирчив. А я не сержусь и не боюсь его вовсе,— сказала, вызвав всеобщий смех, Ленхен, убиравшая посуду со стола.

— Ну, ты-то уж доподлинно верховная власть в доме, диктатор. Не я тебя, а ты меня всегда изобличаешь,— продолжал смеяться Карл.

Приближались рождественские праздники. Их, как никогда доныне, радостно ждали в семье Маркса. Большую елку, спрятанную до времени от пытливых детских глаз, украшал с веселым рвением Эрнст Дронке. Он взобрался на высокий табурет, чтобы водрузить на ветках бумажные флажки, звезды, яркие украшения и золоченые орехи, которые ему подавала Ленхен. Куклы, ружья, барабаны и трубы лежали под елкой среди пакетиков с фруктами и конфетами. Наконец все было готово и елка освещена разноцветными свечками. Карл торжественно позвонил в колокольчик и широко распахнул дверь, приглашая оторопевших от счастья малышей. Лаура стремительно бросилась вперед со свойственной ей решительностью, Женни и Муш растерянно застыли на месте. То, что они увидели, казалось сказочным. Они едва узнавали комнату, заставленную старой мебелью. Сверкающая елка все в ней затмила.

Глава третья

РУССКИЕ ДЕЛА

Граф Орлов, брезгливо оглядывая камеру, поднес к большому, самоуверенно вздернутому носу надушенную перчатку и сказал, отчеканивая каждое слово:

— Его императорское величество желает, чтобы вы исповедались перед ним во всех своих прегрешениях. — Затем, понизив голос, шеф жандармов добавил: — «Пусть

сей блудный сын,— сказал государь,— пишет ко мне так, как ежели бы он говорил со своим духовным отцом».

Орлов, не взглянув больше на узника, покинул камеру. За ним гуськом вышли комендант Петропавловской крепости, смотритель и два жандармских ротмистра. Дверь захлопнулась, тяжело лег засов, и проскрипел ключ.

Ошеломленный неожиданным посещением, Бакунин прижался густо обросшей щекой к каменной стене, но мгновенно отпрянул. Могильным холодом повеяло на него. Гробовая тишина царила вокруг. Сжав голову исхудавшими прозрачно-желтыми руками, он уткнулся в жесткую, колючую подушку.

Более двух лет Бакунин находился в одиночном заключении, сначала в прусских и австрийских крепостях, а в мае 1851 года он был доставлен в пятую камеру страшного Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Где-то за стенами крепостных тюрем неудержимо неслась многоликая, многоголосая жизнь. Но он был заживо похоронен. Гряда камня и цепкие прутья решеток отделяли его от таких же обреченных. Время перестало существовать и неслось с невероятной быстротой, лишенное каких бы то ни было примет и событий. Только память, только мозг — эти необъятные сокровищницы и тайники — помогали ему не сойти с ума, но они же рождали непреодолимую тоску.

В последнее время Бакунин искал путей спасения. Жажда жизни усиливалась одновременно с мыслью о приближении небытия.

Дважды приговоренный в чужих странах к казни, он был выдан царю, чтобы быть повешенным в Петропавловской крепости.

В забранное решеткой окно, точно нарочно, чтобы мучить, врывался теплый, освеженный рекой и напоенный летними травами ветер.

«Орлов прав, советуя писать царю. Кто еще может отвести от меня руку палача? — думал Бакунин. — Только сам палач Николай Первый. А что, если разжалобить его?»

Бакунин и раньше не отличался разборчивостью в средствах для достижения цели, а по отношению к своим тюремщикам он считал возможным и вовсе не

церемониться. И он задумал обмануть своего «высочайшего духовника».

Но сомнения точили его. Возможно ли ему, руководителю защиты Дрездена, участнику Пражского восстания, называвшему себя социалистом, ползать на коленях перед престолом?

Стыд на мгновение ледяной струей окатил сердце, но мысль о том, чтобы любой ценой получить помилование, уже не вызывала более содрогания.

Бакунин понимал, что Николай не удовлетворится малым, потребует полного покаяния и заставит узника обнажить свою душу. Исповедь навсегда покроет его, революционера, позором. Но что, если она останется тайной? Какой смысл царю оглашать ее? Раскаяние, быть может, спасет ему жизнь, даст свободу и возможность снова, только с большей осторожностью, заняться революционной борьбой. «Пасть во мнении немецких и прочих революционеров вовсе не означает еще стать действительно подлецом,— думал он. — Что толку в том, что меня вздернут на виселицу или сгноят в каземате? Какая будет в том польза для процветания славянских народов? Им я посвятил себя и ради них несу крест на Голгофу. Делами невиданными сотру я в будущем горькую необходимость стать сейчас на колени и постыдно вымаливать жизнь. Нет, история не бросит в меня камнем, тем более что я не назову ни одного русского имени и не выдам никого».

Но гнетущее недовольство собой все нарастало. Бакунин взял со стола Библию, единственную книгу, которая находилась в каменном мешке, и, загадав, раскрыл наугад страницу. «Живой пес лучше мертвого льва». Узник вздрогнул и снова погрузился в размышления.

«Исповедаться перед тираном — значит зачеркнуть все былое, из бунтаря превратиться в жалчайшего раба, вбить кол во все, чему верил и поклонялся. Что бы сказал Станкевич, который был моей совестью?»

— Нет, ты не трус и не отступник,— произнес он вслух, не замечая, что говорит о себе во втором лице.

Бакунин вдруг почувствовал облегчение. Смерть перестала пугать, и внезапно чувство силы и спокойствия наполнило все существо узника. Простые, не новые мысли о неизбежности конца для всего живущего успокаивали, как речные волны. Сотни тысяч человеческих

поколений прошли по земле, исчезли, будто неисчислимые листья дерев и лепестки цветов. Бакунин вспомнил строки из письма к нему Белинского в счастливые годы молодости. «Чудная вещь жизнь человеческая, любезный Мишель,— писал Белинский. — Никогда так не стремилась к ней душа моя и никогда так не ужасалась ее. В одно и то же время я вижу в ней и очаровательную девушку, и отвратительный скелет. И хочется жить и страшно жить, и хочется умереть и страшно умереть. Могила то манит меня к себе прелестью своего беспробудного покоя, то леденит ужасом своей могильной сырости, своих гробовых червей, ужасным запахом тления».

За окном камеры, бойко чирикая, завозились воробьи. И тотчас же тоска тысячами игл впилась в сердце и мозг заключенного.

Тишина ослабила его слух, полумгла — зрение. Руки и ноги все еще болели от оков, в которых его держали в прусских и австрийских тюрьмах.

— Умереть, чувствуя себя до краев полным мыслей, слов, желаний,— это было бы безумием,— шептал он, слушая пение птиц. — Во имя чего? Ради призрачных понятий о долге и мужестве? Нет! Жить, быть свободным! Ведь еще ничего не сделано. Белинского уже нет в живых, но свет от него, как от погасшей звезды, еще многие сотни лет будет изливаться на человечество. Впрочем, зачем мне слава? Хочу солнца, воздуха, сельского покоя, ласки близких, свободы двигаться, права идти куда глаза глядят. О, пусть только откроются двери тюрьмы,— и я пойду в леса, поля, пока не подкосятся ноги от сладкой усталости. Свобода — вот высшее счастье бытия. Погибнуть только ради того, чтобы какой-то историк обронил обо мне два-три добрых слова? Не хочу! Я рожден для другого.

На секунду в памяти Бакунина всплыли образы пяти казненных декабристов, которых он чтил с юности. Стремительно он отогнал прочь эти видения.

«Нет, я не мечтатель, как Рылеев, не стоик, как Муравьев-Апостол. К тому же, где моя Сенатская площадь? Ее не было».

В тот же вечер Бакунин принялся за исповедь. Торопливо набрасывал он лист за листом, позабыв о еде и сне. Не находя должных слов, он то перечеркивал

написанное, то рвал страницы и наконец придумал начало, которое показалось ему достаточно убедительным.

«Ваше императорское величество!

Всемилостивейший государь!

Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная Вашу непреоборимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте против воли Вашего императорского величества,— зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом,— я сказал себе, что мне остается только одно — *терпеть до конца,* и просил у бога силы для того, чтобы выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. Я знал, что, лишенный дворянства тому назад несколько лет, приговором правительствующего сената и указом Вашего императорского величества, я мог быть законно подвержен телесному наказанию и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть, как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний».

Бакунин положил перо. Лицо его горело. Выпив воды, он принялся писать о том, как тронут был снисходительным обращением стражи при въезде на русскую границу и затем в продолжение всей дороги от Царства Польского до Петропавловской крепости. Бакунин благодарил царя за милостивое отношение к нему в течение двухмесячного пребывания в крепостном заключении в России. Почти два года до того провел он прикованный к стене в тюрьмах Пруссии и Австрии.

«Граф Орлов объявил мне от имени Вашего императорского величества, что Вы желаете, государь, чтобы я Вам написал полную исповедь всех своих прегрешений. Государь! Я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив все, что дерзал говорить и писать о неумолимой строгости Вашего императорского величества... Государь! Я кругом виноват перед Вашим императорским величеством и перед законами отечества. Вы знаете мои преступления, и то, что Вам известно, достаточно для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте против Вас, государь, и против Вашего правительства: дерзал противостать Вам как враг, писал, говорил, возмущал умы против Вас, где и сколько мог. Чего же более? Велите судить

и казнить меня, государь; и суд Ваш, и казнь Ваша будут законны и справедливы! Что же более мог бы я написать своему государю?

...Да, государь, я буду исповедоваться Вам, как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощения; и прошу бога, чтобы он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, достойные одним словом найти доступ к сердцу Вашего императорского величества...»

И тут же Бакунин выдвинул первое требование к царю, смелое для обреченного узника:

«Государь, не требуйте от меня, чтобы я Вам исповедовал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои... Из совершенного кораблекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо: честь и сознание, что для своего спасения или для облегчения своей участи нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии, не был предателем».

Предупредив таким образом царя, Бакунин перешел к подробному описанию своей жизни и деятельности. Высказывая заветные мысли, соображения прямо в лицо своему заклятому врагу, он отчетливо представлял, в какую форму нужно облечь свои записки, чтобы царь прочел их. И форма его «покаяния» была крайне унизительной.

Бакунин понимал, что царь ждет от него выдачи русских революционеров, и осторожно, но вразумительно отказывался от предательства:

«Видел также иногда и русских, приезжавших в Париж. Но молю Вас, государь, не требуйте от меня имен. Уверяю Вас только... и теперь клянусь Вам, что ни с одним русским ни тогда, ни потом я не находился в политических отношениях и не имел ни с одним даже и тени политической связи ни лицом к лицу, ни через третьего человека, ни перепискою. Русские приезжие и я жили в совершенно различных сферах: они — богато, весело, задавая друг другу пиры, завтраки и обеды, кутили, пили, ходили по театрам и балам,— образ жизни, к которому у меня не было ни чрезвычайной склонности, ни еще менее средств. Я же жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и с своими внутренними, никогда не удовлетворенными потребностями жизни и действия, и не разделял с ними ни их увеселений, ни своих трудов и занятий. Я не говорю, чтобы я не пробо-

вал никогда,— а именно начиная с 1846 года — обратить некоторых к своим мыслям и к тому, что я называл и считал тогда добрым делом; но ни одна попытка моя не имела успеха; они слушали меня с усмешкою, называли меня чудаком, так что после нескольких тщетных усилий я совсем отказался от их обращения. Вся вина некоторых состояла в том, что, видя мою нищету, они мне иногда, и то весьма редко, помогали...»

Много дней и ночей писал Бакунин свои признания, рассказывая о своей жизни за границей. Был вечер. Солдат-инвалид, исполнявший обязанности надзирателя, подлил масла в ночник и поставил его на стол, заваленный кипою исписанной бумаги. Бакунин встал и принялся ходить по узкой и зловонной камере. Странная усмешка временами появлялась на его лице, которое и в прежние годы всегда вызывало двойственное впечатление: одни считали это лицо красивым, другие — отталкивающим. Он думал о родном Премухине, отцовском имении, где провел детство, но более всего о сестре Татьяне. Необычно любил он ее, предпочитая всем остальным женщинам.

«Не знаю, как назвать мое чувство к Танюше,— думал он, мечтая о возможном свидании,— но оно из тех, что испытывали, верно, греческие боги, сочетавшиеся браком даже с сестрами и матерями. Ревность ко всем, кто ей нравится, изглодала всю мою душу, чуть не рассорила навек с Виссарионом Белинским. Эта страсть опустошила мое сердце, и я не мог больше никого любить. Привязанность Лизы только бесила меня».

Потом Бакунин вернулся к «Исповеди».

Отводя от себя обвинение в намерении убить царя, узник изощрялся в выражении верноподданнических чувств:

«Государь, я преступник перед Вами и перед законом, я знаю великость своих преступлений, но знаю также, что никогда душа моя не была способна ни к злодейству, ни к подлости. Мой политический фанатизм, живший более в воображении, чем в сердце, имел также свои крепко определенные границы, и никогда ни Брут, ни Равальяк, ни Алибо не были моими героями. К тому же, государь, в душе моей собственно против Вас никогда не было даже и тени ненависти. Когда я был юнкером в Артиллерийском училище, я так же, как и все

товарищи, страстно любил Вас. Бывало, когда Вы приедете в лагерь, одно слово: «Государь едет»,— приводило всех в невыразимый восторг, и все стремились к Вам навстречу. В Вашем присутствии мы не знали боязни; напротив, возле Вас и под Вашим покровительством искали прибежища от начальства; оно не смело идти за нами в Александрию. Я помню, это было во время холеры. Вы были грустны, государь, мы молча окружали Вас, смотрели на Вас с трепетным благоговением, и каждый чувствовал в душе своей Вашу великую грусть, хоть и не мог познать ее причины, и как счастлив был тот, которому Вы скажете, бывало, слово! Потом, много лет спустя, за границей, когда я сделался уже отчаянным демократом, я стал считать себя обязанным ненавидеть императора Николая; но ненависть моя была в воображении, в мыслях, не в сердце...»

А заканчивал он эту полную любви и преданности царю тираду необычным образом: «...я ненавидел отвлеченное политическое лицо, олицетворение самодержавной власти в России, притеснителя Польши».

И, словно почувствовав, что высказался более чем откровенно, Бакунин, исповедуясь дальше, осуждал свою былую революционную деятельность. Грехом, преступлением, безумием называл он прекраснейшие годы исканий и борьбы. Он благодарил бога за то, что тот помешал ему вызвать революцию в России и тем самым, как он писал, сделаться извергом и палачом соотечественников.

Но обличением самодержавия прозвучало то место «Исповеди», где Бакунин характеризовал обстановку в России, которую он знал с детства.

«Когда обойдешь мир, везде найдешь много зла, притеснений, неправды, а в России, может быть, более, чем в других государствах. Не оттого, чтоб в России люди были хуже, чем в Западной Европе; напротив, я думаю, что русский человек лучше, добрее, шире душой, чем западный; на Западе против зла есть лекарства: публичность, общественное мнение, наконец, свобода, облагораживающая и возвышающая всякого человека. Это лекарство не существует в России. Западная Европа потому иногда кажется хуже, что в ней всякое зло выходит наружу, мало что остается тайным. В России же все болезни входят вовнутрь, съедают самый внутренний состав общественного организма. В России главный двигатель —

страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души. Трудно и тяжело жить в России человеку, любящему правду, человеку, любящему ближнего, уважающему равно во всех людях достоинство и независимость бессмертной души... Русская общественная жизнь есть цепь взаимных притеснений: высший гнетет низшего; сей терпит, жаловаться не смеет, но зато жмет еще низшего... Хуже же всех приходится простому народу, бедному русскому мужику, который, находясь на самом низу общественной лестницы, уж никого притеснять не может и должен терпеть притеснение от всех...»

Сбросив тюремный халат, в одних грубых штанах и туфлях на босу ногу, он в жаркие, душные летние дни и ночи, взлохмаченный, возбужденный, писал свое покаяние.

Он вспоминал о последних месяцах пребывания за границей, когда возмечтал один объединить славян под главенством России.

«Я вздумал вдруг писать к Вам, государь,— продолжал исповедоваться Бакунин,— и начал было письмо; оно также содержало род исповеди, более самолюбивой, фразистой, чем та, которую теперь пишу — я был тогда на свободе и не научен еще опытом,— но, впрочем, довольно искренной и сердечной: я каялся в своих грехах; молил о прощении; потом, сделав несколько натянутый и напыщенный обзор тогдашнего положения славянских народов, молил Вас, государь, во имя всех утесненных славян, прийти им на помощь, взять их под свое могучее покровительство, быть их спасителем, их отцом, и, объявив себя царем всех славян, водрузить, наконец, славянское знамя в Восточной Европе на страх немцам и всем прочим притеснителям и врагам славянского племени! Письмо было многосложное и длинное, фантастическое, необдуманное, но написанное с жаром и от души; оно заключало в себе много смешного, нелепого, но также и много истинного, одним словом, было верным изображением моего душевного беспорядка и тех бесчисленных противоречий, которые волновали тогда мой ум.

Я разорвал это письмо и сжег его, не докончив. Я опомнился и подумал, что Вам, государь, покажется необыкновенно как смешно и дерзко, что я, подданный Вашего императорского величества, еще же не простой

подданный, а государственный преступник, осмелился писать Вам, и писать, не ограничиваясь мольбою о прощении, но дерзая подавать Вам советы, уговаривая Вас на изменение Вашей политики!.. Я сказал себе, что письмо мое, оставшись без всякой пользы, только скомпрометирует меня в глазах демократов, которые неравно могли бы узнать о моей неудачной, странной, совсем не демократической попытке...»

Мысли обгоняли перо. Внезапно перед узником встало лицо Маркса. Он лег на койку, вперив жесткий взгляд в грязный потолок. Всегда Маркс, этот загадочный своей несокрушимостью исполин с всевидящим горящим взором и саркастической улыбкой, вставал на его пути. Вот и сейчас в тюремной камере проклятая память вызвала его образ как убийственный упрек.

— Все погибло. Июньские дни в Париже стали роком для революции. Она невоскресима,— шептал Бакунин. — Сколько бы Маркс и все коммунисты ни старались, ни боролись, они обанкротились...

Но Маркс снова и снова вставал в разгоряченном мозгу узника. Бакунин вдруг понял, что боится, как бы этот могучий немец когда-нибудь не узнал о его «Исповеди». Схватив дрожащими пальцами перо и обмакнув его в густые темные чернила, он написал русскому царю:

«Д-р Маркс, один из предводителей немецких коммунистов в Брюсселе, возненавидевший меня более других за то, что я не захотел быть принужденным посетителем их обществ и собраний, был в это время редактором «Новой Рейнской газеты», выходившей в Кёльне. Он первый напечатал корреспонденцию из Парижа, в которой меня упрекали, что будто бы я своими доносами погубил много поляков; а так как «Новая Рейнская газета» была любимым чтением немецких демократов, то все вдруг и везде, и уже громко заговорили о моем мнимом предательстве».

Еще несколько дней и ночей неотрывно письменно исповедовался Бакунин. Стояли погожие дни бабьего лета, когда он дописал последние строки:

«Я благословляю провидение, освободившее меня из рук немцев для того, чтобы предать меня в отеческие руки Вашего императорского величества.

Потеряв право называть себя верноподданным Вашего императорского величества, подписываюсь от искреннего сердца

Кающийся грешник *Михаил Бакунин»*.

В сентябре «Исповедь» была передана Николаю I. С карандашом в руках, делая пометки на полях, внимательно читал ее царь. Эти пометки ясно показывали, что Бакунин правильно угадал характер своего «духовника» и взял тот тон в «Исповеди», который польстил царю. 27 сентября он вызвал генерал-лейтенанта Дубельта, к которому особенно благоволил, и, передавая «Исповедь», сказал ему, глядя в упор выпуклыми белесыми глазами:

— Передайте великому князю Александру, пусть почитает. Что до Бакунина, повинную голову меч не сечет. Уповаю на господа, что с годами сей путаник и смутьян в надежной крепостной тюрьме образумится, искупит свои прегрешения великим терпением. На свидание с отцом и сестрой согласен, конечно, в присутствии Набокова.

Дубельт прочел собственноручную надпись Николая на первом листе «Исповеди». Она относилась к наследнику престола: «Стоит тебе прочесть: весьма любопытно и поучительно».

Спустя несколько дней Дубельт, один из влиятельнейших людей в государстве, человек с сухощавым, бездушным, хитрым лицом, на докладе у царя снова упомянул об «Исповеди».

— Ныне кающийся грешник Бакунин правильно судит о коммунизме, как изволили о том вы, ваше величество, отметить на полях покаянной его рукописи,— заговорил управляющий Третьим отделением, почтительно наклоняясь к столу, за которым сидел Николай.

Царь посмотрел рыбьими глазами на новенький голубой мундир с золотыми нашивками, аксельбантами и шнурами рьяного гонителя революционеров и сказал с подчеркнутым безразличием:

— Кому, как не Бакунину, знать в совершенстве сей предмет? Пусть господь просветит его смутную душу.

— Ваше величество,— оживился Дубельт,— этот преступник пишет о Западной Европе, что дряхлость и разврат, происходящие от безверия, приведут ее к гибели. Все шарлатанят и обманывают там друг друга. Привилегированные классы держатся у власти эгоизмом и привычкою. Сие есть слабая препона против возможной бури. И, что хуже всего, посреди всеобщего гниения одна только непросвещенная, грубая чернь сохраняет силу. Она особенно опасна, потому что является оплотом чудовищнейшей из идей — коммунизма. Беспрестанный шум и страх перед коммунистической ересью, по мнению преступника Бакунина, будто бы помогли ее распространению более, чем пропаганда тайных и явных коммунистических обществ.

— В Богемии, отчасти в Моравии, да и в Шлезии ядовитый корень коммунизма пустил ростки. Надо вытаптывать его без пощады и сжигать дотла.

— Вы, государь, весьма милостивы к Бакунину. Он ревностно сеял смуту в сих землях.

Царь потемнел лицом.

— Бакунин безволен и одинок. За ним никого нет. У подножия эшафота не первый раз вижу поверженных в прах. Не все, однако, молили о продлении жизни своей. — Николай презрительно и зло усмехнулся.

Но настроение царя резко ухудшилось. Он вспомнил о петрашевцах, мужественно стоявших перед казнью и не просивших пощады. Они испугали его, как отзвук страшного революционного шквала 1848 года. Николай мгновенно терял самообладание, когда вспоминал отвагу этих людей, томившихся теперь на каторге. Как все жестокосердные, мстительные люди, он был труслив.

Несмотря на исповедь и прошение родственников, Бакунин оставался в заточении в Алексеевском равелине.

Когда он купил себе унизительными признаниями жизнь, страх казни наконец исчез. Бакунин почувствовал себя почти счастливым. «Я дышу, ем, пью, и так будет еще долго!» — думал он.

Но свидания с родственниками, разрешенные царем, вернули ему ясное понимание происшедшего. Каждый раз после редких желанных встреч с близкими Бакунин чувствовал с еще большей горечью и мукой, что произошло нечто непоправимое.

Страшный миг расставания, когда два конвоира уводили его назад в сумрачную камеру, был подобен чтению приговора. Сознание погребенности заживо в каменном склепе требовало душевных сил, которых он в себе уже не находил. Однако нужно было смиряться, являть полную покорность. Постепенно вернулось утерянное чувство человеческого достоинства.

Шли дни, недели, месяцы, годы... Михаил Бакунин, обрюзгший, бледный, больной, то раздираемый противоречиями, то впадавший в длительную апатию, все еще сидел в секретной камере Алексеевского равелина.

Только в марте 1854 года по указанию царя начальник Третьего отделения собственной его величества канцелярии генерал-адъютант граф Орлов отдал распоряжение о переводе арестанта в Шлиссельбургскую крепость.

Одиннадцатого марта комендант Санкт-Петербургской крепости докладывал в рапорте:

«Весьма секретно.

Во исполнение высочайшего его императорского величества повеления содержавшийся в доме Алексеевского равелина преступник Михаил Бакунин сего числа в 9 часов вечера передан подполковнику корпуса жандармов Тизенгаузену для доставления в Шлиссельбургскую крепость и из списка об арестантах исключен...»

Лиза вернулась в Россию. В Петербурге она провела несколько безрадостных дней, так ничего и не узнав о судьбе Бакунина. Глядя на Петропавловскую крепость, где, думалось ей, томится или погиб уже Мишель, она вспомнила вдруг стихи Огарева:

А там далеко за Невой
Еще страшней, чернее здание
С зубчатой мрачною стеной
И рядом башен. Вопль, рыдания
И жертв напрасных стон глухой,
Проклятий полный и страданий.

Из Петербурга Лиза отправилась в Москву и поселилась у своей тетки княгини Евпраксии Александровны, женщины властной и скупой. В детстве Евпраксия Александровна долго жила в Англии и прослыла в Москве англоманкой и «синим чулком». Особенно старалась она убедить всех, что бедна, и добилась этого. Замолкли

слухи, будто Евпраксия Александровна унаследовала от отца большие деньги, которые хранила в заграничных банках.

После нескольких лет разлуки Лиза с любопытством всматривалась в большое теткино лицо с крупными, неженскими чертами, с бородавками на обвислых щеках. Евпраксия Александровна много лет носила одно и то же клетчатое платье, похожее покроем на мужской редингот, и курила почти без перерыва толстые заграничные пахитоски. Говорила она низким голосом и преимущественно по-английски, а не по-французски, как было принято в высшем обществе. К Лизе она благоволила за то, что та, подобно ей, не была замужем и, главное, не просила денег.

Тетка Лизы была привержена к английской кухне. Повар, крепостной Лука, славился приготовлением пудингов, острых подливок и кровавых бифштексов.

— Вернулась наконец к родным пенатам,— начала Евпраксия Александровна. — Предупреждаю тебя, моя дорогая, что ты в России. Следует из этого сделать все необходимые выводы и, во-первых, попридержать язык и вести себя тише. Здесь, увы, не благословенная земля королевы Виктории. Каждый пятый, будь то даже дворянин, с которым ты встретишься, обязательно шпион и служит не богу, а дьяволу, то бишь Дубельту. Не доверяйся никому. Живем мы в опасное время. Не вхожу в то, нужно ли это и правильно ли, так как политикой не интересуюсь, но прошу тебя душевно: запомни мои советы и руководствуйся ими. Вольнолюбивыми и всяческими вольтерьянскими идеями можешь делиться только с одной своей подружкой — подушкой. Ну и со мной, если уж от молчания голова разболится. Остроги наши битком набиты всяким народом, и декабристы до сих пор не прощены. Государь — человек нрава необыкновенного и шутить не любит. Готовится ныне и туркам нос утереть. — Затянувшись пахитоской и переходя снова на русский язык, она продолжала: — Царь наш, истинный помазанник божий, спас Русь от мятежа и революции, чего не сумели ни Бурбоны, ни Габсбурги. Жандармы его, подлинно как легавые псы, мгновенно чуют крамолу.

Позавтракав, Евпраксия Александровна прогнала из столовой всех слуг, многозначительно сощурила смышленые, быстро перебегавшие с предмета на предмет глаз-

ки, улыбнулась широким, по-жабьи смыкавшимся выпуклым ртом и сказала Лизе:

— Не скрою от тебя, мой друг, что графиня, вернувшись из Брюсселя, заезжала ко мне жаловаться на тебя. Говорила, что ты в Париже с простонародьем баррикады возводила и в каких-то революционных притонах «Марсельезу» пела. Но я ее пыл быстро охладила. Сами, мол, не лыком шиты, тоже, чай, столбовые дворяне, и не по мужьям, а по крови, и как себя вести знаем, просим не учить. Но графинин язык до Третьего отделения доведет, так что береженого бог бережет, а особенно на родной сторонке. Надеюсь, дневники ты свои сожгла. Не те времена, чтобы бумаге доверяться. Да и возраст у тебя не тот, оставь это развлечение провинциальным барышням, мечтающим о гусарах.

Лиза скрыла улыбку и пообещала тетке не вести более дневника.

Успокоенная Евпраксия Александровна продолжала:

— Теперь о твоих делах поговорим. Денег от меня не жди. Все свои имения я заложила и перезаложила. Крестьянам оброк поуменьшила. Толку от этой благотворительности ни для них, ни для себя, по правде говоря, не вышло. Словом, бедна я, совсем бедна. Тебе же от отца-покойника осталась в наследство только одна душонка, да и та безземельная,— девка Машка. Пребестолковое создание. Живите покуда обе в моей избе, авось места хватит (избой Евпраксия Александровна называла свой двухэтажный, окрашенный режущей глаза охрой, огромный особняк в одном из кривых узких переулков возле Спиридоновки).

Лиза молча выслушала тетку, чем очень той угодила, и прошла к себе.

Девке Машке было лет под пятьдесят. Глядя на свою крепостную, Лиза вспомнила, что Маша долгое время была сожительницей отца, родила от него ребенка и одна в течение долгой болезни ухаживала за стариком с удивительным терпением и старательностью.

— Что же, Маша,— сказала Лиза мягко,— я, конечно, сейчас же дам тебе вольную. Какая же из меня рабовладелица? Такой бесчеловечности я не допущу.

Маша, горько зарыдав, бросилась в ноги Лизе, умоляя не гнать ее прочь.

— За что это вы решили от меня отделаться, барышня? Не хочу я на старости лет побираться и умереть под чужим забором. Ем я мало, да и одежкою запаслась при покойном барине. Свое отработаю, вот те крест святой, отработаю. Смилосердствуйтесь!

Лиза смотрела со все возрастающим состраданием на женщину, смертельно испугавшуюся свободы, и едва успокоила ее, пообещав повременить с вольною.

За обедом она рассказала тетке об испуге и причитаниях Маши.

— Она права,— сказала Евпраксия Александровна уверенно. — Куда ей податься, горемычной нищенке? В деревне и без нее бедняков много, в городе — по старости только что в воду или петлю. Мне вот недавно один наш дипломат презентовал забавную американскую книгу, тоже о рабах, только не белокожих, как наши, а черных. Они, впрочем, хоть и негры, а вызывают, представь, сострадание. В Америке рабы, оказывается, очень религиозны и не воруют. Это весьма выгодно их господам. Да не верится что-то. Чувствительная, сентиментальная книга.

— Не знаете ли, тетенька, кто ее автор? — поинтересовалась Лиза.

— Сама впервые слышу это имя. Какая-то мещаночка, дочь пастора, по фамилии, кажется, Бичер-Тоу. Вот эта книжонка, дарю тебе. Я не любительница повестей о рабах, они меня расстраивают. Твоя графиня говорит: это то же, что читать о животных, некоторые из них, мол, умны и преданны человеку, но, однако же, далеки от нашей породы. Я так не думаю. Но не люблю чувства жалости, оно вызывает у меня головную боль и тошноту.

Лиза прочла на скромной обложке: «Хижина дяди Тома. Сочинение госпожи Гарриет Бичер-Стоу».

Возвратившись в свою комнату, Лиза сперва равнодушно заглянула в книгу, но вдруг жизнь ее как бы переместилась. Внезапно она очутилась на ином материке, в мало известной ей доселе стране, на севере, затем на юге Америки. Том, Хлоя, Ева и другие герои потрясающей книги о рабстве окружили ее. Лиза то бежала по льдинам, спотыкаясь, рядом с преследуемой по пятам негритянкой, то рыдала с тетей Хлоей или умирала, как Ева, на руках человечнейшего из негров.

Никогда ни один рассказ не поглощал ее так и не причинял ей столько страданий. Она читала об Америке и видела в то же время крепостную Россию.

Тщетно Евпраксия Александровна вызывала ее к себе. Лиза как во сне слышала голос слуги. Точно так же не замечала она, как разрезывает костяным ножиком и перелистывает страницы. И только когда прочла все, к ней снова вернулось ощущение времени и места. Лиза долго не вытирала мокрых от слез глаз. Маша на цыпочках входила и выходила из комнаты и молилась о том, чтобы Лиза начала снова спать, есть, разговаривать и двигаться. Наконец чары окончательно рассеялись.

— Эта книга писана кровью, а не чернилами. Она пробуждает совесть и стыд даже в душе палача,— повторяла Лиза. — В могучем девятнадцатом веке открыто и законно процветает рабовладельчество в России и Соединенных Штатах Америки.

Впечатлительная, исстрадавшаяся душа Лизы не могла примириться со всем, что она видела вокруг. Но, одинокая, без друзей и почти без знакомых, она была совершенно бессильна. К тому же бедность с каждым днем все более угнетала ее.

Узнав, где живет сестра Бакунина, Лиза поехала к ней с визитом. Варвара Александровна Дьякова встретила гостью хотя и с некоторым недоумением, но весьма дружелюбно, особенно когда узнала, что за границей брат Михаил был дружен с ней. Курносое личико Дьяковой, с вопросительно смотрящими на мир светлыми глазами, располагало к себе всякого, и Лиза обрадовалась новому знакомству.

Младшая из сестер, Александра Александровна, подозрительно и даже враждебно окинула Лизу пристальным взглядом необычайно узких глаз и замкнулась, но Татьяна, которую пылко любил Мишель, отнеслась к ней с любопытством и доверием.

Несколько дней Лиза и Татьяна провели вместе. Обеим хотелось говорить только об одном — об обожаемом ими Мишеле. Осторожно, многое скрывая, Лиза описывала свои встречи с ним в Париже, Брюсселе и Берлине. Татьяна, раскрыв большие, печальные и добрые глаза, заметно волнуясь, не уставала выспрашивать у новой знакомой все, чего не знала о своем брате. Лиза отвечала, испытывая от этого то боль, то радость, но

главное, надеясь, что услышит сама многое от сестры любимого ею человека. В этом она не ошиблась. Татьяна после долгой беседы принесла коробку с письмами брата, которые он прислал ей еще до отъезда за границу. Читая их, Лиза как бы заглянула не только в прошлое, но и в душу Мишеля.

В 1836 году Бакунин писал сестрам:

«На душе светло, ясно; я сознал себя, я никогда еще не сознавал себя так верно, так определительно, как теперь. Человек, который не страдал,— не жил; одно только страдание может привести к сознанию жизни, и если счастье есть полное сознание жизни, то страдание есть также необходимое условие счастья. Не страдание безответное, бессознательное, апатическое — нет! Но страдание... происходящее от беспредельности целей и желаний и конечности способов к удовлетворению и достижению их. Все это время во мне происходило сильное борение. Я начинал удостоверяться, что жизнь внешняя не должна быть целью даже практической деятельности человека; но не так легко от нее отречься. Душа иногда так слаба, что не умеет довольствоваться внутренним сознанием своего достоинства, так слаба, что иногда требует наград от внешнего мира. Трудно, тяжело разбивать друг за другом все эти фантастические образы, которые составляют поэтическую сторону жизни, в которые так прекрасно, так гармонично слились оба элемента всеобщей жизни: духовная и внешняя. Но, наконец, я дошел до этого, я сознал всю пустоту этих желаний, я сознал, что вне духовного мира нет истинной жизни, что душа должна быть собственною своею целью, что она не должна иметь другой цели. Путь, может быть, безотрадный, но зато достойный человека!

О, я много выстрадал за это время, много потерял очарований — тем лучше: чем менее их, тем путь вернее, чем менее человек зависит от внешнего мира, тем более ему доступен внутренний. Все, что я сказал, может выразиться очень простою формулою: не ждать чудес от внешнего мира. О, это необходимо, необходимо для усовершенствования духовной жизни. Должно оторвать себя от законов света, и я начинаю тем, что решился не делать шагу для успеха в своей политической жизни и жить покамест преподаванием математики. Итак, я для света —

ничтожное творение, нуль, учитель математики, а для себя собственно, для друзей, меня понимающих, я стал гораздо выше прежнего, я убил мелкий эгоизм самосохранения, я стряхнул с себя иго предрассудков, я — человек!»

Прочитав это письмо, Лиза сказала:

— «Человек, который не страдал,— не жил». Какое счастье, что Мишель так думает. Ему выпало великое испытание страданием, и он выдержит его, не сгибаясь, ибо, по его же теории, он познает жизнь. Страдание закалит его на новые подвиги. Теперь я за него совсем, совсем спокойна.

Татьяна рассказала Лизе о том, каким трудным был характер Бакунина, и о своей давнишней размолвке с ним.

— Когда мы теряем близких, а тюрьма страшна, как и могила, нас мучает раскаяние. Мне так больно, что я когда-то ссорилась с братом, но он, увы, не щадил отца и мать и причинял им немало горя. Однажды я вынуждена была даже написать ему жестокое письмо. Как мучительно теперь, когда он так страдает, вспоминать об этом! Бедный Мишель! Мы так любим друг друга. Но тем более мне следовало сказать ему все, что я думала о его безжалостном отношении к нашей семье. Он решил уехать и жить на средства посторонних людей. Вот прочтите мое суровое послание. Была ли я права? Судите меня теперь.

Лиза жадно впилась глазами в узкий белый листок бумаги.

«Могли ли родители согласиться, чтобы их сын жил на счет посторонних? — писала Татьяна. — Мишель, Мишель, твоя видимая бесчувственность раздирает мое сердце. Я знаю, что это письмо навлечет на меня твое негодование и презрение; я на это себя обрекаю. Ты считаешь меня неспособной понять тебя. Увы! Я поняла тебя больше, чем хотела бы. Я должна была бы (по-твоему) прочувствовать важность того, что подвигло тебя на этот последний шаг; я должна была бы верить, что ты принужден к нему чувством чересчур сильным, чересчур страстным, чтобы можно было с ним бороться, а я не вижу в твоем поступке ничего этого, я в нем вижу лишь проявление твоего эгоизма, твоего равнодушия к твоей семье... Мишель, до сих пор мы всегда тебя защищали,

может быть, мы даже слишком горячились, говоря в твою пользу, но я не могла слушать, как тебе приписывали холодное, эгоистическое сердце, и забывала, что говорю с моими родителями. И вчера, когда отец сказал мне: «Я тебе повторяю, что Мишель не способен любить», я не находила слов, чтобы оспорить его мысли о тебе. Мишель, если бы ты знал, в каком ужасном положении я себя чувствовала. Возможно ли, чтобы то, что говорит отец, была правда?..

...Мишель, я открыла тебе мое сердце... Я знаю наперед, что ты подумаешь, что ты, может быть, скажешь, прочитав мое письмо. Я не могу с тобой быть неискренней. Лучше потерять твою дружбу, нежели молчать и таить что-либо против тебя на сердце».

Дочитав письмо, Лиза с укоризной посмотрела на Татьяну, которая едва удерживала слезы.

— Как я была неправа в отношении брата! Он истинно велик в своей любви и служении людям, но его с юности не понимали окружающие. Это натура столь сложная и необыкновенная, что не всем дано оценить ее по достоинству.

— Да,— подтвердила Лиза,— за границей было то же. Мишель претерпел много несправедливого и жестокого. Но он отважен, это герой, и люди поймут и поклонятся ему. Я уверена, что ни пытка, ни муки заточения не могут сломить его воли, он останется до конца верен своим идеалам.

Короткое знакомство и взаимное расположение Татьяны Бакуниной и Лизы Мосоловой оборвались так же внезапно и необъяснимо, как и начались. Они исчерпали полностью то, что свело их. Каждой хотелось как можно больше узнать от другой о предмете их любви и тоски, а достигнув этого, они расстались с некоторым недовольством собой и друг другом. Не будь на свете Мишеля, они, совершенно разные по характерам, не сблизились бы даже и на несколько дней.

Татьяна уехала в Премухино, Лиза осталась снова совсем одна в отдаленной комнате особняка тетки, с которой встречалась лишь изредка.

— Друг мой, дистанция — залог добрых отношений между людьми,— сказала Евпраксия Александровна и

предложила, чтобы Маша брала для своей барышни еду прямо из кухни. — Я буду рада видеть тебя по воскресеньям. В этот день являются ко мне гости и тем, собственно, вычеркивают его для меня. Терпеть не могу суесловия, и с тех пор, как все уверились, что я действительно бедна, и перестали интересоваться мною, живу куда привольнее и спокойнее. Однако те, кто еще более обойден фортуной, нежели я, толкутся в моей избе по праздникам. А вообще, бедность, скажу тебе, Элизабет, великий друг человека. Когда я была в твоих годах и считалась богатою, от женихов, от так называемых друзей и прихлебателей проходу не было. Вокруг меня были суета и великая возня праздная. Потом, когда узнали, что я нищенка, всех точно вихрем сдуло. Никто более не сватался, не льстил, не обхаживал меня. Тут-то я всех и рассмотрела, точно на зубок испробовала. Мало кому оказалась нужна я сама по себе. Так вот и живу: гол как сокол, зато не обманута людьми.

После такого странного разговора с теткой унылой чередой проходили ничем не расцвеченные дни в жизни Лизы. Она поняла, что бесполезно далее добиваться сведений о Бакунине, и в полном одиночестве сызнова проверила, строка за строкой, свое прошлое: «Мишель меня не любил и никогда не полюбит. Даже в несчастье он ни разу не вспомнил обо мне, я поняла это, видясь с его родными. Но я не перестану о нем думать, пока он не будет на свободе».

Постепенно ей стало ясно, что в России никто не сможет помочь узнику. Ничто не могло пробить стены Петропавловской крепости и царского дворца. Ни оказавшиеся призрачными надежды на высокие связи, ни мольбы престарелых родителей не изменили судьбы Мишеля. Чудом было уже то, что, дважды приговоренный за границей к смертной казни, он, однако, был помилован императором Николаем.

Лиза решила искать в России людей, подобных тем, кого знавала и уважала в Бельгии. Но и это было весьма трудным делом, особенно для женщины.

Недоверие и настороженность, трусость и порождаемая ею подлость господствовали в той среде, где вращалась Лиза. Люди прятали истинные мысли и чувства иногда так глубоко, что затем теряли их вовсе.

Лиза томилась в полном одиночестве. Иногда ей казалось, что, будучи свободной, она в действительности так же отрезана от всего живого, как Бакунин в тюрьме. Случались дни, когда ей не с кем было молвить слово. Лизе стало казаться, что с каждым годом она все больше уходит в себя. У нее не было никого близкого на свете. «Неужели,— думала она с тревогой,— мне суждено навсегда остаться одинокой? В конце концов, перейдя черту молодости, я останусь единственным свидетелем исчезнувшего своего прошлого и никто не сможет более понимать меня».

Как-то к Евпраксии Александровне приехала из провинции молодая женщина с тринадцатилетним сыном.

— Знакомься, Лизонька, с хорошими людьми, — сказала племяннице тетка и подвела ее к молодой даме и худенькому, светловолосому мальчику с внимательными, не по летам умными глазами.

— Это Писарева Варя,— продолжала хозяйка дома с несвойственной ей ласковостью,— чистая душа. Отдалась вся, как римская матрона, воспитанию детей и заперлась в своем именьице в Елецком уезде... А Митя все тот же скороспелка? — спросила гостью Евпраксия Александровна. — Как бы чрезмерное развитие ума не повредило его здоровью. Помнится, четырех лет он бегло читал по-русски и по-французски. Теперь, верно, уж так учен, что боязно вступать с ним в беседу. Ты бы, Варенька, больше заставляла его резвиться, бегать, а то рыхловат он и бледен.

— О нет, Митя здоров и очень благонравный и послушный мальчик.

— Как же, этому я сама свидетель. Представь себе, Лизонька, однажды, когда он был еще очень мал, я предложила ему конфету и варенье. Матери в комнате не было, и малыш, который никогда не делал ничего без ее разрешения, не желая меня обидеть, положил сладости в рот и продержал их, не проглотив, пока не вошла Варя. То-то было смеху, когда он, не решаясь раскрыть губы, чтобы не выронить варенья, ждал, чтобы мать дала ему знак, как же ему быть. Признайся, Митенька, учиться тебя тоже принуждают?

Мальчик, сильно покраснев, ответил с большим достоинством:

— Силою учиться никого нельзя заставить. От этого только противнее стали бы науки.

«Умен»,— подумала Лиза, глядя на Митю с возросшим интересом.

— Он всегда беготне и шалости предпочитает чтение,— добавила смутившаяся было госпожа Писарева. — Митя очень прилежен, не то что его сестренка Верочка. С трех лет он полюбил, сидя за своим столиком, перебирать картинки, раскрашивать их и готов был до полуночи слушать рассказы или читать книги. У него счастливая память: схватывает все на лету и хранит без труда. Учение, слава богу, дается ему так же легко и приятно, как иным детям игры.

— Тем более надо бы поудержать его. И так развит сверх меры,— назидательно заметила Евпраксия Александровна и позвала Митю прокатиться с ней по городу.

Лиза и Варвара Дмитриевна остались одни и все еще продолжали беседовать о детях и их воспитании.

— Я только в одном неумолима и готова к принуждению,— сказала, все более воодушевляясь, мать Мити,— чтобы заставить сына быть всегда правдивым и искренним. Мы дома прозвали его «хрустальной коробочкой». Он не лжет, не утаивает мыслей своих и чувств. «Говорить только то, что думаю, что чувствую» — вот его девиз, и я бога благодарю, что сумела отвратить навсегда Митю от лжи и сделала его искренним.

— Вы страстно любите сына.

— Да, я боюсь, что любовь моя может стать эгоистичной.

— Такая любовь близка к деспотизму,— тихо заметила Лиза.

— Но это деспотизм материнский. Я требую, чтобы мой мальчик делился со мной всеми помыслами, сомнениями. Вся моя жизнь ведь посвящена Мите, а мне нужна только его дружба. Он плоть от плоти моей, лучшая часть моей души. Его горести и радости должны быть также и моими. Скоро он поедет в Петербург. Страшно подумать о том, как буду я жить вдали от него.

— Но мальчику предстоит рано или поздно начать свою жизнь. Не надо мешать его полету.

— Увы, таков удел матерей: всем пожертвовать для детей и остаться к старости одинокими.

Лизе нравилась с каждым часом все больше новая знакомая.

Внешность Варвары Дмитриевны не привлекала к себе внимания. Неправильные черты лица, бледность — все было обыкновенным. Но стоило заглянуть, не просто посмотреть, а углубиться в широко раскрытые, вопрошающие глаза Писаревой, как захотелось бы еще и еще видеть их. Большие глаза смотрели как бы из самой глубины души, и было в них отражено столько внутренней моральной силы, искренности и любви, что они совершенно заслоняли невыгодное первоначальное впечатление от ее внешности.

Варвара Писарева была так же правдива, как и Лиза, и это редкое качество, свойственное обеим, естественно, сблизило их в те несколько дней, что они пробыли вместе. Очень полюбился Лизе и маленький Митя.

«Общение с искренними людьми,— писала она в своем дневнике, когда Писаревы уехали,— делает нас нравственнее и чище. Я прочла у Карлейля, что говорить правду — это счастье, выпадающее на долю немногих избранных. Как часто мы лжем из выгоды, самолюбия, вежливости, жалости, притворства, страха. Мы стремимся казаться иными, чем являемся на самом деле, и это тоже ложь, которая заводит нас в непроходимые дебри. Мы обманываем подчас и самих себя. Мы сознательно выдаем иногда желаемое за бывшее.

Неужели правда, что

Мы на ложь обречены:
Роковым узлом от века
В слабом сердце человека
Правда с ложью сплетены.

Только трусы лживы. Сильные и благородные натуры вытравляют ложь, как ржавчину, всемогущей правдой. Все великое всегда правдиво. Варвара Дмитриевна знает это, и, внушая сыну отвращение к неискренности и лжи, она воспитывает смелого человека».

Вдруг все изменилось в жизни Лизы. Однажды Маша вызвала ее на половину старой барыни.

В пышной, мрачной кровати без сознания лежала Евпраксия Александровна. Лицо ее было иссиня-пунцовым.

Она хрипела. Перепуганная горничная рассказывала, что барыня внезапно упала и сильно ушибла голову. У нее парализовало правую руку и отнялась речь.

— Апоплексический удар. Я неоднократно предупреждал княгиню, что от английских кровавых бифштексов и острых подливок не будет проку. Они для русского желудка истинно смертельны,— объявил врач, рьяный славянофил, демонстративно носивший поддевку, подпоясанную красным кушаком, и широкий картуз.

Несколько дней провела Лиза без сна у ложа больной. Ни уход, ни лекарства не помогали.

На рассвете весеннего утра Евпраксия Александровна умерла. Она была последним близким человеком Лизы. Ничто отныне больше не связывало Лизу Мосолову с Москвой. В час, когда она думала, где им с Машей приклонить голову и как зарабатывать на жизнь, Лиза узнала, что тетка оставила ей огромное наследство. Она стала отныне очень богатой женщиной, обладательницей большого капитала в Английском банке. Едва весть об этом облетела Москву, множество ранее не замечавших Лизу людей появилось на пороге ее дома. Им отвечали, что барышня больна и никого не принимает.

Столь резкая перемена ошеломила Лизу. Она считала, что безнравственно наслаждаться материальными благами, полученными из-за того, что близкий человек умер. Ей не пришлось быть свидетельницей отвратительных ссор, сопровождающих, как обычно, раздел добычи наследниками у свежей могилы, так как у Евпраксии Александровны не нашлось других близких родственников. Вещи, хранившие на себе как бы отпечаток умершей, вызывали у Лизы только грусть, сожаление и мысли о бренности земной.

Наследство искажало естественную печаль о смерти.

Лиза поспешила отпустить на волю крестьян, принадлежавших ее тетке, обеспечила слуг и старую Машу и покинула Россию, направляясь в Париж.

Все столичные газеты в отделе великосветской хроники сообщили о большом наследстве, полученном мадемуазель Мосоловой. Из золушки она внезапно превратилась в принцессу и, сделавшись очень богатой, вскоре поняла чудовищную силу денег в том обществе, где жила. Ничто не изменилось в ее внутреннем мире или внешнем облике, однако, ранее никем не замечаемая, подчас

откровенно презираемая, она вдруг стала всем необходимой. Ее начали считать красивой и весьма оригинальной. Особенно поразило Лизу, когда она приехала в Париж, письмо княгини Дарьи Христофоровны Ливен, высокопоставленной, весьма известной в высшем свете нескольких государств дамы, с которой была в дальнем родстве. Впрочем, никогда раньше княгиня не признавалась в этом.

«Милая Лиза,— писала ей по-французски княгиня Ливен. — Ваше светское положение позволяет мне представить вас в том кругу, к которому мы принадлежим по рождению. Злая фортуна подшутила жестоко над вашим отцом и вами. Однако божественный промысел восстановил справедливость, и вы снова среди нас, бедное дитя. Сколько пришлось вам выстрадать среди людей иных каст! Тем более я, познавшая многие горести и гонения, рада познакомиться с вами. Надеюсь, вам будет хорошо в моем доме. Приезжайте».

Лиза вспомнила все, что многократно слышала о княгине Ливен. Дарья Христофоровна приходилась родной сестрой могущественному Александру Христофоровичу Бенкендорфу. Она была женой князя Ливена, бывшего в течение многих лет русским послом в Лондоне и затем воспитателем наследника престола. После тридцати семи лет супружества княгиня Ливен, вопреки воле царя Николая, уехала одна за границу и не пожелала больше возвращаться к мужу в Петербург. Несколько лет пылкое увлечение связывало ее с Меттернихом, но затем оно сменилось взаимной ненавистью.

Дарья Христофоровна до разрыва с мужем пользовалась особым благоволением государя и постоянным покровительством королевы Виктории. Пальмерстон был с ней в дружеской переписке, а знатные, богатейшие лорды Абердин и Грей не скрывали своего преклонения перед этой своеобразной женщиной. Княгине Ливен было за пятьдесят, когда ее по-юношески страстно полюбил уже не молодой Гизо. Их связь, длившаяся не один год, не оставалась тайной в высшем свете. Врожденный талант дипломата и превосходное знание закулисных дел в политике в соединении с ловким холодным рассудком обеспечили ей в течение всей жизни особое положение в Петербурге, Берлине, Париже и Лондоне.

Дарья Христофоровна была беспредельно честолюбива. Однако на пути ее постоянного возвышения встала запоздалая любовь. Из-за Гизо, несмотря на уговоры Бенкендорфа и мужа, приказы и угрозы царя, она осталась за границей. Ссылаясь на болезни и душевные страдания, вызванные смертью двух сыновей, княгиня Ливен отказалась вернуться в Петербург и жила то в милом ее сердцу Лондоне, то в Париже, вблизи любимого человека. Ее салон считался могущественным в дипломатическом и светском мире Европы, и она продолжала выполнять сложные и важные поручения Николая I.

Шли годы. Воспитатель наследника, князь Ливен умер, но, и овдовев, Дарья Христофоровна не вышла замуж за Гизо.

— Могу ли я, наследница древнего рода, соединиться браком с буржуа? Это невозможно даже в век процветающего третьего сословия. Между нами кастовая пропасть.

Умный, светски обаятельный, политик и ученый, Гизо не настаивал на венчании, хотя взаимная любовь его и Дарьи Христофоровны крепла с годами.

Все эти подробности из жизни княгини Ливен стали известны Лизе от покойной тетки.

Прочитав письмо Дарьи Христофоровны, Лиза захотела увидеть женщину со столь незаурядными биографией и характером. Она охотно приняла приглашение Дарьи Христофоровны поселиться в великолепном особняке в Сен-Жерменском предместье.

Княгиня Ливен оказалась худенькой старой дамой, которую не могли омолодить ни притирания, ни белила, ни строго продуманный туалет — ничто не могло скрасить разрушения времени, особенно сказывающиеся в линиях когда-то стройной шеи. Стоячий воротник не мог уже скрыть дряблости кожи и поддерживать слабый подбородок и щеки. Княгиня Ливен никогда и не была красивой. На тонком неправильном лице поражали, однако, необычайно проникновенные, полные ума, задора, иронии глаза. В старости, как это обычно бывает, яснее обозначились и недостатки и достоинства ее внешности.

Превосходный знаток людей, княгиня Ливен быстро разобралась в наиболее определившихся чертах характера Лизы, но постаралась ничем не проявить этого и

заговорила о том, к чему, знала по опыту, никакая женщина не может остаться совершенно равнодушной.

— Вам надо заняться собой, милая Лиза. О душе поговорим позднее, сначала подумаем о бренных предметах. Я прикажу вызвать сюда мою портниху, и мы обсудим ваш будущий гардероб. Моя кузина Евпраксия, эта замечательная нелепица, как ее звали в детстве, наверно, не сказала вам, что следует не только читать Шатобриана, но также класть на ночь на лицо маску из сырого мяса, земляники или огуречного сока, чтобы кожа не была сухой и серой. Моя камеристка займется этим. Увы, дитя мое, феи, присутствовавшие при вашем рождении, не позаботились о цвете вашего лица. А это главное, особенно при вечернем освещении. Свечи были гораздо милостивее к женщинам, чем газовые лампы, которые жестоко подчеркивают наши недостатки — морщины и вялость век.

Лиза, слушая княгиню Ливен, не могла скрыть своего удивления. Ей казалось, что эта женщина, которую считали отличным политиком и дипломатом, сразу же начнет разговор о чем-нибудь особо важном для судеб Европы, военных приготовлениях Турции и России и угрозе большой войны или, по крайней мере, о Наполеоне III и его раздорах с царем Николаем I.

Решив приблизить к себе Лизу, Дарья Христофоровна имела затаенную цель. Подпав под влияние католической церкви, она стремилась, считая это особо богоугодным делом, уловить в ее лоно как можно больше душ. Лиза, скромная, замкнутая, страстная, много страдавшая, как сразу определила княгиня Ливен, и, главное, очень богатая, была, по ее мнению, создана для того, чтобы увлечься пышной мишурой католической церкви. Надо было, однако, исподволь, незаметно подвести ее к этой мысли. И Дарья Христофоровна, посоветовавшись со своим духовником, решила действовать без торопливости и заслужить любовь и полное доверие своей родственницы.

Однажды во время утреннего туалета графиня Ливен сказала Лизе:

— С тех пор как судьба лишила меня двух любимых сыновей, я поняла всю тщету земной жизни и бесполезность борьбы с тем, что предначертано нам свыше. Смирение, покорность, вера в грядущее соединение с любимыми — вот чем живу я отныне. Но это вовсе не значит, что надо посыпать главу пеплом и предаваться печали.

Наоборот, дитя мое, святая католическая церковь и ее духовники помогли мне преодолеть страдания. Не надо отказываться от мирских благ и дел. Основное — это вовремя искупить грехи.

Не подметив ни малейшего интереса у Лизы к тому, чтобы получить отпущение прегрешений, и почувствовав в ней полное безразличие к делам церкви, Дарья Христофоровна перешла к тому, чего ждала от нее Лиза с самого начала их знакомства. Она заговорила оживленно о политике.

— Гроза в мире приближается,— сказала уверенно княгиня Ливен. — Многие важные события в Европе начинались с мелочей. Наш дорогой государь вполне прав, когда пишет императору Наполеону, человеку, между нами говоря, с весьма сомнительным прошлым, не «любезный брат», как полагается по этикету между царствующими лицами, а просто «друг». Это тоже не малая честь для вчерашнего арестанта. Луи Бонапарту не удалось политических выгод ради породниться ни с одним из царствующих домов Европы. Слава богу, наш царь разрушил его хитроумный план.

— Разве это тоже дело рук Николая Первого? — поинтересовалась Лиза.

— Да. Его величество использовал все свое влияние, чтобы предотвратить позор подобного соединения.

— Однако Наполеон Третий женат...

Княгиня Ливен презрительно улыбнулась.

— Да, на испанке незнатного и бедного рода, графине Евгении Монтихо-и-Теба. Она посетила меня незадолго до того, как стала императрицей Франции, и, представьте, вела себя в моем салоне как истая аристократка. Не будем, однако, вспоминать сомнительное прошлое этой красотки. До замужества она успела насладиться жизнью. Но ведь мать и бабушка Наполеона Третьего тоже не были образцами морали. Как ни старается Бонапарт создать теперь культ Гортензии и Жозефины Богарне, ему это не удастся. Не правда ли, забавно, что гимном империи стала песенка, написанная когда-то его матерью? Увы, мой друг, все эти люди принадлежат к полусвету. Это слово отлично придумано господином Александром Дюма-младшим. Все в современной несчастной Франции, как в «Даме с камелиями», только полусвет, все на грани приличия и непристойности. Двусмысленны и ложны

императорский двор и политика, биржевые спекуляции и даже литература. А нравы? От дикого племени канка европейцы переняли омерзительный, неприличный танец и назвали его «канкан». В кафешантанах всей Франции его пляшут, вскидывая ноги до самого носа и выше. И, представьте, это вовсе не весело и, значит, вовсе уж непристойно. Наш строгий вальс доставлял, право же, гораздо больше радости. Я часто говорю об этом с господином Гизо. Ничто, запомните, не вызывает такого волнения, как видимость целомудрия.

За ужином Дарья Христофоровна вновь заговорила об угрозе войны.

— Недавно Наполеон Третий сказал многозначительные слова: «Если мои военные суда появятся в восточных водах, то знайте, что я иду, чтобы победить Россию. На этот раз сражаться нам придется в менее суровом климате, чем это было под Москвой». Не правда ли, какой недвусмысленный и зловещий намек на наше Черное море? Я не могу остаться безразличной к такой угрозе. В ближайшие дни мы отправимся с вами, милая Лиза, ко двору королевы Виктории. Есть все основания беспокоиться, что королева и ее правительство присоединятся к враждебной России коалиции. А я, что бы обо мне ни говорили, родилась и умру верноподданной обожаемого мною царя Николая.

Через несколько дней Лиза вместе с княгиней Ливен отправилась через Дувр в Англию.

Дарья Христофоровна стремилась в Лондон еще и для того, чтобы повидаться с Гизо. Княгиня Ливен самоотверженно заботилась о любимом человеке, спутнике ее старости, и тяготилась разлукой с ним.

В Булони, на пристани, в ожидании маленького суденышка, идущего к берегам Англии, Лиза спросила Дарью Христофоровну, почему ее близкая дружба с Меттернихом обернулась враждой.

— О милый друг,— прикрыв глаза, улыбнулась княгиня Ливен,— в нашем кругу мужчины, а тем более выдающиеся, не любят умных женщин. Они привыкли только к поклонению. Ум в женщине невыносим для человека, который считает себя гениальным и не желает слышать ничего, кроме лести. Жена австрийского канцлера, очаровательная дурочка, постоянно курит ему фимиам и совсем не интересуется политикой.

Был конец мая. Начинался великосветский сезон. Королева давала свой первый бал во дворце, подаренном ей около двадцати лет назад герцогом Бакингемским. Этот невзрачный плоский серо-желтый замок, опоясанный густым парком, она предпочитала всем другим, за исключением разве только Виндзорского.

Княгиня Ливен, пользуясь обширными связями при дворе, без труда включила Лизу в список приглашенных на бал во дворце.

Лизе хотелось посмотреть это необычайное, почти театральное зрелище. Королева объявила, что в этом сезоне ее любимым цветом будет голубой, и платья приглашенных на бал шились из самых дорогих материй только этого цвета или его оттенков.

В полдень и сумерки у сквозной железной дворцовой ограды и глухих ворот всегда собирались любопытные.

Развод караула, о котором возвещали гулкие барабаны, сопровождался сложной церемонией: салютованием шпагами, рапортами.

Гвардия королевы, как и великобританская полиция, вербовалась преимущественно в Шотландии. Только там, среди угрюмых озер и гор, вырастали такие широкоплечие, рыжекудрые силачи. Бывшие пастухи, похожие на викингов, служили также главным украшением уличных перекрестков, где их стадами были отныне омнибусы и кареты. Они же живыми статуями стояли у парадных королевских подъездов, рядом с трехцветной сторожевой будкой. В полицейских темных касках и меховых гвардейских шапках, почти скрывавших лица, в черных форменных шинелях с эполетами они были декоративны, безжизненны и лишены всякой индивидуальности, как каменные львы и вазы на дворцовых фронтонах.

Смена караула у ворот Бакингемского дворца была излюбленным зрелищем детей. Наемные воины короля казались им большими оловянными солдатиками, и нередко малыши просили матерей купить им таких же. Нелегко было поверить, что подобная автоматичность движений доступна живым людям. Даже лошади у двух всадников, занимавших ниши главных ворот, подчинены были механическому ритму барабанов и топоту караульных, этих выстроившихся попарно маскарадных воинов.

Но излюбленнейшую пищу для любопытства английских обывателей доставляли дни дворцовых балов.

Королевский прием еще не начинался, но вереницы карет с приглашенными уже тянулись в прилегающие к Бакингемскому дворцу кварталы. Английские богачи и знать подъезжали в слонообразных, покачивающихся в такт лошадиному бегу, обитых сукном или шелком рыдванах и черных каретах с лакеями на запятках. Фырканье и ржание великолепных лошадей нарушали покой улиц. Зеваки, дежурившие на путях ко дворцу, рассматривали кареты, в которых сидели дамы в придворных туалетах.

Длинные, широкие платья шились для дворцового бала из затканной золотом парчи и тафты, блестящего атласа или из индийского легкого муслина. В моде были кринолины, растянутые благодаря десятку тонких металлических обручей, образующих под юбкой подобие каркаса для абажура. Те, кто должен был представляться королевской чете, носили тяжелые четырехметровые шлейфы, прикрепленные к плечам. Нелепым пучком торчали страусовые перья поверх фаты, наброшенной на прически дам; в их руках тихо покачивались большие мохнатые веера.

Пытаясь скоротать долгие часы ожидания, придворные леди играли в вист со своими позолоченными, затянутыми в тугие набрюшники кавалерами. Иногда уже с двух часов дня выстраивались чередой кареты королевских гостей, надеявшихся, что к десяти часам вечера им удастся добраться до желанного подъезда.

Приехавшая из Индии графиня беспокоилась, как бы не увяли белые, укутанные листьями лилии, с которыми сегодня предстанут перед троном три ее чахлые, непомерно долговязые дочери. Чтобы утомление не пробилось серым налетом сквозь румяна и пудру на щеки молодых «дебютанток», впервые представляемых королевской чете, отец и брат, оба в орденах и придворных костюмах, старались развлекать их веселыми шутками. Однако ни атлас дорогих платьев, ни прославленные, многократно описанные всей столичной прессой драгоценности, ни тонкие лилии не смогли украсить этих дурнушек.

В противовес английскому мелкому буржуа, вовремя спрятавшемуся и уцелевшему за тяжелой душной портье-

рой пуританства, английская знать дорого заплатила за свое господство и силу. Со времен средневековья она была заражена и разъедена пороками, привезенными со всех концов мира. И парад старой аристократии у Букингемского дворца нередко казался унылой выставкой физического уродства.

Шпалерами растянувшиеся, дисциплинированные зрители впиваются, позабыв о дожде, о режущем глаза тумане, в окна карет, обсуждая туалеты.

Темнеет. В некоторых движущихся бонбоньерках зажигают свечи. Вист в разгаре. Мимо медленно подвигающихся к цели приглашенных англичан проносятся шарабаны иностранцев — представителей дипломатического корпуса. Их вправе обогнать и задержать только громоздкие, пестрые, похожие на дилижансы кареты придворных и членов королевского дома.

С девяти часов вечера двери дворца раскрыты. Мраморные ступени ведут из обширного желтого холла в анфилады зал. Шаги разодетых, едва влачащих расшитые шлейфы женщин бесшумны на коврах. Одинаковые перья в их волосах покачиваются монотонно, как султаны на гривах унылых лошадей похоронных процессий. Чопорная скука ползет со стен, увенчанных гобеленами, картинами, невыразительными портретами королей в мундирах и мантиях. Застывшими восковыми фигурами кажутся повсюду у дверей расставленные солдаты и офицеры конвоя его величества — причудливая иллюстрация английской истории костюма. Тут и короткие шаровары, кафтаны времен Генриха VIII, со сборчатыми, «фонарем», рукавами из разноцветных полос, и белые, гармоникой плиссированные воротники, привезенные в Шотландию и Англию из Франции злосчастной королевой Марией Стюарт. Тут и елизаветинские пажи в атласных туфлях с большими медными пряжками, и солдаты Карла I в сапогах с отворотами. У портьер, в красных мундирах и меховых шапках, неподвижные солдаты.

Дарья Христофоровна в придворном платье из тяжелой голубой парчи, с трудом поддерживая рукой длинный шлейф, усеянный драгоценными камнями и обшитый соболем, со страусовыми перьями поверх прически и белого тюля, спускающегося по плечам, отвечает на

бесчисленные поклоны. Лиза поднимается за ней вверх по лестнице, устланной коврами.

На лицах проходящих мимо дам Лиза с удивлением замечает однотипные, застывшие, ничего не говорящие улыбки, выученные, по-видимому, с самого детства.

— Посмотрите, Лиза, на эту новоиспеченную виконтессу. Ее муж, вероятно, какой-нибудь денежный мешок,— говорила княгиня Ливен, не снимая с лица улыбки.

В дорогом платье павой проплывает по залу жена крупного текстильного фабриканта, купившего титул виконта. Мечты ее наконец осуществились.

Пухлые красные плечи виконтессы вылезают угрожающими лопнуть помидорами из овального выреза бледно-голубого, затканного золотом платья. На надменно откинутой голове качаются три страусовых пера. Величественно напыжившись, берет она уроненный веер из рук подоспевшего слуги. И тотчас же выражение высокомерия сменяет маска раболепства, когда она кланяется сухопарой герцогине. С каким беспокойством и чванством оглядывает себя новая аристократка в зеркале!

Все расступаются, пропуская вперед титулованную даму, обладательницу огромных земель в колониях, одну из прославленных интриганок и политических кумушек, окружающих королеву. Ее пронырливость вошла в поговорку.

Лиза посмотрела на знатную плантаторшу, которая внезапно остановилась, чтобы влюбленным взглядом проводить близкую родственницу королевы.

— Напрасные старания! — сказала Дарья Христофоровна, дружелюбно ответив кивком головы на чей-то поклон. — Эти пройдошливые ничтожества из купцов и дельцов никогда не станут своими в стенах Бакингемского дворца. К счастью, никакая подлость и угодливость не превратятся в мостик между кастами. Английская аристократия принуждена и умеет благодаря прекрасному воспитанию терпеть простолюдинов, но не растворит их в своей среде.

— Однако в парламенте они сидят и вершат дела государства вместе,— удивилась Лиза.

— Вы наивны, дитя мое. Палата лордов — только отчасти парализованная пасть британского льва. Она неизменно жаждет проглотить палату общин. Точно так же подлинная аристократия голубой крови не допустит,

чтобы разные выскочки из среднего сословия стали чем-нибудь большим, нежели прислужниками старой знати.

Княгиня Ливен была права. Поколениями пробивались разбогатевшие буржуа сквозь щиты и пики геральдических гербов. Долгие годы длилось это медленное смешение и одновременно золочение титулов.

Английская аристократия, наиболее замкнутая и потому вырождающаяся, в большинстве своем сказочно богатая, сохраняла за собой сокровища, земли, акции, торговые капиталы в колониях и в самой Англии.

По большим и малым залам прогуливаются придворные. Мимо трона с поклонами сегодня пройдет их более тысячи. Зеркала во много раз умножают соединяющиеся друг с другом залы и чопорную толпу.

Как в паноптикуме, здесь все призрачно и перепутано. Тот старик с голым черепом, восковым лицом, увешанный смешными, дутыми, как елочные украшения, орденами, цветными лентами,— человек он или карикатурное изваяние? Люди вокруг похожи на кукол, куклы здесь сошли бы за людей.

Сухопарый Пальмерстон сменил скромный костюм на коротенькие штанишки подражание французскому двору Людовика XV,— шелковые чулки, плотно обтянувшие икры, и лакированные туфли с черными тафтовыми бантами. Волосы его натурально седые, в противоположность густо напудренным головам важных лакеев.

Седина в Англии, как и на Востоке, признается большим достоинством, метой прожитых лет, свидетельством мудрости, признаком «хорошего тона». Нигде в мире не встречается подобная английской холеная, чуть желтая седина.

С каким нескрываемым удовольствием прохаживается по королевским покоям Дизраэли — лорд Биконсфилд. Его плечи выпрямлены, но полы фрака висят жалкими мертвыми крыльями.

— Очарователен,— шепчут ему вслед дамы. Он нравится в свете. Королева часто посылает ему фиалки из своих оранжерей.

Лиза вошла в тронный зал.

Под тяжелые аккорды «God save the king» [1], монархического гимна, в полупустой тронный зал вошли,

---

[1] «Боже, храни короля» *(англ.)*.

держась за руки, королева и ее муж принц-консорт Альберт. За ними вразброд двигались принцы и герцоги.

Маленькие пажи долго и тщательно расправляли многометровый, затканный золотом шлейф королевы на тронных, покрытых ковром подмостках. Вышитые по бархату звезды, цветы и птицы переливались и сияли.

Маршал двора, существо неразличимое, затменное собственными же медалями, галунами, эполетами, отдал последние распоряжения своей армии адъютантов — десятку порхающих пестрых «божьих коровок» в красных мундирах и белых брюках. Из дворцового полководца маршал превратился в оперного дирижера.

Один взмах его рыжей руки открыл шествие.

В дверях между тронным залом и «загоном», где ждали выхода статисты-гости, опытные пажи подхватывали, расправляли непокорные, то ползущие, то скачущие и извивающиеся дамские хвосты — шлейфы.

Королевская чета стояла у золоченых бархатных кресел.

Шурша атласом, склонилась в замысловатом реверансе жена русского посла. Королева и ее муж кивнули в ответ головами.

Фамилии и титулы знатных дам, отдающих поклон королевской чете, наспех объявлял глашатай.

Шли упитанные светловолосые немки, стройные шведки и датчанки, томные испанки и смуглые итальянки. Королева и ее муж важно кивали им.

Жена американского посла представила трех расфранченных соотечественниц. Чтобы появиться при дворе, они в течение нескольких недель переплывали на небольших судах океан. Жены богачей Нового Света не могли скрыть теперь растерянности, трепета и горделивого восторга. Среди них была ирландка, познавшая некогда жестокую нищету и унижения, измышленные Англией против упрямого, непокорного соседнего острова, на котором она родилась. Но разбогатевшие рабы незлопамятны. Тщеславие ослепляет.

Заокеанские миллионерши соперничали между собой в пышности туалетов и драгоценностей, однако они были бессильны превзойти в этом английских леди и в особенности жен индийских магараджей.

— Мы тоже некоронованные королевы,— сказала раздосадованно одна из них,— и платим мы за все на-

личными. Наши предки не грабили своих подданных столетиями.

Кивок короля и королевы обошелся им недешево. Придворные дамы, бывшие посредницами, получили под видом оплаты за обучение этикету очень дорогие подарки. Добиться пригласительного билета на королевские приемы — сложное и щекотливое дело; но деньги — ключ, открывающий и дворцовые двери. И когда приглашение было получено, жены и дочери американских бизнесменов и плантаторов Юга покупали себе роскошные придворные одеяния.

С тех пор как появилась фотография, стало модным заказывать портреты в придворном туалете. Они предназначались для того, чтобы висеть, изумляя и внушая зависть знакомым, где-нибудь в парадных залах нью-йоркской, чикагской, филадельфийской резиденции. Ради этой чести безмерно тщеславные жены американских буржуа готовы были на любую трату и жертву.

Когда пригласительный билет был получен, жена американского посла отвозила счастливую дебютантку во дворец на бал, где она с особым усердием и старательностью кланялась королевской чете, доказывая этим, что не напрасно в течение двух недель брала специальные уроки реверансов.

Откланявшись, все приглашенные занимали предназначенные им места в полукруглом тронном зале и продолжали разглядывать последующий парад.

Следом за дамами двигались члены дипломатического корпуса: послы, секретари, военные атташе. На них были придворные костюмы либо яркие, без меры увешанные орденами мундиры. Дипломатов сменяли министры.

Прикомандированные парламентом казначей его величества и контролер королевских расходов тоже пришли выразить верноподданнические чувства.

Вслед за министрами и вельможами начинался «выход» юных английских аристократов, впервые представляемых королеве.

Оркестр играл марши. Приглашенные дефилировали по тронному залу.

Одеяние и украшение каждой из проходящих женщин стоили много десятков тысяч фунтов стерлингов. Знатоки находили тут неповторимые, прославленные кружева, созданные при свете сальных свечей в фео-

дальных замках и монастырях. Соболя, горностаи, серебристые лисы отягощали атласные, парчовые шлейфы, то каскадами пены, то языками пламени разбегающиеся по полу. Женские лица являлись бесчисленными рекламами косметических изделий, без слов прославлявших французские белила, румяна, карандаши для бровей, пудру.

При дворе господствовал французский язык. Парижские предметы роскоши, курорты в Пиренеях, игорные дома на Ривьере были излюбленной темой разговоров.

Полторы тысячи раз кивнула приглашенным за вечер королева Виктория. У нее заболели шея и голова, и когда церемония поклонов окончилась, прежде чем снова появиться в залах, где чинно танцевали и закусывали, она отдала себя во власть опытной массажистки, поджидавшей ее в туалетной.

Княгиня Ливен, по-девичьи подвижная и неутомимая несмотря на преклонный возраст, под руку с французским послом шла по дворцовым апартаментам.

— Моя супруга, представьте, княгиня, ехала из Рима в Париж почти две недели. Я слышал, что скоро появятся спальные вагоны, иначе пользоваться железной дорогой станет невозможно для людей из общества.

— Две недели, какой ужас! — отыскивая глазами узкую, длинную фигуру Пальмерстона и не находя его, отвечала Дарья Христофоровна. — Я, впрочем, всегда предпочитала море суше.

— К сожалению, княгиня, вскоре некоторые моря могут оказаться небезопасными для путешествий,— многозначительно заметил французский дипломат.

— Как будто с пиратами и корсарами покончено навсегда, к огорчению писателей, которым в течение нескольких столетий была особенно близка эта тема. Теперь многие государства похваляются своим флотом. Россия помалкивает, но она очень могущественна,— с нарочитой небрежностью говорила Дарья Христофоровна, входя в зал, где были сервированы столы.

Безвозвратно ушла в прошлое полулегендарная пора обжорливого Генриха VIII, когда на королевских празднествах гостей потчевали необъятными тушами кабанов, быков, сладким мясом лебедей, горькой дичью и запивали еду бочками лучшего вина. Королева Виктория угощала гостей богато, но без излишеств. Особенно гордилась она

серебряной с позолотой сервировкой, бесценным фарфором и белоснежными скатертями из тончайшего полотна.

Княгиня Ливен отказалась от ужина, и разговор с французским послом возобновился.

— Его величество русский царь,— говорил французский дипломат,— естественно, стремится упрочить свое влияние на Балканском полуострове и обеспечить проход своим кораблям в Эгейское море через черноморские проливы. Но вряд ли Турция, Англия и Франция поддержат его в этом стремлении. Скажите, княгиня, вы, верно, как и вся придворная аристократия Петербурга, беспокоитесь теперь о своих поместьях на Крымском полуострове? Говорят, это райский уголок.

— Нет, не судьба дворцов в благословенной Тавриде беспокоит меня,— сказала Дарья Христофоровна. — Опасная авантюра — пытаться подорвать величие и военную мощь России и мешать ей выйти в Средиземное море. Мне жаль не крымские парки и замки — им ничего не угрожает, а те страны, которые осмелятся подняться против двуглавого орла. Он клюет жестоко, смертельно.

В конце этого разговора в зале появилась приметная сутулая фигура седовласого старика, которого тотчас же окружила подобострастная толпа гостей.

Это был министр иностранных дел королевского правительства, вождь непрерывно богатеющей, идущей в гору, алчной, самонадеянной и воинственной английской буржуазии.

Княгиня Ливен, сказав какую-то светскую любезность собеседнику, отошла от него и прямо направилась к Пальмерстону. Перед ней почтительно расступились.

— Сэр Генри,— сказала она повелительно,— мне хотелось бы узнать, как ваше самочувствие.

Могущественный государственный деятель Англии некогда был увлечен женой русского посла Ливена. Прошло много лет, но Дарья Христофоровна, давно состарившаяся, совершенно преображалась, встречаясь с тем, над кем приобрела некогда особую власть. Даже тембр ее голоса менялся.

Княгиня Ливен и Пальмерстон были одного возраста, но министр королевы Виктории, удачливый соперник Гладстона и Дизраэли, выглядел куда более дряхлым. Между его белой шевелюрой и бакенбардами торчали необычайно большие, настороженно растопыренные уши.

Рот старика походил на рубец, и все лицо казалось обтянутым мятым потемневшим пергаментом. Взор запавших, без всякого блеска глаз был надменен и тяжел.

— Я очень рад видеть вас, княгиня,— сказал Пальмерстон по-французски, без улыбки. — Вы, как всегда, отлично выглядите и все так же очаровательны. Что привело вас в Лондон и почему я узнаю об этом не первым?

— Меня погнала из Парижа тревога. Мы старые друзья, не правда ли, сэр Генри? — сказала Дарья Христофоровна, то открывая, то закрывая надушенный веер. — Я всегда молодею, глядя на вас. Когда-то на королевских балах мы проводили незабываемые часы. Вы читали мне свои стихи и убивали наповал наших недоброжелателей разящей иронией.

— Это было, увы, так давно, дорогая леди Долли.

— Да, сэр Генри, как меняются времена, нравы и люди. Вы не были тогда так враждебны ко всему, что мне дорого. Мы понимали друг друга с полуслова. Вы не терпели ничего сомнительного и неверного в политике.

Пальмерстон слегка нахмурился. Он знал, что слова княгини Ливен всегда полны скрытого смысла. Не намекает ли она на его стремление ускорить войну с Россией?

«Эта колдунья Ливен все знает, с ней надо говорить, как мужчина с мужчиной,— думал хитрый, расчетливый политик. — Она к тому же все сообщит в Петербург. Тем лучше». Пальмерстон молчал, выигрывая время и предоставляя говорить княгине.

— Вы некогда безошибочно предсказывали будущее по линиям руки; еще лучше вы разгадывали судьбы государств. Что видите вы на горизонте? — спросила Дарья Христофоровна небрежно.

— Будем надеяться, война не начнется.

— Когда дипломат говорит «нет», это означает «может быть».

— Англия первая никогда не возьмет на себя столь ответственный почин, но и не потерпит, если обидят доверившихся ей союзников. Правительство ее королевского величества всегда стоит на страже угнетенных наций, где бы они ни находились.

— Турции, например,— чуть вспыхнула Дарья Христофоровна,— дикой, невежественной страны, которая издевается над проживающими в ее пределах христианами.

— Балканы созданы богом как яблоко раздора. Но я не хочу, чтобы они поссорили нас, леди Долли. Дружба с вами была для меня всегда выше политики. Она вне распрей мира. Верьте мне и располагайте мною.

Пальмерстон прошел с княгиней Ливен по длинной картинной галерее до холла, где ее ждал слуга, держа наготове широкую, подбитую горностаем ротонду с огромным капором.

— Карету ее сиятельства княгини Ливен! — выкрикнул лакей.

В закрытом экипаже, подъехавшем к устланному пурпурными коврами подъезду, княгиню ожидала Лиза, покинувшая тронный зал несколько раньше. Дарья Христофоровна была в дурном расположении духа и молчала.

Княжеский выезд в ряду других медленно двигался к ограде Бакингемского дворца. Хотя было уже далеко за полночь, толпа зевак не поредела. Ее праздное любопытство возрастало от невозможности заглянуть внутрь, пробить взглядом каменные дворцовые стены... Воображаемое обычно увлекательнее действительно существующего.

«Итак, быть большой войне»,— думала Дарья Христофоровна. Она содрогнулась, представив себе, как осложнится тогда ее жизнь. Чистокровная немка по происхождению, русская по воспитанию, космополитка по всем своим симпатиям и привычкам, но зависевшая целиком от царского дома Романовых, как останется она во время войны за границей? Ей предстояло увидеть, как будут рады карлики тому, что начался поход против Восточной Европы. Рьяной приверженке деспотического правления Николая I, русской княгине придется молча смотреть на то, как демократы и революционеры будут восторженно приветствовать борьбу со страной крепостников, которую они называют палачом польского народа и свободы в Европе. Но о возвращении в Россию она не могла и не хотела думать.

«Как, однако, предотвратить войну?» Острый ум княгини Ливен лихорадочно работал. Но она сознавала свое бессилие.

Лиза искоса посматривала на Дарью Христофоровну, но так и не могла прочесть ее мыслей. Она была очень рада, что бал у королевы кончился.

Весь вечер Лизе не везло. Сначала она чуть не упала, склонившись в реверансе, в тронном зале, причем

уперлась коленом в пол, чтобы подняться (верх неприличия!), затем, добравшись до своего места у стены, вместо того чтобы остаться стоять, покуда шло представление у трона, опустилась на стул. Какой-то дюжий придворный, стоявший сзади, с окриком: «Встаньте!» — приподнял ее с сиденья и при этом оторвал оборку платья. Прикрывшись шлейфом, Лиза еле пробралась в дамскую комнату, где дворцовая горничная кой-как зашила прореху на талии и прикрепила кружева. Наконец усталая Лиза выбралась из толпы королевских гостей.

В карете княгини просидела она более часа, удивляясь, зачем пошла на этот бал. Чтобы по собственной охоте изображать одного из статистов в суетном, нелепом и устаревшем дворцовом спектакле?

«Так далее жить нельзя. Вот уже месяц, как я растрачиваю все, что накопила некогда душа, ем слишком обильно, много сплю и в полной праздности теряю время. И ничего еще не сделано для Мишеля».

Невеселые мысли Лизы прервала Дарья Христофоровна:

— Отменный бал. Вам удалось повидать сегодня лучших людей империи. Королева выглядела очаровательно, немножко только потолстела. Каждый год ее величество дарит Великобритании нового царственного отпрыска, но теряет из-за этого грациозность линий. Нельзя же превращать деторождение в профессию, особенно когда твое чело увенчано короной...

Лиза рассмеялась.

— Однако вы можете быть беспощадной и даже по отношению к коронованным особам,— сказала она, вспомнив о размолвке княгини Ливен с Николаем I.

— Итак, дорогая Лиза, теперь, представившись ко двору, вы можете начать визиты в высшем свете. Все без исключения будут рады вам. Можно подумать и о браке. Но не торопитесь и будьте осмотрительны. Особенно бойтесь неравенства в чем бы то ни было. Когда мне стало невмоготу бремя брака и муж чинил мне препятствия к отъезду за границу, мой брат Александр Бенкендорф сказал о князе Ливене: «Он мстит тебе за то, что так долго терпел над собой твое умственное превосходство». Если это и было так, то ведь я посвятила себя служению мужу в продолжение очень многих лет, и он прослыл прекрасным дипломатом и ученейшим человеком. Но ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Люди не про-

щают другим сознание своего ничтожества. А это познается сравнением...

— Я вовсе не собираюсь выходить замуж,— решительно заявила Лиза.

— Тем лучше. Раз вы дорожите независимостью, мы можем не расставаться с вами и поехать в сопровождении господина Гизо в Рим, а затем снова в Париж.

— Нет, дорогая княгиня. Я очень многое повидала и поняла благодаря вам. Но я остаюсь в Лондоне. У меня здесь важное и трудное дело.

— Быть может, я могла бы вам помочь в чем-либо, мой друг? Имя княгини Ливен еще не совсем потускнело среди избранных этого мира.

— Тогда разрешите просить вас о помощи моему другу. Он очень страдает. Его имя — Михаил Бакунин. Он заточен в Петропавловскую крепость. Вы, вероятно, слыхали о нем.

Если бы в эту минуту карету княгини окружили разбойники, то и тогда на ее лице не отразились бы больший ужас и возмущение.

— Вы сошли с ума! — прошептала она. — Государственный преступник, замышляющий цареубийство! Позор своей родины и семьи. Я скорее простила бы вам увлечение каким-нибудь шулером из Монте-Карло. Но Бакунин...

— Я обращусь к тем, кто захочет ему помочь. И прежде всего к Герцену. Это самый замечательный и решительный из русских людей.

Лиза говорила очень вежливо, четко и тихо. Но в голосе ее была непреклонная решимость.

Оставшись одна, Дарья Христофоровна дала волю своему негодованию. «Долгие годы бедности и нужды растлили ее. Это погибшее создание,— думала она с бешенством. — Я жестоко ошиблась в этой молчальнице и смиреннице с лицом испанских грешниц, ставших затем святыми. Нет, она отнюдь не Тереза из Гренады, как сказал о ней мой аббат. Я становлюсь глупее к старости и все чаще ошибаюсь в людях. Я мечу бисер перед свиньями. Не пора ли скрыться на время в монастыре или, пожалуй, лучше объявиться больной и не принимать никого, кроме тех, кто мне действительно дорог».

Княгиня с нежностью подумала о Гизо. Его долгая, верная любовь делала ее моложе. Она тосковала о нем в

Париже, радуясь, что почти в семьдесят лет способна еще так остро по-женски страдать в разлуке. В Лондоне Гизо проводил в ее доме большую часть дня. Они иногда ездили вдвоем в приморский Брайтон, где, к своему неудовольствию, встречали поселившегося там на покое Меттерниха. Вечера проводила обычно Дарья Христофоровна с Гизо наедине в нескончаемой беседе. В день королевского бала они не смогли встретиться, и, прежде чем лечь, графиня Ливен на голубом листке бумаги с оттиском короны написала своему возлюбленному несколько строчек. «Как всегда,— закончила она письмо,— я благодарю вас за долгие годы привязанности и счастья, которое вы мне дарите».

Затем княгиня позвонила и, поддерживаемая под руки камеристками, направилась в опочивальню.

Лиза переселилась в строгий и удобный отель и почувствовала себя снова свободной.

Наконец-то оказавшись в Лондоне, она получила возможность познакомиться с Герценом и посоветоваться с ним о том, как приняться ей за освобождение Бакунина.

Герцен казался Лизе человеком особого склада, необыкновенным, как Станкевич, Белинский, Грановский и Бакунин.

В 1848 году в одной из книг «Современника» Лиза запоем прочла и запомнила навсегда повесть Герцена «Сорока-воровка». Позднее, размышляя над книгой Бичер-Стоу, она снова вспомнила о печальной участи крепостной русской актрисы.

Наняв кеб, она назвала кучеру адрес. Лошадь медленно двинулась по улицам Лондона, и Лиза стала рассматривать город, который ей показался величественным, но мрачным. В эту пору года он был весь в зелени, яркой и омытой теплым дождем. Некоторые дома были доверху обвиты плющом, диким виноградом и другими ползучими растениями. Особенно хорош был огромный, густолиственный Ричмонд-парк, возле которого жил Герцен. Но вот по гулкой мостовой подъехали к его дому. Кучер, в огромной шинели со множеством воротников, один больше другого, остановил лошадь у большого, чистого дома и слез с облучка. На резкий звонок вышла пожилая привратница и с учтивым приветствием открыла калитку.

Лиза пошла к дому по нарядной, обсаженной по краям цветами дорожке. С крыльца в это время спустился слуга, низкорослый пожилой итальянец.

Еще раньше, нежели Лиза назвала себя, он на ломаном французском языке сказал ей, что хозяина нет дома и вообще господин Герцен никого не принимает.

Лицо Лизы отразило сильное огорчение, но слуга оставался неумолим. Разбрасывая гравий кончиком кружевного зонтика, испытывая полное разочарование, Лиза покорно двинулась обратно по дорожке. В это время из-за дома вышла дама, ведя за руки двух маленьких девочек. Одной из них, смуглой и очень хорошенькой, было на вид не более трех лет, другой, светловолосой, с грустными, широко расставленными серыми глазами, едва ли более девяти. Лиза встретила настороженный и недоброжелательный взгляд дамы, но не смутилась.

— Не может ли господин Герцен принять меня? Мне так нужно его видеть,— просительно обратилась к ней Лиза.

— Вы, наверно, не знаете, что недавно он потерял безгранично любимую жену. Здоровье его с тех пор оставляет желать лучшего. Мы стараемся всячески оградить его от ненужных и утомительных разговоров.

— Я недавно из России,— настаивала Лиза. — По делу Бакунина. Быть может, это имя что-либо ему скажет.

Мальвида Мейзенбуг, воспитательница детей Герцена, несколько смягчилась.

— Я попробую помочь вам, хотя это расходится с моим решением оградить господина Герцена от всего, что может его взволновать. Прошу вас: в разговоре не касайтесь драмы, им пережитой.

Спустя несколько минут Лиза вошла в кабинет Герцена.

Прошло три года после того, как Александр Иванович Герцен отказался вернуться на родину и был заочно приговорен царским судом к лишению всех прав состояния и объявлен вечным изгнанником из пределов Российского государства. Имение его под Москвой было конфисковано. Герцен принял швейцарское гражданство, подчинившись неизбежной формальности, облегчавшей в дальнейшем его борьбу с царским деспотизмом.

Он был богат, деньги, доставшиеся ему в наследство от покойного отца, Ивана Алексеевича Яковлева, были своевременно переведены за границу и тем спасены. Отныне, став эмигрантом, Герцен мог выступать с поднятым забралом против русского царизма. Под своим, широко известным уже к этому времени в России, псевдонимом — Искандер — он следом за «Письмами из Франции и Италии» выпускает книгу «О развитии революционных идей в России» и одну за другой статьи, которые сжигают плотную завесу лжи, скрывавшую русский народ от глаз западноевропейской демократии.

«Никто, однако, не знает, что же собой представляют эти русские,— пишет он в статье «Россия»,— эти варвары, эти казаки, что собой представляет этот народ, мужественную юность которого Европа имела возможность оценить в бою, из коего он вышел победителем... Цезарь знал галлов лучше, чем Европа знает русских... В книгах о России недостатка нет; большую часть из них, однако, составляют политические памфлеты; они писались не с намерением лучше ознакомить с предметом, они служили лишь делу либеральной пропаганды то в России, то в Европе. Картиной русского деспотизма старались напугать и просветить последнюю...»

Предвидя великую миссию своей родины, Герцен писал:

«Множество народов сошло с исторической сцены, не изведав всей полноты жизни, но у них не было таких колоссальных притязаний на будущее, как у России. Вы знаете это. В истории нельзя сказать: tarde venientibus ossa [1], наоборот, им-то предназначены лучшие плоды, если только они способны ими питаться».

Лиза не читала ни одной книги или статьи Герцена, кроме его повестей. Она знала и сочувствовала его трагически сложившейся личной судьбе последних нескольких лет, исполненной разочарований, скорби, ревности и потерь.

Поздней осенью 1851 года погибли во время кораблекрушения мать Герцена, добрейшая Луиза Ивановна, и маленький сын Коля. Прошло всего полгода после этого страшного удара, и смерть снова ворвалась в его дом. Скончалась вместе с новорожденным ребенком молодая, обаятельная и умная жена Герцена — Наталья Алек-

---

[1] Позднему гостю — одни лишь кости *(лат.)*.

сандровна, которую, после недолгой, но сложной драмы, вызванной ее увлечением поэтом Гервегом, обрел он снова, чтобы пережить со всей остротой счастье любви и муку окончательной утраты.

Лиза с добрым чувством прикоснулась к широкой крепкой руке Герцена. Ей хотелось вложить в рукопожатие всю силу своего уважения, сочувствия, дружеского расположения. Герцен, чьи нервы за последние годы были в постоянном болезненном напряжении, ощутил искренность и прямоту незнакомки. Нахмуренное, припухшее лицо его смягчилось, глаза подобрели, улыбнулись.

Сначала разговор не налаживался. Лиза несколько робела. Перед нею был человек необычайного склада, как она сама определила его. К тому же Герцен был нетерпелив и, как бы предугадывая мысли другого, вторгался в разговор и сам направлял его по своей воле. Однако выдержка и благожелательность, исходившие от Лизы, победили, и он вдруг откинулся на спинку большого кожаного кресла и как-то успокоился. Началась плавная и неторопливая беседа, поглотившая обоих.

Герцен с презрением говорил о современном Париже, который ранее был ему очень мил и дорог. Город этот, колыбель великих революционных традиций, отныне воплотил буржуазное лицемерие, жестокость и тупоумие.

Второе декабря — день переворота Луи Бонапарта — был страшен для Герцена, как удар молотка, вбивающего гвоздь в крышку гроба обманутой Франции. Революция 1848 года, которой он радовался, словно пришествию великой правды и счастья на землю, казалась Герцену отныне погребенной.

Лондон, куда, потеряв жену, снова вернулся Герцен, произвел на него большое впечатление. Столица отражала и могущество Англии, и ее бесчисленные противоречия. Богатство, излишества немногих, нищета большинства, социальное неравенство и технический прогресс, предрассудки, узость воззрений, ханжество уживались мирно с свободой собраний, правом убежища чужеземных изгнанников и сравнительным отсутствием полицейских стеснений. Город был подавляюще велик, будто отдельная страна; в нем безостановочно, оглушающе, размеренно, как паровая машина или локомотив, двигалась, перемалывалась неукротимая жизнь.

Герцен искал полного одиночества и нашел его в многолюдном человеческом потоке, где так легко можно было затеряться со своими думами, тоской и жаждой действия.

Почти что в сельском уединении Чомлей-лоджа, этого густо обвитого жимолостью тихого дома, возле буколически прекрасного Ричмонд-парка, Герцен принялся за обессмертившую его работу, создав вольную русскую печать.

— Это кротовый труд, но как знать, быть может, удастся подрыть и опрокинуть могучие вековые своды,— сказал Герцен, провожая Лизу к калитке сада. Он еще раз пообещал ей сделать все возможное, чтобы как-нибудь помочь Бакунину.

В своем дневнике Лиза писала:

«Самая мучительная борьба, которую приходится нередко выдерживать человеку,— это борьба с самим собой. Годы проходят, и я кажусь себе ни на что не годной неудачницей. Высшее образование наглухо закрыто для женщин, служба гувернантки меня изнурила и унизила. Несчастливая любовь к Бакунину была тем страшна, что подорвала во мне веру в себя как в женщину.

Жизнь на родине казалась мне лживой и жестокой, как в большом водоеме, где в зеленоватой воде веселые большие рыбы с леденящим душу коварством нагоняют и пожирают более слабых. Чтобы преодолеть отчаяние, я искала поддержки у природы: гладила незащищенные, детски чистые кусты цветов летом, нежный снег — зимой и подолгу благоговейно погружалась в гамму красок восходов и закатов солнца.

Я говорила себе тогда: прекрасное в природе примиряет нас, смягчает, как гениальная музыка, и заставляет любить жизнь, этот яркий, непостижимый сон. Но и смерть тоже сон, только без сновидений, тяжелый, лишенный цвета и звука.

Богатство изменило всю мою жизнь, однако неудовлетворенность не только осталась в душе, но и неизмеримо возрастает. Мне не угрожает больше каждодневная притупляющая борьба за существование, и тем напряженнее и свободнее работает неспокойная мысль».

Встреча с Герценом глубоко поразила Лизу. Переняв от Бакунина некоторое пренебрежение к общепризнанным авторитетам и нежелание подчиняться кому бы то ни было, даже если это было во благо, она со свойственной ей

настороженностью приглядывалась к этому тучному человеку с острым и вместе печальным взглядом темных глаз.

Ей показалось, что уж очень гладка и красива его уверенная речь, изысканна и нарочита манера поведения, но какое-то почти ощутимое излучение таланта, яркость и быстрота мысли, полемический темперамент и, главное, отвага и горячность, с которой он говорил, пленили ее.

«Борьба — моя поэзия»,— сказал он между прочим.

Эти чудесные слова долго вспоминались Лизе. Ей даже начало казаться, что в них есть особое звучание, как у песни. И она решила, что такие люди, как Герцен и те, кого ранее она знавала в Брюсселе, подобно величию и прелести неба, природы и музыки, созданы для того, чтобы опровергнуть дикость и жестокость современной ей жизни, чтобы показать, каким должно стать и будет когда-то человечество.

«Такие именно люди построят царство божье на земле, когда не будет больше зла и горя,— записала Лиза в своем дневнике. — Если бы их не было, над миром зазвучали бы слова Данте в надписи при входе в ад: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

В мае 1853 года Вольная русская типография, устроенная Герценом, была открыта. Управляющим типографией стал польский эмигрант Людвиг Чернецкий, друг и сотрудник Герцена. Наборщики были также поляки, и среди них оказался Сигизмунд Красоцкий, нашедший убежище в Лондоне.

В газете польской демократической эмиграции в том же мае появилась заметка: «Герцен понял долг русского народа; честь ему! Мы же делаем свое дело. Пришло время показать, что с правительством Николая — никогда, создать братский союз с русским народом против его дьявольского правительства — всегда!»

Лиза часто бывала в доме у Герцена. Трое его детей, особенно четырнадцатилетний сын Александр, встречали ее очень радушно. Только их воспитательница Мальвида Мейзенбуг, обожавшая Герцена и ревновавшая его ко всем без исключения посетителям, относилась к ней холодно и настороженно. Эта весьма образованная немка, сочувствовавшая освободительным идеям своего времени, происходила, как и Лиза, из древнего аристократического,

но обедневшего рода и вынуждена была ради заработка давать уроки, заниматься переводами, служить гувернанткой. Близость к демократическому движению и жизнь в семье Герцена дали ей возможность встречать и хорошо узнать многих выдающихся людей разных национальностей, и она очень гордилась этим.

В июне в Вольной русской типографии в Лондоне вышла прокламация «Юрьев день! Юрьев день!», написанная Герценом. Лиза нашла в листовке все, о чем непрестанно думала с той ночи, когда читала «Хижину дяди Тома».

Герцен писал, что необходимость освобождения крестьян назрела. Будучи дворянином и революционером, он верил, что именно среднее дворянство отзовется на его призыв. Он не распознал тогда на Руси новую силу — разночинцев-революционеров — и писал, обращаясь к аристократии:

«В вашей среде развилась потребность независимости, стремление к свободе и вся умственная деятельность последнего века.

Между вами находится то самоотверженное меньшинство, которым искупается Россия в глазах других народов и в собственных своих.

Из ваших рядов вышли Муравьев и Пестель, Рылеев и Бестужев.

Из ваших рядов вышли Пушкин и Лермонтов.

Наконец, и мы, оставившие родину, для того чтоб хоть вчуже раздавалась свободная русская речь, вышли из ваших рядов».

Но далее, как бы предвидя, что его надежды на дворянство не оправдаются, Герцен смело предупреждал:

«Мы еще верим в вас... вот почему мы не обращаемся прямо к несчастным братьям нашим для того, чтоб сосчитать им их силы, которых они не знают, указать им средства, о которых они не догадываются, растолковать им вашу слабость, которую они не подозревают, для того, чтоб сказать им:

«Ну, братцы, к топорам теперь. Не век нам быть в крепости, не век ходить на барщину да служить во дворе; постоимте за святую волю, довольно натешились над нами господа, довольно осквернили дочерей наших; довольно обломали палок о ребра стариков... Ну-тка, детушки, соломы, соломы к господскому дому, пусть баричи погреются в последний раз!»

Лиза была потрясена, прочитав в «Таймсе» о двойном убийстве, которое совершил французский изгнанник, рабочий Бартелеми. Этого человека она встречала у Герцена и запомнила его привлекательное, слегка отмеченное оспой смуглое лицо, с резкими чертами и упрямым, мрачным взглядом лихорадочно блестевших глаз.

Прошло всего два года, как Бартелеми убил на поединке одного из близких друзей Ледрю-Роллена — эмигранта, лихого гуляку и неуемного дуэлянта Курне. Тогда ему удалось отделаться лишь двухмесячным тюремным заключением.

В этот раз Бартелеми после шумной ссоры убил фабриканта содовой воды, с которым вел какие-то дела. Он зашел к нему домой вместе со своей возлюбленной, направляясь на вокзал, чтобы уехать в Голландию, а затем в Париж, где собирался произвести покушение на Наполеона III, как о том говорил своим друзьям. Однако вместо императора он разрядил свой пистолет в головы сначала купца, затем полицейского, который первым попытался его задержать. Обоих уложил насмерть.

Ежегодно немало людей гибнет на острове под колесами карет, омнибусов, поездов, каждый день огромные черные катафалки увозят на кладбище сотни гробов, щедро осыпанных венками из английских, голландских, бельгийских цветов. Живущие не проявляют к этой регулярной «чистке» никакого интереса. Мелким шрифтом «Таймс» перечисляет адреса и имена умерших естественной смертью, тех, чей доход был не ниже десяти тысяч фунтов стерлингов в год; под завывающими заголовками в кратких словах поминаются погибшие от катастрофы или неосторожности. Последним некрологи ничего не стоят, и их материальный уровень не всегда определяется упоминанием на одной из двадцати четырех страниц почтенной газеты промышленников и биржевиков. Читатели пробегают статистику несчастных случаев между прочим. Зато в дни судебных процессов, обещающих человеческую жертву дряхлому богу англосаксонской юстиции, Лондон подобен Древнему Риму.

На центральные улицы десятки, сотни газет вынесли свои обещающие рекламы: «Бартелеми сознался...», «Жуткая мистерия Бартелеми...», «Как Бартелеми убил...» Точки и обрубленные на полуслове фразы должны подстегнуть любопытство. Газетам в дни сенсационных процессов

обеспечен повышенный сбыт. Еще продолжается следствие, еще не совещались члены суда, но статьи, заголовки в газетах, выдумки и враки репортеров предрешают судьбу обвиняемого. Не его последнее слово, не красноречие адвоката, а вой уличных газет формирует убеждение присяжных, которые должны сохранять беспристрастие.

Напрасно отдельные судебные деятели протестуют против английского суда Линча, против улюлюкания бульварной прессы,— она не желает и не ищет лучшего материала для первой страницы.

Сквозь решетки печатных букв английский обыватель, как некогда древние сквозь ограду клеток, пытается увидеть и учуять запах хищников, которые вскоре огласят ревом арену и разорвут осужденного. Спортивный азарт побеждает добытую воспитанием сдержанность. Одни предвидят традиционно уважаемый эшафот, другие — шумное оправдание.

Только предрассудки мешают устраивать на углах, у подъездов домов тотализаторы. «Осудят или нет?» — этот вопрос порожден совсем не состраданием или жаждой справедливости, а единственно желанием угадать, предвосхитить исход.

Даже парламентские выборы превращаются в Англии в разорительную игру с обязательным тотализатором. Чье будет большинство, какая партия победит? Заключаются пари, букмекеры собирают ставки. Как в дни национальных великобританских празднеств — скачек, люди окружают редакции газет и бюро по подсчету голосов. Клерки и лавочники добросовестно подражают спортивному безумию дворянской знати и игорному азарту биржевиков Сток-Эксчейнджа.

Во время выборов в парламент каждая зажиточная семья, улица в квартале рантье, знакомые и незнакомые охвачены этой эпидемически распространяющейся болезнью — спекулятивным безумием.

— Ставлю на большинство у тори в триста мандатов.

— Ставлю... Ставлю... Ставлю...

В последние дни суда над Бартелеми напряжение читателей газет достигло предела. Переживания их не уступали по силе чувствам, охватывающим зрителей петуши-

ных боев. Прошлое, да и вся жизнь подсудимого были крайне увлекательно представлены читателям английских газет. Бартелеми был недурен собой, ему не было еще пятидесяти лет. Он некогда убил полицейского, затем на дуэли — бывшего мичмана Курне, сражался на баррикадах, бежал из тюрьмы Бель-Иль.

Двенадцать присяжных загадочно молчали на своих огороженных деревянной решеткой скамьях. Все они были мелкими купцами и дельцами. Никто не смог бы предвосхитить их решение. Гражданский долг извлек в порядке очереди этих двенадцать мужчин из их однообразной ежедневности, поручил им решение этого «вопроса».

Бартелеми не отрицал вины, но отказался объяснить причины. Судья, слушая прения сторон, меланхолически сдувал пылинки с мантии, и только общественный обвинитель, блистательный оратор, окончивший аристократический Оксфорд, без устали обрушивал на подсудимого булыжники беспощадного, всеразоблачающего обвинения. Репортеры предвкушали приближение казни и предшествующую ей прибыльную суету. Смертный приговор для них — наилучшая концовка процесса. Впереди вертятся бесчисленные интервью, сенсационные разоблачения, чувствительные бытовые картины. Священник доведет осужденного до истерики, премьер-министр откажет в помиловании, смертник напишет исповедь и в бессознательном состоянии будет гуманно повешен. «Гуманность» в данном случае означает высокое качество висельной веревки.

Бартелеми сумел заинтересовать собою всю Англию. Миллионы глаз приковало к себе каменное, скромного вида здание уголовного суда.

Лиза решила пойти в суд в день, когда должны были вынести приговор. В огромном грязноватом здании она сначала по ошибке попала в зал, где разбирались гражданские дела.

Трое судей второй инстанции были завернуты для пущего почета и страха в широкие черные тоги. Судьи, с их бабьими бритыми лицами и седыми космами криво надетых париков, показались Лизе живым олицетворением сотнями лет не проветривавшихся английских законов, годных более для эпохи ручного веретена, таранов, чернокнижья, сжигания колдунов и ведьм.

Подобострастно взирали на судей писцы, закинув вверх мышино-серые тупоносые лица. Судейские канцеля-

ристы — особая порода людей, как и наемные гвардейцы королевы Виктории или английские полицейские. Если основным, иногда единственным условием для двух последних профессий служили рост и физическая сила, то суд являлся убежищем согбенных рахитиков, потомков судейских чиновников, имеющих ряд наследственных телесных и умственных примет, профессиональных болезней.

Судейские стены — ловкая подделка под церковную готику — были совершенно непроницаемы. Уличный шум отскакивал от них, не оставляя следа, как рыцарские мечи от феодальных крепостей.

Бормотание адвокатов и судей под этими средневековыми сводами омолаживало мир на несколько столетий.

Почтенный буржуа-истец, положивший под скамью черный цилиндр, невольно превращался в глазах Лизы в богатого суконщика в коротких штанах и ярком кафтане, поссорившегося со своим подмастерьем, который тоже здесь, не в сером холстяном переднике поверх кожаного костюма, а в сереньком сюртучке и табачного цвета брюках. Их сменила синеносая пожилая девушка, доказывавшая, что тетка, оставив домик и состояние своей кошке, имела в виду ее, говоря о надежной попечительнице.

— Я обожаю кошек,— шептала мяукающим голоском обойденная племянница.

— Не думают ли достопочтенные джентльмены, что покойная отдала имущество кошке, чтобы не оставить его племяннице, которая, как достопочтенные джентльмены слыхали ранее, ей часто досаждала непослушанием? — спрашивал коллег один из трех судей второй судебной инстанции.

Девушка трагически замахала руками и с трудом согласилась уступить слово своему защитнику. Его скучное словоизлияние падало в зал каплями английского мелкого дождя.

Эпоха сжигания кошек под видом ведьм и оборотней в Англии прошла. Об этом, кроме частого завещания им имущества, говорит и кошачье кладбище, где надписи на могильных плитах, портреты и памятники на все лады пытаются выразить израсходованную на кошек нежность.

Лиза вышла из зала.

Чопорно встряхивая мелкими седыми локонами, беспрестанно прохаживались в холодных «кулуарах» — каменных залах — адвокаты, представители высшего сосло-

вия. Их низшие по чину коллеги лишены права выступать в судах, но в действительности предрешали часто исход дела. Они вели следствие, выискивали улики обвинения или защиты, умело нащупывали слабые места противника. Эти подлинные вдохновители, «закройщики» процессов, безгласны в момент решающей схватки. Вместо них скрещивают словесные шпаги адвокаты и прокурор. Разделение обязанностей между адвокатами и их помощниками — одно из бесчисленных ухищрений, обреченная на неудачу попытка предотвратить подкуп, уничтожить опасное пристрастие — введено в незапамятные времена каким-то наивным англосаксонским Солоном.

В хламе английского судебного права продолжал гнездиться закон о телесных наказаниях для несовершеннолетних. Отец, подавший в суд жалобу на непокорного сына, добился того, что семнадцатилетний юноша был бит плетьми. Непочтительный сын был высечен по всем правилам, предусмотренным понимавшим толк в подобном деле средневековьем.

Лиза прошла в огромный зал, где судили Бартелеми.

Лицо обвиняемого было совершенно спокойно, и только еще нестерпимее горели глаза на иссиня-смуглом обросшем лице.

— Вы будете повешены за шею и провисите так, покуда не умрете. Да смилуется господь над вашей душой! — заключил чтение приговора судья, жестом облегчения сорвал с себя пыльный седой парик и медленно опустился в кресло.

Придерживая рукой конвульсивно бьющееся сердце, Лиза вышла на воздух. Она задыхалась.

«Какой конец у этого странного и, видимо, душевнобольного человека! Какая трагическая, кровавая бессмыслица! — думала Лиза. — Хотел быть Брутом, а умрет, как убийца, как опасный для общества зверь, бессмысленно отнявший жизнь у двух человек».

Ей стало жутко. Она закуталась в меховой салоп, подозвала проезжающий мимо кеб и поехала домой, но и там все еще не могла найти душевный покой. В тягостном недоумении и раздумье у камина, то и дело гаснувшего, провела Лиза бессонную ночь.

У ворот тюрьмы с рассвета, как всегда в часы казней, стояли тысячи людей: женщины в меховых ротондах и рваных драповых жакетах, мужчины, приехавшие прямо

из ресторана, во фраках, и рабочие, направляющиеся на заводы. За оградой бесшумно вешали человека, и бесшумно стояла, впившись глазами в кирпич стены, толпа.

Бартелеми умирал мужественно. Он попросил локон девушки, которую любил, и сжал его в руке, когда палач подошел к нему.

В момент казни, в восемь часов тридцать минут, мужчины сняли кепи, цилиндры, шапки и шляпы. Вскоре заскрипел замок, и на пороге калитки появился полицейский. Виден был только надвинутый козырек его каски и острый подбородок. Он прикрепил на темной деревянной двери белый лист бумаги, который в нескольких весьма вежливых словах сообщал, что приговор над Бартелеми приведен в исполнение «самым человечным образом».

В восемь часов сорок пять минут улица перед тюрьмой опустела. Удовлетворенные зеваки спешили к дневным делам. Те, кто не стоял с ночи у тюремной стены, черпали в свою чашу кровь из газет, перечитывая смачные подробности, доставленные присутствовавшими при казни репортерами. Судья и прокурор лишний раз посетили свои церкви.

«Человек сотворен богом и ему принадлежит». Эта мудрость с колыбели и до гроба должна руководить британцем, кем бы он ни был: католиком, сектантом или приверженцем государственной англиканской церкви, потому что этим изречением руководствуется английский суд.

Вместе с Бартелеми был повешен еще один человек.

В Англии самоубийца считается посягателем на чужую собственность, поскольку его жизнь принадлежит не ему. Горе несчастным, спасенным из воды, куда они попали при необъяснимых обстоятельствах, вынутым из добровольной петли, подобранным с простреленной грудью или ядом в желудке. Их оживят, чтобы судить с неописуемой жестокостью и часто умертвить опять. Они считаются убийцами, убийцами самих себя, и отвечают перед законом, как совершившие непростительное преступление.

Сострадание к отчаявшимся, потерявшим желание, силы жить здесь чуждо. В лучшем случае это оценят как проявление безумия.

Страшнее, чем всплеск воды, долго вздрагивающей от прикосновения человеческого тела, пошедшего ко дну,

равнодушный смех и юмор прохожих на набережной.

— Ждал бы теплой погоды, охота умирать в этакий холод.

— Авось откачают и согреют на виселице...

— Сумасшедшим дорога в воду.

Суд думал так же.

— Да смилуется господь над вашей душой,— сказал судья, когда был вынесен смертный приговор.

В день казни Бартелеми Лиза пришла к Герцену. Она была подавлена, мрачна, немногословна. Смертная казнь, как и война, накаляет самый воздух, создает давящую, удушающую атмосферу.

— Какой плачевный и жалкий конец! — прошептала Лиза.— Повешен как убийца мелкого купца и случайно подвернувшегося полицейского.

— Да, Бартелеми был подлинно маньяком терроризма. Он мечтал убить Наполеона Третьего и целью своей жизни ставил свирепое уничтожение не деспотизма, а деспотов. Его сгубило безрассудство и узость фанатика. А жаль. Он мог бы принести большую пользу революции, храбро дрался на баррикадах и умел говорить мастерски. Его речи были свободны от трех проклятий современного французского языка: революционного жаргона, адвокатско-судебных выражений и развязности сидельцев.

Помолчав, Александр Иванович сказал, горестно скривив большие губы и отойдя к окну, за которым навис темно-серый туман:

— Когда Бартелеми был схвачен, нашелся адвокат, который согласился защищать его бесплатно, несмотря на то что это было заранее проигранное дело. После суда он посетил Бартелеми, и тот предложил ему в знак благодарности свое пальто. И что бы вы думали? Адвокат, оказывается, сам хотел просить его об этом.

— Зачем? — удивилась Лиза. — Помнится, Бартелеми был одет более чем скромно.

— Так вот, послушайте,— продолжал рассказывать Герцен. — «Я, конечно, не собираюсь его носить,— сказал осужденному сей предприимчивый защитник. — Но оно уже запродано мною, и весьма выгодно». — «Кому?» — удивился Бартелеми. «Для галереи Тюссо», — нисколько не смутясь, ответил юрист. Бартелеми со-

дрогнулся. Когда его вели на казнь, он попросил шерифа ни в коем случае не отдавать пальто адвокату.

Мысль о бесславном, постыдном конце Бартелеми еще долго преследовала Лизу. Чувство одиночества ее все обострялось, хотя она стремилась не думать об этом и заполнить до краев свои дни заботами о нуждах эмигрантов, выполнением мелких поручений Герцена и просто повседневной суетой.

В Вольной русской типографии Лиза познакомилась с польским эмигрантом Ворцелем. Худой, изможденный, с тонким аристократическим лицом, он напомнил ей братьев Гракхов, стойко переносивших все испытания. Она мысленно видела его в тоге, у портика Форума, поднимающего народ зажигательной бунтарской речью.

Граф Станислав Ворцель родился богатым и знатным. Природа щедро наградила его здоровьем, привлекательной внешностью, способностями. С детства польскому магнату было дано все, о чем может мечтать человек. Гувернеры и отборные учителя с первых лет жизни обучили его французскому, английскому и немецкому языкам. Он был энциклопедически образован и глубоко изучил математику. Красавица Саломея, из шляхетского рода Кашовских, стала его женой, и, в довершение семейного счастья, у них родились сын и дочь. Казалось, что жизнь Ворцеля протекает под счастливой звездой. И, однако, к тридцати годам с ним случилось то же, что рассказывает легенда о принце из рода Саккиев, ставшем затем Буддой. Он вдруг прозрел, увидел страдания народа, порабощение родной Польши, которая отныне стала навсегда его мистическим божеством. Ему опостылела роскошь, праздность людей его касты. Польское восстание 1830 года решило будущее молодого графа. Ворцель дрался в повстанческом войске за свободу Польши. После поражения он отступил с частями славного полководца Ромарино в Галицию. С тех пор навсегда лишился Станислав Ворцель родины и вынужден был искать пристанища в чужих странах. Жена и дети забыли его и никогда с той поры не произносили его имени.

Для Ворцеля началась кочевая, неустроенная жизнь. Он решительно принес в жертву все, чего так настойчиво обычно добиваются люди: общественное положение, богатство, любовь.

В тридцатых годах в Париже судьба послала ему друга на всю жизнь, такого же фанатика, как и он,— Мадзини.

Оба они были религиозны, непреклонно целеустремленны, способны к полному самоотречению. Порыв и вдохновение ценили они выше какой бы то ни было теории и научного обобщения. Оба верили не только в судьбу отдельного человека, но и в предопределение для всего народа, для путей революции. Себя они считали миссионерами свободы или рыцарями крестовых революционных походов. В синих глазах Ворцеля, так же как в черных Мадзини, никогда не потухал жгучий огонь фанатического энтузиазма. Сблизившись с вождем «Молодой Италии», Ворцель хотел соединить польское дело борьбы за освобождение с общеевропейским республиканским и демократическим движением. Порвав с польскими аристократами Чарторыским и Потоцким, Ворцель сблизился с Лелевелем.

В 1848 году Станислав возглавлял депутацию к Ламартину и требовал от правительства Франции действенной помощи порабощенной русским царизмом родине.

— На всякой перекличке народов в годину боя,— сказал он тогда министру иностранных дел республики,— на всякий призыв к борьбе за свободу Польша отвечает: я здесь! Она готова по первому зову идти на помощь всем угнетенным народам и видит в их освобождении освобождение Польши.

После июньского поражения изгнанный из Франции Станислав Ворцель нашел пристанище в Лондоне. Он нищенствовал, тяжело болел астмой, но, погибая физически, был непреклонен и крепок духовно. Седой, изнуренный, худой и прямой, как посох, он, всю жизнь боровшийся с царизмом за освобождение Польши, задыхаясь от счастья, говорил Герцену в день выхода первого русского революционного воззвания из-под типографского станка в Лондоне:

— Мы пойдем вместе, у нас одна цель, одни и те же враги!

И Вольная русская типография соединилась тогда с польской.

Глава четвертая

ИСПЫТАНИЯ

В дневнике, которому Лиза поверяла свои мысли и сомнения, она писала: «Мне кажется, что я сижу на приставном стуле у жизни и могу каждое мгновение очутиться без места. Если бы я была мужчиной, то знала бы, что делать. Однако, помимо стремления стать равноправной, у женщины есть и другая великая цель. Она должна, если уж не дано ей родить, воспитать ребенка, да так, чтобы в мире прибавилось действительно доброе существо; если бы все женщины поняли это, какие прекрасные люди появились бы на земле».

После долгих колебаний и размышлений Лиза решила взять на воспитание новорожденную сиротку.

Над почерневшим от угольного чада низким зданием родильного дома «Королева Шарлотта» на одной из окраин столицы грязный каменный аист держал в клюве ребенка. Лиза вошла в узкую палату. На желтых замусоленных стенах над убогими койками рожениц были прибиты дощечки с именами благотворительниц.

«Какая мерзость,— подумала Лиза,— богачи никогда не лишают себя удовольствия напомнить облагодетельствованным о их зависимости. Новорожденные в родильном доме «Королевы Шарлотты» сразу же получают жизнь как подаяние».

Женщины в палате приняли Лизу за одну из благотворительниц, чье имя преследует их неотступно, даже в бреду родильной горячки, в агонии. Они заискивающе улыбались и благодарили ее.

В плетеных гамаках, прикрепленных к изголовью материнской постели, лежали серые свертки — дети. В одной из палат пожилая леди и сопровождающий ее духовник предлагали роженицам окрестить младенцев. Сиделка внесла в палату чан с водой, и после недолгого невнятного бормотания молитвы аббат приобщил новую душу к своей церкви.

Большие, низкие, сырые, всегда холодные палаты казались угрюмыми и запущенными, как ночлежные помещения на нищенской окраине Уайтчапел. Несвежее белье, потерявшие окраску одеяла, выщербленные табуретки и потрескавшиеся кружки больше, чем больничный опрос-

ный лист, говорили о нужде тех, для кого были предназначены.

Лизе представили на выбор нескольких детей, матери которых умерли после родов.

— Я хочу взять самую слабенькую,— попросила Лиза.— Видите ли,— продолжала она,— борьба за жизнь этого крошечного создания сразу же соединит меня с ним крепкими узами привязанности. Кроме того, я окружу больного ребенка заботой, которая поможет ему выжить.

Англичанка недоуменно покачала головой.

— К какой христианской секте вы принадлежите? — спросила она Лизу, когда та решила взять хилую малютку по имени Анна.

Лиза не могла сдержать улыбку:

— Представьте, я не исповедовалась уже более пятнадцати лет.

В течение месяца Лиза боролась со смертью, кружившей над Асей, так назвала она удочеренную девочку. Когда победа была одержана, Лиза записала в дневнике:

«Если этот ребенок и не был рожден мною, я отвоевала его у смерти и как бы снова дала ему жизнь. Вряд ли я люблю его меньше, нежели родная мать. Бдения ночами у колыбельки, радость при виде косенькой, первой детской улыбки, сосущая сердце тревога, мелкие ежечасные заботы и, наконец, счастье от того, что она будет жить,— вот та невидимая, нерассекаемая пуповина, которая связала меня с моим ребенком навсегда. Всякая побежденная опасность увеличивает мое чувство к маленькому беспомощному существу, защитой которому служит только любовь».

Занятая ребенком, Лиза несколько месяцев нигде не бывала. В это время Герцен сообщил ей в кратком письме о перемене своего адреса. Он оставил дом возле тенистого нарядного Ричмонд-парка и переехал на противоположный конец Лондона.

В один из особенно светлых осенних дней Лиза отыскала Герцена на Финчли-роуд. Ей не понравился плоский неприветливый, усыпанный галькой палисадник и серое угрюмое здание без особых примет, каких в Лондоне тысячи.

Француз-слуга проводил гостью в кабинет.

Завидев Лизу, Герцен поднялся из-за громоздкого письменного стола и дружески сжал двумя большими

мягкими ладонями ее тонкую руку в тугой перчатке.

— Добро пожаловать, милая соотечественница,— сказал он приветливо. — Дети и даже наш сухарь фрейлейн Мейзенбуг соскучились по вас. Я рад, что вы увидите сегодня самого Мадзини. Мы собираемся с ним в док на корабль к бесстрашному Гарибальди, который только что приплыл из Южной Америки. Вы, верно, слыхали, что сей великий воин снова встал у штурвала бригантины.

Лиза обрадовалась:

— Вот удача. Я давно хотела увидеть вождей итальянского освобождения, и особенно Мадзини. Это, кажется, непревзойденный оратор, фанатик, патриот.

— И организатор,— оживился Герцен. — Мадзини накинул в свое время на всю Италию сеть тайных обществ, связанных между собой единой целью объединения и свободы. Такой беспримерно храброй организации еще не было нигде. Полиция оказалась бессильной проникнуть в ее ряды. Еще бы! Контрабандисты, попы, кондукторы почтовых карет, корчмари, аристократы, купцы, светские дамы и поселянки так или иначе примыкали к «Молодой Италии», помогали и повиновались ей.

— Мне говорили, что многие мадзинисты сблизились с чиновниками Наполеона и откололись от «Молодой Италии». Слава Мадзини была в зените в сорок девятом году, и сейчас она меркнет, не правда ли? — спросила Лиза.

— Да, отчасти. Неудачи после поражения в сорок девятом году состарили Мадзини, даже озлобили. Но такие люди, как он, не отступают. Чем хуже складываются их дела, тем выше поднимают они знамя. Теряя все, они изыскивают новые средства для борьбы. В этом непреклонном постоянстве и вере, подчас наперекор судьбе, в неутомимой деятельности, которую подстегивает неудача, есть что-то маниакальное, действующее магнетически на толпу. Великий человек иногда бывает на грани безумия. Я уверен, что не разум и логика, а вера, любовь, ненависть ведут к победе народа.

В это время в кабинет Герцена необычайно легкой походкой вошел высокий, стройный, пожилой человек с низко опущенными плечами, прямой шеей и суровым сильным лицом, обрамленным белоснежной бородкой. Глубокие упрямые морщины избороздили его выпуклый лоб и

щеки. Блестящие большие глаза смотрели властно и вместе грустно. В руке он держал зажженную сигару.

— Эввива Мадзини, эввива Италия! — сказал весело Герцен и устремился навстречу гостю.

— Эввива Руссия! — широко улыбнулся Мадзини. Выражение его лица сразу смягчилось и прояснилось. — Гарибальди ждет нас к завтраку,— напомнил он,— не будем медлить.

Вскоре Герцен, Лиза и Мадзини приехали в истэндские доки.

Лиза не могла побороть волнения, когда представляла себе Гарибальди, чье имя, овеянное славой, было известно всему миру. Каков этот мужественный человек, то воин и предводитель римского ополчения, то моряк? Тем более она не смогла скрыть разочарования, когда, войдя на палубу, увидала коренастого, невысокого человека, с ничем не замечательным лицом, в светлом пальто, какие носили коммивояжеры и клерки, в пестром шарфе на шее и полинявшем картузе. Гарибальди и его экипаж, состоявший из итальянцев, по-южному энергично жестикулируя, встретили гостей.

В капитанской каюте был сервирован завтрак. Ананасы, бананы, кокосовые орехи и плоды манго украшали стол и подчеркивали, что корабль совсем недавно пересек экватор. Гарибальди оказался на редкость радушным хозяином и приятным собеседником. Он красочно, живо описывал приключения, которые встретились на пути из Южной Америки в Англию, и Лизе казалось, что она сама побывала в океане во время шторма, любовалась густо-зелеными, как малахит, тяжелыми экваториальными водами, наблюдала необычные нравы обитателей островов и далеких стран Нового Света.

Постепенно она начала понимать значительность и одаренность итальянского народного вождя. «Гарибальди еще покажет себя. Он набирает силу и, как лев, притаился, чтобы броситься на добычу»,— подумала Лиза.

Подали устриц и вино. Мадзини предложил тост за гостей с севера. Когда бокалы были осушены, Герцен сказал:

— Мы, русские, и вы, итальянцы, во многом схожи между собой. Есть у нас и одинаковые пороки.

— Да, итальянцы тоже не считают работу на хозяина

наслаждением. Они не любят ее тревог, усталости и недосуга.

— Дольче фар ниенте — сладостное ничегонеделание, размышления — вот о чем мы мечтаем со времен Ромула и Рема,— пошутил Мадзини.

Все рассмеялись.

— Промышленность у нас в России отстала, как и в Италии,— снова заговорил Герцен. — В недрах вашей прекрасной земли хранятся, как и в нашей, клады, которых не коснулась еще рука человеческая. Зато нравы итальянцев и русских не заражены еще той пошлостью, которая разъела другие европейские страны.

— Наши оба народа, не щадя голов своих, дерутся с тиранами. Свобода или смерть! — громко провозгласил свой тост Гарибальди.

— Свобода или смерть,— сумрачно повторил Мадзини. — Хорошие слова... а долго ли ты собираешься странствовать по морям, Джузеппе? Твое место на суше, оно у стен Рима.

— Время не приспело. Подожди еще,— примиряюще ответил Гарибальди.

— Не могу и не хочу ждать. Не хочу быть изменником нашего дела.

— Когда же ты поймешь, друг, что поражение ослабляет не только тело, но и дух армии. Я решительно против всяких попыток восстания, если оно обречено, как сейчас, на поражение. Хороший воин знает, когда следует выстрелить.

— Чепуха. Время уже упущено. Оружие без употребления ржавеет. Италия давно готова. Мы медлим и этим укрепляем не себя, а врагов — Австрию, а не Италию. Промедление позорно и пагубно! — Мадзини встал и ногой отбросил стул. Лицо его побледнело, глаза потускнели, как у тяжелобольного. Он так сжал пальцами окурок сигары, что раскрошил его в порошок. Лиза слыхала от Герцена, что Мадзини совершенно не выносит возражений.

Гарибальди поднялся тоже. Он казался спокойным и даже пытался улыбаться, но брови его сомкнулись на переносице, образовав одну сплошную темную, широкую линию от виска к виску. В каюте воцарилась тяжелая тишина. Два недавних соратника стояли насупившись, едва сдерживаясь, чтобы не кинуться друг на друга. Лизе казалось, что она задыхается.

Желая предотвратить грозу, Герцен достал из жилетного кармана большие золотые резные часы луковицей и принялся многословно благодарить Гарибальди за гостеприимство.

Все, кроме Мадзини, вышли на палубу. Провожая в карете Лизу к ее дому, Герцен снова заговорил о двух замечательных итальянцах, с которыми только что они расстались:

— Такие личности, как Мадзини и Гарибальди, появляются только на итальянской почве, и притом во все эпохи. Это заговорщики, патриоты, искатели приключений, мученики, кондотьеры, кто хотите, но только не будничные, пошлые мещане. Они удивляют мир добром, злом, поражают силой воли и страстей. Беспокойная закваска бродит в них с ранних лет. Самоотверженность уживается в них с мстительностью. Они не дорожат своей жизнью, так же как и жизнью ближнего. В них бездна пороков и чисто античной добродетели. Они велики своей отвагой и преданностью родной Италии, и без них ей не быть ни единой, ни свободной.

Немало жестоких войн было в XIX столетии.

К середине века Англия стала самой мощной индустриальной державой мира. Страх перед экономическими кризисами толкал английскую буржуазию к поискам новых рынков сбыта. Английские и французские промышленники, финансисты, купцы с вожделением посматривали на раскинувшиеся по берегам Черного и Средиземного морей владения одряхлевшей Оттоманской империи, а также на бескрайние просторы отсталой крепостнической России. Они стремились как можно быстрее полностью подчинить себе султанскую Турцию и обратить ее в колонию, а Российскую империю вытеснить с берегов Черного моря и установить свой контроль над проливами.

Николай I также желал воспользоваться ослаблением некогда могущественного восточного соседа. Он стремился обеспечить выгодный для русских помещиков и купцов режим черноморских проливов и упрочить свое влияние среди славянского населения балканских провинций Турции. Победоносная война должна была помочь русскому царю укрепить внутри страны крепостнический строй.

Султан, находившийся под сильным воздействием западных держав и распаляемый ими, мечтал между тем захватить Крым и Кавказ. Так Оттоманская империя и Балканы стали узлом острых противоречий между империалистическими державами и в то же время ареной напряженной борьбы балканских народов против иноземных поработителей.

После поражения февральской революции 1848 года Николай I владычествовал в Средней Европе. Его сравнивали с Наполеоном I. Однако угроза николаевскому господству приближалась со стороны Англии и Франции. Под их нажимом Турция объявила войну России. Так сбылось давнишнее желание всесильного тогда Пальмерстона. Синопский бой — последнее в истории крупное сражение военных парусников, во время которого эскадра адмирала Нахимова потопила в течение четырех часов весь турецкий флот, захватив в плен командующего флотом Осман-пашу и его штаб,— явился предлогом для открытого вступления Англии и Франции в войну против России.

Правительство Англии хотело не только полностью подчинить себе Турецкую империю, но и захватить Крым, высадиться на Кавказе и отторгнуть Грузию. Император Франции решил воевать с Россией, так как он и его банкиры были связаны с Турцией могучими узами финансовых отношений. Ненависть к Николаю, столпу всемирной реакции, была также очень сильна среди народов Франции и Англии.

Маркс и Энгельс во всех деталях вникали в сложнейшие перипетии затянувшейся военной схватки. Из «Русского инвалида» и петербургской «Северной пчелы», из «Римской газеты» и «Бельгийских обозрений», из прессы Англии, Америки и Германии черпали они многообразную военную информацию, сопоставляя противоречивые подчас сообщения и сводки, изучали военные карты и следили за передвижением частей всех воюющих армий. Маркс и особенно Энгельс регулярно писали о ходе крымских операций статьи и обзоры для «Нью-Йорк дейли трибюн», которые издатель Дана часто помещал в качестве передовых своей газеты.

Сравнительно недалеко от Дин-стрит проживал Александр Иванович Герцен.

Несколько лет уже Маркс и Герцен жили в Англии. Они никогда, однако, не встречались и враждебно судили друг о друге.

Во время Крымской войны Герцен доказывал, что завоевание Николаем I Константинополя приведет к падению самодержавно-крепостнического строя в России и объединит наконец всех славян. Магометанский стяг с полумесяцем и звездой будет сорван со святой Софии, и к столице Византии снова вернется былое величие и слава. Тогда-то начнется новая эра — эра всеславянской демократической и социальной федерации.

— Время славянского мира настало... Где водрузит он знамя свое? Около какого центра соберется он? — восклицал Герцен. — Это средоточие не Вена, город рококо — немецкий, не Петербург — город новонемецкий, не Варшава — город католический, не Москва — город исключительно русский. Настоящая столица соединенных славян — Константинополь.

Маркс зло высмеял эти высокопарные панславистские фразы. Он не мог обойти молчанием ошибки Герцена, опасные для международного рабочего движения.

Частые идейные колебания Герцена, его близость и долгая связь с либералами — дворянами, наивные, хоть и дерзко отважные, письма к царю, предназначенные для того, чтобы показать ему вред российского самодержавия, настораживали и отпугивали от русского революционера лондонских коммунистов. К тому же Герцен не таил своей неприязни ко всей немецкой эмиграции, подозревал ее в шовинизме. Он не понимал, что, отвергая панславизм, Маркс не менее жестоко борется с немецким национализмом, прусской военщиной и всем, что окрещивалось пышным понятием «прусский дух».

Идейные расхождения, как трещины, постепенно создали пропасть между двумя большими людьми, которые, как никто, по духовной сущности и широте мысли могли бы понять друг друга и сблизиться. Некритическое отношение Герцена к идеологам буржуазной демократии и мелкобуржуазного социализма, его народнические воззрения обострили враждебное чувство к нему Маркса.

Всего несколько городских улиц, полоска земли отделяла их, и никогда они не преодолели этого ничтожного препятствия. Неприязнь придавала им особую взаимную зоркость и обостряла критическое чутье.

Маркс писал Энгельсу:

«Насколько я знаю, ты не читаешь «Morning Advertiser» [1]. Эта газета «объединенных трактирщиков» поместила статью одного «иностранного корреспондента» (полагаю, г-на *Головина*), содержащую апологию Бакунина. В ответ на это некий аноним Ф. М. в этой же газете объявляет Бакунина русским шпионом, рассказывает о том, как хорошо ему сейчас живется, и т. д. На это последовал ответ *Головина* и *Герцена,* которые заявляют при этом, что еще в 1848 г. одна «немецкая газета» пустила в ход эту клевету «и даже осмелилась сослаться на свидетельство Жорж Санд».

...Вчера я напечатал в «Morning Advertiser» следующее заявление:

«Господа Герцен и Головин пожелали замешать выходившую в 1848 и 1849 гг. под моей редакцией «Новую Рейнскую газету» в свою полемику с Ф. М. по поводу Бакунина и т. д. Меня нисколько не трогают инсинуации г.г. Герцена и Головина. Но и т. д. и т. д. позвольте мне установить, как фактически обстояло дело». Затем следует перечисление фактов.

Наконец, *в сегодняшнем* номере «Morning Advertiser» этот негодяй Головин, не осмеливаясь назвать себя, помещает от имени «иностранного корреспондента» следующее:

КАК СЛЕДУЕТ ПИСАТЬ ИСТОРИЮ

(От иностранного корреспондента)

Бакунин русский агент,— Бакунин не русский агент. Бакунин умер в Шлиссельбургской крепости, подвергнувшись там чрезвычайно суровому обращению,— Бакунин не умер, он еще жив. Его отдали в солдаты и сослали на Кавказ,— нет, его не отдавали в солдаты, он все еще сидит в Петропавловской крепости. Таковы те противоречивые сведения, которые поочередно появлялись в печати относительно Михаила Бакунина. В наши дни, когда все предается широкой огласке, мы приходим к истинному, лишь утверждая ложное. Но доказано ли наконец, что Бакунин не находится на жалованье у русского военного ведомства?

---

[1] «Утренний уведомитель» *(англ.)*.

Есть люди, которые не знают, что гуманность делает людей зависимыми друг от друга, что, освобождая Германию от влияния, которое имеет на нее Россия, мы оказываем также *обратное воздействие* на последнюю, *снова* толкая ее в объятия деспотизма, до тех пор пока она не станет уязвимой для революции. Таких людей напрасно было бы убеждать, что Бакунин является одним из самых чистых и великодушных представителей прогрессивного космополитизма.

«Клевещите, клевещите,— гласит *французская* пословица,— и от клеветы всегда что-нибудь останется». Клевета на Бакунина, поддержанная в 1848 г. одним из его друзей, в 1853 г. вновь распространяется неизвестным лицом. «Предает всегда свой,— говорит другая пословица,— и лучше иметь дело с умным врагом, чем с глупым другом». Не консервативные газеты взяли на себя распространение клеветы на Бакунина, эту заботу взяла на себя дружественная газета.

У людей, которые могут хотя бы на мгновение забыть,— как забыл г-н Маркс,— что Бакунин сделан не из того теста, из которого делаются полицейские шпионы, очевидно, слабо развито революционное чувство».

...Я, с своей стороны, предложил бы *по существу* заявить следующее:

«Лучше иметь дело с умным врагом, чем с глупым другом»,— воскликнул бы Бакунин, если бы ему когда-нибудь довелось читать письмо того «иностранного» Санчо Пансы, который в субботнем номере Вашей газеты упражняется в цитировании избитых пословиц.

Разве не «глупый друг» тот, кто упрекает меня в *отказе* сделать что-либо такое, благодаря чему, согласно его же собственным словам, мне «не пришлось бы сожалеть о том, что мое имя связывается с ложным обвинением».

Разве не «глупый друг» тот, кто удивляется тому, что знает каждый школьник, а именно — что истина устанавливается благодаря полемике и что исторические факты извлекаются из противоположных суждений.

Когда «Новая Рейнская газета» поместила письмо из Парижа, Бакунин был на свободе. Если он был прав, удовлетворившись публичными объяснениями «Новой Рейнской газеты» в 1848 г., разве не «глупый друг» тот,

кто позволяет себе придираться к ним в 1853 году. Если он был неправ, возобновив свои тесные дружеские отношения с редактором «Новой Рейнской газеты», то разве не «глупо» со стороны человека, претендующего на то, чтобы именоваться другом, разоблачать его слабость перед публикой».

Веря в честность шлиссельбургского узника Бакунина, Маркс и Энгельс, как и Герцен, прилагали все усилия, чтобы облегчить его участь. Никто из знавших Бакунина прежде людей не сомневался в том, что он ведет себя в заточении непреклонно, как и подобает отважному защитнику дрезденских баррикад, страстному поборнику боевых, революционных действий.

Зная о статье Маркса, посвященной Бакунину, Лиза обрадовалась, когда однажды встретила Женни на популярном концерте классической музыки в Уайт-холле. Исполнялись произведения Моцарта, Глюка и Генделя.

— Не феминистические ли искания привели вас на родину Мери Вулстонкрафт и синих чулков? — спросила Женни, вспомнив их памятный разговор в Брюсселе в Стеклянном пассаже.

— О нет, да и, по правде говоря, я охладела к феминизму.

Лиза вкратце рассказала Женни обо всем, что произошло с нею, а также о судьбе Бакунина, которого назвала своим близким другом.

— Я не теряю надежды помочь ему бежать из крепости и из России.

Увертюра к «Свадьбе Фигаро» прервала их беседу. После концерта они встретились снова у выхода и пошли вместе по широкой и светлой Оксфорд-стрит.

— Мы живем в очень скверном месте,— сказала Женни,— но зато в самом центре Лондона. Мне очень нравятся продолжительные прогулки по оживленным улицам Вест-Энда. Я забываю тогда житейские невзгоды так же, как сейчас, когда слушала музыку. Это мой лучший отдых. А вы где бываете, с кем встречаетесь?

Лиза восторженно отозвалась о Герцене.

— Это замечательный человек. Я так рада знакомству с ним. Он ведь тоже очень обеспокоен судьбой Бакунина,— добавила она.

— Мой муж и я читали многое из того, что Герцен напечатал в эти годы,— сказала Женни.

— Посмотрите, пожалуйста, также и его книгу «Тюрьма и ссылка». О Герцене говорят, что он сочетает в себе немецкую философию с французской политической теорией, английский здравый смысл с русским своеобразием. Мне кажется, он очень близок по духу вашему мужу. Ведь все его помыслы тоже о счастье человечества.

— Пути к счастью людей столь различны,— любезно, но холодно ответила Женни.

Она заметно не пожелала продолжать разговор о Герцене. Лиза ощутила это и спросила о Вильгельме Вольфе, которого потеряла из виду после своего отъезда из Брюсселя.

— О, Люпус,— просияла Женни, но тут же погрустнела. — Он живет в Манчестере, вдали от нас, и часто хворает. Ему тоже нелегко приходится в изгнании. Но он бодрится, хотя и стал значительно более угрюмым и иногда брюзжит. Ему ведь уже немало лет, да и тяжело под старость без семьи. Дорогой наш друг похож теперь уже не на волка, а больше на благородного старого зубра. Вы знаете, что эти редчайшие царственные животные, старея, ищут полного одиночества и блуждают по лесам одни, как бы предаваясь глубокому раздумью. Они не желают больше никого обременять. У Вольфа все та же чистая и глубокая душа, какая бывает только у детей и мудрецов. Мы его очень, очень любим.

До самой площади Пиккадилли беседовали Женни и Лиза и расстались у поворота в квартал Сохо. На прощание Лиза пригласила Женни к себе и обещала побывать на Дин-стрит, 28, но долгое время обе женщины не могли встретиться.

В самом начале напряженного 1855 года у Женни Маркс родилась дочь — Элеонора. Младенец был настолько хил, что в первые месяцы смерть неотступно стояла подле его колыбельки. Однако маленькая Тусси, как прозвали Элеонору, окрепла и превратилась в упитанного, цветущего, жизнерадостного ребенка.

Остров, куда Маркс прибыл в изгнание, стал ему со временем второй родиной. С роспуском Союза коммунистов не порывались нити, связывавшие Маркса с Германией.

Революционер, каким прежде всего и всегда он был, не мог отдаться только научной деятельности, стать вынужденным отшельником. Без революционной борьбы для него не было жизни.

Душевные силы и удовлетворение он черпал также, работая без устали над книгой по политической экономии, начатой много лет назад. Средства к существованию, весьма незначительные и, главное, не постоянные, приносило сотрудничество в заокеанской газете «Нью-Йорк дейли трибюн».

Основной заботой этих трудных лет для Маркса было сохранить революционный огонь, вспыхнувший столь ярко в сороковые годы. Маркс руководил из Лондона ушедшими в подполье коммунистическими общинами в родной Германии и поддерживал каждого бойца, как и он поневоле нашедшего приют в чужих землях. Расстояние не служило ему препятствием. Из-за океана, так же как с родины, он получал непосредственно или через соратников сообщения обо всем, что делалось для грядущей революции. Знакомый Маркса, Энгельса, Вольфа, испытанный боец 1849 года, рабочий, опиловщик по металлу Карл Вильгельм Клейн в большом письме сообщал лондонским руководителям коммунистического движения о подпольных организациях в Золингене, Эльберфельде-Бармене и Дюссельдорфе. Он еще в пятидесятом году доставил туда и успешно распространил среди наиболее надежных рабочих обращение коммунистического центра, руководимого Марксом. Связиста выследила полиция. Но все обыски, произведенные на местах явок, где он бывал, не дали никаких результатов, и Клейн остался невредим. Его преследовали по пятам, и он вынужден был на время с фальшивым паспортом скрыться в Бельгии. На родине против него выдвинули грозное обвинение в государственной измене. Когда пребывание в Бельгии стало грозить ему разоблачением и выдачей рейнландским властям, он бежал в Америку. Но огонь в глубоком германском подполье не угасал. Коммунистические рабочие тайные организации продолжали существовать, и связь их с Марксом, несмотря на огромные трудности пересылки документов и информации, не только не рвалась, но становилась все более прочной. Смелый связист Клейн заканчивал свое письмо, пересланное в Лондон Марксу Фрейлигратом, так:

«До меня дошли разговоры, что в Лондоне считают, будто в Кёльне все наши перетрусили, что им так и не удалось до сих пор установить какие-либо связи в Германии. Это ложь. Общины Золингена, Эльберфельда и Дюссельдорфа посылали несколько раз своих представителей в Кёльн... Эти общины уполномочили меня установить прямую связь с нашим центром в Лондоне, что я и делаю этим письмом. Вышеуказанные общины могут послать своего делегата в Лондон. Я прилагаю кусок карты с следующей целью: делегат, который прибудет в Лондон, должен в качестве документа предъявить другую часть карты, а если при случае кто-либо из Лондона отправится в Эльберфельд, то он представит свою часть карты. Мы имеем в виду, как и прежде, распространять наши связи в Германии.

Я прошу наших друзей при первой возможности направить в Эльберфельд по нижеследующему адресу несколько строк и поставить меня об этом в известность, так как считаю необходимым также поддерживать с ними связь.

Карл Вильгельм Клейн из Золингена».

Ко всем трудностям и заботам, непрерывно обрушивавшимся на семью Маркса, присоединился спор с прусским министром внутренних дел Фердинандом фон Вестфаленом, сводным братом Женни, который не пожелал выделить своей сестре ничего значительного из присвоенного им наследства престарелого дяди, скончавшегося в Брауншвейге. Оно состояло из ценных книг и рукописей времен Семилетней войны, в которой деятельно участвовал дед Женни, тогдашний военный министр герцогства Брауншвейгского. В патриотическом рвении Фердинанд фон Вестфален присвоил их себе, чтобы подарить прусскому королевскому правительству. Из уважения к матери Женни не решалась на открытую тяжбу и скандал. Она удовольствовалась несколькими талерами, которые получила от брата в уплату за ценнейший архив. А деньги были нужны ей больше, чем когда бы то ни было.

Медленно угасал Муш. В марте болезнь его приняла угрожающий характер. Карл не ложился и ночи напролет проводил у постели удивительно кроткого и веселого ребенка. Карл написал в Манчестер Фридриху:

«...в течении болезни наблюдались то резкие улучшения, то резкие ухудшения, и мое собственное мнение менялось тоже чуть не ежечасно. Но в конце концов болезнь приняла наследственный в нашей семье характер изнурения желудка и кишечника, и, по-видимому, даже врач потерял всякую надежду. Моя жена вот уже с неделю сильнее, чем когда-либо раньше, больна от душевного потрясения. У меня самого сердце обливается кровью и голова как в огне, хотя, конечно, я должен крепиться. Ребенку в течение всей болезни ни на минуту не изменяет его оригинальный, приветливый и в то же время независимый характер.

Не знаю, как благодарить тебя за дружескую помощь, которую ты мне оказываешь, работая вместо меня, и за твое участие к ребенку.

Если произойдет какое-либо улучшение, напишу тебе тотчас же.

Весь твой *К. М.*».

Горе неотступно сторожило Карла и его семью. После изнурительной болезни, явившейся следствием плохого питания, пребывания в проклятой бессолнечной дыре на Дин-стрит, где даже воздух был ядовит, восьмилетний Эдгар-Муш скончался. Необыкновенно одаренный, красивый, чуткий мальчик умер на руках своего отца.

Муш олицетворял счастье всей семьи. Не по летам развитой, очень веселый, общительный маленький «полковник», как прозвали его за пристрастие к военным забавам, Эдгар делил с родителями все их тяготы и заботы и радовался, как взрослый, удачам, если такие бывали. Казалось, что с его смертью горе и отчаяние навсегда прочно утвердились в осиротевшем доме.

В той же полутемной комнате, на том же узком столе, где покоились так недавно тела маленьких Генриха и Франциски, лежал бездыханный Эдгар. Снова в Лондон пришла весна, но Дин-стрит казалась мрачной и темной, как склеп. Восковое личико Муша покоилось среди желтых нарциссов и светлых тюльпанов.

Подкошенная отчаянием Женни тяжело заболела. Собрав последние силы, Ленхен, полуслепая от слез, старалась оградить от болезней трех девочек, предоставленных полностью ее попечению. Малютке Тусси было всего три месяца от роду.

Маркс, крепко сжав обеими руками голову, сидел подле гроба сына.

«Никогда не найду я полного успокоения и не примирюсь до конца с утратой моего ребенка. Никогда! С каждым днем и годом его будет мне недоставать все больше»,— проносилось в измученном мозгу. Карл страдал все сильнее. Еще несколько глубоких морщин-шрамов пролегло на могучем лбу, и в глазах появилось выражение скорби, сосредоточенности и отчуждения. Он заметно поседел.

Одна человеческая душа может выстрадать столько же, сколько все человечество, и устоять.

«Дом, разумеется, совершенно опустел,— писал Маркс Энгельсу,— и осиротел со смертью дорогого мальчика, который оживлял его, был его душой. Невозможно выразить, как нам не хватает этого ребенка. Я перенес уже много несчастий, но только теперь я знаю, что́ такое настоящее горе. Чувствую себя совершенно разбитым. К счастью, со дня похорон у меня такая безумная головная боль, что я не мог ни думать, ни слушать, ни видеть.

При всех ужасных муках, пережитых за эти дни, меня всегда поддерживала мысль о тебе и твоей дружбе и надежда, что нам вдвоем предстоит сделать еще на свете кое-что разумное».

Поздней осенью, после смерти сына, Карл гостил в Манчестере у Энгельса, где он всегда мог отдохнуть в благоприятных условиях налаженного зажиточного быта в доме своего друга. Как всегда, утром он посещал Чатамскую библиотеку и любовался ее старинной необычайной архитектурой, рассматривал книгохранилища, размещенные в бывших кельях и в строгой часовне святой Мери. Стеллажи, имевшие в XVII веке, по рассказам, всего три полки, поднялись до самого потолка.

Два столетия оставалось неизменным убранство читальни, просторной комнаты под низкими сводами, с панелями из превосходного темного дуба. Карл просматривал газеты на большом столе с овальным верхом из цельной доски — торца могучего дерева, вокруг которого стояли тяжелые, мрачные стулья — современники Кромвеля. Выбрав книги, он проходил в четырехугольный

выступ в виде фонаря со стрельчатыми окнами и четырехскатным столом-конторкой. В этом, освещенном наподобие средневековых храмов разноцветными оконными стеклами, помещении он работал всегда, когда посещал библиотеку.

Главный библиотекарь Томас Джонс, высокий сухощавый старик с покрасневшими утомленными глазами и неслышной легкой походкой, охотно помогал Карлу в подборе нужных ему книг. Джонс особенно гордился своими знаниями каталогов библиотеки и литературы по истории Реформации.

В одном из окраинных рабочих трактиров «Пегая лошадь» Карл познакомился с мастером-сталелитейщиком Вильямом Беккетом, бывшим лондонским докером. Это был толстый, хорошо одетый человек, раскрашенный природой тремя сладкими красками: розовой, голубой и кремовой. Когда Маркс увидел его в первый раз, Беккет, собрав в комок расползающийся носик, рассказывал умиленным голосом рабочим, медленно распивающим черное пиво, о счастливом исходе родов королевы Виктории. Когда эта тема была им исчерпана, мастер принялся медоточиво расписывать все преимущества тред-юнионов и высмеивать чартистов.

— Сговор с предпринимателями, которые ведь такие же, как мы, рабочие люди, а многие из них не так давно были бедняками,— вот это правильное дело. Право же, довольно раздоров между разными классами. Я уверен, что рабочие союзы будут способствовать развитию промышленности, а не ставить палки в колеса, как это делали чартисты. Они устарели. — Беккет достал из широкого кармана томик Священного писания в черном кожаном переплете — источник его плоских, не лишенных, однако, хитрости, мыслей. — Библия учит нас, как жить в мире и благоденствии,— изрек он торжественно.

Маркс заинтересовался этой только что народившейся разновидностью преуспевающего рабочего и даже решил посетить его дом. Спустя несколько дней, в воскресенье, вместе с Энгельсом он побывал у зажиточного механика.

На смену груженым тяжелым ящикам, среди которых прошла в доках молодость Вильяма Беккета, к нему пришло к сорока годам поистине «деревянное» благополучие.

Подкупленный капиталистами, мастер, деятельный профсоюзный руководитель, поселился с семьей в собственном двухэтажном коттедже с тяжелыми резными дубовыми панелями на стенах комнат.

Угощая гостей чаем, Беккет сообщил, что надеется скоро быть избранным в парламент, и тогда значительно увеличится его достаток.

Маркс и Энгельс знали, что английские капиталисты, получая огромные сверхприбыли, хорошо оплачивали труд верхушки рабочего класса. Беккет оказался в числе немногих избранных.

— Надо иметь голову на плечах,— говорил он смиренно, покуда его дородная жена, дочь фермера, разливала чай. — Надо понимать современные национальные задачи. Чартизм отсох, как старая ветка на подгнившем дереве. Тред-юнионы — вот путь рабочих в землю обетованную. Заверяю вас в этом, джентльмены, а я не дурак. Мы с миссис Беккет надеемся еще побывать в Бакингемском дворце. — Он шлепнул жену по широкой спине. — Что скажешь, леди Беккет? Почему бы и нет? Мы назвали нашу дочь в честь ее величества Викторией. Может быть, нашей девочке суждено быть дочерью пэра. А? Времена ведь меняются. Надо иметь голову на плечах. Мой отец был убит в Бирмингеме во времена борьбы за хартию, дед, луддит, погиб, сражаясь с машинами. А я, вот видите, живу неплохо и делаю, поверьте, много добра для общества. Главное,— и я уверен в этом,— надо уметь жить в мире с промышленниками. Почему бы и нет? Они нужные для нации люди, умнее и опытнее нас и к тому же христиане.

Множество мыслей вызвала у Маркса и Энгельса встреча с преуспевающим и обласканным буржуазией мастером Беккетом.

Итак, буржуазнейшая страна, какой была Англия, страна колониальной и промышленной монополии, повидимому, стремится наряду с буржуазией, буржуазной аристократией создать также и прослойку буржуазного пролетариата. Это было очень важным открытием для обоих друзей.

По воскресным дням Карл ездил в Манчестере верхом, но хорошим наездником он не был, хотя и убеждал друзей, что в студенческие годы брал уроки верховой езды и овладел этим искусством.

Фридрих, беспокоясь за друга, предоставил ему смирную лошадь, которую назвал Россинантом.

Но лучшим временем были вечера, когда, придя из конторы домой, Фридрих делился с Карлом новостями, заботами и творческими планами. После позднего обеда, обильно запиваемого рейнским вином, после выкуренной толстой гаванской сигары они часто обсуждали политические события на разных материках. Индия и Америка, Малайские острова и славянские земли были так же знакомы им, как промозглый остров, ставший их вынужденной родиной.

В Манчестере в это время находился вернувшийся недавно из долгого путешествия по Америке, Вест-Индии и Европе неугомонный странник Георг Веерт. Он снова рвался обратно за океан. После поражения революции он часто боролся с приступами меланхолии и нуждался в новых впечатлениях.

— Вы закисаете здесь, друзья мои, этот климат годен только для рыб и жаб. Жить здесь — безумие и слабость. Немногие годы, отпускаемые нам жизнью, терять в таком проклятом богами месте! Да и люди здесь, скажу я вам, такая же слякоть, как и все остальное. А знаете ли вы, что именно сейчас в лесах близ древней столицы Колумбии Санта-Фе-де-Богота тигры поют арии из «Волчьего ущелья». Я вижу, как они повернули морды к луне, которая шагает по верхушкам кедров и вековечных пальм. Лима — город-мечта. Какие там женщины! Они так малы, что их можно спрятать среди лепестков огромных тамошних роз. Мне нравятся перуанцы. Этот народ не даст вам скучать и доставит множество развлечений. В первый день я пережил в Лиме землетрясение, на второй — пожар, а на третий — революцию.

— За исключением землетрясения, все это можно было видеть и в Париже,— вставил Энгельс.

Веерт продолжал рассказывать о своих многочисленных приключениях в тропических странах. У него был особый подражательный и мимический дар, и лицо его непрерывно меняло выражение.

Задорный хохот Георга был так же приятен и чистосердечен, как и у Карла и Фридриха, которые до слезинок в глазах смеялись, слушая его рассказы.

— Представьте себе перуанский остров Чинча. Главное его богатство — птичий помет, скопившийся за много

тысячелетий. Он составляет главную статью дохода всего государства. Вот вам достойный предмет для размышления философам. Дерьмо превращается в золото, и потомки гордых инков спасаются от нищеты благодаря гуано. Ах, друзья мои, когда с вершины Кордильеров, залитой солнцем, смотришь на воды, низвергающиеся с глетчеров, чтобы на западе влиться в Тихий океан, а на востоке — в Атлантический, поражаешься необъятной мощи великой фабрики природы. Я мог бы до утра говорить о Калифорнии. Хотите, я повезу вас мимо Антильских островов. Мы отдохнем и освежимся кокосовым молоком на Кубе и через Мексиканский залив доберемся затем в Веракрус. Через заросли кактусов мы спустимся в серебряные рудники Чаркаса и Сан-Луис-Потоси. Там буйствуют пьяные мексиканские барышники, игроки и воры. Я предлагаю также посмотреть на бой быков.

Веерт вскочил со стула, сорвал красную плюшевую салфетку с курительного столика, изогнулся и, размахивая ею, принялся изображать сцены корриды.

— Вива эль тореадор! — аплодировали Маркс и Энгельс. Оба они приняли участие в импровизированной живой картине, изображая то зрителей, то пикадоров и матадоров.

Вдоволь посмеявшись, все трое снова уселись за стол и принялись допивать остывший черный кофе. Но Веерт уже снова изображал в лицах, как индеец снимает скальпы и привязывает их к поясу. До полуночи не прерывалась оживленная беседа троих друзей.

Вскоре Энгельс остался один в Манчестере. Георг уехал в Вест-Индию, а Карл вернулся в Лондон.

Настала зима. Черные и желтые туманы по-прежнему окутывали Лондон своей ядовитой пеленой. Карл хворал. Помимо болезни печени, его мучили нарывы. Один из них появился над верхней губой и вызывал острую физическую боль. Лицо распухло.

— Я похож на бедного Лазаря и на кривого черта в одно и то же время,— пошутил Карл, увидев себя в зеркале.

— Неправда, ты очень хорош, ты просто больной алжирский Мавр,— сердились на него старшие дочери.

Врачи считали болезнь Карла очень серьезной. Карбункул на лице, сопровождавшийся лихорадкой, был опасен.

— Мой дорогой повелитель,— со свойственным ей юмором сказала Женни,— отныне вы находитесь под домашним арестом впредь по полного выздоровления. — И она спрятала пальто и шляпу Карла, чтобы он не мог совершить в ее отсутствие побег в библиотеку Британского музея.

Карл сдался:

— Я подчиняюсь, но только в том случае, если за мной останется право работать дома.

Однако множество повседневных мелочей и забот, как всегда на Дин-стрит, мешали ему сосредоточиться. Он тосковал и рвался в тихую, покойную общественную читальню в Монтег-хаус, где привык проводить время за работой с утра до позднего вечера.

Домашний рабочий стол Карла был завален книгами и рукописями. Карл много читал о России, так как Энгельс просил присылать ему материалы об этой стране для статей о панславизме.

Крымская война еще больше усилила интерес Карла к северной могущественной державе и ее прошлому. По своему обыкновению, не довольствуясь поверхностным ознакомлением, он принялся глубже пробивать толщу избранного им для изучения предмета. Таков был Карл всегда и во всем. Труд был его стихией, радостью, отдохновением, и чем больше требовалось усилий, тем удовлетвореннее он себя чувствовал.

После многих французских и немецких книг о славянских странах и особо о России Маркс, углубляясь в малоисследованную чащу истории, добрался до истоков русской культуры. Его поразило «Слово о полку Игореве», приведенное в книге Эйххофа на русском и на французском языках.

Безошибочный глаз и ухо поэта, каким всегда оставался Карл, мгновенно уловили великолепие стиха древнего сказителя:

«На Дунаи Ярославнынъ гласъ слышитъ, зегзицею незнаемь рано кычеть: «Полечю, рече, зегзицею по Дунаеви, омочю бебрянъ рукавъ въ Каялѣ рѣцѣ, утру князю кровавыя его раны на жестоцѣмъ его тѣлѣ».

«Вся песнь носит героически-христианский характер, хотя языческие элементы выступают еще весьма заметно»,— думал он, снова и снова перечитывая плач Яро-

славны и призыв князей к единению перед нашествием монголов.

Карл наслаждался поэзией, воскресившей Древнюю Русь, ее героику, удаль, скорбь и победы. Он вслух читал Женни наиболее пленившие его строфы и тотчас же сообщил Энгельсу об открытом им сокровище. Одновременно он жадно читал книгу Гётце «Князь Владимир и его дружина», а также «Голоса русского народа».

Здоровье Карла несколько улучшилось, но он все еще не выходил из дома. В безнадежно сырой и темный, будто над Лондоном спустился вечный мрак, день раздалось несколько громких ударов во входную дверь дома 28 на Дин-стрит. Лаура, на ходу заплетая золотистую косу, быстро сбежала по лестнице вниз, чтобы открыть дверь. Подумав, что, верно, булочник или бакалейщик принесли свои товары, Карл продолжал работать, не обращая ни на что внимания. Однако Лаура вернулась не с кульками и пакетами. В убогую квартирку она ввела двоих пожилых людей. В одном Карл тотчас же узнал Эдгара Бауэра. Другой, в длинном, по щиколотки, вышедшем из моды в Англии рединготе и лоснящемся цилиндре, сначала показался ему незнакомым. Маркс с недоумением смотрел на неторопливо разматывавшего связанный из пунцовой шерсти шейный платок гостя, который принялся прилаживать раскрытый мокрый черный зонт над вешалкой и при этом говорил брюзгливым тоном:

— Проклятый остров. За всю свою жизнь я не видывал такой погоды. Только в Дантовом аду ею могли истязать грешников.

— Ба! Ты ли это, старый ворчун Бруно? — воскликнул радостно Карл и торжественно представил гостей своей семье.

— Вот — сам глава Святого семейства, друг моей юности столько же, сколько и лютый враг моих воззрений на философию и пути человечества. Прошу, однако, любить и жаловать его. Позволь, Бруно, представить тебе мою семью. Это моя дочь Женни, она же Ди, она же Кви-Кви — император Китая.

— Женнихен — вылитый твой портрет, Карл,— сказал Бруно, любуясь черноглазой румяной девочкой, затем он перевел взгляд на ее сестренку, встретившую его на пороге входной двери.

Карл, подталкивая Лауру, порозовевшую от смущения, представил и ее.

— А это наш милый Готтентот и пестрый Какаду, любительница всего экзотического, путешественник по Африке в мечтах.

— Красавица в полном смысле слова,— сказал старый профессор.

— Фея из гофманской сказки,— галантно добавил его брат, Эдгар Бауэр.

— Ты, однако, разбогател, Карльхен. У тебя две прелестные дочки и царственно прекрасная жена.

— У меня не две, а три дочурки. Тусси еще совсем мала и сейчас спит. А ты, Бруно, женат ли, обзавелся ли семьей?

— Нет, увы, я старый холостяк. Наука — вот моя верная возлюбленная и подруга. А помнишь, как мы прозвали тебя в счастливые годы наших теоретических битв? «Магазин идей»! Да, Карл, справедливость требует признать, многое мы почерпнули у тебя.

— Мавр и для нас магазин сказок. Вы не можете себе представить, сколько он их знает, и не только одних сказок,— вторглась в беседу бойкая Лаура.

— Да, ты был неиссякаем и, видимо, немало пополнил запасы в своем складе. — Бруно показал на голову и, помолчав, достал большой портсигар. — Как много лет, однако, мы не виделись. Кури, великолепный немецкий табак. Он напомнит тебе нашу родину.

— Никогда не курил я таких сигар, как те, которыми угощала меня тетушка Бауэр,— сказал Карл. — Дни в вашем обвитом жимолостью домике так же живы в моей памяти, как воспоминания о Трире, где прошла моя юность.

— Помнишь, как весело справляли мы день твоего рождения у нас, в Шарлоттенбурге? — спросил Эдгар Бауэр, раздув ноздри и выпуская табачный дым.

— Увы, праздник был омрачен смертью профессора Ганса. А где теперь краснобай Рутенберг, книжный червь Кёппен и крутоголовый Шмидт — Штирнер? — спросил Карл, с наслаждением затягиваясь сигарой.

— Кёппен пишет очередную книгу о буддизме. Он невозмутим, аскетичен, презирает все неиндийское, а Рутенберг тучен, самоуверен и все та же нафаршированная цитатами колбаса. К тому же сей почтенный буржуа из-

дает газету, в которой удивляет трактирщиков и отставных канцелярских писарей своей копеечной ученостью. А наш философ Шмидт, обладатель лба, похожего на купол святого Петра в Риме, при смерти. Жаль, он подавал блестящие надежды. Никто не умел так любить, так возносить свое «я», как он.

— Это «я» заслонило Штирнеру весь горизонт. Бедняга провел жизнь в бесцельном созерцании и обожании своего «я», точно йог в разглядывании собственного пупа,— досадливо морщась, произнес Маркс. — И вот на краю могилы это «я» может подвести унылый итог прошедшей попусту жизни.

Сквозь столб сигарного дыма, поднимавшегося к потолку, Карл внимательно разглядывал Бруно Бауэра. Ему было около пятидесяти лет, но он выглядел значительно старше. Резко очерченное лицо — три острые линии, образующие лоб, нос и подбородок, сухая пористая кожа, серые сморщенные веки и выцветшие глаза не отражали больше никакого внутреннего горения. Он казался навсегда потухшей пыльной сопкой. Особенно неприятен был огромный плоский лоб. Волосы на голове Бруно вылезли и оголили череп до самой макушки. В его лице не осталось больше сходства с фанатиком Лойолой, как это было в молодости.

— Да, после Берлина, этого величественного и светлого города, Лондон — мерзкая тюрьма,— говорил между тем Бруно, шепелявя и едва раскрывая губы. Ему мешали говорить вставные зубы зеленовато-желтого цвета. — Правда, в Германии мы наблюдаем гибель городов и пышный расцвет деревень, но все же там истинная цивилизация. А здесь я живу в каком-то логовище. Люди на этом острове под стать всему окружающему уродству. Жалкие создания эти хваленые британцы. Это гомункулусы — автоматы. Язык английский, да ведь это пародия на человеческую речь. Если бы не заимствованные галлицизмы, англичане не имели бы вообще человеческого языка и пользовались бы для общения друг с другом нечленораздельными звуками и междометиями. По сравнению с нами, германцами, бритты — дикари.

Маркс широко, лукаво улыбнулся.

— Дорогой профессор, — сказал он, весело блестя глазами, — в утешение вам должен сказать, что голландцы и датчане говорят то же самое о немецком языке и

утверждают, что только исландцы являются единственными истинными германцами. Их язык будто бы не засорен иностранщиной.

Но Бруно возмущенно замахал руками.

— Ерунда, Карльхен. Поверь, я вовсе не узкий педант и вполне беспристрастен. Изучив множество языков за последние годы, могу смело отдать пальму первенства польскому. Великолепный по богатству и звучанию язык. Послушай, например, как красиво: «Нех жие пенькна польска мова».

Ленхен и Женни внесли подносы с чашками кофе и бутербродами с ветчиной и сыром. Карл познакомил Бауэров с Еленой Демут, назвав ее «нашей Ним».

— Сказочный дом, — заметил добродушно Бруно, — все имеют необыкновенные мелодичные прозвища, обойдена, кажется, только госпожа Маркс.

— Нашу мамочку зовут Мэмэ, — пояснила все та же шустроглазая Лаура.

— Счастливец, Карл, ты окружен любящими тебя созданиями. Я же одинок, со мной только мысль, — с нескрываемой завистью признался Бруно.

— Мысль — раба жизни! — вдруг торжественно изрекла Лаура.

— А жизнь — шут времени! — продолжила Женнихен.

— Чудесно! — вскричал Бауэр. — Эти юные прелестные фрейлейн цитируют «Макбета» не хуже старого Шлегеля.

— Они унаследовали от отца и матери любовь к Шекспиру и знают превосходно его драмы, — произнесла с чуть заметной гордостью Женни Маркс.

После скромной трапезы, когда, по английскому обычаю, мужчины остались одни, Бруно Бауэр стал особенно разговорчив. Он объяснил, что в экономике предпочитает учение физиократов и верит в особо благодатные свойства земельной собственности. В военном искусстве его идеалом стал Бюлов.

— Это гений, истинный, божественный Марс в военной науке.

Карл не мог поверить своим ушам.

«Как застоялась его мысль, как он отстал от времени, запутался», — думал он, и чувство жалости смягчило раздражение. Бруно Бауэр походил на руины некогда интересного сооружения. Он изжил то немногое, что было в

нем оригинального, и, хотя казался по-прежнему самоуверенным, на лице его помимо воли появлялась иногда жалкая улыбка.

Карлу казалось, что этого педантичного, ссохшегося умом и сердцем человека продержали в глухом сейфе долгие годы. Он как бы и не заметил грозной революции и всех последующих событий и не сделал поэтому никаких выводов. Да мог ли он их сделать вообще?

— Рабочие — это чернь, которую отлично можно держать в повиновении с помощью хитрости и прямого насилия,— развалившись в кресле, говорил Бауэр. — Изредка следует, впрочем, кидать им кость со стола в виде грошовых прибавок к заработной плате, и они будут лизать хозяйскую руку. Меня все ваши иллюзии, называемые классовой борьбой, вовсе не интересуют. Я ведь чистый теоретик, мыслитель, а массой, этим полузверьем, пусть управляют те, у кого сильны не мозги, а мускулы. Я же достиг своей цели и нанес смертельный удар по научному богословию. В Германии оно перестало существовать. Вот колоссальная победа, да, ради нее стоило родиться... Моя сфера — чистая наука, проблемы вечные, а не суета сегодняшнего дня.

Карл не стал спорить. Это было бесполезно. Различие в мышлении обоих было таким значительным, что никакое слово Маркса не могло коснуться сознания Бруно Бауэра.

«Стоит ли переубеждать этот застывший камень, который некогда, прежде чем затвердеть, был живым существом. Но я рад нашей встрече. Нет ничего на свете, что не заслуживало бы внимания и размышления, раз оно существует. И этот старик тоже по-своему занимателен». — Таковы были думы Карла, когда позднее он остался один за своим рабочим столом.

В те же дни радостные вести с родины привез Марксу уполномоченный от дюссельдорфских рабочих Леви. Он передал Карлу сведения о состоянии рабочего движения в Рейнской провинции.

«Однако во главе угла,— сообщал Маркс Энгельсу о своих беседах с Леви,— стоит теперь пропаганда среди *фабричных рабочих в Золингене, Изерлоне и окрестностях, в Эльберфельде* и герцогстве Вестфальском. В железоделательных округах ребята эти хотят начать

восстание, и удерживает их только надежда на революцию во Франции, а также то, что «лондонцы считают это пока несвоевременным»... Люди эти, видимо, твердо уверены, что *мы и наши друзья немедленно же поспешим к ним*. Они, естественно, испытывают потребность в политических и военных руководителях. Это, конечно, ни в коем случае нельзя ставить в укор этим людям. Но я боюсь, что, при их весьма упрощенных планах, их четырежды успеют уничтожить, прежде даже чем мы сможем покинуть Англию. Как бы то ни было, нужно точно разъяснить им с военной точки зрения, чтó можно и чего нельзя делать. Я заявил, разумеется, что *в случае, если обстоятельства позволят*, мы явимся к рейнским рабочим... что я серьезно посоветуюсь со своими друзьями по вопросу о том, какие шаги могут быть непосредственно предприняты рабочим населением в Рейнской провинции; и что через некоторое время им следует снова прислать кого-нибудь в Лондон, но *ничего* не делать без предварительной договоренности».

Личные горести в семье Маркса продолжались. Тяжело больная баронесса призвала летом 1856 года в Трир свою дочь. Женни поехала с девочками на родину и застала мать при смерти. После одиннадцатидневных страданий Каролины фон Вестфален не стало.

Когда умер Муш, Женни казалось, что ей нечем больше страдать. Душа ее изныла и как бы потеряла чувствительность. Однако смерть матери причинила ей снова мучительную боль. Женни удивлялась тому, как много может вытерпеть человек. В молодости болезни и горести проходят, как бы коснувшись только кожи и не оставив глубокого следа, в зрелые годы они потрясают, но не ломают волю, не ослабляют навсегда, в старости же несчастья разрушают и сокращают самую жизнь.

«Как глубоко прав Карл, когда говорит о потерях, которые нельзя забыть никогда,— думала Женни. — Какой-то мудрец утверждал, что подлинно выдающиеся люди легко переносят утраты. Их будто бы спасают и отвлекают от личных бед тесная связь с природой и человечеством, а также бесчисленные объекты познания. Мудрец был неправ. Никто не может забыть любимого ребенка или нежную мать».

Забыть! Страшное слово, в котором таится покой, измена и грусть. Нельзя жить, не забывая, не примирившись с потерей, но невозможно также утешиться навсегда. Маленькие Фоксик, Франциска, Муш и родители никогда не уйдут окончательно из сердца и памяти Женни. И, вспоминая о них всех или о каждом порознь, она с трудом будет скрывать горечь и боль.

Стоя в слезах над могилой матери, Женни Маркс вспоминала свое детство и юность. Нет больше в живых ни Людвига и Каролины фон Вестфален, ни советника юстиции Генриха Маркса. Умер директор гимназии, где учился Карл, старик Виттенбах, гордившийся исторической славой родного Трира и своим знакомством с великим Гете. Исчезла с улицы вывеска книготорговца Монтиньи, в лавке которого столько часов провел некогда юный Маркс.

Возвращаясь с кладбища, Женни долго смотрела на зеленеющие виноградники, спускающиеся к городу с окрестных холмов, на светлые, медленно текущие воды Мозеля, на пожелтевшие от знойного солнца луга.

На улицах Трира она встречала много знакомых. Юноши и девушки стали уже зрелыми людьми, женщины, которых она знала в цвете лет, заметно состарились. Черные шляпки с матерчатыми цветами поверх седых буклей, подвязанные под отвислым подбородком, особенно подчеркивали их преклонный возраст. Все в городе выражали Женни сочувствие по поводу смерти баронессы Вестфален. Старики при этом заметно мрачнели.

— Подходит и наше время,— говорили они робко.

Траурные платья с плерезами и черные вуали нисколько не портили внешности старших дочерей Женни. Они казались еще миловиднее. Двенадцатилетняя Женни была похожа на своего отца. Те же темные, густые, блестящие волосы и яркие, умные, ласковые глаза. Смуглое лицо, маленькие, полные губы придавали ей сходство с креолкой.

Десятилетняя Лаура красотой пошла в мать. Пышные, волнистые, светло-каштановые локоны обрамляли ее точеное личико. Большие зеленовато-карие глаза ее всегда светились улыбкой.

Но любимицей всей семьи, баловнем стала малютка Тусси. Ребенок родился в тот год, когда умер Эдгар, и

вся любовь к брату, вся нежность к нему были теперь перенесены на маленькую сестренку, которую старшие девочки нянчили с почти материнской заботливостью.

Карл тосковал по жене. Письма его к ней становились все более пылкими:

«Моя любимая!

Снова пишу тебе, потому что нахожусь в одиночестве и потому, что мне тяжело мысленно постоянно беседовать с тобой, в то время как ты ничего не знаешь об этом, не слышишь и не можешь мне ответить. Как ни плох твой портрет, он прекрасно служит мне, и теперь я понимаю, почему даже «мрачные мадонны», самые уродливые изображения богоматери, могли находить себе ревностных почитателей, и даже более многочисленных почитателей, чем хорошие изображения. Во всяком случае, ни одно из этих мрачных изображений мадонн так много не целовали, ни на одно не смотрели с таким благоговейным умилением, ни одному так не поклонялись, как этой твоей фотографии, которая хотя и не мрачная, но хмурая и вовсе не отображает твоего милого, очаровательного, «dolce»[1], словно созданного для поцелуев лица. Но я совершенствую то, что плохо запечатлели солнечные лучи, и нахожу, что глаза мои, как ни испорчены они светом ночной лампы и табачным дымом, все же способны рисовать образы не только во сне, но и наяву. Ты вся передо мной как живая, я ношу тебя на руках, покрываю тебя поцелуями с головы до ног, падаю перед тобой на колени и вздыхаю: «Я вас люблю, madame!» И действительно, я люблю тебя сильнее, чем любил когда-то венецианский мавр...

...Временная разлука полезна, ибо постоянное общение порождает видимость однообразия, при котором стираются различия между вещами. Даже башни кажутся вблизи не такими уж высокими, между тем как мелочи повседневной жизни, когда с ними близко сталкиваешься, непомерно вырастают. Так и со страстями. Обыденные привычки, которые в результате близости целиком захватывают человека и принимают форму страсти, перестают существовать, лишь только исчезает из поля зрения их непосредственный объект. Глубокие страсти,

[1] сладостного *(итал.)*.

которые в результате близости своего объекта принимают форму обыденных привычек, вырастают и вновь обретают присущую им силу под волшебным воздействием разлуки. Так и моя любовь. Стоит только пространству разделить нас, и я тут же убеждаюсь, что время послужило моей любви лишь для того, для чего солнце и дождь служат растению — для роста. Моя любовь к тебе, стоит тебе оказаться вдали от меня, предстает такой, какова она на самом деле — в виде великана; в ней сосредоточиваются вся моя духовная энергия и вся сила моих чувств. Я вновь ощущаю себя человеком в полном смысле слова, ибо испытываю огромную страсть.

...Ты улыбнешься, моя милая, и спросишь, почему это я вдруг впал в риторику? Но если бы я мог прижать твое нежное, чистое сердце к своему, я молчал бы и не проронил бы ни слова».

Женни много раз перечитала письмо Карла. Ей было уже сорок два года, нелегкая жизнь, смерть детей и матери наложили след на прекрасное ее лицо, но ничто не могло охладить Карла. Он любил жену так же горячо и верно, как двадцать два года назад, когда впервые признался ей в этом.

«Лишенный возможности целовать тебя устами, я вынужден прибегать к словам, чтобы с их помощью передать тебе свои поцелуи. В самом деле, я мог бы даже сочинять стихи и перерифмовывать «Libri Tristium» Овидия в немецкие «Книги скорби». Овидий был удален только от императора Августа. Я же удален *от тебя,* а этого Овидию не дано было понять.

Бесспорно, на свете много женщин, и некоторые из них прекрасны. Но где мне найти еще лицо, каждая черта, даже каждая морщинка которого пробуждали бы во мне самые сильные и прекрасные воспоминания моей жизни? Даже мои бесконечные страдания, мою невозместимую утрату читаю я на твоем милом лице, и я преодолеваю это страдание, когда осыпаю поцелуями твое дорогое лицо. «Погребенный в ее объятиях, воскрешенный ее поцелуями»,— именно, в твоих объятиях и твоими поцелуями. И не нужны мне ни брахманы, ни Пифагор с их учением о перевоплощении душ, ни христианство с его учением о воскресении».

Покуда Женни была в Трире, Карл вместе с Пипером побывал в портовом городе Гулль, видел в пути много английских и шотландских городов, расположенных по сторонам Великого северного пути.

Замки шотландских лордов мелькали за оградами, на пригорках, среди могучих дубов. Редко разбросанные встречные пограничные шотландские деревни были неприветливо серы, как шерсть овечьих стад на горах, как перевал, почти всегда тонущий в тумане. Вливаясь в города, Великий северный путь обрастал ровными коттеджами, просыпающимися на рассвете и засыпающими в сумерки. С заходом солнца быстро пустели улицы провинциальных местечек, и после девяти часов вечера дома без света казались покинутыми. Тогда в полутьме отчетливо воскресало средневековье. Резче становились контуры пуританских неукрашенных храмов на площадях и в дряхлых закоулках. В Линлитгоу, укрытый ратушей и многосотлетними домами, опирающимися на костыли из балок и столбов, внушительной крепостью стоял над рвом выпотрошенный пожаром, жалкий при дневном свете замок Марии Стюарт, шотландской бесцветной королевы, прославленной плахой.

Эдинбург расположен на холмах и с моря кажется столицей феодального княжества. Уцелевшие сторожевые башни с бойницами в стенах кремля все еще являют мощь и неприступность. В осушенный ров вокруг дворца крепости в течение многих веков падали пылающие бревна. Трава внешнего вала умирала под тяжестью сотен человеческих тел и лошадиных крупов, захлебывалась кровью, сгорала в кипящей воде, которой поливали врагов сверху наймиты шотландских королей, боровшихся с Англией. Тараны английских баронов, копья, громоздкие шары-снаряды оставили, впрочем, едва заметные шрамы на каменной броне.

Эдинбург в равной мере жил средневековьем и современностью. XV век без ущерба уживался с XIX.

Безжалостен климат Шотландии. Всего на два-три месяца пробивается сквозь плотные занавеси испарений лиловое солнце.

В тусклом, будто слюда, тумане оживают призраки. То, что при ярком свете ужаснуло бы, как разрытая могила, в полутьме шотландского дня вызывает лишь священный трепет.

В Великобритании прошлое только в небольшой мере эксплуатируемый товар — оно еще слишком тесно связано, сплетено с настоящим. Знаменитые древнейшие замки все еще обитаемы, и владельцы их спят на постелях времен крестовых походов.

На старых улицах Эдинбурга взамен развалившегося дома, в котором останавливалась по дороге к своему дворцу Мария Стюарт, строится новый — точное воспроизведение погибшего.

Тут нелегко отыскать, как и в Италии и Греции, неприкосновенными развалины храмов, жилищ и улиц, одиноко пробивающихся сорными злаками между чуждых громад позднейших времен.

Шотландцы, как и англичане, при всей своей консервативности, сохраняя многое из быта предков, не отказываются совершенствовать его тем, что поставляет технический прогресс.

Не все ли равно, что дом с дымящей трубой, прилепленной к черепичной, покатой «готической» крыше, точная копия вчерашнего и позавчерашнего, что это плод фантастической смеси веков?

Шотландцы отличаются от англичан не только иным произношением тех же слов, внешним типом, темпераментом, но и характером. Антагонизм между «двумя ветвями одного дерева» необычайно силен. Англичане постоянно высмеивают шотландцев, за что те им платят сторицею. Шотландские остроты попадают прямо в цель, так как их измышляет ум более подвижной и гибкий, глаз более зоркий, язык острый и меткий.

Враждебность англичан обострена неравенством. Шотландским банкирам, промышленникам, помещикам принадлежат основные богатства страны. Они владеют неизмеримыми землями, стадами и поместьями на родине, подземными сокровищами, плантациями в колониях.

Карл часто перечитывал романы Вальтера Скотта, и сейчас ему казалось, что он раньше уже видел и хорошо знал природу, нравы и людей этого горного, сумрачного края. Глядя на удивительный цвет волос местных жителей, позаимствовавших краски у пунцового северного солнца и золотого приморского песка, он сравнил его с таким же у маленькой дочери Лауры, унаследовавшей оттенок от своей прабабушки, шотландки Женни оф Питтароо.

Многое в Шотландии напоминало Карлу рассказы, слышанные в семье Вестфален об их предках-бунтарях Аргайлях и Кемпбл, героях многих книг Вальтера Скотта.

Бесконечны парки и леса вокруг замков шотландской знати. В охотничью пору кавалькады помещиков скачут на чистокровных жеребцах в сопровождении собачьей своры и загонщиков. Эхо в горах повторяет собачий лай и вой охотничьего рога в пустых бесконечных пространствах Шотландии, где черную землю сосут только травы, которые не всегда успевают выполоть ленивые овечьи стада.

Карл приехал в Лондон отдохнувшим. Вскоре, закончив свои дела в Трире и получив небольшое наследство, вернулась домой также и Женни.

Летом того же года, после четырех с половиной лет тюремного заключения, в Англии очутился портной Фридрих Лесснер, один из обвиненных по Кёльнскому процессу коммунистов. В тюрьме, как и на протяжении всей своей жизни, девизом коммуниста Лесснера было: мужество, выдержка и надежда. Он называл их своими верными спутниками.

В Лондоне Лесснер отыскал Фрейлиграта, служившего в одной из контор столицы. В беспорядочной шумной квартирке, где жили поэт, его жена и пятеро резвых детей, Лесснер встретил Вильгельма Либкнехта и с ним отправился на Дин-стрит, 28.

Ему обрадовались там, как долгожданному, родному человеку. Карл тотчас же принялся помогать Лесснеру в поисках жилья и работы и успокоился только тогда, когда все это было устроено.

В первое же воскресенье портной был приглашен провести день вместе с семьей Маркса за городом.

Было жарко, и участники прогулки решили отправиться на холмистые луга между Хэмпстедом и Хайгейтом.

С самого утра Ленхен занималась приготовлением еды для пикника. Она достала свою вместительную корзину, которую хорошо знали все домочадцы и друзья Маркса. Соломенная корзинка сопровождала семью во всех их поездках и прогулках.

К одиннадцати часам пришли Лесснер и Вильгельм Либкнехт, частый попутчик в этих походах. Ленхен без долгих слов нагрузила его своей заманчивой кладью.

Веселая компания двинулась в путь. До намеченного места из Сохо было добрых два часа ходу, но это никого не смущало. Все были большие любители пешего передвижения и рвались прочь из пропахшей пылью и угольным перегаром столицы.

Воскресный город томился от безысходной скуки. Людно было только у пивных и церквей. По улицам проезжали экипажи с нарядными господами и дамами, прячущими лица от солнечных лучей под широкими полями шляп и куполообразными разноцветными маленькими зонтиками. За Примроз-хилл город как бы отступал, и начинались пустыри, рытвины, холмы, проселочная неровная дорога. Дети мгновенно преображались и принимались на лужайках со смехом и песнями отплясывать негритянские, шотландские и главным образом импровизированные танцы. Взрослые подтягивали знакомые мелодии и хлопали в ладоши.

Пели шуточные, смешные своей чувствительностью и напыщенностью романсы, арии из модных опер, народные песни. С притворной важностью тянули медленные патриотические гимны. Особенно старались заглушить друг друга Карл и Вильгельм. У первого был густой баритон, а у второго — жидковатый тенор.

— «О Страсбург, Страсбург — дивный город»,— запевали они дуэтом, и все хором подхватывали эту полюбившуюся им немецкую песню.

Девочки просили отца рассказать им какую-нибудь фантастическую историю. Никто не умел так искусно выдумывать чудесные, полные необычайно сложных приключений сказки, как Мавр. Они подразделялись не на главы, а на мили — по количеству пройденного пути.

— Расскажи еще одну милю, Мавр, пожалуйста,— просила Лаура,— мы к этому времени как раз доберемся до Хэмпстед-хис.

Если отец отказывался, девочки обращались к матери:

— Мэмэ, Мэмэ, попроси Мавра. Тебе он не откажет.

Карл сдавался, и сказка продолжалась.

Дорога на Хэмпстед-хис пролегала по отлогим холмам и пустырям, поросшим густым дроком и низенькими рощицами. Множество горожан устраивали тут пикники, расположившись на хилой траве.

С пустынного, незастроенного крутого холма Хэмпстед-хис хорошо был виден Лондон — могучий колони-

альный штаб, город банков, роскошных магазинов, дворцов и особняков, мощной промышленности, черных лачуг и мрачных трущоб.

Вдали над крышами домов поднималось строгое, готическое Вестминстерское аббатство и круглый купол англиканского собора святого Павла. Серой лентой вилась Темза.

Хороши окрестности британской столицы. До самого горизонта тянутся зеленые пологие холмы, пересеченные добротными проезжими дорогами. Даже в редкие солнечные дни прозрачная дымка испарений никогда не исчезает, не рассеивается над Англией.

После серости Дин-стрит, после нагромождения каменных домов все вокруг казалось прекрасным, хотя растительность была чахлой и неказистой. Веселясь и шаля, добирались путники до тенистой холмистой местности, где можно было расположиться и позавтракать.

Домовитая Ленхен мало интересовалась открывшимся пейзажем и принималась выкладывать на клетчатую скатерку, постланную под низким дубом, провизию из своей заветной корзинки. Карл и Женни слушали, усевшись на траву, волнующий рассказ Лесснера обо всем пережитом в заключении.

— Мое прошлое в заключении — это сплошная цепь несчастий и неприятностей,— говорил недавний заключенный,— но я благодарен и за это судьбе, я стал сильнее, еще глубже понял свое положение и свою жизненную задачу. Нужно всегда помнить, что жизнь рабочего от колыбели до гроба — это непрерывная борьба, без борьбы нет жизни.

— Видел ли ты в тюрьме Даниельса? Этот настоящий человек и борец не вынес заключения, заболел смертельной формой чахотки,— заметил Маркс грустно.

— В этом нет ничего удивительного. Условия, в которых нас держали, были невыносимыми. Голод, насекомые, холод. В камере, где я некоторое время находился с Даниельсом, было так холодно, что у меня возникло ощущение, что я никогда больше не смогу согреться. О том, что нам пришлось и физически и морально выстрадать, могут засвидетельствовать четыре голые и сырые стены тюрьмы. Если бы они могли говорить, что бы услышали тогда люди... В особенно нетерпимых условиях находились мы все, осужденные по процессу в Кёльне.

Покуда шел этот разговор, девочки повели Либкнехта в соседнюю рощицу.

— Скажи, Лайбрери, как называется это растение? — спрашивали его то Женнихен, то Лаура.

За точные, исчерпывающие ответы на все вопросы дочери Маркса давно прозвали Либкнехта «Библиотекой» — Лайбрери.

— Что за чудесные цветы! Я уверена, что венок Титании был сплетен именно из таких же! — крикнула Женнихен.

— А я думаю, что венок царицы ночи был из темных роз,— возразила Лаура.

— Это незабудки, очевидно, здесь где-то заводь,— сказал Либкнехт, любуясь сорванными цветами.

— Лайбрери, как всегда, прав, вот и пруд. Как здесь красиво! — шумно выражали свое восхищение девочки.

С букетом быстро вянущих незабудок все трое повернули назад. Их уже громко звали.

Подкрепившись едой и питьем, взрослые участники прогулки, выбрав местечко поудобнее, расположились кто подремать, кто почитать газеты. Женни и Лаура отыскали сверстников и принялись играть в прятки, перегонки и жмурки. Внезапно Карл увидел неподалеку каштан со спелыми плодами.

— Посмотрим, кто собьет больше,— громко вызвал он всех на состязание.

С криками «ура» пошли на приступ Либкнехт и Лесснер, но Карл, к сожалению, не был специалистом по сбиванию каштанов. Он рьяно целился, бросая камешками, и, если не попадал в каштаны, неистовствовал. Когда под победные возгласы последний плод упал на землю, бомбардировка наконец прекратилась. Тут только Карл, изрядно вспотевший, почувствовал, что не может больше двинуть правой рукой. В пылу обстрела дерева он не заметил, как перенапряг мускулы.

В этот счастливый день выпало и другое чудесное развлечение — катание на осликах. Карл ликовал не менее своих детей. Взобравшись на осла, он изображал то Санчо Пансу, то самого Дон-Кихота.

У самой вершины холма находилась старая харчевня — «Замок Джека Стро», очень нравящаяся Марксу. Он обычно выбирал столик у низкого окна, выходящего на запад. Хозяин разносил посетителям кружки с имбирным

пивом и тарелки с хлебом и сыром. Из окон открывался вид на Хайгейтскую возвышенность, поросшую деревьями и диким кустарником. На ней находилось кладбище Хайгейт. Белые памятники и надгробья четко вырисовывались среди свежей зелени. Карл подолгу смотрел на эту тихую обитель мертвых.

Женнихен и Лаура играли в лапту на густой траве. К ним часто присоединялись и бегали взапуски Мавр и его товарищи. Долго не умолкал тогда веселый смех.

Совсем уже стемнело, когда, насладившись в полной мере воскресным отдыхом, все отправились домой. Усталые девочки шли подле отца и матери. Легкая грусть о том, что все уже прошло, подкрадывалась к ним вместе с утомлением. Зажигались одна за другой на потемневшем чистом небе звезды. Женнихен запрокинула темноволосую головку. Не отрываясь, она смотрела вверх и вдруг начала говорить быстро, как бы в каком-то необъяснимом экстазе импровизации:

— Когда-то, давным-давно, звездные люди слетели на землю. Их крылья сломались. Тщетно рвались они назад в небо. С тех пор на звездах всегда по ночам мигают маяки. Зовут их и указывают обратный путь.

Глаза Женнихен расширились и блестели, она продолжала декламировать.

— Сокровище мое,— встревоженно прервала вдохновенные стихи дочери Женни Маркс и провела дрожащей рукой по лбу девочки. — Не больна ли ты? Она не по годам развита. Таким же был наш дорогой Муш,— продолжала испуганно мать, обращаясь к мужу.

А Женнихен уже вприпрыжку бежала догонять сестру.

— Успокойся, дорогая. Наша пифия, как ты видишь, воплощенное здоровье,— взяв руку жены, ласково и твердо сказал Маркс.

Воскресенье проходило быстрее всех других дней недели.

В 1856 году несколько сот талеров, доставшихся по наследству после смерти Каролины фон Вестфален, дали возможность семье Маркса переехать из «старой дыры», как называл Карл Дин-стрит, в более здоровую, отдаленную от центра, расположенную в холмистой и зеленой части города местность и поселиться впервые за все годы

пребывания в Лондоне в отдельном, удобном небольшом домике. Арендная плата за квартиру в районе Риджентс-парка в северной части столицы составляла тридцать шесть фунтов стерлингов в год. Это была дорогая цена, но Женни получила еще одно небольшое наследство от родственников в Шотландии, и вся семья смогла ненадолго передохнуть в более сносных условиях.

Добраться к миниатюрному домику, где поселился Маркс, было трудно. Графтон-террес Мейтленд-парк совсем не походил на обычную улицу большого города. Это был пустырь, на котором среди нагромождения камня, глины, выкорчеванных пней и мусорных куч стояло несколько домов. Настоящей дороги к ним не было. Все вокруг находилось в процессе возникновения и стройки.

Если шел дождь, столь частый в Лондоне, пройти по глинистой, скользкой почве было сущим испытанием для жителей Графтон-террес. Грязь густо облепляла ноги, мешала двигаться. С сумерек улица погружалась в непроглядный мрак, так как ни одного газового фонаря на ней еще не было. Но Женни с добрым юмором относилась ко всем неудобствам нового местожительства и радовалась от всей души светлому домику, казавшемуся ей дворцом после темного жилища на Дин-стрит.

«Это поистине княжеская квартира,— писала позднее Женни Луизе Вейдемейер,— по сравнению с прежними дырами, в которых нам приходилось жить, и хотя все ее устройство обошлось немногим более 40 фунтов стерлингов... я казалась себе прямо-таки величественной в нашей уютной гостиной. Все белье и другие остатки прежнего величия были выкуплены нами из ломбарда, и я с удовольствием вновь пересчитала камчатные салфетки еще старинного шотландского происхождения. Впрочем, великолепие длилось недолго; вскоре пришлось снова нести одну вещь за другой в «поп-хаус» (так дети называют таинственный дом с тремя шарами): все же мы успели порадоваться окружавшему нас житейскому уюту».

Покуда Женни Маркс относит снова в ломбард, вывеской которого служат три золоченых шара, вещи, Карл до поздней ночи пишет книгу по политической экономии, корреспонденции для газеты «Нью-Йорк дейли трибюн», письма в Манчестер Энгельсу и единомышленникам.

Иногда статьи по разным вопросам за подписью Маркса посылает за океан Фридрих Энгельс. Больше трети всех статей, помещенных в «Нью-Йорк дейли трибюн», написаны этим бескорыстным и верным другом. Точно так же и Карл помогает Фридриху то советами, то тщательным подбором в Британском музее необходимых материалов по различным теоретическим вопросам. Оба они подчас целыми днями работают друг для друга. Каждый дополняет другого.

«Нью-Йорк дейли трибюн», одна из наиболее читаемых в Соединенных Штатах газет, имела до двухсот тысяч подписчиков. С 1851 года Маркс был ее постоянным сотрудником. Издатель газеты и один из ее редакторов, социалист Дана, безжалостно эксплуатировал его, зная, как Маркс нуждается в деньгах.

«Tribune» ведет себя, как настоящий грошовый листок. Ее социализм сводится на деле к самому отвратительному надувательству, свойственному мелкому лавочнику»,— говаривал Энгельс.

Дана, случалось, платил Марксу только половину полагавшегося гонорара, хотя повсюду хвастался его участием в газете и сам отлично знал, какого необыкновенного автора приобрел. Имя Маркса увеличило спрос на газету. Он становился все более известен в Америке.

Тщетно Карл стремился к тому, чтобы получить возможность заниматься исключительно наукой. Он страдал и часто жаловался Энгельсу и Женни:

— Ух! Как надоело мне газетное бумагомарание. Оно отнимает много времени, рассеивает внимание и ничего не дает. Чисто научная работа — совсем другое дело. Оба мы с тобой, Фридрих, заняты не тем, чем следует. Каково тебе в конторе и на бирже! Представляю, как воешь ты между волками, куда занесли тебя обстоятельства.

Ежедневно по утрам, после завтрака, выкурив сигару, Карл брал черный дождевой зонтик, без которого трудно обойтись в Лондоне, и отправлялся в читальный зал Британского музея. До остановки омнибуса его провожали старшие дочери. Они горячо любили отца, обращались с ним запросто, как с равным, и называли неизменно Мавром.

Только к вечеру возвращался Маркс домой. За обедом, когда собиралась вся семья, бывало всегда шумно. Усталый Карл ел очень мало, и это вызывало беспокойные

расспросы Женни и заботливой Елены Демут. Болезнь печени, которой много лет уже страдал Карл, требовала строгой диеты, но он предпочитал острую пищу, соленья, копченую рыбу, пикули и пряности.

Поднявшись из-за стола, Карл долго прохаживался из угла в угол маленькой гостиной. Каждую свободную минуту он посвящал детям, радуясь, как и они, наступающим воскресеньям. Если изредка в праздничный день в домике Маркса появлялся Фридрих Энгельс, все три девочки встречали его радостными возгласами. Не только Женни, но и Ленхен торопилась поделиться с Фридрихом всеми событиями последнего времени. И для каждого у него было ободряющее слово и шутка.

В июле 1857 года Женни родила седьмого ребенка, но лишь для того, чтобы тотчас же похоронить его. Он прожил всего несколько минут после рождения.

Из Америки вернулся в Лондон тяжело больной чахоткой Конрад Шрамм. Его появление столько же обрадовало, сколько и опечалило Карла и Женни. Их верный друг быстро приближался к могиле. Душный и пыльный Лондон был невыносим для умирающего, и друзья уговорили его поехать на цветущий остров Джерси, где находился в это время больной Фридрих Энгельс.

К осени Карл отправился проведать своих друзей. Он застал Энгельса окрепшим и деятельным, но Конрад доживал последние месяцы. Сжигаемый лихорадкой, крайне возбужденный, совсем еще молодой, пылкий, отзывчивый, искренний, он напоминал чем-то Георга Веерта, умершего немногим более года назад в Гаване.

Карл был все еще весьма опечален преждевременной смертью молодого поэта и считал ее невозвратимой потерей для коммунистического движения, поэзии и литературы.

Тяжела была для него и вскоре наступившая кончина Конрада Шрамма.

Совершенно оправившись от затянувшейся болезни, Энгельс вернулся в Манчестер с острова Джерси. Была глубокая осень. Шли дожди. По настоянию врачей Энгельс проводил в конторе всего несколько часов в день. Он предался давнишней страсти — верховой езде и охоте. Слякоть и туманы не останавливали его. Он носился на

крепком коне по особенно угрюмым в эту пору года полям и перелескам вокруг текстильной столицы, подстреливая лис и зайцев.

Редкий день не появлялся он на бирже. Тщательно одетый, подтянутый, он заметно выделялся среди снующей по залу возбужденной толпы биржевиков. Маклеры почтительно кланялись и расступались перед молодым купцом. Биржевые шакалы старались по настроению Энгельса определить, каков балл разбушевавшейся стихии кризиса. Они сердито перешептывались, подметив его хорошее, бодрое настроение. Действительно, в эти дни биржа мгновенно разгоняла у Энгельса скуку. Он охотно поддразнивал и вызывал ярость у купцов и биржевых игроков, предсказывая мрачное будущее их акциям.

Энгельс, исполненный надежд, что кризис всколыхнет пролетариат, жадно изучал приметы экономического тупика, в который зашла буржуазия на обоих полушариях.

«Кризис будет так же полезен моему организму, как морские купанья, я это уже сейчас чувствую,— думал он весело. — За последние семь лет меня все же несколько затянула буржуазная тина; теперь она смывается, и я снова становлюсь другим человеком».

Экономические потрясения несли Энгельсу, как промышленнику, значительные материальные потери, но безмерно радовали революционера и ученого-экономиста, каким он был прежде всего. Энгельс с удовольствием подмечал панику, растерянность и удрученные мины текстильных фабрикантов, когда приходил в замызганный каменный сарай, превращенный в святилище торговли — биржу. Он подолгу задерживался у огромной грифельной доски, исписанной белыми цифрами. Это были последние сводки с поля биржевых боев — цена акций. Каждая из цифр раскрывала Энгельсу тайну бесчисленных житейских драм. Именно она принесла банкротство почтенной старинной фирме Беннох. Это повлекло за собой гибель пяти других фабрикантов в недавно столь богатом промышленном Ковентри.

Энгельс предвидел, как по всей стране, вплоть до черного Глазго, вследствие краха столь влиятельных фирм разорится множество средних и малых предпринимателей, чьи имена так незначительны, что не указаны в толстом справочнике промышленников и торговцев острова.

В Ливерпуле прядильщицы лишились почти всех заказов. На всех фабриках Манчестера введена была неполная рабочая неделя.

Биржа отвечала на кризис, как водная гладь на падение камня и поднявшийся ветер. Пошли круги по вспенившейся воде, закружились акции. Особенно трудно приходилось текстильным фабрикантам. Хлопок, который считался белым золотом века, упал в цене.

Как всегда, в эту кризисную осень там, где жарко грело солнце и редко проливались дожди, миллионы хлопковых коробочек, напоминавших бутоны крупных цветов, созрев и растрескавшись, выбросили комья белой ваты, которая, как пушистые стрелки одуванчика, повисла, зацепившись на жестких кустах. Хлопковые поля, поглотив тяжелый человеческий труд, дали пышный урожай, и, однако, цена на хлопок стала неустойчивой, сбыт упал. Начались затруднения и с продажей шелковичных червей. Из Америки кризис перебросился в Европу и втянул в свой жестокий круговорот Англию, Германию, Францию и Италию. Промышленный застой вызвал осложнения в торговле.

У биржи были свои законы и цели. Чиновники и рантье, вложившие сбережения в бумаги хлопковых и шелковых компаний в Европе и Америке, внезапно обеднели, прядильщицы и ткачи находили закрытыми ворота фабрик.

Как-то, возвратившись с биржи, Энгельс записал свои мысли и поделился ими с Марксом. «В четверг положение было отчаяннейшее, в пятницу... так как хлопок снова поднялся в цене на один пенс, то это значило, по их мнению, что самое худшее миновало. Но ко вчерашнему дню уже снова наступило самое отрадное уныние; все ликование основывалось, следовательно, просто на болтовне, покупателей же почти не было; так что состояние здешнего рынка осталось таким же скверным, каким было раньше».

Не желая лишаться русского подданства, Лиза решила покинуть Англию, войска которой уже около года осаждали Севастополь.

Поразительный героизм и стойкость русских войск вызывали все большее изумление и раздражение английского

правительства. В русском воинстве особенно четко выявились черты национального характера. Все понимали, что солдаты под Севастополем самоотверженно отстаивают не крепостнический режим, а свою национальную независимость. Оборона Севастополя становилась легендой, и подвиги русских напоминали величавые сцены Гомеровой «Илиады».

Перед отъездом Лиза зашла попрощаться к Герцену.

— Вы едете в блаженную и скучнейшую Швейцарию? Это страна процветающего мещанства, этакая Аркадия лавочников и фермеров! Вам, верно, встретится там Николай Иванович Сазонов, с юношеских лет мой приятель, человек не без дарования и своеобразия. Что ж, поклонитесь ему от меня, хотя мы теперь охладели друг к другу. Первая размолвка произошла у нас еще в тысяча восемьсот сорок седьмом году. Это было в день моего прощания с Белинским в Париже,— говорил Герцен, мягко ступая по дорогому ковру своего нарядного кабинета.— Случилось так, что, возвращаясь от тяжело больного Виссариона Григорьевича, я встретил на Елисейских полях Сазонова. Был я тогда очень подавлен гиппократовой маской — маской смерти, которая легла уже на лицо погибавшего от чахотки друга. Я едва удерживал слезы.

«Жаль,— поняв мое состояние и сам огорченный, произнес Сазонов,— жаль, что Виссариону не нашлось другой деятельности, кроме журнальной, и к тому же подцензурной».—«Ну, знаешь, трудно упрекать его, что он мало сделал»,— возразил я в сердцах. «С такими способностями, как у Белинского, при других обстоятельствах и на другом поприще он сделал бы куда больше»,— продолжал Сазонов.

Я был весьма раздосадован таким замечанием и спросил его, что сделали, к примеру, русские, живущие вне отечества, полные сил телесных и талантов, не знающие гнета цензуры. Прогуливались, подобно Сазонову, из одного конца Парижа в другой, болтали в кафе, где одни дураки их слушали и, ничего не понимая, молчали, а другие ничего не понимали, но поддакивали. Вот и вся заслуга. Экие герои. Живут на воле долгие годы и без особых трудностей. Положения создаются людьми, сильные обязательно преодолевают препятствия и утверждают себя. А все эти болтуны, зарубежные бродяги пребывают в каком-то бреду и лунатизме, в оптическом обмане. Одна

критическая статья Белинского во много раз полезнее для нового поколения, нежели игра в конспирацию, в государственных людей, вся напыщенная болтовня многих из наших изгнанников.

— И все-таки,— закончил Герцен спокойнее,— таких людей, как Сазонов, так просто нельзя сдать в архив. Он по природе своей бунтарь, кой-что полезное делал в февральскую революцию, и не случайно вечный странник. Вот только великого значения Белинского не понял достаточно. — Помолчав, Александр Иванович добавил многозначительно: — Государство Российское поставило многих из нас на пьедестал, загнав в тюрьмы и ссылки. Петрашевцы — это наши меньшие братья, как декабристы — старшие.

По пути в мирную Швейцарию Лиза остановилась в Париже, но и там ее национальность вызвала подозрение. Пришлось давать объяснения в полиции.

В первый же вечер, оставив маленькую приемную дочь Асю с няней в отеле, Лиза поехала послушать нашумевшую оперу Адольфа Адана «Жиральда, или Новая Психея».

Музыка удивила ее убогостью гармонии, отсутствием подлинной мелодичности и досадным подражанием в инструментовке замечательным мастерам Доницетти и Россини. Однако публика шумно выражала свое восхищение. Адольф Адан был в большой моде и затмил в то время Верди, Гуно и Мейербера. Могущественный журнал «Музыкальная Франция», возносивший или низвергавший композиторов, объявил его гениальным.

Во время антракта Лиза невольно прислушивалась к тому, о чем говорилось вокруг нее в партере:

— Ламартин разорен, не то продал, не то продает свое поместье Милли.

— Виктор Гюго в ссылке пишет «Отверженных». Первые главы великолепны.

— На императрице Евгении на последнем балу был атласный кринолин на двадцати четырех металлических обручах, украшенный ста десятью тюлевыми воланами.

— Александр Дюма-отец собирается в Китай.

— Ротшильд подарил певице Эмме Лаури бабочку, усеянную огромными брильянтами.

— Французские и английские войска, несомненно, отпразднуют пасху в Севастополе. У русских нет больше ни снарядов, ни продовольствия.

— Парижский «Буфф» готовит оперетту Оффенбаха. В каждом действии танцуют канкан. Особенно отличается Селина Монтален; она сбивает носком своей туфельки цилиндр с головы партнера.

Центральные улицы Парижа показались Лизе неузнаваемыми. Всюду шла стройка, возводились леса. Наполеон III, несмотря на большие расходы, связанные с Крымской войной, которой не предвиделось конца, был охвачен лихорадочным стремлением прославить себя градостроительством. Он предпринял перестройку старинного города и пытался украшать его наподобие своего предшественника по династии — Наполеона I.

Бонапарт задумал создать Большой Париж и расширить его границы до окрестных укреплений, расположенных на расстоянии нескольких лье от центра.

Для гражданского строительства широко применялось, помимо камня, железо. Перестройка главного городского рынка преобразила весь квартал. Наполеон ассигновал двадцать миллионов франков на строительство оперного театра.

В лавках торговали сукнами, зонтами, макинтошами из Англии, женевскими часами, китайскими и персидскими коврами, поддельной бронзой, почтовой и иной бумагой, аптекарскими товарами из Германии. Но кое-где на дверях магазинов появились надписи: «Все, что здесь продается,— французское».

Купив несколько платьев и странное, никогда доселе не виданное в женском обиходе одеяние, состоящее из юбки и жакета и называемое, как и у мужчин, костюмом, Лиза поехала в Лозанну. Там она поселилась на спускающейся к озеру улице, самой чистой, добропорядочной и скучной, какую ей приходилось видеть за всю свою жизнь.

Хозяйка отеля была весьма почтенная вдова. Она сообщила постоялице, что свежим цветом своего лица, глубокомыслием и отличным пищеварением она обязана тому, что шестьдесят восемь лет жизни ложилась спать ровно в десять часов вечера. В этот час засыпали швейцарские города.

Для Лизы начались томительные, скучные дни. В том же благонамеренном отеле, где она поселилась, снимали комнаты обеспеченные рентами старые холостяки и вдовы. Среди них было немало сумасбродов и чудаков. Бывший педагог, как скоро узнала Лиза, в течение многих лет был

влюблен в свою собственную шляпу: он обращался с головным убором, как с живым существом, называл его «мадемуазель», клал на отдельный стул во время еды, покупал ей особое место в театрах и всячески подчеркивал вежливостью и вниманием силу своих «шляпных чувств». Брат хозяйки отеля, красивый старик с представительной внешностью патриарха, оказался знатоком и составителем ядов, которые для большей точности исследования то и дело проверял на самом себе. Каждые несколько дней все жильцы меблированных комнат бывали охвачены чрезвычайным беспокойством ожидания — останется ли жить или умрет неуемный ядоиспытатель от найденного им нового ядовитого соединения?

Знаменитый ядоиспытатель проникся к Лизе большой симпатией и однажды уговорил ее поехать к своему другу, специалисту по рыбам. Лиза очутилась в огромном стеклянном доме у озера Леман на окраине Лозанны, превращенном в необычайный аквариум, воссоздающий пестрое, узорчатое морское дно.

Щупленький, необычайно верткий старичок без всяких околичностей принялся, перебегая с места на место, восхищаться тем, что составляло главный предмет его жизни.

— Рыбы — самое прекрасное из всего существующего на земле,— говорил он, задыхаясь и просительно заглядывая Лизе в лицо. — Согласитесь, что я прав, не случайно человеческое воображение наделило искусительниц-сирен рыбьей чешуей. Они полурыбы. С рыбьей чешуей и окраской не могут равняться ни животные, ни тем более неуклюжие, бесцветные люди.

Лиза и не пыталась оспаривать слова столь вдохновенного знатока естественных наук. Но когда в течение нескольких часов подряд он читал ей лекцию о великолепии обитателей рек, озер, морей и океанов, она ощутила приступ острой меланхолии и ненависти к рыбам. На помощь ей пришел слуга с докладом:

— Господин Сазонов.

Лиза вздохнула с облегчением. Неожиданный гость избавил ее от водного многословия хозяина дома.

— Я много слышала о вас, Николай Иванович,— приветила Лиза вошедшего господина лет сорока, в претенциозном одеянии, состоявшем из чрезмерно узких светлых брюк и ярко-рыжего длинного сюртука. Большой

бант под подбородком довершал вычурность его костюма. Манеры и осанка у Сазонова были барственные и внушительные. Но холеное болезненно-бледное лицо с широкими скулами, впалыми щеками казалось усталым и вместе брюзгливо-избалованным. Кожа на широком носу была словно покрыта паутинкой из лиловых и пунцовых прожилок.

Лиза знала многое о Сазонове по рассказам Бакунина и Герцена: этот человек крайних взглядов, мятущийся, участвовал в революции 1848 года в Париже и вместе с тем, в кутежах промотав свое состояние, дошел до долговой тюрьмы.

— Из России-матушки? — спросил Сазонов Лизу несколько глуховатым голосом и улыбнулся неожиданно грустной, старящей его улыбкой.

— Нет, из Лондона. Герцен говорил мне как-то, что вы были высланы из Франции в тысяча восемьсот пятидесятом году и в ту же пору Николай Первый лишил вас всех прав состояния и изгнал навечно из пределов своего государства.

— Да, было дело,— как-то смущенно ответил Сазонов и с явным беспокойством посмотрел на Лизу.

«Знает или не знает, что я под псевдонимом Штахеля печатаюсь нынче в петербургских «Отечественных записках», а не в «Современнике», где всем заправляет Чернышевский?» — подумал он. Но нет, Лиза ничего об этом не знала. Сазонов быстро успокоился.

— Для лучшего знакомства не угодно ли вам прочесть на досуге, как мой друг, почтеннейший Флокон, заступался за меня в своей газете. Я ведь тоже был ее редактором в тысяча восемьсот сорок восьмом году и ведал иностранным отделом. Да, это были лучшие дни жизни человечества, горячие, неповторимые годы.

Сазонов достал из сафьянового портфельчика измятый номер «Реформы» далекого 1850 года и отдал его Лизе. Он не скрывал, что гордился своим прошлым. Только днем позже Лиза прочла статью во французской газете о своем новом знакомом:

«Гражданин Сазонов, русский демократ, мирно жил во Франции в течение десяти лет, он женился здесь и три месяца тому назад предложил нам свое сотрудничество в деле всеобщего возрождения. Его обвинили в том, что он злоупотребил правом убежища, вмешиваясь во внут-

ренние дела приютившей его страны. Это — или ошибка, или ложь. Сазонов занимался иностранной политикой, а так как теперь вся европейская политика совершается на севере, то кто же лучше, чем северянин, мог объяснить ее главную идею и цель. К этому прибавили упрек, несколько странный в демократической республике, в том, что русский изгнанник участвовал в великом демократическом европейском комитете. Этот комитет никогда не существовал. Наш гость был редактором «Реформы». «Реформа» приговорена к смерти».

Лиза и Сазонов стали часто встречаться. Однажды они совершили прогулку по озеру Леман к Монтрё, откуда открывается величественный вид на альпийские вершины. Сазонов был особенно разговорчив в этот день. Он многое изучил и повидал на своем веку, был дружен со многими интересными людьми. Лизе нравилась его манера говорить, несколько, впрочем, излишне гладкая и самоуверенная. «Точно с листа читает»,— дивилась она про себя.

— Вам не надоели еще англичане? Они ведь пережевывают идеи и всяческие новшества веками, поколениями, воспринимают, как бы это точнее выразиться, атавистически.

— Нельзя, право, делать такие обобщения обо всей нации в целом. Англия дала миру Шекспира, Шелли, Ньютона,— попыталась возразить Лиза.

— Это исключения, подтверждающие правило,— настаивал Николай Иванович. — Революционная искра, сжигающая сухие леса и степи на материке, еле тлеет в сырой траве острова, погруженного в туман. Сильна там броня традиций, застывших истин, переходящих от поколения к поколению. Швейцария, впрочем, в этом смысле младшая сестра Альбиона. Консерватизм и недоверие мелких буржуа безграничны. Это худшие из человеческих тварей. Я выходец из помещичьей среды. И, признаюсь, рад, что не родился в семье лавочника или фабриканта. Узнав с детства крепостнический строй, сам по рождению дворянин, я смог подняться над своим классом и бросить ему вызов, да, именно перчатку. По образу мыслей и по направлению своему я, да будет вам известно, принадлежу к числу тех, которые верят, что наука и промышленность одни только могут привести нас к завоеванию свободы, что в последующем своем развитии

они дадут нам новые верования, новое искусство и гражданское устройство, согласное с требованиями и нуждами современного человека.

— Позвольте,— раздумчиво произнесла Лиза,— эти слова ваши не навеяны ли книгою, которую я читала давно, лет восемь назад, в Брюсселе? Она называлась, кажется, катехизисом коммунизма.

— Вы ошиблись названием. Это не катехизис, а «Манифест Коммунистической партии». Я не стихотворец, но считаю сей документ чистейшей, великолепнейшей поэзией. Хотите послушать его по-французски? Это мой перевод.

И Сазонов принялся наизусть читать отрывки из «Манифеста».

Закат, похожий на огромную радугу, перекинулся с горы на гору. Вода озера казалась такой плотной, что хотелось коснуться ее ногой и пойти к отлогому берегу. В Монтрё один за другим вспыхивали огни. Становилось прохладно. Пароходик обратным рейсом повез Лизу и Николая Ивановича в смирную, чистую Лозанну.

— Я мечтал организовать журнал и привлечь в него Маркса, Герцена и Мадзини.

— Возможно ли? — удивилась Лиза. — А впрочем, это было бы очень хорошо. Все они, да вот еще Бакунин, самые замечательные человеколюбцы на земле.

— Вы ошибаетесь, я знаю всех троих, они совсем разные,— оживленно заговорил Сазонов. — Искандер — Герцен — не столько человек убеждений, сколько пылких увлечений; я знаю его больше четверти столетия, он порывист, неустрашим, но это не теоретик, хотя весьма способный, честный. Мадзини во многом с ним схож, но к тому же еще и неистовый фанатик. А Маркс... — тут Сазонов поднял руки, ему, казалось, не хватало слов,— гигант! Для него нужны иные мерила. Тут масштаб вселенский. Я враг авторитетов и вообще терпеть не могу немцев. Но тут ничего не скажешь, он человечище, каких не сыщешь сейчас.

Сазонов весьма редко отзывался безоговорочно хорошо о ком-либо. Тем более неожиданно для Лизы прозвучала эта его похвала. Она смолчала; ее всегда настораживала чрезмерная похвала кому-либо. К тому же Бакунин передал ей двойственное, скорее неприязненное чувство, которое сам испытывал к Марксу.

Желая перевести беседу на другое, Лиза спросила Сазонова, какими путями, по его мнению, следует идти России.

— Извольте, я повторю то, что напечатал в своей брошюре, изданной Герценом недавно в Лондоне.

— «Родной голос на чужбине»? Я слыхала об этой вашей статье, но еще не читала ее.

— Я адресовал ее нашим пленным, привезенным из-под Севастополя во Францию. Я выдвигаю следующие три задачи:

Первая. Свергнуть иго царского правительства, сплошь из немцев, которое давно, с тысяча восемьсот пятнадцатого года, изменило народности и действует только в пользу царской фамилии и ее немецких родственников, забывая истинное величие России и счастье ее и все указания великого Петра. Для этого не надо нам иностранной помощи, мы и одни справимся, а отечество освободит от присяги и войско и народ.

Вторая. С новым русским правительством во главе мы все уладим у себя дома и по соседству. Дома мы немедля и без оговорок дадим всем крестьянам нашим разом и вольность и землю.

Третья. По-соседски мы подадим полякам братскую руку, и когда их независимость будет восстановлена, то вместе с ними займемся устройством всего славянского мира.

— Как прекрасно то, что вы сказали! Вот и Бакунин хотел того же,— не скрыла своего восхищения Лиза.

Давно уже сумерки растворились в черной ночи. Исчезло во мгле озеро и горы. Фальшиво играл оркестр в ресторане. Уныло перекликались пароходные сирены. Вдалеке, как сквозь густую вуаль, поблескивали огни маленьких швейцарских селений и городов.

Сазонов укутал Лизу клетчатым пледом и заговорил о том, как она привлекательна. Лиза не прерывала его. Долгое одиночество измучило ее и невольно подстрекало, пробуждало желание чьей-либо близости. Лизе было уже больше тридцати лет. Она любила Бакунина долго и беззаветно, но не была никогда им по-настоящему любима. Что-то кошачье, ласковое, неверное и вместе капризно-детское появлялось в Сазонове, когда он хотел понравиться женщине.

— Вам, конечно, говорили, что вы, как цыганка, зазывны и хороши. Жизнь наша стремительно несется к своему концу, и время цветения так коротко. Зачем же бежать от счастья? — нашептывал он вкрадчиво.

С большим трудом Лиза превозмогла себя и, отшучиваясь, вырвала руку, которую Николай Иванович пытался поцеловать.

Пароход причалил к голубой пристани Лозанны. На следующее утро в букете левкоев Лиза нашла письмо. Это было признание в любви. Она с ужасом поймала себя на том, что без конца перечитывает напыщенные, где-то как будто уже слышанные ею фразы, четко и красиво выписанные на листе кремовой веленевой бумаги:

«Вы похожи на южный цветок с чуть опавшими от засухи лепестками. Вам нужна живительная влага нежности и любви. Не отбрасывайте того, кто протягивает вам такое же усталое от жгучего одиночества сердце».

«А что, если не отринуть его, поверить, полюбить?» Лиза сидела в глубоком раздумье. И в это именно время к ней постучалась и вошла жена Сазонова. Это была дебелая, толстая нерусская дама с отвисшими щеками, сухой нечистой кожей и густой растительностью над верхней губой, которую не мог скрыть густой слой белой пудры. Заняв половину плюшевого дивана своей особой, она принялась оживленно и даже с видимым удовольствием рассказывать Лизе о донжуанских похождениях своего мужа. Говорила она долго, не скупясь на разные подробности.

— А про Сибиллу Гесс и то, как поступил с нею мой Николя, вы, верно, слыхали в Лондоне? Он тогда и женился на мне. Так ей и надо. Все знают, что Мозес Гесс, ее муженек, уже не в силах поднять свою отяжелевшую голову, так много на ней выросло рогов.

— Что вам нужно от меня? — сильно пожелтев, как всегда, когда волновалась, спросила Лиза госпожу Сазонову.

— Ничего. Мне вас попросту жаль. Русские очень странные люди, и как они поступят, никогда нельзя знать. Но считаю нужным предупредить вас: если бы не Гесс, а потом я, Николя снова очутился бы в долговой тюрьме. Он в долгах, как в цепях.

Сазонова с трудом подняла свое пышное тело с дивана и важно покинула комнату. Лиза погрузилась в невеселые

размышления. В висках у нее стучало. В это время, как апофеоз удручающего фарса, участницей которого она едва не стала, на улице перед окнами отеля раздались звуки гитары. Слабый, довольно приятный мужской голос запел арию Лепорелло из моцартовского «Дон-Жуана»:

Их в Италии шестьсот было сорок,
А в Германии двести и тридцать,
Сотня француженок, турчанок девяносто,
Ну, а испанок —
А испанок, так тысячи три.

А Лиза думала: «Отчего Сазонов, талантливый, знающий, в то же время никчемен? Вино, лень или безвременье растлили его? Какую бездну сил душевных сгубил он в себе попусту!»

Ей припомнился Бакунин. Было что-то схожее и вместе разное в этих людях, близко знакомых друг с другом, родившихся в одну пору и взращенных как бы в одной колыбели. Лиза содрогнулась и отогнала испугавшую ее мысль о тождестве этих двух людей.

«Бакунин стоик, самоотверженный боец, овеянный славой, а Сазонов, с его знаниями политики, истории, четырех языков,— краснослов и позер, неудачник, пустоцвет, женолюб и кутила,— написала Лиза в своем дневнике.— Но виноват ли он в судьбе своей, в том, что стал таким? Как определить ту долю вины, что падает на каждого из нас, и ту, что зависит от нашего окружения и времени? Юность Сазонова, да и мою, определить можно только герценовскими словами — «нравственное душегубство». Оно убивает душу не только Алексеевским равелином и рудниками, но и бездушностью своей, страхом и подавленностью, и диву даешься, как могли у нас сложиться такие героические души, как декабристы, Белинский, Огарев, Герцен, Бакунин и все те, кто томится сейчас по делу Петрашевского на каторге. Эти люди всему учились, дерзали и гибли ради святого дела пробуждения и счастья России. Идеи их были романтичны и прекрасны. Они твердили людям о героизме монтаньяров, пересказывали учение утопистов, проповедовали необходимость революции, свержения самодержавия, а главное, учили ненавидеть всякое насилие и произвол».

В феврале 1855 года умер Николай I. Крымская война окончилась для царской России тяжелым поражением. Падение геройски сопротивлявшегося Севастополя стало неизбежным. Одна неудача следовала за другой. Деспотичнейший из монархов оказался перед позором банкротства всей его системы. Умер ли он естественной смертью или отравился, как упорно говорили при дворе и в народе, но Николая I наконец не стало. Вздох облегчения вырвался из груди многих русских людей. Дышать стало легче. Точно вериги свалились с измученного тела России. Ждали амнистии, освобождения крестьян и верили в доброе будущее.

Вскоре весть о смерти Николая I дошла до Швейцарии и, воскресив заглохшие было надежды, всколыхнула русских людей в изгнании.

Согласно Парижскому мирному договору, Россия лишалась права держать военный флот в водах Черного моря, но, за исключением небольшого района в устье Дуная, не потеряла других земель. Немногие оставшиеся в живых декабристы после двадцати девяти лет каторги и изгнания возвращались в Петербург и Москву. Шли смутные слухи о реформах, но ничего определенного не было. Лиза смогла наконец оставить постылую страну гор. Помочь Бакунину выбраться на свободу становилось отныне осуществимым делом. После краткого увлечения Сазоновым Лиза испытывала угрызения совести. Ей все время казалось, что она чем-то провинилась перед Бакуниным.

— Изменить можно и в мыслях,— говорила она себе с укором.

Тотчас же по приезде в Лондон Лиза узнала, что Бакунина из Шлиссельбургского каземата, где он находился, увезли на поселение в Сибирь. Местом жительства была определена Нелюбинская волость Тобольской губернии.

Утром в красивый коттедж в Примроз, где поселилась Лиза Мосолова, пришел Сигизмунд Красоцкий. Этот немолодой седоволосый поляк давно был ей очень симпатичен, но никогда обстоятельства не давали им возможности ближе познакомиться.

— Умер Ворцель. Гордость польских патриотов и святой человек. Не имея сил уже говорить, он написал за день до смерти своей: «...я выстоял мой черед, как следует человеку, я донес мой крест, пусть другой меня сменит».

Не совладав с собой, Красоцкий зарыдал. И сразу

светская отчужденность, неуловимая преграда, встающая между душевно чистым мужчиной и женщиной, рухнула. Слезы человека, который плачет в жизни считанное число раз, тяжелы, как горные обвалы. Подавленный собственной слабостью, Сигизмунд смущенно сказал:

— Я проливаю слезы сегодня не один.

Вместе с Герценом, Мадзини и Красоцким Лиза пошла в один из первых дней февраля за гробом Ворцеля, этого замечательного демократа, участника польского восстания 1830 года. Он умер в бедной комнатке, находясь на грани полной нищеты. Английские друзья оплатили его похороны, итальянцы, русские, поляки, немцы, сменяясь, понесли его тело к могиле. Малиновое знамя обвивало простой гроб.

После похорон Красоцкий рассказал Лизе о последних часах Ворцеля.

— Приступы астмы окончательно добивали его хрупкое тело. Я не отходил от больного. Он жестом подозвал Мадзини. Тот приблизился. Мой учитель и друг едва слышно потребовал от нас обета, что до последнего вздоха мы будем бороться за то, чтобы Польша не была забыта при освобождении всех народов мира. «Клянитесь!» — приказал он, приподнявшись с узкого дивана, и лицо его преобразилось. Вдохновенная надежда, несокрушимая убежденность отразились в снова вспыхнувших и посветлевших глазах.

После долгой паузы Лиза спросила, хотел ли он что-либо передать жене и детям.

— Мадзини, его душеприказчик, когда писал под его диктовку завещание и последние письма к друзьям, задал ему этот вопрос. «Мне им нечего сказать»,— ответил умирающий и отвернулся к стенке.

— Какой суровый приговор, он звучит, как проклятие,— заметила Лиза.

— Сын Ворцеля — видный русский чиновник, дочь, вышедшая замуж за графа, и жена, сохранившая богатство мужа, никогда не только не протянули ему руку помощи, но и отреклись от него. Герцен о таких людях справедливо говорит, что они выжили из сердца, подобно тому как выживают из ума,— печалился Красоцкий.

Лиза заговорила о Бакунине.

По ее мнению, с которым соглашался и Герцен, новый российский самодержец, сорокалетний Александр II, не

решится на такие реформы, которые освободили бы людей, подобных Бакунину, и ему не дождаться полной амнистии. Он обречен влачить жалкое существование в глуши, не принося пользы человечеству.

— Мы должны вырвать его из рук царя и его приспешников. Я ничего не пожалею для этого. Пошлите ему деньги.

Красоцкий обещал Лизе все разведать и помочь побегу ссыльного. Он чаще и чаще стал приходить теперь к Лизе Мосоловой в нарядный, окруженный зеленым палисадом домик, один из типичных в зажиточном квартале Примроз. Жизнь всех обитателей проходила в гостиной среди плюшевых гардин, штор, диванов, подушек и тяжелых кресел в дорогих чехлах. По стенам висели в золоченых рамах картины и литографии, изображающие охоту, бега и собак.

Лиза сняла дом и ничего не изменила в его обстановке. Ей казалось, что она в привокзальной гостинице, откуда вот-вот можно будет тронуться в дальнейший путь.

Красоцкий обычно находил Лизу в детской, где на полу, щебеча и смеясь, играла с шотландским черно-седым терьером Будлсом маленькая курносенькая Ася. Худая веснушчатая Пэгги, ирландка-няня, обычно тут же что-либо шила за столом.

Сигизмунд, которому всегда были рады, усаживался постоянно на одном и том же низеньком детском табурете у камина. Лицо его прояснялось в этой уютной, благожелательной атмосфере, которой он был лишен уже более двадцати пяти лет.

— Я все еще думаю о Ворцеле и ему подобных,— сказала ему как-то Лиза.— Мне хотелось бы заглянуть в их души, такие глубокие и почти таинственные.

Она подошла к жардиньерке, в которой стояли вазоны с хрупкой сиренью, выращенной в оранжереях.

— Посмотрите, в этих соцветиях всего четыре лепестка. Это наши обычные сердца. А вот цветы с пятью лепестками; их мало, и считается доброй приметой, счастьем найти их. Это души избранных.

Лиза прижалась лицом к цветам и замолчала. Пэгги отложила шитье и отправилась в кухню готовить ужин. Ася уже уснула на ковре, прижав к груди плюшевого

зайца. Красоцкий сидел не шевелясь. На его усталом лице отражалось недоумение. Но не только о Лизе думалось ему, а о том, что он внезапно понял и ощутил.

«Я люблю эту женщину и не могу больше обходиться без нее. Она не знает и не поверит тому, что и ее сердце — маленькая скромная звездочка сирени, состоящая не из четырех, а из пяти лепестков».

В 1857 году новый читальный зал Британского музея обосновался в специально выстроенном для него огромном здании. Многочисленные колонны украсили вход в эту сокровищницу Великобритании. Там все восхваляло мощь империи, силу колониализма.

Карлу очень понравился величественный читальный зал богатейшей из библиотек мира. Куполообразный потолок увенчивал круглый своеобразный храм, посвященный всему, что создано неповторимым произведением природы — мозгом человека.

Все постоянные посетители читальни имели определенные места, которые закреплялись за ними. Маркс выбрал пятый стол направо от входа, примыкающий непосредственно к стендам со справочниками. Он был обозначен буквой «С» и «№ 7».

Могучая черноволосая с густой проседью голова Маркса, его крепкий короткий нос, его глубокие блестящие глаза привлекали внимание посетителей читальни Британского музея. Но он не замечал в эти часы никого. Он был во власти дум и творческих порывов.

Маркс испытывал наивысшее наслаждение, отдаваясь мышлению. Способность эта казалась ему вершиной человеческого духа. Нередко вспоминались ему слова Гегеля: «Даже преступная мысль злодея возвышеннее и значительнее, нежели все чудеса неба».

Но мысль Маркса всегда была началом действия, творчества. Маркс готовил книгу «К критике политической экономии». Он исследовал капиталистический способ производства от самого его возникновения.

Решение написать эту книгу возникло у Карла еще весной 1844 года в Париже, и это стало делом всей его жизни. Маркс говорил, что готов даже отказаться от платы, в которой так нуждалась его семья, лишь бы издать труд.

В тишине читального зала Маркс просматривал десятки книг по истории политической экономии, перечитывая снова Адама Смита и Давида Рикардо, многочисленные новейшие исследования, статистические отчеты, статьи о состоянии промышленности и техники, сообщения о недавнем открытии золотых приисков в Калифорнии и Австралии.

Энгельс также глубоко проник во внутреннюю сущность капиталистического общества, и Маркс высоко ценил его выводы.

Лондон был в ту пору отличным наблюдательным пунктом для изучения противоречий и кризисов в буржуазном обществе. С этой вершины Маркс снова и снова обозревая мысленно весь мир, с потрясающей проникновенностью вскрыл и объяснил законы развития и гибели капитализма.

Обычно до семи часов вечера просиживал Маркс за книгами в читальне Британского музея. Непреодолимая тяга к курению заставляла его часто подниматься с удобного кресла, уходить в прилегающий курительный зал. С наслаждением затягивался он плохонькой, дешевой сигарой и медленно выдыхал горьковатый дым.

Иногда после долгого напряженного умственного труда Маркс отдыхал, перечитывая любимых поэтов. С юности помнил и любил боевые гордые слова Архилоха:

Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой,
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады,— твердо стой, не трепещи!

Иногда его захватывали увлекательные, изобилующие невероятными приключениями романы Лесажа, Поль де Кока и Дюма-отца. Это всегда давало отдых его переутомленному мозгу. Не меньше нравились ему исторические романы Вальтера Скотта, в которых он находил многое из истории шотландских предков своей жены.

Домик, снятый Марксом на Графтон-террес, был просторен и уютен. После мучительных лет нищеты и лишений на Дин-стрит Карл и его семья впервые жили в сносных условиях. Но страшные потери последних трех лет все еще угнетали душу Женни, хотя она и старалась не огорчать близких воспоминаниями. С особой нежностью брала она на руки трехлетнюю прелестную, всегда улы-

бающуюся Тусси, родившуюся за три месяца до смерти Муша. Тосковал по умершему мальчику и отец.

Лето и осень 1858 года были снова тяжелы для Маркса. Он работал часто до четырех часов утра, и не раз острые приступы болезни печени укладывали его в постель. Долги росли: газетчик, мясник, зеленщик, доктор, взнос в ломбард, башмачник и угольщик преследовали семью, как неотступный кошмар.

В 1858 году Бакунин поступил на государственную службу в Томске канцеляристом четвертого разряда, купил себе небольшой деревянный домик в этом тихом городе. Обо всем этом Лиза узнала от Герцена и тотчас же написала в Сибирь. Но Бакунин ей ничего не ответил. Это, однако, не изменило решения Лизы во что бы то ни стало помочь ему бежать из Сибири. Герцен и Красоцкий принимали в разработке плана побега живейшее участие.

Однажды Лиза услыхала, что Вильгельм Вольф в Лондоне, и решила повидаться с ним. Она нашла его значительно изменившимся и внешне и внутренне. Долгое изгнание и болезни, несбывшиеся надежды на более скорую революцию состарили Люпуса, он стал угрюм и раздражителен.

Поражение революции — испытание, которое трудно вынести бойцу. Пусть он знает и верит, что впереди неизбежная победа, но годы проходят, силы слабеют. Мысли о том, что не увидишь воочию то, чему отдал всю жизнь, зрелище предательства, трусости, отступничества, неизбежно возникающее в момент разгрома,— все это нелегко пережить. Тоска по родине в старости, на краю могилы, особенно разрушительна и невыносима. Люпус напряженно трудился, много читал, стараясь не отстать от жизни, осмыслить все происходящее. Он был так же непреклонно уверен в правоте коммунистических идей, как и в дни создания Союза коммунистов, но часто грустил.

«Я не увижу рассвета человечества и обречен умереть беззвездной ночью»,— думал он.

Вся неизрасходованная нежность и любовь одинокого холостяка, раздражительного в старости, сосредоточивалась теперь на Марксе и его семье, на Энгельсе и немногих оставшихся верными общему делу друзьях. Он жил более чем скромно в Манчестере и редко приезжал в

Лондон. Лиза письменно условилась встретиться с ним на колониальной выставке в «Хрустальном дворце», который так напоминал обилием стекла брюссельский пассаж Гюбера, где они когда-то в кафе провели несколько замечательных часов более десяти лет назад.

В длинных залах с застекленными полками посетители выставки знакомились с самой мощной в мире промышленностью и завоеванными богатствами империи.

Непосредственно у входа расположен был индийский отдел — «непревзойденный алмаз великобританской короны». Образцы подземных сокровищ—угля, серебра, драгоценных камней, меди, золота — лежали под стеклом шкафов и витрин. Рис, фрукты, чай — все, что выращивает индийская земля,— было заключено в прозрачные банки и выставлено тут же, снабжено поясняющими этикетками. Панорамы демонстрировали «счастливый» быт порабощенного, страдающего населения. Даже страшный промысел — вылавливание с морского дна жемчужин — показан был приятным, как купание, легким, как ловля рыб на удочку, занятием.

— На свете есть еще только один, равный по хитрой лживости музей. Знаете ли вы, где он находится? Нет. Так я скажу вам. В Латерано, бывшем папском дворце в Риме,— сказал Вольф Лизе, когда они шли по выставочным залам.— Там почтенные монахи восхваляют подвиги миссионеров в Азии, Африке и на островах. Они рекламируют благодать, нисходящую на язычников, буддистов, магометан после того, как они признали верховное владычество римского папы. Точно так же и здесь, на выставке, выразительно разложив вещевой прейскурант непрерывно похищаемых колониальных богатств, развесив фотографии и цветные картины, нас стараются убедить, как много выигрывают туземные народы от проникновения английского капитала.

Вольф сначала с презрением, а затем и раздраженно осматривал выставку.

— Посмотрите на посетителей. Англичане, очарованные и польщенные размерами и силой своей империи, узнают, откуда вывозится асфальт, масло, меха, уголь и где бурлит столь необходимая Британскому острову, порождающая мировые раздоры нефть.

Лиза с удивлением прислушивалась к словам Вильгельма Вольфа. Ей никогда раньше не приходилось стал-

киваться с таким взглядом на развитие и экономику Англии.

— Видите, переходя от стенда к стенду, будущие купцы и промышленники соображают, чем и как выгодно торговать, будущие солдаты и колониальные чиновники изучают имперские границы, будущие мореплаватели отыскивают острова — причалы. Будущие политические деятели воспользуются, когда вырастут, этим «наглядным пособием» для пропаганды за или против существующего строя.

От витрины к витрине, с Мальты в Южную Африку, с острова Новая Зеландия, где климат и растительность так сходны с английскими, от Австралии к Тринидаду и к Ямайке переходили Лиза и Вольф, рассматривая неисчислимые колониальные богатства Британии. Долго стояли они перед картой и образцами ископаемых Индии.

— Хотите, я объясню вам в самых общих словах суть колониальной политики Пальмерстона? Пам заявляет: «Англия, не жалея затрат, несет цивилизацию миру. Наши фабрики, плантации и доки дают порабощенным народам кусок хлеба. Мы, британцы, облагодетельствовали их нашей культурой». А миссионеры, по мнению англичан,— это факелы на дне темной пропасти. Но в действительности Индия разорена и страдает.

— Вы правы,— широко открыв свои грустные глаза и благодарно сжав старчески сухую руку Люпуса, сказала Лиза.— Но как это раньше никогда не приходило мне на ум!

После осмотра выставки Лиза и Вольф зашли в кафе. Вольф казался крайне усталым и начал беспричинно раздражаться. Одышка мешала ему говорить; он достал флакончик с ландышевой настойкой и, отсчитав несколько капель в стакан с водой, выпил их залпом. Когда ему стало лучше, разговор возобновился. Лиза рассказала ему о положении Бакунина.

— Вы правы, ему надо помочь вырваться из Сибири. Цари вероломны, а политика — стихия капризная и полна казуистических превратностей. В свое время я сам бежал, как вы знаете, и этим вовремя спасся. Я поговорю с купцами, которые отправляются на Дальний Восток, и узнаю, что можно предпринять.

— От Томска до Николаевска, кажется, не очень далеко,— размечталась Лиза. Ей было так легко и приятно

в обществе Вольфа, который с умной чуткостью понял все, о чем она умолчала.— Не знаете ли вы, как живет госпожа Маркс? Мне рассказывали, что она и ее муж перенесли немало горя и утрат за последние годы. Я несколько раз собиралась посетить их, но боялась явиться некстати.

Лицо Вольфа стало печальным.

— Древние говорили,— ответил он строго,— что боги подвергают особенно жестоким преследованиям именно своих избранников, чтобы испытать и закалить их души. Карл Маркс легко мог бы стать обеспеченнейшим человеком, но никогда он не отступит от своих железных принципов и мировоззрения. Такие люди, как он, только крепнут в беде и предпочтут любые лишения и неустроенность, лишь бы остаться верными себе и своим политическим взглядам.

Лиза подтвердила слова Люпуса кивком головы и подумала при этом о Бакунине.

— Недавно,— продолжал Вольф,— Маркс высказал свое кредо: «Несмотря ни на какие препятствия, я пойду к своей цели и не позволю буржуазному обществу превратить меня в машину для выделки денег».

— О чем пишет сейчас доктор Маркс?

— Он работает уже много лет над книгой по политической экономии. Там немало сказано о предмете, которого ему особенно не хватает.

— Что же это?

— Деньги. Вряд ли кто-либо так хорошо знает о них столько, сколько он, и не имеет их при этом вовсе,— с улыбкой закончил Вольф.

Из кафе Лиза и Вольф направились в расположенный неподалеку Кенсингтонский сад. Погожий осенний день был на редкость приятен. Белая прозрачная дымка тумана, смягчая краски, окутывала небо. Желтые, как песок на дорожках, листья деревьев слегка раскачивал свежий ветерок с моря. Пасущиеся на маленьких полянах овцы вяло выщипывали траву. Почти не разговаривая, любуясь окружающим, Вольф и Лиза подошли к самому концу сада, непосредственно соединяющемуся с огромным Гайд-парком. Там был пруд, где множество бывших и будущих моряков, старцев и мальчиков, спускали на воду игрушечные лодки, пароходы и яхты. Дисциплинированные собаки на берегу с важным видом наблюдали за действиями

своих хозяев, одобрительно махая хвостами. Покуда кораблики, опрокидывая попутные парусные челны, пересекали водное пространство, судохозяева бежали на противоположную сторону пруда, чтобы помочь им причалить. Несколько неистовых самоучек-конструкторов в резиновых сапогах влезли в воду, чтобы испробовать свои модели. Порыв ветра вызывал внезапную бурю и аварию. Белые пароходики на воде были едва отличимы от тут же барахтавшихся чаек.

Лиза и Вольф долго простояли у пруда, наблюдая за игрушечным флотом. Они расстались у ворот Гайд-парка, договорившись о следующей встрече, когда Люпус еще раз приедет в Лондон.

Мысль о Бакунине не давала Лизе покоя. Однажды он приснился ей таким, каким она знала его в Брюсселе: огромного роста, полный, с холодными, светлыми глазами, с вьющимися каштановыми волосами, в которые приятно было погрузить руки. Во сне он был так ласков и нежен, как никогда в действительности, и, тяжело опустившись на колени, поднес Лизе желтые нарциссы.

Проснувшись поутру, она долго не могла понять, что мог значить этот сон. Ее преследовало ощущение близости Мишеля.

«Он, верно, сомневается в моей дружбе, удивляется, отчего я не еду к нему»,— думала Лиза.

Когда Красоцкий пришел к ней в полдень, чтобы вместе пойти к Герцену, она сказала ему решительно:

— Бакунин ждет меня. Он горд и потому не пишет об этом. Мое место рядом с ним в ссылке. Я уезжаю в Сибирь.

— Так поступали жены и подруги декабристов. Вы им сродни,— не скрывая своей печали, сказал Сигизмунд и больше не говорил об этом столь огорчившем его решении.

В этот день они оба были приглашены к пятичасовому чаю на Финчли-роуд.

В небольшом садике перед двухэтажным домом за круглым столом собралась вся семья хозяина. Наталья Алексеевна Огарева, прозванная некогда в семье Герцена «Консуэло», стройная молодая женщина с малопривлекательным, каким-то сплющенным лицом, на котором резко выделялся большой утиный нос, разливала чай. Мальвиды Мейзенбуг больше не было. После приезда Огарева и его жены она почувствовала себя лишней и покинула дом

Герцена, оставшись, однако, его верным и самоотверженным другом.

Лиза, очень симпатизировавшая Николаю Платоновичу Огареву, почти все стихи которого знала наизусть, не могла преодолеть свою неприязнь к Наталье Алексеевне. Та отвечала ей обидным равнодушием, еще усилившимся, когда она узнала, что Мосолова сродни покойной Марии Львовне, первой жене Огарева. И сейчас дамы холодно раскланялись. Герцен же с нескрываемой радостью усадил Лизу рядом с собой. Красоцкий заговорил с Огаревым.

— «Колокол» гремит, это подлинный набат,— сказал он о боевом органе, издаваемом Герценом и его другом в Лондоне.

— Я получила письмо из Варшавы. Доставка наших изданий туда пока еще очень затруднена,— вмешалась Наталья Алексеевна, желая дать понять гостям, что и она принимает во всех делах прямое участие.

Лиза привлекла к себе сидевшую рядом старшую дочь Герцена — Тату, миловидную девушку с задумчивым и рассеянным выражением грустного лица, и начала спрашивать об успехах в живописи. Тата отлично рисовала.

Когда слуга унес чайник и посуду и все встали из-за стола, Герцен заговорил с Лизой, понизив голос:

— Я приготовил вам сюрприз — письмо, и как бы вы думали, от кого?

— От Бакунина,— едва выговорила Лиза и приложила руку к разбушевавшемуся сердцу. — Нет ли там чего ко мне?

— Нет, но зато есть кое-что другое, весьма неожиданное.

— Что же это? — побледнев и как-то сжавшись, спросила Лиза.

И Герцен вдруг понял все, о чем она никогда никому не говорила.

«Вот осел,— мысленно обругал он себя,— да ведь тут драма. Пусть, однако, знает все, как оно есть». Скорбные складки, четко видимые на энергичном и мужественном лице Герцена, от крыльев носа спускающиеся к губам и прячущиеся затем в усах, стали резче, темнее.

«Я жив, здоров, крепок, я женат, я счастлив...» — первое, что бросилось в глаза Лизе. Едва устояв на ногах, она вернула письмо, не в силах читать дальше.

Герцен, видя явное смятение гостьи, взял ее под руку и повел из сада в свой кабинет.

— Не хотите ли посмотреть альбом репродукций великого Тернера? Никто, как он, не передает блеклые краски английского неба,— нарочито громко заговорил он, увидев приближающуюся Огареву, которая ревниво наблюдала за ними.

— Да, Тернер в своих портретах хорош. Его краски так же нежны, как на полотнах великого Левицкого,— ответила Лиза, с благодарностью глядя на Герцена. Самообладание постепенно вернулось к ней. Сославшись на болезнь своей маленькой дочери, она вскоре распрощалась и, попросив Красоцкого не провожать ее в этот раз, уехала домой.

Она достала свой дневник, который не брала в руки уже много месяцев.

«Самое главное — научиться владеть собой, учил Гете,— писала Лиза. — Настоящая любовь думает не о себе, а о счастье любимого, даже если это разбивает сердце. Мне не пристало жаловаться на судьбу. Девять лет я жила одним чувством любви к Мишелю и черпала в этом не только одно горе... Спасибо ему! Не хочу уподобиться злой принцессе из сказки, которая от обиды и ревности коварно послала своего возлюбленного в шатер, где его ждала не желанная невеста, а голодная тигрица — смерть. Не только ради Мишеля, но ради себя самой не успокоюсь я до тех пор, покуда не увижу его свободным...»

Все письма на имя царя, которые посылала мать Бакунина с просьбой об облегчении участи сына, оставались без ответа. Новому царю нужно было еще одно унижение Бакунина, нужно было еще одно покаяние.

Через два года после восшествия на престол Александр II получил от Бакунина пространное прошение о помиловании. Узник писал:

«Государь! Одинокое заключение есть самое ужасное наказание; без надежды оно было бы хуже смерти: это — смерть при жизни... Но это жестокое одиночество заключает в себе хоть одну несомненную и великую пользу: оно ставит человека лицом к лицу с правдою и с самим собою. В шуме света, в чаду происшествий легко поддаешься обаянию и призракам самолюбия; но в прину-

жденном бездействии тюремного заключения, в гробовой тишине беспрерывного одиночества долго обманывать себя невозможно: если в человеке есть хоть одна искра правды, то он непременно увидит всю прошедшую жизнь свою в ее настоящем значении и свете; а когда эта жизнь была пуста, бесполезна, вредна, как была моя прошедшая жизнь, тогда он сам становится своим палачом; и сколь бы тягостна ни была беспощадная беседа с собою, о самом себе, сколь ни мучительны мысли, ею порождаемые,— раз начавши ее, ее уж прекратить невозможно. Я это знаю по восьмилетнему опыту.

Государь! Каким именем назову свою прошедшую жизнь? Растраченная в химерических и бесплодных стремлениях, она кончилась преступлением... а раз вступивши на ложный путь, я уже считал своим долгом и своею честью продолжать его донельзя. Он привел и ввергнул меня в пропасть, из которой только всесильная и спасающая длань Вашего величества меня извлечь может...

Государь!.. Если бы мог я сызнова начать жизнь, то повел бы ее иначе; но — увы! прошедшего не воротишь! Если бы я мог загладить свое прошедшее делом, то умолял бы дать мне к тому возможность: дух мой не устрашился бы спасительных тягостей очищающей службы: я рад бы был омыть пóтом и кровью свои преступления...

Каков бы ни был приговор, меня ожидающий, я безропотно заранее ему покоряюсь, как вполне справедливому, и осмеливаюсь надеяться, что в сей последний раз дозволено мне будет излить перед Вами, государь, чувство глубокой благодарности к Вашему незабвенному родителю и к Вашему величеству за все мне оказанные милости.

Молящий преступник

Михаил Бакунин».

Царь повелел отправить Бакунина в ссылку на поселение.

По пути из крепости в Сибирь конвоир, жандармский поручик Медведев, с разрешения своего шефа князя Долгорукова привез арестанта в город Торжок, подле которого было расположено имение Бакуниных. И вот в течение нескольких часов Михаил Александрович снова находился в премухинском раю, о котором мечтал во сне и

наяву, на чужбине и в каменной щели тюрем. Не было в живых отца, недавно скончалась несчастливая Варенька Дьякова, но две другие сестры встретили его слезами и объятиями. Все так же замкнута, насмешлива и надменна была Александрина; нервна, экзальтированна и плаксива его любимица Татьяна. Она так и не вышла замуж, хотя перешагнула уже за сорок.

Мать, к коленям которой, как это бывало в детстве, припал сын, стала дряхлой, измученной старушкой. Михаил понял это, целуя сморщенную, узкую, как древний свиток, руку, которую он помнил такой гладкой, красивой. И в саду у дома состарились и медленно умирали березы; их он знал столько же лет, сколько самого себя.

Оглушенный пением птиц, голосами людей после восьмилетнего безмолвия, ослепленный светом и красками после мрака тюрем, едва державшийся на ногах, беспомощный, растерянный и нежный, как новорожденный, он вызывал жалость и беспокойство.

Освобождение из каземата. Наконец-то! Сколько крови, жертв, героизма, подвигов, преступлений, больших и мелких подлостей, отступничества совершается ради этого. Но Бакунин отгонял такие думы. Это омрачило бы долгожданную радость. Он вбирал всеми чувствами жизнь, наслаждался правом двигаться, дышать свежим воздухом, возможностью смотреть в окно без решеток и оставлять все двери открытыми настежь. Будущее казалось прекрасным, как и все окружающие люди.

После восьми лет существования по ту сторону жизни он снова гладил стволы деревьев, удивлялся красоте каждого растения, ложился на землю, чтобы коснуться щекой травы, смотрел на забытые было звезды и громко смеялся.

Он казался немного безумным, но сам не замечал этого. И говорил, говорил, говорил. Все его тело болело от слишком яркого освещения, шума. Сердце его вдруг начинало биться быстро, неукротимо. Но время растворилось, прошло, и снова под охраной тактичного и молчаливого жандарма Бакунин отправился на восток.

В Омске секретный арестант был сдан начальнику штаба отдельного Сибирского корпуса.

Выезжая в тайгу на поселение, Бакунин писал шефу жандармов генерал-адъютанту князю Долгорукову:

«Ваше сиятельство!

Пользуясь отъездом поручика Медведева, беру смелость писать к Вам еще раз для того, чтоб в последний раз благодарить Ваше сиятельство за могучее ходатайство, спасшее меня от крепостного заключения, и за великодушное снисхождение, которое я имел счастие испытать в продолжение моего кратковременного пребывания в Третьем отделении и которое сопутствовало мне до самого Омска в лице поручика Медведева».

После недолгого пребывания в глухой Нелюбинской волости Бакунин был переведен в Томск, живописнейший городок. На новом месте Михаил Александрович устроился сразу же очень хорошо. Местное общество — богатые золотопромышленники, кой-кто из ищущих на окраине империи наживы дворян — отнеслось к нему сочувственно и доверчиво. Получив немного денег от родных, Бакунин купил себе бревенчатый, уютный домик, предался счастливому отдыху и, главное, наслаждался сознанием хотя не полной, но все же свободы.

Наконец-то он мог ходить, сколько хотел, по широким просторам, правда, в пределах нескольких верст вокруг города. Но и это было восхитительно. Он все еще бурно радовался окружающей природе. Долгое время глаза его болели, он плохо различал отдельные звуки. Его большое тело было расслабленным, и лоб постоянно покрывался испариной. Но постепенно он становился крепче, здоровее. Исчезла гримаса горечи, расправились могучие плечи. Он помолодел. Ему нельзя уже было дать его сорока четырех лет. Неодолимая жажда жизни охватила его в эту пору физического возрождения. Он как бы скинул с себя прошедшие в крепости годы.

Давая уроки французского языка, Бакунин часто бывал в семье обедневшего белорусского дворянина Квятковского, который в надежде на богатство променял родную Могилевскую губернию на холодную Сибирь. Так и не сделавшись старателем, он поступил на службу к удачливому золотопромышленнику и жил безбедно с большой семьей. Его жена, полька, благоволившая к русским, охотно принимала гостей, тем более что в доме подрастали три дочери, миловидные, жизнерадостные яркие блондинки — Софья, Антония и Юлия. С двумя старшими

девушками занимался французским языком Михаил Александрович.

Обе ученицы быстро поддались очарованию этого столь много видавшего и испытавшего человека. Ему же понравилась Антония. Убедившись в том, что встречает взаимность, Бакунин решил жениться. Он объяснился в любви и поведал девушке, как влечет его к себе тихая семейная жизнь. Был ли он искренен, говоря об этом, хотелось ли ему действительно после долгого одиночества и страдания иметь наконец свой семейный очаг? Любил ли он Антонию, которой годился в отцы, или надеялся отвести от себя подозрения правительства, с помощью брака заслужить доверие царя и Третьего отделения и быть прощенным? Мечтал ли о побеге, или, наоборот, собирался навсегда обосноваться в крае, сулившем многие служебные выгоды и быстрое обогащение?

Бакунин просил Антонию быть его спасительницей. Она, не скрывая своей любви, согласилась идти с ним под венец.

— Верьте мне,— убеждал ее Мишель вкрадчиво и пылко,— хотя я и мог бы называться ровесником самого гетевского Фауста и слишком стар, чтобы забавляться пустяками, я в то же время достаточно молод, чтобы любить вас и сделать счастливою.

Антония, с ее прозрачной кожей, ясными, ничего не выражающими огромными голубыми глазами и пышными волосами, напоминавшими цветом золото и платину, казалась ему то Прекрасной Еленой, то чистой Гретхен.

Родители невесты, особенно отец, сначала возражали против этого брака. Бакунин был ссыльным, без будущего, без положения в обществе, без состояния. Но то, что он приходился по матери родным племянником могущественному губернатору Восточной Сибири Муравьеву-Амурскому, положило конец их колебаниям.

Антония не сомневалась, что ее муж добьется в жизни всего, чего захочет, и слепо ему доверяла. Пышная, шумная, хмельная, как принято в Сибири, свадьба состоялась без промедления, и молодожены поселились у Квятковских.

Прошел год. Бакунин все больше тяготился нудной повседневностью отдаленного северного городка. Мятущийся, честолюбивый характер не мирился с провинци-

альным прозябанием. В Томске некому было восхищаться его красноречием и начитанностью. Он изнывал от скуки в обществе болтливого тестя. Антония, пустенькая, добрая, не могла заполнить собой затянувшийся досуг Бакунина. Наконец хлопоты всесильного в этом крае Муравьева-Амурского увенчались успехом, и его родственник смог переселиться из Томска в Иркутск. Вся семья Квятковских последовала туда за дочерью и зятем. В большом торговом городе, резиденции губернатора Восточной Сибири, ссыльный, бесправный Бакунин попал снова к людям своего круга. Дома сановников Муравьева и Корсакова, а вслед за ними и другие открылись для него. Он был там желанным гостем и быстро прослыл человеком душевным, весьма образованным, всем сердцем раскаявшимся в своем прошлом и преданным российскому престолу. Купцы почитали за честь потчевать его у себя и помогать займом. Но с ссыльными революционерами Бакунин не поладил, всячески их избегал, обзывал сутягами и доносчиками.

Прямолинейный, крайне несговорчивый с власть имущими Петрашевский, живший в ссылке в Иркутске, бывшие декабристы и другие поселенцы презирали Бакунина. Ему это как будто было даже приятно. Чем руководился он в своем поведении? Хотел ли выслужиться, рассчитывал ли на царское прощение и милости, отводил ли от себя всяческие подозрения жандармов, чтобы осуществить побег?

Когда появилась у Бакунина мысль покинуть тайно Россию? Может быть, он решил это еще в Петропавловской крепости, в одиночной мрачной камере или уже в Томске, дав себе отчет, что обречен на жалкое существование отверженного.

Поняв, что на родине нет применения его энергии и впереди ждет постоянная зависимость и безденежье, он решил вырваться из ссылки. Переезд из глухого Томска в Иркутск значительно облегчал достижение этой цели. Осмотревшись, Бакунин увидел, что бескрайние просторы Сибири, а главное, близость Амура и морской границы облегчает побег. Далеко, с противоположного конца материка, к нему протянулась рука помощи. Лиза после женитьбы Бакунина с еще большим жаром принялась искать путей для его освобождения. Она считала, что это ее долг — преодолеть чувство ревности. Деньги Лизы зна-

чительно облегчали бегство, о котором неотступно думал недавний арестант Шлиссельбургской крепости.

Завязав самые тесные отношения с местными чиновниками и богатыми золотопромышленниками, Бакунин принялся добиваться права передвижения по Сибири. Униженно описывая бедность свою и своего семейства, он убеждал начальство, что нуждается в разъездах, дабы, промышляя и торгуя, зарабатывать этим средства к существованию. Упорство его преодолело колебания администрации, и наконец сам генерал-губернатор Сибири Корсаков уважил просьбу Бакунина, взяв с него честное слово, что он ничем не нарушит закона. Бакунин охотно поклялся в этом. Разрешение было дано. Вплоть до самого моря мог он отныне свободно передвигаться по великой Сибири. Ему даже разрешалось плавать на казенных судах по Амуру.

Кяхтинский купец Сабашников нанял Бакунина к себе на службу и предложил ему отправиться на Амур для осмотра тамошних мест и выяснения, годны ли они для промышленных и торговых предприятий. Получив разрешение от Корсакова, Михаил Александрович стал готовиться к отъезду. Его белокурая красавица жена была посвящена им во все планы. Он всегда доверял женщинам, которые его любили, и не имел повода раскаиваться в этом. Накануне расставания Бакунин заверил Антонию, что он любит ее безмерно.

— Если, бог даст, все удастся и судьба будет ко мне благосклонна, мы встретимся в Англии. Поезжай туда через Петербург. Я буду ждать тебя, мой ангел-хранитель, у Герцена.

На рассвете, заверив родственников жены, что через два месяца вернется, Бакунин отправился по Ангаре к Байкалу. Было ослепительное утро. Белокаменный Иркутск на горе выглядел особенно красивым. Ярко блестели золоченые купола его собора и церквей. Ангара казалась мелководной настолько, что в совершенно прозрачной воде отчетливо видно было серо-зеленое каменистое дно. Скоро, как-то совсем неожиданно, появился обманчиво спокойный, огромный Байкал. Бакунин, несмотря на тщательно скрываемое беспокойство и поглощенность тем, что его ожидало, все же отдавался созерцанию величавой, неповторимой красоты окружающей природы. Исполинские сосны, подступившие к самому озеру, пронизанные

потоком солнечного света, подавляли своим совершенством и величиной. Так теряется человек перед зрелищем горных вершин и бушующего океана. Природа достигла творческого предела. Это лучшее из того, что ею создано. Таковы сибирская тайга и озеро Байкал.

Вместе с Бакуниным ехали несколько видных иркутских чиновников и военных, а также инженер-механик Маюров, человек с толстым красным лицом, любитель выпить, поиграть в карты, ищущий возможности быстро, легко разбогатеть. Природу он рассматривал жадно и презрительно, как тряпичник мостовую.

— Скажите, господин Бакунин, что можно извлечь из этой штуки? — Он указал на стройную, уходящую в небо сосну с ярко-зелеными пушистыми ветками, которые раскачивал, будто исполинское опахало, теплый ветер с Байкала.

— Из нее, пожалуй, выйдет корабельная мачта,— без удивления ответил Михаил Александрович,— да и сотни других полезных предметов. Думаю, она не менее щедро способна облагодетельствовать человека, нежели кокосовая пальма, к примеру. А первенство по красоте я без колебания отдам нашей царице лесов.

— Красота, батенька, как сказал философ, есть потрясение нервов. Из нее шубы не сошьешь, и признаю я эту самую красоту только у женщин,— пробурчал Маюров и предложил своему спутнику распить бутылку водки. Бакунин отказался. Полное самообладание и ясность мыслей были сейчас ему совершенно необходимы.

— Ну, одной красоты маловато и у женщин. Им еще и знания нужны.

— А я, знаете ли, тут полностью разделяю такие взгляды: «Поменьше учености, побольше бюста». Скажу я вам, батя Михаил Александрович,— захохотал Маюров,— опротивел мне этот будто бы богатейший край. Живут тут одни только каторжники, отщепенцы, забулдыги и всякое отребье рода человеческого. Заметили ли вы названия селений здешних, вот хоть бы от Иркутска к Красноярску: Решеты, Кандалки, Каински, Железы. Простите, я, кажется, на больное место ваше наступил. Но дворяне и в кандалах благородства не теряют. Скажите, однако, орел мой, что думаете вы о Сибири в смысле, так сказать экономическом?

— Это край благословенный, хранящий неиссякаемые, необъятные богатства в дебрях своих, в лесах и на поверхности земли,— оживился Бакунин. — Он таит в себе силы свежие, будущность великую. Для умелого и даровитого человека здесь на каждом шагу кладези. Это, если хотите, земля сокровищ. А что до отверженных и заблудших сынов России, то Сибирь самим провидением создана для возрождения их судьбы. Она не может не обновить человека, и все, кто посреди преступных заблуждений сохранил душу свою неприкосновенною, а также силы и волю для правильной жизни, находят в сем сказочном диком краю свое счастье и благосостояние. Надеюсь и я быть в их числе.

Маюров вслушивался в слова собеседника, как в песню.

— Как вы, Михаил Александрович, речь ведете. Родится же человек эдаким краснословом! А я диплом и знания кой-какие имею, на Амуре рысь либо тигра кладу наповал с одного выстрела, да вот говорить не мастак. Беден мой язык. Не Демосфен я и не Гизо. Значит, говорите, разбогатеть в Сибири можно даже и порядочному человеку?

Так, в беседах, развлекаясь на частых и длительных остановках рыбной ловлей, охотой, собиранием ягод, игрой в карты, медленно подвигались Бакунин и Маюров по Амуру к Николаевску и прибыли туда на пароходе лишь в самом начале июля.

Вместе с ними в тот же день приехал в Николаевск и молодой мичман Бронзерт, которому в Иркутске был дан секретный пакет с обозначением «нужное» для немедленного по приезде вручения военному губернатору Приморской области Восточной Сибири. В нем находилось сообщение о том, что Бакунин находится под надзором полиции. Но вместо того, чтобы передать важный документ непосредственно по назначению, мичман оставил его в Иркутске своему другу, который на другой день внезапно тяжко заболел. Лишь спустя два месяца дошло уведомление о поднадзорности Бакунина до адресата.

Ровно неделю находился Бакунин в Николаевске и завел много знакомств среди чиновников и купцов.

В маленьком скромном домике с палисадником и мансардой на речной набережной жил старый аудитор военносудной комиссии при штабе Приморского округа, по фамилии Котюхов. Это был старательный чиновник,

смирный, богобоязненный и весьма надоедливый желанием во все соваться и изобличать. Комнаты его были увешаны портретами усопшего и ныне здравствующего императоров, иконами, патриотическими картинками из времен Отечественной войны и покорения Кавказа. Любимым героем считал он Кутузова, молился Георгию Победоносцу. Немногие ссыльные, жившие в Николаевске, уважали аудитора за его отзывчивость, трудолюбие и честность. Он не брал взяток, не пьянствовал, не играл в карты и не развлекался жестокостью.

Июльским вечером накануне исчезновения Бакунина из города к домику аудитора дважды приходил весьма взволнованный старик в поношенном картузе и ветхом платье. Примечателен он был тем, что лицо его до бровей заросло волосами. Во второе свое посещение, узнав, что хозяина дома все еще нет, он обратился к широкоскулой пожилой прислуге с просьбой:

— Почтеннейшая, обещайте мне тотчас же, как только Василий Григорьевич вернется, вручить ему мое письмо. Сие очень важно и не терпит отлагательства.

Женщина, ответив что-то маловразумительное, вытерла о фартук руки, осторожно взяла запечатанный конверт, понесла его в комнату и положила на стол у хозяйской постели. Позднее она вошла снова, взяла лампу, подлила керосину, зажгла ее и поставила, не заметив, что при этом прикрыла письмо. Только на другой день, вернувшись из присутствия, старый аудитор случайно обнаружил его.

«Небезызвестный вам Бакунин приехал сюда затем, чтобы бежать за границу. Это я знаю достоверно,— писал хорошо знакомый Котюхову ссыльный Гилярий Вебер. — Если бы я, лицо частное, явился к лицу официальному и вздумал рассказать, что мне известно о планах Бакунина, то это не только имело бы вид доноса, но и было действительным доносом; заслужить же на старости лет название доносчика мне бы страх как не хотелось. Вы дело другое. Вас я знаю...»

Далее подробно описывался план побега Бакунина.

«Чтобы вам не показалось странным и непонятным мое желание удержать от побега Бакунина, я в кратких словах расскажу вам причины, заставившие меня вмешаться в это дело. Эти причины заключаются в следующем: 1) Я чувствую нелицемерную благодарность к ны-

нешнему царю за многие милости, излитые на моих соотечественников и на меня самого. 2) Я глубоко убежден, что побег Бакунина сделает много зла его жене, семейству его и генералу Корсакову, а не принесет решительно никакой пользы ни человечеству, ни России, ни даже ему самому. Бакунин не в состоянии сделать никому добра: это олицетворение эгоизма. 3) Побег Бакунина повредит многим из моих соотечественников, находящимся в изгнании, потому что правительство из опасения, чтобы подобные случаи не повторялись между политическими преступниками, усугубит, без всякого сомнения, надзор за этими несчастными».

Прочитав сообщение Вебера, не теряя ни минуты, Котюхов побежал на пристань.

— Где капитан Сухомлин, где клипер «Стрелок»? — крикнул он, остановив первого проходившего мимо матроса.

— Эка вспомнили! — удивился тот. — Повел на буксире иностранное судно к морю.

— Далеко ли ушли?

— По лиману быстро не пойдешь.

— Какое судно повел «Стрелок»?

— Американский барк «Викери».

Старый аудитор схватился за голову.

— Предатели, взяточники, царя обманули,— бормотал он. — Конечно же, не без Хитрово и Филипеуса дело состряпалось. Немалый, видно, куш отхватили, ну и обдурили юродивого своего начальника. Не губернатор, а стыд и горе края.

Охая и вздыхая, Котюхов бросился к начальнику штаба Приморского округа Афанасьеву и рассказал все, что знал о намерениях беглеца.

— Если выслать готовый к отплытию «Амур», на котором Бакунин прибыл к нам, легко можно нагнать клипер,— настаивал он. Но Афанасьев слушал его рассеянно и ответил с подчеркнутым равнодушием:

— А нам с вами что за дело до Бакунина, пусть себе бежит. В ответе за него не мы будем, а генерал Корсаков.

— Да ведь Бакунин государственный преступник, ссыльный, состоит под гласным надзором полиции.

— Откуда, сударь, вам это известно? Никаких предписаний на этот счет из Иркутска к нам не поступало,

а вот разрешение генерал-губернатора ездить ему по всей Сибири и даже на казенных судах я сам видел.

Котюхов с присущим ему упорством не отступал:

— Вам, начальнику штаба, не пристало равнодушно относиться к побегу. Каждый благонамеренный русский обязан помочь изловлению Бакунина. Снарядите погоню.

Афанасьев внимательно посмотрел на горячившегося аудитора и вдруг сказал твердо:

— Вы, пожалуй, правы. Время еще не упущено. Командир «Стрелка» не скоро доберется до Де-Кастри, потому что, по своему обыкновению, посетит все банки на лимане, а я между тем успею послать предписание «Амуру» плыть на Кызи и дальше.

— Слава богу,— облегченно вздохнул Котюхов и вышел.

«Амур» разводил пары. На фонарных столбах висели объявления, что пароход отправляется в Благовещенск.

Прежде чем идти домой, неуемный аудитор отыскал Вебера и допросил его сурово:

— Откуда узнали вы все о Бакунине? То-то теперь начнется дознание, притеснения и неприятности. Кто же способствовал его побегу?

— Извольте, добрейший Василий Григорьевич, я вам все как на духу расскажу. Бакунин, о котором писали мне друзья неоднократно из Иркутска, право, отвратителен, и не хочу я, чтобы ради его тщеславия и меркантильности страдали ни в чем не повинные люди. Вчера сей самовлюбленный краснобай зашел ко мне. Я не искал с ним сближения и встретил недружелюбно. «Вы мне не верите и относитесь апатично, но я готов сделать вам преважное признание»,— начал он и рассказал далее о том, что, давая честное слово Корсакову не бежать из Приморья, твердо решил сделать обратное. В Лондон зовут его, мол, Герцен и другие единомышленники. Много произнес он выспренних и пустозвонных фраз, любуясь собой и своим красноречием. Человек он путаный, вредный.

Аудитор, расставшись с Вебером, хоть и был он очень утомлен, снова свернул к пристани. Прошло уже несколько часов после разговора Котюхова с Афанасьевым, давно стемнело, а «Амур» не только не двинулся с места, но и огни на нем погасли.

Только спустя двое суток поплыл пароход в Кызи и повез предписание начальника штаба округа задержать

и вернуть в Николаевск беглеца. В это время американское судно увозило Бакунина далеко прочь от российских берегов. Сидя в кают-компании за стаканом вина, раскрасневшийся, счастливый, самонадеянный Бакунин громко рассказывал историю своей жизни нескольким пассажирам и капитану корабля:

— Кто я такой? Сын помещика Тверской губернии, воспитывался в артиллерийском училище, произведен в прапорщики и тут же уволен в отставку. Как видите, чин не велик, да я и не метил в генералы. Слыхали ли вы о повешенном царем декабристе Муравьеве-Апостоле? Это близкий родственник моей матери. Родившись аристократом, я, подобно ему, не мог покорно терпеть произвол государей и рабство, в котором находится простой народ на моей родине.

Бакунин встал. Он казался гигантом в небольшой каюте и, рисуясь своим ростом и внушительной внешностью, прошелся по ковру к иллюминатору.

— Самая большая загадка на земле — это судьба человека. Мог ли думать я, дважды осужденный на смерть, прикованный цепью к стене прусской тюрьмы, восемь лет погребенный заживо в крепости палача-царя, что буду свободен, как океан. Жизнь моя начинается снова.

Когда Бакунин ступил на землю Великобритании, аудитор Котюхов подал прошение об отставке, так как навлек на себя жестокую немилость начальников и в первую очередь Афанасьева.

Но следствие по делу о побеге Бакунина только начиналось.

Приближалось рождество — Христмас — самый любимый и веселый праздник на Британском острове. Лиза заперлась в своей комнате, чтобы составить список необходимых подарков. Маленькой Асе и Оле Герцен предназначались куклы и мячи, Красоцкому новая скрипка, няне Пэгги клетчатая шотландская шаль, различным знакомым нарядные курительные ящички, флаконы с цветочными эссенциями или торты. Для Герцена и Огарева Лиза давно заказала два настольных золоченых колокола, издававших мелодичный звон.

Проверив, не забыла ли кого в длинном перечне, Лиза отправилась в наемном старом, скрипящем кебе, запря-

женном меланхолической лошаденкой, на Бонд-стрит, в большой пассаж и многоэтажные дорогие магазины.

«В Лондоне,— утверждали яркие, расклеенные на тумбах рекламы,— вы можете купить все, что производится на нашей планете».

В лавках, торгующих собаками, были представлены все существующие на земле породы: от китайских плоскомордых мохнатых пекинизов, тибетских бесшерстных узкоглазых сторожевых псов, запрещенных к вывозу самим далай-ламой, до обрюзглых, насмешливых французских бульдогов и пушистых ньюфаундлендов.

Индус без труда мог отыскать в английских магазинах шаль, сотканную и расшитую на его родине, житель Малайских островов — знакомые бамбуковые плетенья.

Лондонские лавки имели свои особенности и различались от таких же во Франции или Германии. Там — шум ярмарки, пестрота, путаница, загроможденность рынка; в Англии — тишина, порядок, простор хорошей конторы или банка.

В огромном магазине поставщика королевы молодой титулованный денди легко отбирал все, без чего не мыслил он жизни: полное снаряжение для лодочных гонок, костюмы для верховой езды и ужения рыбы, набор трубок, модные галстуки и носовые платки, ручную обезьянку для скучающей кузины, старинный портсигар для клубного приятеля. Придворная дама узнавала там творения французских портных, законодателей моды. Знатная невеста находила для своего приданого белье, перчатки, чулки, одеяла и обстановку, ручной работы вышивку, старинную мебель, картины и породистых собак «поставщика ее величества».

Другие лавки отдавали предпочтение английской шерсти, ярким тканям, к которым такое пристрастие у народа, погруженного в серый кисель неба, моря и камня. На их витринах разложены были светлые, сборчатые в поясе брюки, рыжие сюртуки и огромные кастрюли из бархата — дамские шляпки, похожие на вороньи гнезда, и надеваемые на кончик головы «свиные пирожки», опрокинутые на лоб, оставляющие открытым затылок.

В отделе «роскоши» седоволосые, всегда улыбающиеся приказчики из породы «верных, послушных слуг», кроме серебряных сервизов и фруктовых ваз, тяжеловесных и унылых, как керосиновая лампа, показывали многочис-

ленные колониальные творения: костяных божков, зверей, жриц индийских храмов, плетенья, циновки и кружева с острова Мартиники, шкуры животных и драгоценные камни из Южной Африки.

Черногорские, лапландские и венгерские крестьянки вышивали для англичанок блузки, мережили белье, вязали платки и детские платья. Австрийские и немецкие кустари также доставляли в Англию свою продукцию. Большие многоэтажные магазины хищно скупали товар разорившихся фирм и ловко опутывали, забирая в рабство, мелкие обувные, одежные, столярные, шляпные мастерские в Уайтчапеле и Сохо и продавали всю их не находящую сбыта продукцию под своей маркой.

Лизе доставляло большое удовольствие рассматривать красивые безделушки и покупать то, что ей нравилось. Как настоящая женщина, она не удержалась от примерки тафтового кринолина модного, переливающегося от зеленого к красному, цвета. Радостно было одаривать друзей и мечтать о том, как обрадует их тщательно продуманный подарок. К вечеру, усталая, оживленная, нагруженная всевозможными пакетами и свертками, Лиза вернулась домой.

В детской она услышала веселый визг и гомон. На ковре животом вниз, поджав ноги, полз, изображая черепаху, Сигизмунд Красоцкий.

Завидев мать, раскрасневшаяся Ася бросилась к ней.

— Дядя Сиг такой смешной. Он хотел, чтобы я была обезьянкой.

Лиза прижалась губами к маленькой головке чуть вспотевшей от беготни девочки. Запах, исходивший от мягких детских волос, напоминал ей своей нежной пряностью ветки цветущего тополя.

— Я купила тебе подарки, дарлинг. Что бы ты хотела?

— Папу,— сказала девочка.

— Кого, кого? — растерялась Лиза.

— Только дядю Сига. Я хочу, чтобы он был не черепахой, а моим папой.

Ася вприпрыжку побежала к Красоцкому и охватила его ручонками. Совершенно смущенный, он продолжал все еще лежать на полу.

— Иди и позови Пэгги,— нашлась Лиза.

Тогда Красоцкий поднялся и подошел к ней.

— Пусть наивные пожелания ребенка вас не смущают,— сказал он, заикаясь от волнения.

— Послушайте, друг мой, вам под пятьдесят, а мне под сорок. Позади большая жизнь и опыт. Нам не пристало говорить языком юности. Если вы любите меня, какая я есть, со всеми моими непоправимыми ошибками... Но что с вами, отчего вы так бледны? Не больны ли вы?

— Нет, Лиза, я, верно, принадлежу к племени Азра, люди которого, как пишет Стендаль, умирают от любви.

В этот особенный для Сигизмунда и Лизы вечер они решили повенчаться в день Нового года, без оглашения и гостей.

Рассылая визитные карточки в традиционные дни рождества, Лиза нашла у себя адрес Женни Маркс, который взяла у Вольфа. Ей вдруг сильно захотелось увидеть эту женщину, в которой все внушало уважение и симпатию. И, поддавшись этому когда-то вспыхнувшему чувству, Лиза без долгих размышлений решила отправиться с визитом на Графтон-террес Мейтленд-парк.

На столичной окраине, где жила Женни Маркс, наемный фиакр с трудом продвигался вперед. Здесь был хаос созидания и стройки. Кучи щебня, глины, бадьи с раствором, ухабы и рытвины препятствовали всякому передвижению. Был праздник, и рабочих не было видно возле начатого строительства. На большом пустыре среди нескольких неогороженных зданий Лиза отыскала дом № 9.

Задержав кебмена, она поднялась по нескольким ступенькам и на квадратной, каменной площадке принялась о скобу счищать грязь, густо облепившую ее высокие шнурованные ботинки. Заметив висевший на цепочке молоточек, постучала по металлической пластинке. Сначала в боковом узком окне появилась женская голова, повязанная платком, и затем входная дверь отворилась. Елена Демут вопросительно смотрела на гостью. В это время позади нее раздался голос Женни:

— Входите же, пожалуйста. Очень рада видеть вас. Это та русская дама, с которой Люпус познакомил нас еще в Брюсселе. Помнишь, я тебе рассказывала,— пояснила она Ленхен, которая недоверчиво продолжала рассматривать Лизу, сразу почувствовавшую неловкость оттого, что была столь богато одета. Шуба, отделанная соболями, доставшимися ей по наследству, заняла всю вешалку в маленьком холле.

Комнаты в доме, которые Женни показала Лизе, были очень миниатюрны, светлы и уютны. В полуподвале находилась кухня, на первом этаже по одну сторону — большой кабинет Маркса, а по другую — крошечные столовая и гостиная. Крутая лесенка вела наверх, где были узенькие спаленки для взрослых и детей. По сравнению с двумя каморками на Дин-стрит этот домик казался его обитателям пределом возможной роскоши, простора и удобств.

Когда Женни усадила Лизу в гостиной и Ленхен подала скромно сервированный чай с сандвичами, с прогулки вернулись Женнихен, Лаура и Тусси.

Обе старшие девочки несколько смутились, когда мать представила их незнакомой даме, но Тусси, прелестный трехлетний ребенок с румянцем во всю щеку и озорными глазенками, тотчас же очутилась на коленях у Лизы. Так же сердечно приветствовал ее большой черный кот с зелеными дикими глазами, пришедший вместе со своими юными хозяйками.

— Вас любят дети и животные, а это безошибочно хороший признак,— сказала громко Женни, искоса поглядывая на недовольную Ленхен.

— Вы русская? — зардевшись от смущения, спросила Женнихен. — Значит, вы рабовладелица. Вы привезли, верно, своих невольников с собой? Мне очень жаль этих бедных людей.

— У меня нет рабов,— тоже покраснев, отвечала Лиза,— я уверена, что этот позор кончится на моей родине и все люди будут свободными.

Лаура, неотрывно рассматривавшая гостью, вдруг сказала по-русски, четко выговаривая слова:

— Вы краснавица.

Лиза широко раскрыла глаза, услыхав слегка искаженное лишней буквой «н» лестное русское слово, обращенное к ней тоненькой очаровательной девочкой.

— Красавица не я, а вы, Лаура,— ответила она по-русски.

— Я знаю только это одно слово на вашем языке — краснавица, Бьюти. Дядя Энгельс научил меня. Он хорошо говорит по-русски и переводил как-то мне и Кви-Кви, — она указала на старшую сестру,— стихи Пушкина.

Лиза взяла со стула огромную соболью муфту и вынула нарядную бонбоньерку с конфетами.

— Это мне, я маленькая! — крикнула Тусси, вскочив со стула.

Госпожа Маркс сурово посмотрела на дочь и приказала ей выйти из комнаты, но та в ответ только надула губки:

— У Мавра совсем нет денег, и на рождество никому не купили подарков.

— Гадкая девчонка,— со слезами на глазах произнесла Лаура, — у нас есть все.

— Нам ничего не надо,— добавила старшая из трех девочек.

— Муж на этих днях заканчивает большую многолетнюю работу по политической экономии, а «Нью-Йорк дейли трибюн», где он печатает постоянно свои статьи, платит очень неаккуратно и мало. В новом году все будет по-другому. Господин Лассаль, о котором вы, верно, слыхали, уже договорился с издателем в Германии, и книга на днях будет туда отправлена.

Женни пыталась казаться беспечной, но ей это плохо удавалось. Она вспомнила, что в доме нет денег даже для отправки издателю рукописи, дописываемой Марксом. Лизе становилось все более тяжело, и чувство стыда за свое богатство вдруг проснулось в ней с новой силой. Глядя на усталое, бледное лицо Женни, на ее более чем скромное будничное платье, она думала, как бы помочь Марксу и его семье, но понимала, что от чужого, мало знакомого им человека они никогда ничего не примут. Помогать им было привилегией только самых дорогих и близких единомышленников.

— Прошу вас, не забудьте, что во мне вы имеете преданную душу, не могу ли я быть вам полезной? — несмело предложила Лиза, собираясь уходить после короткого визита.

Но Женни ответила ей только вежливым и холодным изъявлением благодарности.

— Я очень признательна, но, право же, нам сейчас ничего не нужно. — Она не сказала больше ни одного слова, но Лиза прочла невысказанную мысль: «От вас, богатой дамы, такой же нам далекой, как все ваши друзья».

Когда Лиза ушла, Ленхен смогла наконец высказать свое недовольство.

— Пустозвоны, бездельники, являются показать нам свои меха и брильянты. Последний сахар ставь им на

стол и чай заваривай. А вы, по своей слабости, готовы тратить на них время. Кто только не приезжал и не торчал у нас бог весть сколько, а откуда что берется, не спрашивал. Сколько стоило нам пребывание всяких гостей? Можно было бы за год уроки музыки наших девочек оплатить этими деньгами. Тратитесь, точно миллионеры, как только появится хоть один лишний пенс в доме. Говорю все это я, впрочем, попусту. Горбатого могила исправит,— сердито бурчала Ленхен и, махнув безнадежно рукой, спустилась по крутой лесенке в кухню, где было холодно и пусто. — Праздник, а у нас ни гуся, ни пирога, ни ломтика ветчины, которую так любит Карл,— горевала она.

Лиза, вспоминая свой визит на Графтон-террес, долго испытывала тягостное чувство. В день Нового года она вышла замуж, но вскоре Сигизмунд Красоцкий тяжело захворал. Черные и желтые туманы, сырой, бессолнечный климат острова, где он жил изгнанником, воскресили старую болезнь, нажитую после поражения польского восстания 1830 года. Лютая чахотка грозила свести его в могилу, и, по совету врачей, Лиза покинула Англию. Она увезла больного мужа и маленькую приемную дочь на прославленные воды французских и немецких курортов. Но целебные источники не помогали. Ни один медик в мире, впрочем, не знал точно, что за болезнь туберкулез, откуда он берется и как лечится.

Более года ездила Лиза со своей семьей из одной местности в другую, меняя море на горы, леса на степи. Красоцкий понемногу начал поправляться, но все еще был слаб. Он горько страдал оттого, что причинял столько хлопот и беспокойства беззаветно любимой им женщине. Уговоры Лизы, ее нежность не помогали. Больной стал угрюм и молчалив.

Лиза тосковала по соотечественникам и искала их всюду, куда заносила ее судьба в пору вынужденного кочевничества. Бывая в Париже, Красоцкие неизменно останавливались на улице Мишодьер, неподалеку от Пале-Рояля, в маленьком отеле Мольера, который содержала рьяная сторонница женского равноправия мадам Максим. Это была тучная, чрезвычайно подвижная, говорливая дама, в мужского покроя костюме, курившая сигары. Под

нарочитой развязностью и грубостью она с трудом скрывала простосердечие и чисто женскую отзывчивость. Постояльцы ее отеля обычно легко знакомились друг с другом и становились как бы членами одного кружка, возглавляемого пылкой и доброй мадам Максим.

По случаю приезда Красоцких она решила устроить вечеринку в большом незанятом номере бельэтажа. Как раз в эту же пору в Париже вышла в свет новая книга Прудона «О правосудии», в которой он, между прочим, коснулся и женского вопроса, пытаясь определить роль женщины в новом обществе. Прудон отрицал возможность равенства полов и объявлял, что в семье, как и в обществе, мужчина по сравнению с женщиной то же, что цифры «три» и «два».

В отеле Мольера, где проживали ретивые поборницы женских прав и полной свободы, взгляды Прудона были восприняты как оскорбление и вызвали возмущение и протесты.

Когда Красоцкие вошли в большую комнату, где ввиду предстоящей вечеринки вся остальная мебель, кроме столов и стульев, была нагромождена в алькове, там стоял такой шум, что они с трудом смогли расслышать слова писательницы Женни д'Эрикур, друга мадам Максим, которая читала свое письмо Прудону.

— Женский вопрос — это вопрос вопросов, но он неотрывен от свободы для всех людей на земле, независимо от их пола,— детски звонким голосом, встряхивая пышными стрижеными волосами, выкрикнула Женни д'Эрикур.

— Какое нам дело до мужчин! Это деспоты, которых надо навсегда лишить их привилегий! — возразила одна из феминисток. — Я их ненавижу!

— Сделай исключение для своего мужа и сыновей,— рассмеялась мадам Максим. — Женни, как называется книга, которую ты пишешь, чтобы положить на обе лопатки Прудона?

— «Освобожденная женщина»,— ответила тоненькая остролицая молодая писательница. — Я должна все сказать. Моя ненависть к Наполеону также требует выхода.

Госпожа Максим при этих словах поднялась из-за стола и, сделав собравшимся таинственный знак, наглухо прикрыла ставни на окнах и задернула тяжелые шторы.

— Здесь только те, кто жаждет свободы для Франции, она ведь тоже женщина.

Кто-то затянул «Марсельезу». Подняли бокалы за революцию. Красоцкие чувствовали себя великолепно среди этих горячих голов и сердец. На вечеринке находился недавно приехавший из Петербурга Николай Васильевич Шелгунов, полковник из Лесного департамента, ученейший профессор лесного законодательства. Лизе вначале показалось непривлекательным его монгольское лицо, худое, с впалыми щеками и бородкой лопаточкой. Строгие глаза с припухшими веками смотрели испытующе из-под густых нависших бровей и как бы возводили непреодолимый защитный барьер. Но с первых же слов Шелгунова это впечатление рассеялось у Лизы, и она весь вечер провела с ним в увлекательной беседе.

— Вы оставили Россию, еще когда она была под николаевским прессом,— говорил Николай Васильевич.— Многое изменилось за эти годы. Начало пятидесятых годов и конец их весьма различны. После смерти царя у всех точно выросли крылья. Так бы и взлететь в небо.

— Да, я была в Москве в глухое время. Страх пропитал воздух. Все боялись друг друга и вольной мысли. Печать не смела сказать ни одного живого слова. Журналы восхваляли царский режим и предавали анафеме всех инакомыслящих,— вспоминала Лиза.

— А теперь совсем иное. Никогда на Руси не бывало такой уймы листков, газет, журналов, как начиная с пятьдесят шестого года. Вся печать нынче достигает, вместе с официальной, двухсот пятидесяти изданий. Это ли не осуществление самых смелых мечтаний передовых людей. Одними объявлениями об этих изданиях можно оклеить башню собора Ивана Великого. А к тысяча восемьсот шестидесятому году будет их еще больше. Как грибы после дождя, растут все виды слова печатного.

— И все это, наверно, главным образом в Петербурге издается.

— Нет, и в Москве в равной степени. Эти города — голова и сердце России. А сколько новых имен, замечательных людей выросло на родной нашей земле. Таланты что дубы могучие. Сейчас поистине пора молодых, их время,— сказал с неожиданным воодушевлением Шелгунов.

— А вы тоже пишете? — спросила Лиза.

— Я пока только еще начинающий литератор, писал до сих пор я по научному лесоводству,— улыбнулся Николай Васильевич, и лицо его стало значительно привлекательнее. — Сейчас есть нам над чем размышлять, что чувствовать,— значит, есть чем поделиться с другими людьми. Помимо лесной технологии, живому человеку нужно живое, то, чем поглощен он сполна, что заставляет его мучиться в поисках ответа. Каждый в наши дни хочет читать и учиться и высказать громко думы свои. Долго были мы скованы и погружены точно в сон летаргический.

— Я много слышу в последнее время о Чернышевском. Видели ли вы его вблизи? Скажите, прошу вас: каков он, хотя бы по внешнему виду?

— Сила его не в наружности. Роста он небольшого, белокурый с рыжинкой, худощав. Говорит негромко и слегка потупившись. Голубые глаза у него заметно близоруки, внимательны и умны. Есть в нем большая внутренняя сила, так что невольно подчиняешься ему, хотя он к тому как будто и не стремится. Подлинно это пророк университетской молодежи, истинный продолжатель идей и деятельности Белинского, но поднявший теоретическую мысль на новую высоту. К тому же это человек действия.

— Как вы стали сразу красноречивы, говоря о Чернышевском.

— Да, это человек весьма необыкновенный, и дорог он мне тем, что стремится к преобразованию нашей общественной жизни и к борьбе за интересы крестьянские. О нем можно сказать словами Сийеса: «Он прочитал все, он знает все, он помнит все».

Николай Васильевич, в свою очередь, принялся расспрашивать Лизу о революционерах-изгнанниках, проживающих в Лондоне. Они долго говорили о Герцене, затем Шелгунов спросил:

— Не приходилось ли вам когда-либо встречаться с выдающимися и благороднейшими немецкими учеными Фридрихом Энгельсом и доктором Карлом Марксом?

— Авторами «Коммунистического манифеста»,— досказала Лиза. — Энгельса не знаю, а Маркса пришлось дважды видеть. Бакунин был с ними коротко знаком, и от него я часто слыхала об их деятельности.

— Читали ли вы «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса?

— Нет. Не пришлось.

— Читайте неотлагательно. Европейская экономическая литература не знает лучшего сочинения. Я захвачен этой замечательной книгой, собираюсь перевести ее, чтобы русские люди знали и автора, и его редкостный по глубине труд о рабах.

— О ком? — не поняла Лиза.

— Я говорю вслед за Энгельсом о классе рабочих. Это действительно новые невольники, которые продаются как товар тем, на кого работают, и цена на них падает или поднимается в зависимости от запроса.

Николай Васильевич Шелгунов был, по мнению Лизы, очень умным и значительным человеком. Он был вовсе не похож на тех русских, которых она знала раньше. В чем было различие, она не могла себе уяснить и отнесла Шелгунова к новым людям, появившимся в России после Крымской войны и смерти Николая I. Тоска по родине охватила Лизу. Но о возвращении нельзя было думать. Сигизмунд Красоцкий был все еще очень болен.

В Ахене, куда в 1860 году приехали Красоцкие, находилось много русских, свято веровавших в исцеляющую силу этого тенистого курорта. В отеле, где Лиза сняла комнаты для своей семьи, за табльдотом она заметила старого господина с окладистой пепельно-серой бородой и жгучими монгольскими глазами на волосатом скуластом лице. С ним всегда была девушка, точно сошедшая со страниц романов Тургенева, которыми зачитывалась Лиза. Русая коса, строгие, нежные черты лица, тонкий стан — все в ней было красиво. Бородатый господин оказался русским помещиком Солнцевым, а девушка — его дочерью Ольгой.

Красоцкие и Солнцевы быстро подружились и проводили много времени вместе, тем более что старый помещик оказался отчаянным либералом, подписал петицию царю о необходимости освобождения крестьян, ораторствовал о пользе строительства железных дорог и заводов по типу английских. Сам он был пайщиком нескольких предприятий, от которых покуда, как говорил, больших барышей еще не имел, но надеялся на них в будущем.

Ольга играла на рояле, любила мечтать, много читала, особенно французские романы, верила в бога и эмансипацию женщин, смутно представляя себе, впрочем, что это означает. Но, наивная во многом, она не была лишена здравого смысла и врожденного юмора. Как это часто бывает с очень молоденькими девушками, Ольга страстно привязалась к сдержанной, чуткой Лизе и поверяла ей все свои мысли и маленькие секреты.

Почти в то же время в Ахен приехал лечиться Фердинанд Лассаль и тотчас же привлек к себе внимание. Высокий, великолепно, по самой последней моде, одетый, всегда в цилиндре и с дорогой тростью, он выделялся даже в толпе самых изощренных щеголей. Лизе его красивое, правильное лицо приводило на память портреты знаменитых тореадоров, итальянских теноров и актеров, исполнявших роли роковых для женского сердца любовников.

Лассаль со скучающим и вместе победоносным видом прогуливался по аллеям парка. Лизе он не понравился.

— Бог мой,— сказала она, когда Ольга спросила ее мнение,— в шестидесятых годах нашего века донжуаны кажутся только смешными! Их время прошло. Сейчас другие герои.

— Не Растиньяк ли? — улыбнулась Ольга.

Каково же было удивление Лизы, когда несколько дней спустя старик Солнцев рассказал, что познакомился у источника с отчаянным революционером, о котором уже много слыхал в связи с делом своей знакомой, графини Гацфельдт.

— Это сам Лассаль, пороховой человек,— закончил он свой рассказ.

— Я так и думала. Он не может быть обыкновенным,— сказала Ольга. — Ты познакомишь меня с ним, папа?

Вскоре Лассаль стал завсегдатаем у Солнцевых и Красоцких. Он не скрывал, что глубоко увлечен Ольгой и добивается взаимности, чего бы это ему ни стоило. Лиза не придавала большого значения его влюбленности.

— Лассаль слишком любит самого себя. Себялюбие может довести его до безумных поступков.

— О нет, вы не правы. Как же тогда понять его борьбу за народ? — оспаривала Ольга.

— Это поприще, на котором он выступает особенно блестяще. Разве революционер не может быть честолюбцем?

— Не должен,— возразила Ольга.

— Пожалуй, но жажда славы, известности не раз приводила людей на эшафот и в ряды повстанцев за правое дело.

На террасу, где происходил этот разговор, вошел Фердинанд Лассаль, гладко выбритый, розовокожий. Большие, немного выпуклые глаза его смотрели томно и нагло в одно и то же время, слишком маленький рот был ярок и свеж. Легкий запах амбры исходил от его элегантного костюма.

— Скажите, что привело вас к борьбе за тружеников? — спросила Солнцева.

— То же, что заставило отвоевывать в течение многих лет права графини Гацфельдт, так грубо попранные ее мужем. Сызмала я тосковал по справедливости. Как орел, я был одинок среди людей своей среды. Вы ведь знаете, я с детства был баловнем.

— Вы им остались и теперь,— улыбнулась Лиза, глядя на выхоленные руки Лассаля.

— И тем не менее, воспитываясь в роскоши, я был и остаюсь рабочим. Не выражайте удивления. К рабочим я причисляю всякого, кто умеет быть полезным обществу. Причислять себя к рабочим в ином, внешнем смысле я не имею, увы, ни возможности, ни основания. Я, наоборот, буржуа, так как мои доходы дают мне возможность вести жизнь, посвященную науке, борьбе за социальную справедливость, и приносить этой цели значительные жертвы.

— Есть ли у вас настоящие друзья? — спросила Ольга.

— Да, но я иду своим путем в обществе, преследуемый, не раз осужденный судом, ненавидимый либеральной прессой, которая глядит на меня с еще большим ужасом, нежели все прокуроры и суды, вместе взятые.

— Скажите, господин Лассаль,— внезапно вспомнив что-то, спросила Лиза,— знакомы ли вы с доктором Марксом?

— Конечно, я даже недавно кое-что сделал для этого безусловно выдающегося, образованного человека. Мой близкий друг, издатель Франц Дункер, кстати, женатый на очаровательной Лине, дочери самого художника

Генриха Лаубе, издает его новую книгу по политической экономии. Маркс так дорожит этим своим детищем, что соглашался, лишь бы оно увидело свет, издать его бесплатно, без гонорара. Но я возмутился таким самопожертвованием и добился для него кой-каких денег. Это даст возможность его семье прожить безбедно некоторое время. Не все такие отзывчивые и честные люди, как Дункер. Другой издатель — Дана — платит ему гроши. Будь я на месте Маркса, немедленно начал бы тяжбу и выиграл бы, конечно. Некоторые родятся победителями. Для меня нет больших и малых дел, как рассуждает Маркс, все зависит от того, кто за них берется.

Лассаль долго говорил в этот день о себе, о своих жизненных принципах, но прежняя настороженность Лизы по отношению к нему не только не рассеялась, а возросла.

«Нарцисс самовлюбленный и глядящийся в людей, как в зеркало. Он ищет только восхищение и видит только самого себя, о чем бы ни говорил»,— думала она.

Через несколько дней Солнцевы должны были ехать назад в Россию. Накануне расставания Ольга вошла к Лизе и, не говоря ни слова, положила перед ней огромную тетрадь. В ней было более сотни мелко исписанных страниц.

— Что же это, исповедь господина Лассаля? — спросила Лиза иронически, увидев подпись.

— Он просит меня стать его женой,— сказала Ольга, вспыхнув.

— Каков же ответ?

— Я дам его через год. Весной мы встретимся снова. Надо проверить себя и его, так советует папа. Мне страшно выйти замуж за такого человека. Он баловень женщин, любимец своего народа, а я скромная девушка, равнодушная к политике, к революции. Ему орлица нужна, он ведь орел...

— Павлин он, а не орел,— досадливо, не сдержась, прервала Лиза. — С ним счастья не будет.

— Папа так же говорит. Но письма он пишет великолепно. Прошу вас, прочтите. У меня нет тайн, но вас, кажется, отпугивает количество страниц.

— Да, простите, Оленька, но, право, жестоко писать столь длинные послания. Надо бы и про адресата помнить. Это бумажный садизм какой-то.

— Не судите столь беспощадно. Но раз вы не склонны вникать во все рассуждения Фердинанда, я прочту вам маленький отрывок. Признаюсь, он мне льстит.

«До сих пор моя любовь была только пожирающим пламенем, в которое бросались женщины. Я не знаю ни одной, которая не постаралась бы захватить меня. Я говорил вам, что всегда избегал молодых девушек. Два раза только говорил я о любви молодым девушкам, которые любили меня страстно и вызвали во мне желание обладать ими. И в обоих случаях я начинал с полного признания, что никогда не женюсь на них. За исключением этих двух случаев, я всегда сближался только с замужними женщинами, у которых я был, как вы однажды выразились, «баловнем». И некоторые из них действительно любили меня. Вы знаете, что женщины, когда любят, имеют привычку всегда задавать вопросы. И не было ни одной, которой бы я не ответил с своей обычной откровенностью, что, будь она свободна, я все же не женился бы на ней. Но, несмотря на это, а может быть, именно вследствие этого, меня сильно любили. Я хотел брать, но не отдавать себя».

После отъезда Солнцевых Лиза больше не видалась с Лассалем и не жалела об этом. Заметив ее пренебрежение, он платил ей откровенной ненавистью.

К зиме Сигизмунд настолько поправился, что праздная жизнь на курортах могла для него наконец окончиться. Истомившийся болезнью и бездеятельностью, он настоял на возвращении в Лондон, откуда рассчитывал вместе с Лизой и ребенком направиться на родину. Но все старания бывшего польского повстанца получить разрешение на въезд в Варшаву не увенчались успехом.

Тогда Красоцкие решили отправиться за океан, в Северную Америку. Там начиналась борьба с южанами.

Лизе очень хотелось принять хоть какое-либо участие в великом деле освобождения негров. Наконец могла сбыться давнишняя мечта, впервые посетившая ее в ночь чтения «Хижины дяди Тома»,

Глава пятая

ОГНЕНОСЦЫ

Мировой экономический кризис начинается как горный обвал. Сотрясая вершины, отрывается могучая глыба и летит неудержимо, низвергая камни, поднимая столбы снежной пыли, кроша лед и гранит. Подпрыгивая по отвесным скалам, одолевая препятствия, лишь немного замедляющие бег, бесформенное чудовище облипает снегом, почвой. Один обвал влечет другие. Грохот глыб, падающих в долины на головы людей, скот, на дома, сильнее и протяжнее канонады. От обвалов некуда скрыться, они раскачивают горы и оглушают мир.

Когда в 1857 году потерпел банкротство один из крупнейших французских банков, а следом за ним несколько европейских торговых фирм, английский буржуа вынул сигару изо рта, поразмыслил и подбросил уголь во всеотдаляющий камин уютного холла. Натянув перину, перед сном он перечислил по пальцам предпринимателей, потерявших все состояние и покончивших самоубийством, и повторил при этом, мысленно тыча в глобус: это мир, а это Англия, и в Англии — мир. Но неодолимая глыба первого в истории мирового экономического кризиса вовлекла в свой все ускоряющийся полет вниз и Великобританию.

Грозил упасть, как сваливается камешек, оторванный от скалы обвалом, золотой фунт — символ силы и надменности нации. Поколебались цены и на все товары. Буржуа вздрогнул, озираясь по сторонам в недоумении и страхе. Так вздрагивает беспечный путник от гула горной катастрофы.

Разорилось много американских, английских и французских банкиров, владельцев магазинов, фабрик, плантаций. Началась безработица. Правители европейских государств искали, как предотвратить возможные восстания, спастись от краха. Никто не знал, откуда взялось это стихийное бедствие.

Маркс воочию наблюдал и проверял то, к чему он пришел умозрительно, исследуя анатомию капиталистического общества.

Подобно тому как в прошлые столетия великие физики открывали законы возникновения грозы или вращения планет, так Карл вывел незыблемость силы, управляю-

щей явлениями в экономике капиталистического мира. Кризис не был для него ни загадкой, ни неожиданностью. Он и Энгельс его предвидели.

В середине июня 1859 года в Берлине вышел первый выпуск книги Маркса «К критике политической экономии».

Карл часто и тяжело болел в это время. Однако он всеми силами стремился преодолеть естественную в связи с недомоганием слабость, мучаясь мыслью, что плод его пятнадцатилетних упорных исследований и напряженного труда может быть в чем-либо несовершенен. Требовательность к себе возрастала непрерывно с годами, и он взыскательно и кропотливо отделывал каждую фразу. Сознание ответственности перед своей партией также не покидало его ни на один миг.

«Я надеюсь добиться научной победы для нашей партии, она должна быть вооружена так же неотразимо теоретически, как и практически»,— думал он.

Сквозь густую пелену тумана, окутавшего мир после победы реакции, Маркс видел грядущее торжество труда в борьбе с капиталом.

Сейчас же он старался сохранить тех борцов из Союза коммунистов, которые рассеялись по обеим сторонам Атлантики и вели трудную, полную лишений жизнь.

Книга «К критике политической экономии» в первую очередь предназначалась им. Она должна была выпестовать хорошо вооруженных теорией людей. Уже в самом предисловии Маркс сформулировал материалистическое понимание истории и опрокинул при этом все былые научные представления о развитии человечества:

«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их

сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции».

Материалистическое понимание истории явилось огромным торжеством научной мысли. Оно открыло путь к научному объяснению процессов общественного развития, которые до сих пор оставались вне рамок точного познания.

С помощью непреложного научного анализа Маркс вынес смертный приговор капиталистическому строю. Он не указывал дат и географических точек, где разыграются будущие решающие схватки между трудом и капиталом, но предрек победу рабочему люду. Капитализм, утверждает он, представляет собой последнюю антагонистическую форму общественного производства, и в недрах буржуазного общества производительные силы создают материальные условия для разрешения этого антагонизма.

«Поэтому,— писал Маркс,— буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества».

Берлинский издатель Дункер, приятель Лассаля, выпустил часть книги «К критике политической экономии» тиражом только в одну тысячу экземпляров. Заключить договор на весь труд он отказался и поставил это в зависимость от спроса на первый выпуск.

Появление книги Маркса буржуазная пресса встретила нарочитым, обдуманным гробовым молчанием. Это был испытанный и убийственный маневр, более уничтожающий, нежели злословие и клевета, могущие встретить отпор, справедливые возражения или любопытство. Необыкновенные книги имеют нередко трудные и сложные судьбы.

В это же время Маркс неотрывно готовил пятнадцать печатных листов текста для выходящей в Нью-Йорке американской энциклопедии.

Год был на исходе. В связи с кризисом издатель Дана за статьи для «Нью-Йорк дейли трибюн» платил Марксу

половинный гонорар. Женни нервничала. Кредиторы грозили судом и долговой тюрьмой. Печалили Женни и ухудшившиеся отношения Маркса с Эрнестом Джонсом, который своими промахами сильно ослабил чартистскую партию, с Адольфом Клуссом, поддерживавшим Виллиха, и с Фрейлигратом, сблизившимся с врагом Маркса по эмиграции, подлым, пустозвонным и напыщенным Кинкелем.

В немецком журнале «Беседка» один из литературных прихлебателей самодовольного Кинкеля, превознося в неумеренных похвалах стихотворный дар Фрейлиграта и желая поссорить его окончательно с Марксом, объявил, что поэт перестал творить, потерял поэтический голос и свободу, попав под влияние «виртуоза ядовитой злобы». Назвав так Маркса, он разразился против него изощренной бранью.

Карл, прочитав статью, был подавлен не столько грубыми выпадами — к этому он относился всегда спокойно,— но тем, что Фрейлиграт своим молчанием как бы согласился с таким мнением.

Многосемейный, сильно постаревший и поблекший поэт, устроившись на весьма доходную должность, жил в достатке, изредка писал бесцветные стихи и чувствовал себя обиженным тем, что его не восхваляют друзья и соратники, как некогда в славной «Новой Рейнской газете», когда он достигал творческого совершенства. Прельщенный похвалами и посулами из другого лагеря, он постепенно отошел от коммунистов.

Женни трудно давались разочарования в близких людях. Она была легко ранимой, долго и тягостно переживала потери. Вместе с тем она не довольствовалась половинчатостью решений и, отойдя от ранее дорогих ей людей, уже не возвращалась к ним обратно.

— Я не признаю полумер,—говорила она часто.

В дни душевных неурядиц в связи с поведением Фрейлиграта к Женни пришло на помощь письмо Энгельса.

«Дорогая г-жа Маркс!

Сегодня вечером я настолько свободен, что могу послать Вам к празднику дюжину бутылок вина. Надеюсь, что оно Вам понравится и поднимет настроение всей семьи...

На всю фрейлигратовщину я форменным образом зол: С этим сбродом беллетристов все та же старая история: всегда им хочется, чтобы им курили фимиам в газетах, чтобы вечно о них твердили публике, и самый дрянной стишок, сфабрикованный ими, важнее для них самого большого мирового события. А так как все это без интриганской организации не проведешь, то вполне естественно, что таковая становится насущнейшей потребностью, а ведь мы, несчастные коммунисты, к сожалению, для этого совершенно не пригодны, и более того: мы видим насквозь все это жульничество, высмеиваем такого рода организацию du succés[1] и испытываем почти преступное отвращение к популярности».

Письмо друга ненадолго развеселило Женни; каждый последующий день приносил ее семье какие-либо неприятности. Она пыталась скрыть их от Маркса, но тщетно: он все знал, все понимал, мучился, как и она.

«В будущий понедельник у меня снова срок платежа 1 ф. ст. в Мэрплебонский суд графства. Одновременно получил из Вестминстерского суда графства (от имени булочника) прилагаемую здесь бумажку,— делился Карл невзгодами с Фридрихом. — То, что я предвидел, начинает сбываться. Если один обыватель найдет дорогу в суд графства, ее найдут туда и другие. Если так будет продолжаться, то я, право, не знаю, как дальше выдержу. Эти беспрерывные неприятности особенно невыносимы потому, что я абсолютно не подвигаюсь в своей работе».

Нет большей страсти, нежели одержимость творчества и труда. Ни жажда в раскаленных песках пустыни, ни власть инстинктов, ни многодневный голод не могут сравниться в своей изнуряющей силе и длительности с мучениями ученого, обремененного великим научным открытием, художника, отягощенного образами, мыслью, звуками и не имеющего возможности выявить их, воссоздать в зримой и слышимой форме. Так созревшее семя пробивает толщу почвы, чтобы вырваться к свету, расти, цвести.

Карл изнемогал. Он вступил в пору зрелого творчества. Все было выношено, внутренне проверено. Мысль его

---

[1] успеха *(франц.)*.

постигла законы, двигавшие обществом, а жизнь, издеваясь, тащила его вниз, в смрадное болото мелочных забот.

Шли годы. Целое десятилетие уже он бился с препятствиями. Это была худшая, изнурительнейшая из войн, в которой Маркс потерял четверых детей, здоровье и несчетное количество часов, необходимых для больших творческих свершений. Война эта не сулила ему побед, она убивала тех, кого он любил, калечила их, наполняла горечью его дни и ночи. Борьба за высокие идеи окрыляет, но безгранично тяжело, когда приходится ежечасно отбиваться от унижающих тебя кредиторов: булочника, мясника, зеленщика, бакалейщика. И при этом знать, что иной дорогой никогда не пойдешь. Она одна ведет к намеченной цели.

Как едва видимые москиты способны обескровить человека, так нужда, постоянное безденежье и лишения незримо подтачивали здоровье Карла именно тем, что мешали ему целиком отдаться научной работе, отрывали его от творчества, отдаваясь которому, он вновь обретал силы. Женни, будучи постоянной помощницей мужа и захваченная одной с ним идеей, находила в его творческих радостях некоторое успокоение. Поддерживали и утешали ее дети, их успехи, их любовь.

Несмотря на все трудности, старшие девочки учились сначала в колледже в Саутгемптоне, затем в женской гимназии. Они неизменно переходили из класса в класс с наградами. Кроме школьных занятий, обе брали уроки итальянского и французского языков.

Женнихен хорошо декламировала и рисовала. На мольберте в гостиной подле палитры с красками стояла неоконченная картина. Недавно Женнихен послала в Манчестер традиционные рождественские подарки. Энгельсу досталась удачно исполненная копия Рафаэлевой мадонны, а Вильгельму Вольфу — картина «Два раненых французских гренадера».

Лаура с детства была очень музыкальна. Заслышав пение дочери, Карл открывал дверь своего кабинета и, откинувшись в кресле, слушал с нескрываемым удовольствием романсы Шуберта, Бетховена, арии Моцарта и протяжные волнующие народные напевы. Лицо его разглаживалось, светлело, в глазах появлялось выражение полного покоя и мечтательности. Он отдыхал, радуясь

музыке, и, случалось, терпеливо переносил также и однообразие гамм, вокализы и сольфеджио, которыми подолгу занималась юная певица.

Карл перешагнул за сорок. В его смолисто-темных волосах появилось много седых прядей. Еще более проницательным стал взгляд легко загорающихся смехом или гневом темных глаз. Углубились саркастически скорбные складки по углам губ. Все так же прекрасны и выразительны были его небольшие крепкие кисти рук с длинными гибкими пальцами. Маркс был из числа тех немногих людей, которые, несмотря на тяготы жизни, титанический умственный труд, болезни, бессонницы, горькие утраты, становятся красивее, внешне значительнее с возрастом. Так удивляют нас величавой красотой могучих стволов и крон многолетние ливанские кедры. Во сколько раз великолепнее они, нежели неокрепшие молодые деревца! В пору своей зрелости Карл был похож в одно и то же время и на это несокрушимое гордое дерево, и на смуглого араба, отдыхающего в его тени.

В доме на Графтон-террес бывало немного посетителей. Энгельс оставался в Манчестере. Там же находился и Вольф. Он считался отличным педагогом и давал уроки. В свободные часы Люпус предпочитал уединение в скромном домике, где о нем неусыпно заботилась молчаливая старуха экономка. Малыш — Дронке — служил в купеческой фирме в Ливерпуле, куда недавно перебрался из мрачного Глазго.

Карл в дни, когда не мог бывать в читальне Британского музея, большую часть времени проводил за книгами и бумагами в своем кабинете. Уже много лет он страдал отсутствием аппетита и в часы работы совершенно забывал о еде. Привычка писать по ночам породила жестокую бессонницу. Долгие годы лишений принесли всевозможные хвори.

— Что ж,— сказал он как-то полушутя,— я познал на самом себе многое из жизни пролетариев, в том числе и их болезни.

Обычно, не дождавшись Маркса в столовой, жена или кто-либо из дочерей отправлялись за ним в кабинет. Маленькая Тусси особенно энергично и бесцеремонно оттаскивала отца от заваленного книгами бюро.

— Скорее, Мавр. Ты позабыл об обеде. Ленхен очень сердится. Она приготовила тебе рыбу, соленую, как море.

Уже дважды пришлось разогревать твой острый суп. Я хочу покататься верхом.

Карл послушно поднимал дочь и усаживал ее на свои плечи. Затем вприпрыжку он обегал кабинет несколько раз, подгоняемый маленькой ручонкой, и с протяжным ржанием врывался в столовую.

Так весело и беспечно начинался обед. Нередко разговор за едой касался злободневных политических вопросов, которыми постоянно интересовались Карл и его жена.

— Читал ли ты уже газеты, Чарли? Что нового?

— Самым значительным событием, несомненно, остается движение чернокожих рабов в Америке и невольников в России. Заметь, милая Женни, что русское дворянство домогается конституции. Это будет толчком для тамошних крестьян. Тем более что царь Александр уже основательно испортил свои отношения с ними, объявив в своем последнем манифесте, что «коммунистический принцип» должен исчезнуть навсегда вместе с их освобождением. Все это чревато великими последствиями. Кстати, в Миссури снова восстали рабы.

— На чьей стороне победа, Мавр?

— Восстание жестоко подавлено. Но сигнал дан. Дело осложняется, и, несомненно, впереди предстоят кровопролитные схватки.

— Что-то будет с «Нью-Йорк дейли трибюн»? Вероятнее всего, в связи с возможной войной Севера с Югом ты окончательно лишишься корреспондентского заработка,— грустно заметила Женни и провела рукой по лбу, как бы снимая давящую мысль.

— В Индии все симптомы колоссального кризиса. Это, несомненно, отразится на манчестерской хлопчатобумажной промышленности. Контора «Эрмен и Энгельс» тесно связана с Калькуттой. Пряжа дорожает, а хлопок падает в цене.

Во время этого разговора Ленхен поставила на стол блюдо, политое пряной подливкой.

— Не знаю, как и кормить мне Карла,— ворчливо сказала она. — Он ничего не хочет есть без приправы и солений, а потом страдает от болей в печени. Я пробовала кормить его, как велят врачи,— ничего не ест, а когда даю то, что он любит,— не могу потом смотреть на его болезни. Ему бы ромашкового настоя попить, как учила

покойница баронесса, а он требует крепкий кофе. Вот еще наш Люпус, тоже мое мучение. Жирная ветчина и эль сведут его в гроб. А скажешь об этом — ты же и плоха.

Вдруг Ленхен прервала свои сетования. Опустив руку в карман, она нащупала в нем большой, плотный конверт и вспомнила, что с утра еще получила его от почтальона.

— С вами, право, голову потеряешь,— рассердилась она на свою забывчивость,— покуда придумаешь, что готовить, себя забудешь. Вот таскаю несколько часов пакет, и все из-за забот о вашем питании.

Карл, улыбнувшись в бороду, проводил добрым взглядом Ленхен; Женни внимательно рассматривала крупный, ровный почерк.

— От Лассаля, кажется, и, вероятно, насчет издания «К критике политической экономии»,— сказал Карл, взглянув через плечо жены на четко выведенные буквы. — Так и есть — от него,— сказал он, читая письмо.

— Мавр,— настойчиво домогалась Тусси, едва он отложил почту,— расскажи мне про американскую войну. А в Миссури много белых?

Маркс терпеливо принялся объяснять пытливой малютке то, что ее так интересовало.

— Авраам Линкольн — замечательный человек, не правда ли? — сказала между тем Лаура.

— Я хочу написать ему длинное-предлинное письмо, чтобы он скорее победил южан и все негры были свободны,— затараторила снова Тусси. — Ты отправишь его по почте, правда? — Тусси заглянула просительно в глаза отцу.

С совершенной серьезностью Карл обещал дочери послать за океан ее советы и размышления президенту Северных штатов.

— Но, надеюсь, ты разрешишь и мне ознакомиться с твоими письмами? — сказал он.

— Конечно,— ответила важно маленькая Элеонора и вдруг, вспомнив что-то, схватила отца за руку, стремясь скорее увести его из столовой. — Мавр, ты обещал мне прочесть сказку про умную лисицу,— капризно потребовала она.

— Ты права, слово надо держать. Я уже достал с полки книгу «Рейнеке-Лис».

— Как жаль, Мавр, что мы с Лаурой уже такие взрослые и ты не читаешь нам больше вслух ни Гомера, ни

«Дон-Кихота», ни «Песни о Нибелунгах»,— сказала Женнихен.

— Приглашаю вас, синьориты, сегодня вечером в прерии. Мы прочтем вслух что-либо из Купера или Майн Рида. Не забудьте взять с собой лассо. Может быть, нам удастся поохотиться на диких лошадей,— прищурив глаза, с нарочитой серьезностью объявил Маркс.

— Наконец-то мы снова покинем сумрачный Лондон,— обрадовались Женнихен и Лаура.

— А пока мы с Тусси отправляемся в дебри леса к царю зверей.

Но таких беспечных, счастливых часов у Маркса бывало не много.

Новый, 1860 год был не лучше для Маркса и его семьи, нежели его трудный предшественник. В феврале туманы подолгу не рассеивались над Лондоном. Казалось, никогда не пробиться солнцу сквозь их многослойную разъедающую пленку, и черная мгла сменилась желтой. Уныло гудели гонги и колокольчики, чуть виднелся свет фонарей на облучках карет и в руках прохожих. В смрадной, влажной, клейкой жиже, как в мясном наваре, пышно взрастали бациллы таинственных болезней. Карл часто хворал.

На Графтон-террес было невесело. Даже маленькая резвушка Тусси, кумир всей семьи, приутихла и часами одна перелистывала иллюстрированные томики Шекспира, из которого в пять лет знала уже кое-что наизусть. Чуткая девочка не решалась теперь без спроса врываться в кабинет отца и забрасывать его бесчисленными «почему». Не просила она также, чтобы Мавр покатал ее верхом.

Карл, угрюмо склонившись над столом, работал с утра до поздней ночи. Однажды перед сном он сказал Женни:

— Эккариус очень болен. В доме у него, как ты сама понимаешь, нет ни одного пенни. Представь себе горе его жены и детей, бедняге не на что купить лекарств. Чем бы мы могли помочь ему, родная?

Женни задумалась. Все ценное давно уже было в закладе. Денег также не хватало. Вдруг взгляд ее упал на единственное добротное платье, одиноко висевшее на вешалке.

— Я нашла выход, Чарли,— сказала она живо. — Мы поможем старине Эккариусу.

На другой день было заложено последнее «свободное» платье Женни, чтобы оказать помощь нуждающемуся другу. Карл сам отправился навестить Эккариуса и с нескрываемым удовольствием вручил ему полученные в ломбарде деньги.

Снова клевета — эта смертельным ядом пропитанная стрела, крапленая карта, порождение подлости и лжи, испытанное средство политической борьбы не на жизнь, а на смерть буржуазии с коммунизмом,— подобно зловонному желтому туману, окутала Маркса.

В 1859 году, в Париже, в одном из кабинетов дворца Тюильри, в личной канцелярии императора происходил следующий разговор:

— Выплатите немедленно через доверенное лицо сорок тысяч гульденов господину Карлу Фогту на пропаганду идей императора за границей. У нас не будет промаха, как это случилось с прусской полицией на Кёльнском процессе коммунистов.

— Фогт вне всяких подозрений в кругах немецкой эмиграции. У него солидная репутация добропорядочного демократа, талантливого ученого-натуралиста и неподкупного политического деятеля. Можно ли желать лучшего?

— Его отец — профессор медицины и славится своей больницей в Швейцарии, братья — почитаемые адвокат и врач. В Лондоне Фогт близок с Кинкелем и Герценом, с которым скоро, кажется, породнится. Сын этого богатого русского «звонаря» влюблен в мадемуазель Фогт и собирается на ней жениться.

— Великолепно. Все, что вы говорите, служит надежной гарантией. Наше нападение на коммунистов, главное, на их вожака Маркса, одержимого манией низвержения существующего порядка, будет уничтожающим.

— Если этот неуемный Спартак заподозрит в Фогте нашего друга и единомышленника, сами эмигранты сведут с ним счеты и разорвут его на части, отстаивая честь безукоризненного господина Фогта. Главное — полнейшая конспирация.

— Вы можете быть спокойны. Карл Фогт в этом лично заинтересован.

Вскоре Фогт, не теряя времени, принялся за бесчестное дело. Всю жизнь любой ценой он добивался популяр-

ности и видного общественного положения и кое-чего достиг, когда революционная волна 1848 года вынесла на поверхность немало человеческой пены. Избранный во Франкфуртское собрание, Фогт считался там лидером левых демократов и даже в последние дни агонии этого болтливейшего из парламентов оказался одним из пяти его регентов. Это была вершина его карьеры.

Маркс и Энгельс, прислушиваясь к его многословию, сначала обзывали Фогта просто болтуном, но после 1849 года вынесли ему суровый приговор, так же как всем, кто, отстаивая интересы лавочников и мелких фабрикантов, обнаружил трусость, близорукость и приспособленчество. Фогт в статьях «Новой Рейнской газеты» был изобличен как один из демократов, который своим противодействием задушил все подготовлявшиеся революционные реформы. С той поры Карл Фогт затаил ненависть к коммунистам и ждал только часа, когда сможет отомстить. Близость к бонапартовской клике, сочувствие ее идеям и полученные тайно деньги из императорской кассы дали ему эту долгожданную возможность.

Карл Фогт, шарообразный пузатый господин среднего роста, предпочитал костюмы черного цвета и высокие накрахмаленные воротнички, на которых важно лежали отвислые щеки. Сюртук его был всегда тщательно разутюжен и застегнут на все пуговицы, штиблеты начищены. Он напоминал пивовара или сельского кюре.

После разгрома мартовской революции Фогт эмигрировал из Германии в Швейцарию, где постоянно жили его родные, преподавал в качестве профессора теологию, хотя специальностью его всегда была зоология. Студентам нравились его мнимоматериалистические воззрения. Он умудрялся, всячески оговариваясь, что верит в бога, повторять на своих лекциях вольнодумствующие утверждения о человеческом происхождении Иисуса.

— Христианство,— заявлял Фогт,— явилось страшной помехой для человеческого ума. Оно создало мрак средневековья, в котором человечество едва не осталось навсегда, и породило глупость и невежество... Нет ничего опаснее суеверия для грядущих судеб человечества; нет ничего пагубнее уверенности не только в собственной правоте, но и в необходимости помешать другим мыслить иначе. Это грозит смертью человеческому уму.

Такие разговоры создали зоологу Фогту репутацию независимого и смелого ученого. Герцен назвал его своим другом. Однажды Фогт поразил слушателей заявлением, что мысли находятся в таком же отношении к мозгу, как желчь к печени и моча к почкам.

Так, орудуя поверхностным, вульгарным материализмом, господин Фогт приобретал известность и доверие. Он отправил из Женевы некоторым лондонским немецким изгнанникам, в том числе и Фрейлиграту, приглашение сотрудничать в швейцарском еженедельнике и изложил заодно свою программу. Ознакомившись с нею, Маркс сказал кратко:

— Словоизвержение.

Но, вернувшись домой, тотчас же написал об этом Энгельсу:

«О революционном движении в Германии, как Фогт «знает из самого лучшего источника», при жизни нашего поколения нечего и думать. Следовательно, лишь только Австрия будет уничтожена Бонапартом, как в отечестве само собой начнется имперско-регентское умеренное либерально-национальное развитие, и Фогт, пожалуй, будет еще прусским придворным шутом».

Внимательно продумав «программу» Фогта и ознакомившись с его книгою «Исследования о современном положении Европы», Маркс все более склонялся к мысли о тесной связи взглядов Фогта с бонапартистскими лозунгами.

«Что бы это могло значить?» — думал он.

Помимо Фрейлиграта, Фогт прислал программу и свои «Исследования о современном положении Европы» также старому знакомому Маркса, баденскому эмигранту Блинду. Это был убежденнейший республиканец с очень узким, однако, кругозором. Собственная персона казалась Блинду столь неизмеримо важной и великой, что совершенно закрывала собой весь мир. Этот человек являлся постоянным объектом подшучивания Энгельса, который отлично понял всю его сущность. Прочитав произведение Фогта, Блинд впал в ярость. Программа, восхваляющая Бонапарта, оскорбила в нем баденца и республиканца. Кроме того, незадолго до этого он каким-то образом узнал, что Фогт получил из Франции субсидию и пытался подкупить одного южногерманского писателя, предложив ему

крупную сумму денег. Все это Блинд без обиняков изложил Марксу, а затем и Либкнехту.

Спустя некоторое время в анонимной статье появилось сообщение о подкупе Фогта бонапартистами. Рассчитывая на то, что доказательств нет, Фогт, желая защититься, перешел в открытое наступление, а Блинд, испугавшись, упорно отмалчивался. В декабре появилась брошюра Фогта против Маркса. Профессор зоологии, казалось, собрал под переплетом своего произведения, как в чудовищном террарии, все виды пресмыкающихся и бросил им на съедение ни в чем не повинных людей. Подтасовывая факты, щедро пользуясь клеветой и ложью, он распространял злобный и грязный вымысел о деятельности Союза коммунистов, который будто бы преследует только корыстный расчет и преступные цели и с помощью шантажа вымогает деньги для личного обогащения. Как восемь лет назад прусская полиция фабриковала несуществующие преступления для коммунистического процесса в Кёльне, так ныне Фогт выступил вооруженный клеветой.

В феврале Маркс наконец получил из Германии провокационную книгу. Даже столь закаленный боец, как он, содрогнулся. В книге Фогта Маркс изображен главой шайки вымогателей, которая существовала тем, что грозила выдачей полиции всем принимавшим участие в революционной борьбе.

«В Германию было послано не одно, а сотни писем,— писал Фогт,— с угрозой разоблачить причастность к тому или иному акту революции, если в определенный срок по указанному адресу не будет доставлена известная сумма денег».

Это была не единственная клевета, ею дышала вся книга. Фогт дошел до того, что обвинял Маркса и его единомышленников в фальшивомонетничестве и тайной связи с полицией.

Карл Маркс, сколько мог, скрывал от жены брошюру Фогта, зная, как она чувствительна к подобной клевете, но в конце концов Женни прочла ее.

— Есть мера вещей, мера даже лжи, но в этой чудовищной басне нет меры подлости,— сказала Женни, едва владея собой. Она была ошеломлена.

Несмотря на всю очевидную лживость, для вящей убедительности, как это всегда бывает в клевете, рассказыва-

лись кое-какие подробности быта лондонской эмиграции. Очевидно, Фогт был осведомлен о жизни немецких изгнанников и состряпал на этом основании ядовитейшее блюдо.

— Нет более сомнения, Блинд был прав. Фогт состоит на службе у бонапартистской клики,— сказал Карл после долгого тяжелого раздумья. — Так писать могут только оголтелые продажные души. В честной борьбе есть ожесточение, но нет необходимости уподобляться взбесившемуся зверю. Я не имею права, не могу и не должен молчать.

Отвращение и ужас попеременно сжимали сердце Женни.

— Ни слова правды, какая зоологическая ненависть!

— Не только ненависть, но и зоологическая совесть,— вставил Карл.

— Он мстит,— продолжала Женни,— он мстит за то, что ты и Энгельс осмеяли его в «Новой Рейнской газете» за бесславную деятельность во франкфуртской говорильне. Но как, какими средствами сводит он свои счеты? Во время Кёльнского процесса на коммунистов обрушилась вся прусская полиция, а тут один человек.

— Ты ошибаешься, он не один. За его спиной банда второго декабря и вся «елисейская братия».

Германская буржуазная пресса восторженно приветствовала книгу Фогта, и «Националь цайтунг» посвятила ей статьи, глубоко поразившие всю семью Маркса.

Женни не могла успокоиться. Для ее правдивой, смелой души была непереносима всякая ложь — следствие подлости либо продажности и трусости. Она и Карл болезненно ощущали отклонение от простой правды в обыденной жизни, борьбе, искусстве, поведении. Даже самые мелкие разновидности лжи — напыщенность, выспренность, экзальтация — воспринимались ими с насмешкой, брались в штыки юмора. Они оба не переносили ложного пафоса и какой бы то ни было искусственности, мгновенно отличая подлинно значительное от подделки.

Тем невыносимее было для Женни видеть, в какие силки клеветы попали ее муж и его друзья.

— Так лгать, так выдумывать! — повторяла она в отчаянии.

Женни бесцельно бродила по дому, страдая. В сердце поднимались возмущение и ужас перед людьми, подоб-

пыми Фогту. И тогда с особой страстной силой приходила к ней мечта о будущем, о том времени, когда не будет наемных убийц и клеветников. А за окнами дома, как бы для того чтобы жить было еще труднее и страшнее, не рассеивался тяжелый, как пласты каменного угля, туман.

Бедность объединилась с клеветой и провокацией, чтобы ослабить, уничтожить Маркса. Ему стало ясно, что отвечать Фогту необходимо, хотя обычно он не был склонен обращать внимание на самую отборную брань. Печати, по его мнению, нельзя возбранять нападать на писателей, актеров и политиков. Но опытный глаз Карла распознал в этот раз, что целью Фогта было оклеветать и опозорить все коммунистическое движение. Карл взялся за оружие. Он считал также своим долгом перед женой и детьми разоблачить клеветника и очистить свое имя от грязи.

Сколько времени, здоровья, творческих сил, энергии пришлось отдать Марксу, чтобы разбить еще одного видимого врага, за которым стояла могущественная, тщательно скрытая сила — французский цезаризм. И снова, как в дни Кёльнского процесса, из нищенской квартирки, где часто не было гроша, чтобы оплатить почтовые расходы, полетели письма, документы по разным городам Европы.

— Объясни мне, Чарли, что такое «серная банда», к которой, по словам Фогта, принадлежал ты, Люпус и другие? Я впервые слышу это мерзкое название.

Карл рассказал жене, что так называлось общество молодых немецких эмигрантов, которые в 1849 году поселились в Женеве.

— Знал ли ты кого-нибудь из этой компании? — спросила встревоженно Женни.

— Никого. Все, что сейчас ты от меня слышала, я сам на днях узнал в подробностях благодаря любезности некоего инженера Боркхейма, главы одного крупного предприятия в Сити. Я познакомился с ним после того, как выяснил, что он десять лет назад имел отношение к этому злополучному кружку. Вот послушай кое-что из того, что он пишет мне:

«Лондон, 12 февраля 1860 г.

Милостивый государь!

Хотя мы, — несмотря на девятилетнее пребывание в одной и той же стране и большей частью в одном

городе,— три дня тому назад еще не были лично знакомы друг с другом, Вы совершенно правильно предположили, что я не откажу Вам, как товарищу по эмиграции, в разъяснениях, которые Вам угодно было получить.

Итак, о *серной банде.*

В 1849 г., вскоре после того, как мы, повстанцы, покинули Баден, несколько молодых людей оказались в *Женеве,*— одни были направлены туда швейцарскими властями, другие — по собственному выбору. Все они — студенты, солдаты или купцы — были приятелями еще в Германии до 1848 г. или познакомились друг с другом во время революции.

Настроение у эмигрантов было совсем не радужное. Так называемые политические вожаки взваливали друг на друга вину за неудачу. Военные руководители критиковали друг друга за отступательные наступления... При таких-то печальных обстоятельствах... молодые люди составили тесный кружок...

Мы весело бражничали и распевали...

«Филистеры»... прозвали нас *серной бандой.* Иногда мне кажется, что мы сами так окрестили себя. Во всяком случае, применялось это прозвище к нашему обществу исключительно в добродушном немецком смысле этого слова...

Это единственная *серная банда,* которую я знаю. Она существовала в Женеве в 1849—1850 годах...

Остаюсь с уважением преданный Вам

Сигизмунд Л. Боркхейм».

Я обязательно присоединю это письмо к своему ответу Фогту. Каждому станет тогда ясно, как далеки мы были от этих молодых людей, — сказал Маркс, и Женни, несколько успокоившись, одобрила такое намерение мужа.

Большим огорчением для Карла являлся отход Фрейлиграта от коммунистов. Поэт сблизился с Кинкелем и другими представителями буржуазных кругов эмиграции, которые привлекли его вначале лестью и захваливанием. Глубокая трещина пролегла в старой дружбе Маркса и Фрейлиграта. Поэт был одним из первых, кому Фогт прислал свое сочинение.

Маркс обратился к Фрейлиграту с письмом и, указывая, какое важное значение имеет ответ Фогту для

исторического оправдания партии и для ее будущего положения в Германии, просил включиться в борьбу с клеветником.

«Постыдное нападение Фогта,— писал Маркс поэту,— дало мне во всех странах — в Бельгии, Швейцарии, Франции и Англии — неожиданных союзников, даже в лице людей, принадлежащих к совершенно иному направлению.

Но в наших общих интересах и в интересах самого дела, конечно, лучше действовать согласованно.

С другой стороны, откровенно признаюсь, что я не могу решиться из-за незначительных недоразумений потерять одного из тех немногих людей, кого я любил, как *друга* в лучшем смысле этого слова.

Если я чем-либо перед тобой виноват, то я в любое время готов признаться в своей ошибке. «Я человек и ничто человеческое мне не чуждо»...

Если мы оба сознаем, что мы, каждый по-своему, отбрасывая всякого рода личные интересы и исходя из самых чистых побуждений, в течение долгих лет несли знамя «самого трудолюбивого и самого обездоленного класса», подняв его на недосягаемую для филистеров высоту, то я счел бы за недостойное прегрешение против истории, если бы мы разошлись из-за пустяков, которые все в конце концов сводятся к недоразумениям».

Фрейлиграт не замедлил с ответом. Утверждая, что желает сохранить добрые отношения с Марксом, он тем не менее категорически отказался присоединиться к тем, кто выступал против Фогта:

«Все эти семь лет (с того времени, как прекратил свое существование Союз коммунистов) я далеко стоял от партии. Я не посещал ее собраний, ее постановления и действия оставались для меня чуждыми. Фактически, следовательно, мои отношения с партией были давно нарушены. Мы никогда в этом отношении не обманывали друг друга. Это было своего рода молчаливое соглашение между нами. Я могу только сказать, что я себя при этом хорошо чувствовал...»

Письмо Фрейлиграта после многих размолвок последних лет не удивило Маркса. Каким пигмеем казался поэт по сравнению с другими соратниками Карла по партии! Фрейлиграт откровенно искал покоя и поддержки богатых, политически мелких, недалеких, но преуспевающих

людей. Карл вспомнил название одного из стихотворений Фрейлиграта — «Наперекор всему».

«Итак, наперекор всему, автор прощального слова «Новой Рейнской газеты» отказался публично вместе с нами выступить против негодяя»,— подумал он с горечью.

Когда на человека обрушивается беда, то ему открывается тогда же и истинная сущность отношения к нему тех, кого он считал друзьями.

Много раз испытывала сама жизнь душевные качества окружающих Маркса людей. Фрейлиграт пришел к нему в бою, на подъеме, но не мог выдержать проверки поражением.

Еще раз Маркс написал Фрейлиграту. Карл терпеливо разъяснил ему, что под словом «партия» вовсе не значился ни Союз коммунистов, ни редакция газеты, давно уже не существовавшие. «Под партией я понимал партию в великом историческом смысле».

Маркс привлек Фогта к ответственности за клевету и решил выступить с разоблачающей его брошюрой. Борьба с Фогтом была еще одним этапом многосторонней и постоянной войны Маркса с бонапартистской идеологией, которая из Франции перекинулась в другие страны и заражала мелкобуржуазных демократов.

Оценил он по достоинству и политический смысл выступления Фогта:

«Суть ведь в том, что банда имперских мерзавцев... и, наконец, либеральная банда употребляют все усилия, чтобы морально уничтожить нас в глазах немецкого филистера... Во всяком случае, международные отношения столь сложны, что для вульгарной демократии и либерализма чрезвычайно важно закрыть для нас уши немецкого филистерства (то есть публики) и доступ к нему... К случаю с Фогтом нельзя относиться точно так же, как к какому-нибудь Теллерингу... Этот чревовещатель считается в Германии научным светилом, он *был* имперским регентом, его *поддерживает* Бонапарт».

Карл принялся за отповедь клеветнику Фогту. Из ученого, открывавшего людям неведомые доныне незыблемые законы, он превратился в бесстрашного бойца, неотразимого полемиста. Сарказм несет в себе разрушительную силу, и он вооружился им. Творческое многообразие заставляет дочитывать книгу до конца, и Карл сумел сделать свою брошюру увлекательной. Он без труда отыскал

в необъятной памяти литературный прототип для своего противника. Тучный, самодовольный, наглый и хвастливый профессор зоологии более всего напоминал шекспировского сэра Джона Фальстафа. Фогт, по словам Маркса, «нисколько не убавился в *веществе* в своем новом зоологическом перевоплощении».

Спутники всей сознательной жизни Карла, его самые близкие друзья — книги явились на помощь в этой справедливой борьбе. Много претерпевший от вражьей клеветы Данте, великий человековед Шекспир, шутник Рабле, проницательный Кальдерон, трагический Шиллер и многие другие подсказали ему меткие, колкие слова и образы.

Маркс снова отдался творческой и боевой страсти. Где бы он ни был — с рапирой в руке на фехтовальной арене, среди книг и мыслей с пером за рабочим столом, на трибуне,— он проявлял бесстрашие, знания, живость, натиск, пылкость и целеустремленность.

Шли дни, недели, а Маркс большею частью сидел над книгами и рукописями. Перед ним часто лежала испещренная пометками книжка Фогта. На отдельных листках были выписки, которые следовало внести в книгу для контратаки:

«...в Лондоне шайка изгнанников... Их глава — Маркс... их лозунг — социальная республика, диктатура рабочих, их занятие — организация союзов и заговоров».

Карл, желая отдохнуть, звал свою маленькую дочь, и Тусси вприпрыжку, волоча куклу, врывалась к отцу, властно требуя исполнения ее желаний. Маркс сдавался.

— Ты должен рассказать мне ту сказку, которую начал давным-давно.

— Не про Ганса ли Рекле? — покорно спрашивал Карл и сажал Тусси к себе на колени.

— Ты все еще пишешь про этого гадкого Фальстафа? — спрашивала она, указывая на ворох бумаг и книг, лежащих на столе и стульях.

— Да, пишу, а ты, кажется, не любишь «Виндзорских проказниц»?

— Мне нравится «Сон в летнюю ночь». Но мы снова забыли про плутишку Ганса.

— У бедняжки опять очень запутаны денежные дела,— сказал Карл, притворно вздыхая. — Я боюсь, что ему придется продать свою чудесную лавку, где живет столько веселых игрушек, и оставить их всех на произвол

судьбы. У него нет больше денег, чтобы кормить и одевать игрушки.

— Сделай так, чтобы он смог заплатить свои долги. Ганс Рекле ведь колдун, он все может,— просила Тусси жалобно. — Ну, куда же денутся, если он попадет в долговую тюрьму, все его деревянные куклы, великаны и карлики, королевы и короли, стулья и ящики!

— Ты права, мой маленький карлик Альберих, у Ганса в лавке находятся также собаки, кошки, львы, голуби и попугаи. Их не меньше, нежели у старого Ноя в его сказочном ковчеге. И все же, несмотря на то что Ганс добрый волшебник, его преследуют зеленщик, бакалейщик и особенно мясник и булочник. Сегодня я расскажу тебе удивительное приключение Ганса Рекле, когда он отправился к дьяволу, чтобы тот ссудил ему немного денег.

И Маркс рассказал дочери увлекательную историю, чем-то напоминавшую страшные сказки Гофмана. Но Тусси требовала все новых и новых сказок. Особенно ей нравился рассказ о ежике:

«В маленькой норке у ежика родился сынишка. Был он мягонький и нежный, как одуванчик, и мать ласково поглаживала язычком его тельце. Вскоре ежик выполз в сад. Ему приветливо закивали цветы с больших клумб, и он весело прогуливался среди трав. Кожица его все еще была не жестче, чем лепестки пиона, который надменно поглядывал на него сверху. Но шли дни, и на шкурке его выросла жесткая щетинка. Ежик приуныл.

— Мои иглы будут царапать лепестки настурций и анютиных глазок. Не хочу я быть точно металлический скребок, о который люди чистят свои грязные подошвы у порогов домов. Не хочу быть как подушечка с булавками. Хочу остаться мягким.

— Глупый ежик,— сказал хмурый зеленый репейник, покачав колючей головой с лиловым чубиком,— не проживешь ты на свете без игольчатого панциря.

— Конечно, проживу,— ответил упрямый ежик,— разве цветам жить не легче? Их гладит ветерок и солнце, а их головки ничем не прикрыты, и даже у розы шипы не защищают цветка.

И он бросился к толстому угрюмому дубу.

— Позволь мне потереться о твои мощные корни и ствол; я не хочу, чтоб скверные иглы выросли на моей

спинке и поранили цветы. — Он стал кататься кубарем по земле и прижиматься к коре старого дерева. Но когда ежик вернулся в сад, то, к ужасу своему, увидел, что все цветы были сорваны. Только мудрый репейник спрятался в свою зеленую крепость.

В то же время большой бурый кот спрыгнул с крыши дома и, выставив все свои коготки, приблизился к ежику. Однако сотни иголочек, отвердев, грозно поднялись навстречу страшному врагу. Тщетно пытался кот вытащить ежика из его неприступной колючей брони.

Оцарапав нос и лапы, кот бежал, а маленький еж гордо высунул свою крошечную головку.

Репейник дружески кивнул ему сверху своим лиловым вихром.

— Да,— сказал ему ежик важно,— чтобы быть мягким, надо иметь наготове иголки!»

Ежедневно по утрам маленькая Тусси вместе с двумя старшими сестрами занималась гимнастикой, которую англичане называли калисфеновской. Все три дочери Маркса любили трудные физические упражнения. Они с наслаждением бегали взапуски, играли в мяч и соревновались в прыжках и лазании по деревьям. Но никто не мог превзойти в этих занятиях Женнихен. Чрезвычайно гибкая, она упорными занятиями достигла в гимнастике замечательных успехов и удивляла близких своей ловкостью. В свободные вечера дети демонстрировали такой трюк: сестры тщательно привязывали Женнихен веревкой к стулу. Эта процедура длилась не менее четверти часа и сопровождалась веселой суетой. Руки, ноги, шею, голову девушки прикрепляли к высокой спинке и ножкам. К всеобщему изумлению, Женнихен в течение одной минуты, ловко изгибаясь, освобождалась, сбросив с себя веревку, опутывавшую ее, как сеть. Тусси тщетно пыталась подражать в этом старшей сестре.

Женнихен была не только внешне, но и по складу ума похожа на своего отца. Жизнерадостная, настойчивая, она удивляла обширностью знаний, сообразительностью, полетом мысли и фантазии. Хорошая художница, она была одарена большим актерским дарованием и превосходно декламировала. Низкий грудной голос Женни был создан для сцены, как и вся ее незаурядная внешность. Она легко изучала языки и любила заполнять памятные тетрадки поэмами и стихами, записывая их в оригинале:

Гете, Шиллера, Гейне — по-немецки; Корнеля, Вольтера Беранже — по-французски; Шелли, Байрона, Мильтона — по-английски; Кальдерона — по-испански и Данте, Петрарку и Тассо — по-итальянски. Шекспир был ее самым любимым писателем, и она не уставала находить в его творениях все новые и новые сокровища. Так же пылко и нежно любила Женнихен цветы. Она сама их выращивала, радуясь каждому новому бутону и листику. Из Голландии родственники отца присылали ей луковицы и семена разноцветных тюльпанов, серебристых нарциссов и редких растений далекой Индонезии.

Золотоволосая Лаура к пятнадцати годам стала настоящей красавицей. Как и у Женни, ее духовный мир был многогранен и глубок, и она не искала для себя в жизни исхоженных и легких дорог. Обе старшие дочери стремились помогать отцу и поочередно заменяли ему секретаря.

В одном из писем к Энгельсу их мать с мягкой иронией сообщала: «Я думаю, что мои дочери скоро уволят меня в отставку, и я попаду тогда в список «имеющих право на обеспечение». Жаль, что нет перспектив на получение пенсии за мою долголетнюю секретарскую службу».

Маркс напряженно работал над памфлетом против Фогта. В это время он получил письмо из Парижа от своего давнишнего знакомого Сазонова. Взволнованные слова русского были настолько значительны, что Маркс решил включить это письмо в один из разделов своей работы о Фогте.

Сазонов писал из Парижа в мае 1860 года:

«Дорогой Маркс!

С глубочайшим негодованием я узнал о клеветнических вымыслах, которые распространяются на Ваш счет и о которых я прочитал в напечатанной в «Revue contemporaine» [1] статье... В особенности меня удивило то, что Фогт, которого я не считал ни глупым, ни злым, мог так низко морально пасть, как это обнаруживает его брошюра. Мне не нужно было никаких доказательств, чтобы быть уверенным, что Вы неспособны на низкие и грязные интриги, и мне было тем более тягостно читать эти клевет-

[1] «Современное обозрение».

нические измышления, что как раз в то время, когда они печатались, Вы дали ученому миру первую часть прекрасного труда, который призван преобразовать экономическую науку и построить ее на новых, более солидных основах... Дорогой Маркс, не обращайте внимания на все эти низости; все серьезные, все добросовестные люди на Вашей стороне, и они ждут от Вас не бесплодной полемики, а совсем другого,— они хотели бы иметь возможность поскорее приступить к изучению продолжения Вашего прекрасного произведения. Вы пользуетесь огромным успехом среди мыслящих людей, и если Вам может доставить удовольствие узнать, какое распространение Ваше учение находит в России, я могу Вам сообщить, что в начале этого года профессор Б... прочел в Москве публичный курс политической экономии, первая лекция которого представляла не что иное, как изложение Вашей последней книги. Посылаю Вам номер «La Gazette du Nord» [1], из которого Вы увидите, каким уважением окружено Ваше имя в нашей стране. Прощайте, дорогой Маркс, берегите свое здоровье и работайте по-прежнему, просвещая мир и не обращая внимания на мелкие глупости и мелкие подлости. Верьте дружбе преданного Вам...»

Усиленно помогали Марксу в работе над разоблачением Фогта Вильгельм Вольф и Энгельс. Фридрих тщательно просматривал все имеющиеся документы за 1850—1852 годы. Но в конце марта, в связи со смертью отца от тифа, он вынужден был спешно отправиться в Бармен.

Раскрытие подлинной сущности выпада Фогта требовало от Маркса кропотливой, чисто следственной и юридической работы. Так некогда разоблачал он кёльнскую судебную провокацию. Шаг за шагом прослеживал он идейный путь бонапартистского агента Фогта. Грязь, которой попытался сей зоологический ученый замарать коммунистов, падала на самого провокатора. Карл располагал неопровержимыми доказательствами своей правоты и не сомневался, что нанесет Фогту сокрушительное, непоправимое поражение. Политическая карьера Фогта должна быть навсегда кончена. Клевета всегда убийственна для клеветников, когда их разоблачают. Карл был подобен льву, растаптывающему лапой змею.

---

[1] «Северная газета».

Ему приходилось очень много трудиться в эти месяцы. Чтобы иметь хоть мизерный заработок, Маркс писал для «Нью-Йорк дейли трибюн» статьи на злободневные темы.

Снова широко и победно развернулось национально-освободительное движение на Апеннинском полуострове. Отряды Гарибальди с боями двигались по Италии.

В эти же месяцы французские и английские войска свирепствовали в почти безоружном Китае. Они осадили Пекин и зверски разграбили величайший памятник китайской архитектуры — Летний дворец. Командующий французской армией генерал Кузен-Монтобан ворвался со своими офицерами в императорскую резиденцию и принялся грабить прославленные китайские драгоценности, как самый отъявленный мародер и бандит. Затем он распорядился сжечь Летний дворец, что и было исполнено с вандальской изощренной жестокостью. Никто не пытался подсчитать количество жертв среди китайского населения — так много их было. В октябре китайское правительство вынуждено было подписать предложенные союзниками условия, обеспечивавшие, помимо огромной контрибуции, свободный доступ европейцев во все города Китая.

Когда усмиритель и вор генерал Кузен вернулся в Париж и отдал императору часть награбленных сокровищ, тот внес предложение в законодательные органы о присвоении ему титула графа и назначении огромной пожизненной пенсии. Однако разбойничьи подвиги генерала возбудили столь сильное негодование в народе, что даже палата отказалась исполнить пожелание императора.

— Генерал свое вознаграждение привез из Китая,— заявили депутаты.

Наполеон в отместку палате распорядился, чтобы к военным издержкам, которые обязывалось уплатить китайское правительство, приписали еще около шестисот тысяч франков в пользу командующего французскими войсками.

Маркс пытливо заглядывал во все уголки планеты. Он не замечал переутомления, исподволь подтачивавшего его. Он черпал силы в неумеренно напряженном, всепожирающем умственном труде, который всегда был его стихией.

Женни, однако, едва держалась на ногах. Мерзкие нападки Фогта, многолетняя беспросветная борьба за существование, постоянные долги и лишения стоили ей немало

бессонных ночей и унылых размышлений, подрывали силы. Дочери подрастали. Детство и отрочество их были нелегкими. Женни хотелось не только наряжать их, баловать, но, главное, дать им возможность учиться всему, к чему у них была склонность: музыке, живописи, языкам. Ее пугала их будущность, их полная необеспеченность.

Женнихен и Лаура, довольствуясь всегда немногим, отлично физически развивались и выделялись своими интересами и знаниями среди сверстниц. Но мать горевала, не имея возможности купить им самое необходимое из одежды и обуви, вывозить их на концерты и в театры, отправиться путешествовать, что значительно обогатило бы молодые восприимчивые души. Хотя Тусси росла на редкость здоровым и удачным во всех отношениях ребенком, Женни, вспоминая четверых умерших детей, постоянно боялась за нее. Накопившаяся за много лет усталость все чаще сменялась внезапным нервным напряжением и необъяснимой мучительной тревогой. Женни жила в состоянии постоянного ожидания неудач и неприятностей. Шли годы. Ей исполнилось уже сорок шесть лет.

«Неужели жизнь прожита? — спрашивала она себя и тут же отвечала: — Нет, не может быть, я все еще у ее порога. Лучшее у нас впереди».

Но почему ей стало не под силу нести жизненное бремя именно теперь? Бывало ведь значительно труднее? Женни с содроганием представляла себе Дин-стрит, Маркса без обуви, пригвожденного нищетой к дому, голод, смерть Фоксика, Франциски и Муша. Ей казалось, что небо было тогда затянуто густым черным туманом. Как смогла она пережить эти утраты? На кладбище для бедных, над черной ямой, куда опустили гроб Муша, губы Женни судорожно перекосились, и она думала, что никогда больше не будет улыбаться. Но она смирилась, продолжала жить, начала улыбаться и обрадовалась, когда снова услышала веселый смех Карла и девочек.

— Человек все может выстрадать,— поучала Ленхен.— На то он и царь земли. Птицы и звери, те вот слабые. Они, чуть что, и гибнут. А люди как камни. Да и если бы не было несчастья, как знали бы мы, что такое счастье? Вам жилось хуже, нежели теперь. Вспомните Дин-стрит.

Но Женни слушала ее безучастно. Да, у нее была наконец светлая квартира, три дочери действительно

отличались здоровьем, приветливым нравом, умом. Семья была спаяна крепкой любовью и дружбой. Но Женни как бы потеряла всякую сопротивляемость огорчениям, лишениям, испытаниям. Их было, видимо, слишком уж много позади. Ей нечем было больше страдать. Каждый удар, даже самый незначительный, больно задевал израненное сердце и причинял нестерпимые муки. Женни начала терять столь присущую ей раньше выдержку. Она часто плакала, иногда из-за пустячного повода, и едва сдерживалась, чтобы не повышать голоса. Ленхен не понимала ее.

— Ну чего вы так убиваетесь по мелочам? Пора бы привыкнуть ко всему и не обращать внимания. Не такое вы уже хлебнули. Эка беда, что кредиторы грозятся судом. Уймутся. Господин Энгельс поможет, а там Карл книгу допишет, и уж обязательно ему хорошо заплатят. А что разные мошенники клевещут, так без этого не бывает жизнь у хорошего человека. Вспомните притчу о Иове. Не то еще терпел. Карл и его друзья — все как есть праведники. Им рано или поздно все сторицею воздастся.

Женни, не дослушав Ленхен, торопливо одевалась и в омнибусе уезжала в Вест-Энд, желая побороть беспокойство и рассеяться на шумных улицах столицы. Она посещала магазины не столько ради покупок — у нее почти не было денег,— но чтобы посмотреть на модные наряды, которые так подошли бы ее красивым дочерям, заглянуть в каталоги нотных и книжных новинок.

Ей не сиделось на одном месте. Она не могла совладать с собой и с горечью и смущением впервые в жизни заметила, что с трудом сосредоточивается, переписывая по вечерам объемистую рукопись мужа.

Когда книга о Фогте подошла к концу, как это бывало всегда, Карл попросил Фридриха и Женни помочь ему окрестить новое свое детище. Энгельс предложил назвать памфлет «Господин Фогт».

Женни возразила:

— Мне не нравится. Я предлагаю название «Да-да, Фогт».

— Но позвольте, друзья, это как-то непонятно на первый взгляд и не связано с текстом,— настаивал на своем Фридрих.

Карл слушал спор молча. Он любил сопоставлять разные мнения. Это помогало ему найти правильное решение.

— Возможно,— сказала Женни,— но даже в греческих трагедиях часто на первый взгляд нет никакой связи между заглавием и содержанием. Это заинтриговывает читателя. Впрочем, пусть решает сам Мавр.

Поразмыслив, Карл склонился к предложению Фридриха. Книга была названа «Господин Фогт».

Спустя несколько дней после этого разговора, когда работа над брошюрой подошла к концу, Женни внезапно слегла.

Появились лихорадка и общее недомогание, боль в горле и резь в глазах, как это бывало обычно во время инфлюэнцы, столь частой в ноябре, когда Лондон с его непрерывными дождями, сыростью и яркой вечнозеленой травой становится похожим на огромный аквариум.

Женни тщетно попыталась превозмочь болезнь. Самочувствие ее непрерывно ухудшалось, головная боль и жар усиливались, и обеспокоенный Карл решил вызвать врача.

— Аллен знает отлично свое дело и не раз уже лечил нас всех успешно,— сказал он, но Женни с необычайной горячностью воспротивилась.

Решили прибегнуть к испытанным при простуде средствам. Ленхен напоила Женни горячим грогом, растерла с материнской нежностью и усердием теплым оливковым маслом ее грудь и спину и заставила надеть шерстяные носки, насыпав туда горчичного порошка. Но Женни не стало лучше. Лицо ее распухло, пылающие глаза начали слезиться, кожа приобрела странный пунцовый оттенок. Она совершенно потеряла сон и аппетит и впала в крайне возбужденное состояние, громко жалуясь на боль в пояснице, голове и горле. Карл послал за врачом.

— Мне холодно, точно я лежу на льду,— задыхаясь и дрожа всем телом, твердила Женни, но, когда ее пытались обогреть металлическими грелками, она отбрасывала их в сторону. — Жарко, душно, нечем дышать. Погасите камин, откройте окна, тело мое горит, как на угольях. Куда девать голову? Она такая тяжелая и так мешает. Если бы можно было ее снять и положить куда-нибудь, как шляпу. Опустите шторы, мои глаза видят все в багровом свете, точно вокруг пожар. Ах, Чарли, теперь я знаю, как больно бывает твоим глазам. Но почему так отчетливы и объемны мои мысли, я могла бы коснуться

их руками. Хочешь, Мавр, я проведу тебя шаг за шагом по всей нашей прошлой жизни от самого детства...

Но вдруг Женни вспомнила Фогта и кредиторов. Ничто не могло ее успокоить; казалось, что она бредит и никак не может отбросить прочь навязчивые мысли. Они, как репейник, цеплялись и ранили ее сознание. Она отбивалась от них, вскакивала с постели, неистовствовала, пока, обессиленная, не падала на подушку и не затихала в горячечном полусне.

Доктор Аллен отнесся к болезни Женни чрезвычайно серьезно. Он потребовал, чтобы тотчас же дети покинули дом. Вызванный Ленхен Либкнехт предложил увести девочек к себе и обещал окружить их родственной заботой. Маркс, зная о стесненном его положении, обещал ежедневно отправлять семье Либкнехта необходимые Женнихен, Лауре и Тусси съестные припасы. Заботу об этом взяла на себя Ленхен. Когда врач предложил, опасаясь заражения, и ей отправиться вместе с детьми, она вознегодовала:

— Вы злой человек, господин доктор, и, верно, не знаете, что для меня госпожа Маркс больше, чем моя жизнь, ближе, чем сестра, а со времени смерти баронессы Вестфален дороже, чем дочь. Что с того, что я моложе ее годами. Женни во многом сущее дитя. С ней сравнить можно разве только Карла. Я умру, как только оставлю этих двух беспомощных детей одних, ведь дорогой Карл позабудет, что надо есть и пить. Он питается одними книгами и сигарами. Умоляю вас, доктор, не делайте меня несчастной, я все равно буду стоять день и ночь у дверей и окон этого дома.

Доктор Аллен внимательно посмотрел на Елену Демут. Он постоянно лечил всех членов семьи Маркса и хорошо знал обо всем, что в доме делалось. Ленхен всегда нравилась ему. Она выглядела значительно моложе своих сорока лет и была очень миловидна. Стройная, белокурая, с чудесным румянцем на лице, умная и находчивая в разговоре, она легко могла выйти замуж и зажить своей семьей, но решительно отклонила несколько брачных предложений. В Женни, Карле и их девочках сосредоточился весь смысл ее жизни. И Аллен знал, что не в его власти заставить ее покинуть этот дом, как бы ни была велика опасность заражения тяжелой болезнью.

Елена и Женни горячо любили друг друга.

— Если я умру,— сказала Женни,— похороните меня так, чтобы рядом оставалось место также для Карла и для тебя, Ленхен. Мы были неразлучны в жизни, пусть же наши бренные останки будут вместе в земле.

Аллен согласился оставить Ленхен в помощь Карлу, который не отходил с этой минуты от больной и старался быть самой терпеливой и внимательной сиделкой.

Со слезами на глазах Женнихен и Лаура покидали родителей. Глубокая грусть охватила всех. Карл вышел на крыльцо, чтобы еще раз поцеловать дочерей. Только проказница Тусси не понимала постигшего дом несчастья.

— До свидания, старина. Я скоро вернусь, ты доскажешь мне тогда сказку о Гансе Рекле,— сказала она, крепко целуя колючую щеку отца и маленькими ручонками ласково растрепав его мягкие густые волосы.

Когда доктор Аллен дал последние наставления Ленхен и вышел из комнаты больной, Карл с нервно бьющимся, встревоженным сердцем, крепко сжав руки, обратился к нему с просьбой не скрывать правды о состоянии больной.

— Я вижу по всему,— произнес он дрожащим голосом,— что опасность очень велика, но есть ли надежда на спасение? Лишь бы ничего не грозило ее психике. Моя жена в последнее время была столь возбуждена, что, вероятно, нетрудно сойти с ума. Только бы не это.

Врач с глубоким сочувствием посмотрел на осунувшееся, болезненно-бледное лицо Маркса.

— В одном отношении дело обстоит лучше, чем вы думаете,— ответил он,— это не нервная горячка, и рассудку госпожи Маркс ничто не угрожает, но в другом — приготовьтесь к худшему из того, что могло вас постигнуть. Очевидно, тяжелые переживания последних лет истощили организм вашей жены и где-нибудь — в лавке, в омнибусе, в толпе — она заразилась болезнью, весьма частой в прошлые века...

— Какой? Неужели... — потрясенный страшной догадкой, вскричал Маркс.

— Черной оспой.

Карлу показалось, что врач исчез из поля его зрения, что он на мгновение ослеп и оглох.

«Оспа, оспа, оспа, оспа, смерть, смерть, смерть»,— рвались, как гранаты, в мозгу два слова.

Где-то далеко-далеко снова зазвучала для Карла монотонная речь врача.

— Я сделаю госпоже Маркс, вам и почтенной мисс Демут по две прививки, как учил нас великий Дженнер. Надо надеяться, что вы оба еще не заразились.

— Спасите Женни,— беззвучно сказал Карл,— не могу ли я что-либо сделать? Располагайте мной, моей жизнью, доктор Аллен. Останется ли она жива?

Доктор Аллен принялся основательно мыть руки в фаянсовом тазу, принесенном Ленхен.

— Оспа — младшая сестра чумы, но не все заболевающие ею умирают,— спокойно объяснял он,— будем надеяться на лучшее. Дженнер дал нам могучее средство, правда, в качестве профилактики, но и во время болезни оно иногда помогает. Жизнь вашей супруги теперь зависит более всего от ее природы. Медицина одна тут бессильна. Госпожа Маркс не стара, у нее хорошая наследственность, и я не замечал, чтобы сердце ее, печень и почки были нездоровы. Крепитесь, друг мой, терпение и время — вот наши с вами подручные.

Врач прописал больной красное вино для поддержания сил и сделал Карлу и Ленхен прививки.

— Твердо надеюсь, что организм вашей жены победит эту отвратительную болезнь и оспе не удастся обезобразить одно из самых прекрасных лиц, какие я знаю.

Врач ушел. Карл отыскал и прочел в справочнике все, что было известно об одном из самых заразных и тяжелых заболеваний, об оспе. То, что красота Женни также находится под угрозой и она может ослепнуть, не показалось Карлу столь страшным, как процент смертности от этого бича, вырванного у природы около ста лет назад скромным сельским лекарем.

Образ Женни навсегда запечатлелся в любящем сердце Карла, и, какой бы она ни стала, для него она навсегда была единственной, незаменимой, прекрасной. Настоящая любовь не исчезает оттого, что идут годы, чередуются болезни, наступает старость и стирает краски, сушит кожу, прокладывает морщины, искажает черты, обесцвечивает волосы. Это неизбежность, на которой закаляется чувство. Внешнее разрушение не охлаждает истинной привязанности. Любовь всегда мудра. Женни и Карл стали как бы

единым физическим существом. И обоим им показалось бы странным даже самое предположение, что они могут разлюбить друг друга из-за поседевших волос, рябин на лице или рубцов от нарывов.

— Живи, только живи! — заклинал Карл, сжимая горячую сухую руку жены и заглядывая в ее воспаленные глаза.

Болезнь развивалась, беспощадная, уродливая, жестокая, изощренная, как камера пыток.

Лицо Женни напоминало багрово-синий кровоподтек. По всему телу разлилась темно-красная мелкопятнистая сыпь, которая затем превратилась в множество пузырьков, похожих на жемчужины, окруженные пунцовой каемкой.

Женни с трудом дышала, глухо кашляла и почти лишилась голоса, а затем и зрения. Во рту появились язвочки, мешавшие ей глотать. Карл поил ее по капельке с ложечки портвейном, чтобы хоть немного подкрепить. Она заметно слабела с каждым часом. На девятый день температура достигла возможного предела. Началась стадия нагноения. Кожа больной покрылась как бы чешуей из темно-бурых пустул. Сознание Женни затемнилось, она металась и вскрикивала. Глаза ее непрерывно слезились, веки отекли.

Приходя в себя, больная ясно чувствовала, что тело ее состоит из миллионов клеточек и каждая из них жжет, болит. Постель чудилась ей утыканной гвоздями, и она извивалась, чтобы как-нибудь лечь, причиняя себе меньше страданий. Начался адский зуд. Женни, казалось, обезумела. Чаша страдания переполнилась. Она испила ее до дна.

День и ночь напролет Карл старался успокоить зуд, обмахивая воспаленную кожу веером. Это не помогало. Женни принималась расчесывать ранки и срывать черные подсыхающие струпья. Она, казалось, звала смерть. Сознание ее было снова ясным и тем более усиливало мучения. Карл и Ленхен силой удерживали ее руки, чтобы она не расчесывала лицо и тело. Догадавшись, чем именно болеет, Женни испугалась, что заразит оспой мужа, и начала умолять его поостеречься и не прикасаться к ней. Но Карл никому не доверял ухода за женой. Несколько ночей были поистине страшны. Женни не засыпала ни на мгновение, и отек гортани не давал ей ни есть, ни пить. Одышка все усиливалась, пульс слабел.

Бесстрашная душа Карла дрогнула. Он подумал, что Женни обречена и погибает. Чувство душераздирающего бессилия и отчаяния, как тогда, когда на его руках умирал маленький Муш, охватило его. Карл заплакал. Искаженное, бесформенное, бураково-фиолетовое лицо, заплывшие, незрячие глаза Женни были ему дороже всего на земле. Вряд ли он любил жену больше, когда красота ее изумляла. Без Женни не было жизни для Карла. Но он чувствовал всю свою беспомощность, оказавшись свидетелем единоборства со смертью самого любимого им существа.

Что предпринять? Чем помочь? Все было напрасно. Болезнь неумолимо продолжалась. Зуд не прекращался, хотя жар спадал, глаза прозрели и пустулы подсохли. Карл едва держался на ногах. Многодневная бессонница, постоянные опасения грозили тяжелыми последствиями. В дни наибольшего напряжения судьба пришла ему на помощь. У него разболелись два зуба. Дантист вырвал их столь неудачно, что в десне остались корни. Щека Карла распухла. Он потерял способность думать, все исчезло и растворилось в невыносимой боли.

Это неожиданное переключение спасло его от опасного психического напряжения, точно так же как оспа, по мнению доктора Аллена, предотвратила для Женни тяжелое нервное заболевание.

Женни начала медленно поправляться. Карл и Ленхен были оба так переутомлены, что пришлось нанять для нее сиделку. Дети все еще жили у Либкнехтов. Несколько раз родители предлагали им переселиться в учебный пансион, однако Женнихен и Лаура отказывались, так как обе были атеистками и не хотели лицемерно исполнять обязательные в учебных пансионах религиозные обряды.

Карл и Женни переживали счастье возрождения. Они не могли наглядеться друг на друга и не замечали вынужденной из-за болезни изоляции от всего мира. Их вечно молодая любовь, пройдя через испытание и опасность, еще больше спаяла их.

Карл, радуясь, что жена спит целебным сном выздоравливающих, сидя подле нее, находил отдохновение в высшей математике и подолгу решал мудреные, сложные задачи. Каждые два-три дня он писал письма в Манчестер, где Фридрих Энгельс и Вильгельм Вольф с волнением ждали известий о ходе болезни.

Однажды Женни попросила зеркало. Оспа, однако, не смогла обезобразить ее точеного лица, ярких карих глаз. Но кожа напоминала пчелиные соты. Заметив смущение и беспокойство жены, Карл сказал ей со всей присущей ему силой убеждения:

— Милая, ты была, есть и будешь для меня самой красивой женщиной в мире. Доктор Аллен заверяет, что на твоем лице скоро не останется и следа болезни. Если даже несколько рябинок не совсем исчезнут, они украсят тебя, как родинки, воспетые восточными поэтами.

Дни на Графтон-террес потекли обычной чередой. Но потрясения последней поры не прошли для Карла бесследно, он тяжело заболел и слег.

Большой радостью были для него похвалы книге «Господин Фогт», которая вышла из печати и раскупалась в разных странах. Капп был заклеймен: Фогт получил удар, от которого никогда уже не оправился как политический деятель.

Энгельс многократно в письмах восторженно высказывался о работе друга:

«Вещь эта превосходна... это сокрушительно...», «Это, конечно, лучшее полемическое произведение, какое ты когда-либо написал; его стиль проще, чем в «Бонапарте», и все же, там, где это нужно, оно так же эффектно».

В течение четырехнедельного карантина в связи с оспой Карл, когда опасность для жизни Женни миновала, прочитал множество книг. Особенно заинтересовал его недавно изданный труд Чарлза Дарвина о естественном отборе. Он не замедлил поделиться своим впечатлением об этом необыкновенном произведении с Женни, а затем и с Фридрихом.

«...Эта книга дает естественно-историческую основу для наших взглядов»,— писал он между прочим.

Энгельс приветствовал труд Дарвина как первую грандиозную попытку успешно доказать историческое развитие в природе.

В то время как недоступный аристократический Оксфорд готовил Англии преимущественно политических деятелей консервативной партии, Кембридж вооружал профессиональными знаниями юристов, физиков, врачей и естественников. Дарвин получил ученую степень

в колледже Кембриджа, похожем на магометанскую богословскую школу — медресе. Глубокая тишина нарушалась там дважды в день протяжным пением органа во время обязательной церковной службы. Но смелость научных выводов Дарвина испугала кембриджских ученых. Его книга была вызовом городу, где все жило заветами англиканской церкви.

Внутренняя политика Наполеона III возбуждала недовольство не только простого народа и рабочих, но и крупной буржуазии. Не мирились с новым режимом интеллигенция, торговцы и мелкие фабриканты. Император опирался на военную силу, полицию и духовенство. Католическая власть широко раскинула свои ловушки по всей стране. Печать билась в сетях цензуры. Свобода собраний и слова всячески попиралась. В Париже и провинции возникали тайные революционные общества, за которыми ретиво охотилась полиция.

Многолетний префект Парижа, барон Осман, согласно воле императора, рьяно занимался перестройкой столицы, прокладкой новых, широких улиц и бульваров. Сносились старые кварталы, возводились вычурные, дорогостоящие здания.

Старый средневековый Париж узеньких, непроезжих улочек и тупичков, маленьких квадратных площадей, готических домов с острыми отвесными крышами, продолговатыми глубокими окнами с резными наличниками и тяжелыми входными дверями в низких подворотнях, город цеховых корпораций, торговых рядов, защитных стен, башенок и рвов, подъемных мостов, площадок для дуэлей на шпагах, чумных нашествий и всеуничтожающих пожаров исчезал. Ему на смену вырастали просторные проспекты, великолепные площади, парки и дворцы с множеством крикливых лепных украшений, орнаментальных колонн, которые беспощадно облепляли пыль и сажа. Париж стал нарядным, комфортабельным городом буржуазной Европы. Но Бонапарт и его слуга префект Осман преследовали не только эстетическую цель украшения столицы, они решили смести улицы, столь удобные для баррикадных народных боев. К тому же большое строительство предотвращало безработицу и давало заработок труженикам.

Водитель локомотива Жан Сток доставлял железо, мрамор, туф и много других материалов для возведения богатых домов в центре Парижа.

В свои двадцать с небольшим лет машинист был так мужественно хорош собой, так привлекательна была его улыбка, открывавшая зубы, белые, как рис, что, даже когда он выглядывал с паровоза вымазанный, будто савоярский трубочист, молодые девушки кричали ему приветствия и махали платочками, останавливаясь у полотна дороги. Жан замечал их и был доволен, но не потому, что ему это льстило или он сам заглядывался на женщин. Досадная мысль волновала его постоянно: «Почему я нравлюсь всем, кроме одной?»

Жаннетта встречала его, когда он возвращался с работы, сурово и придирчиво:

— Ну и гадкую же ты выбрал профессию, мальчик. И что хорошего в дымящем утюге, которым ты приглаживаешь дорогу? Я не успеваю отстирывать твою одежду от грязи. У тебя всегда воспалены глаза, ты пропитан мазутом, машинным маслом и угольной пылью. А твои ногти черны. По ком только носишь ты траур?

— По любви, которой не смог добиться. Знаю, Жаннетта, как я тебе противен. Ты можешь обижать меня как хочешь, но профессию машиниста не задевай. Она, право, лучше всякой другой.

В этом мнении Жан был непоколебим. Он любил свой локомотив, как кавалерист лошадь и кочевник верблюда. Ему казалось, что на свете нет машины более величественной и сильной. Жану никогда не надоедало чистить огромный остов железного великана, и если бы он не стеснялся рябого насмешливого кочегара, то громко говорил бы с локомотивом, как с живым существом. Но и так он нередко обращался к нему мысленно:

«Ну, поторапливайся же, что это ты, дружище, поскрипываешь и замедляешь ход,— видно, просишь больше пару. Потерпи немного, до водокачки осталось десяток миль, а уж там я напою тебя славно. Не шали, голубчик, давай-ка принажмем. Быстрее... еще... еще... Молодец!»

Жан уверенно управлял громадным чудовищем, которое с трудом тащило за собой много груженных тяжестями и людьми деревянных коробок, поставленных на колеса. Отвага, сознание силы и чувство собственного

достоинства всегда были присущи сыну Женевьевы и Иоганна Стока. Профессия укрепила эти черты его характера. Он был господином одного из лучших изобретений века, и новая, впервые зародившаяся гордость открылась ему. Быть машинистом локомотива было почетно и свидетельствовало о смелости. Железнодорожные катастрофы случались часто. И если бы Жан был опытнее и наблюдательнее, то заметил бы, что Жаннетта часто в часы его возвращения стояла у порога дома. Вздох облегчения при виде юноши предшествовал ее угрюмому приветствию и придиркам.

Жаннетте было за тридцать, и она считала себя старухой, хотя выглядела совсем юной и была очень привлекательна. Прошло много лет со дня смерти Иоганна Стока: его дочь, Катрина, стала послушным, трудолюбивым подростком и училась шить у одной солидной портнихи на улице Мира, где одевались только богатые буржуа, модные актрисы и содержанки. Жаннетта мечтала о том, что Катрина откроет со временем собственную мастерскую и будет жить безбедно.

— Тогда и я отдохну подле моей приемной дочери. Моя жизнь ведь кончена, и я надеюсь, что старость вознаградит меня за все былые неудачи и горести,— любила говорить Жаннетта, вызывающе и зло глядя при этом на Жана. — Ты ведь не оставишь меня, Катрина?

Девочка кидалась на шею своей названной горячо любимой матери и покрывала ее лицо и руки поцелуями, а Жан отодвигал тарелку с превосходным супом и вставал из-за стола. Последнее время отношения его с Жаннеттой ухудшались непрерывно.

— Зачем ты ходишь поденно стирать тряпье и мыть полы ко всем старым холостякам и вдовцам нашей улицы, разве моего заработка не хватает на нас троих? — возмущался молодой машинист.

— Кто дал тебе право шпионить за мной? Я не привыкла давиться чужим хлебом и, пока гнется спина и не трясутся руки, буду работать на себя. Какое мне дело до твоих заработков? Может, завтра ты приведешь молодку, и нам с Катриной надо будет искать себе другую кровлю.

Жан испытывал желание избить Жаннетту и уходил из дома в соседнюю таверну, где читал газеты, пил аперитив и вступал в беседы и споры.

Противоправительственные настроения все нарастали. Народ знал, что у кормила власти собрались авантюристы и мошенники, получившие после бонапартистского переворота чины, богатства и земли. Духовенство прибрало к рукам неграмотное, темное крестьянство. Биржевые спекулянты во главе с братом Бонапарта, графом Морни, преуспевали и тянули деньги из казны. В государстве не чувствовалось устойчивой продуманной линии правления. Одна прихоть сменяла другую. За исключением крупной буржуазии и бюрократов, никто не был уверен в своем завтрашнем дне и не верил ни одному начинанию императора, о котором шумели подкупленные им газеты и чиновники. Слова резко расходились с делами. Неустойчивость и недоверие к властям породили у одних безразличие, у других — возмущение. По-прежнему барон Осман тратил большие деньги на украшение Парижа и строительство зданий. Но в нарядные дома и особняки въезжали зажиточные люди, а рабочий люд продолжал по-прежнему ютиться в подвалах и конурах на окраинах. Благоустройство столицы не было рассчитано на улучшение жилищ бедняков.

Домовладельцы получали неимоверные барыши, наживаясь на своих земельных участках и зданиях, предназначенных на слом. Искусственно вздувались цены и заключались фиктивные сделки. Правительство потворствовало шантажу, спекуляции и мошенничеству.

Жан Сток не держал языка за зубами и не боялся говорить о том, что думал о правлении Бонапарта. Уроки отца не забывались. Жаннетта, потерявшая мужа на баррикадах и сама участвовавшая в июньском восстании 1848 года, оказалась во власти противоречивых чувств, когда узнала, что Жан посещает тайные собрания рабочих и часто выступает на них, призывает на борьбу с произволом цезаризма. Она понимала, что сын расстрелянного второго декабря коммуниста не должен трусить и покоряться ненавистному режиму буржуазии, возглавляемой авантюристом, но страх за жизнь Жана и его безопасность подсказывал ей другое.

«Если ты погибнешь, я этого не переживу»,— хотелось ей крикнуть Жану, но тогда обнаружилась бы тайна, которой она стыдилась. И, хитря, Жаннетта принималась говорить, что рабочим вовсе не так уж худо в Париже.

— Чем тебе плохо? Платят хорошо, живешь, как не

снилось твоим родителям. По праздникам одет, как будто имеешь бакалейную лавку. Можешь выбрать невесту, даже с хорошим приданым.

Жан досадливо морщился.

— Женщину всегда можно купить. Я не ожидал, что ты, друг моего отца, можешь болтать, как торговка.

Жаннетта не умела лгать и притворяться.

— Ты прав, мальчик, все это я выдумала, но у тебя есть сестра. Ты не захочешь, чтобы она торчала под стенами тюрьмы или — еще чего хуже — у подножия гильотины.

— Ну, дальше Гвианы для рабочего дороги заказаны. Мы не безумцы террористы, чтобы нас обезглавили на радость Бонапарту, который воображает себя и впрямь Цезарем. Нужна социальная революция, а не бомба, взрывающая один экипаж. Эх, Жаннетта, если бы ты меня любила, как силен я был бы в борьбе.

— Тебе пора жениться, а я, чтобы показать тебе, как это делается, выхожу скоро замуж за нашего соседа, портного. Хорошая у него профессия. Тихий, непьющий, добрый человек, да и по годам мне подходит.

Жан схватил Жаннетту за плечи:

— Ты все шутишь, но смотри, как бы не выплакать тебе глаза.

Жаннетта действительно дала согласие вдовцу, который был когда-то приятелем Кабьена и Стока. Она решила создать искусственную преграду между собой и молодым машинистом, который с каждым днем становился ей дороже.

«Брак,— уговаривала она себя,— навсегда разлучит нас с Жаном и утихомирит мое сердце».

Но мысль о другом приводила ее в отчаяние и снова она принималась внушать себе, что не должна любить Жана.

«Я стара. Десять проклятых лет. Зачем родилась я раньше его. Он будет еще молод, когда я высохну, как мочалка».

Вне себя от ревнивой горечи, досады и женского чрезмерного самолюбия, Жаннетта решила выйти замуж за другого.

Отчаянию Жана не было предела. Всю ночь до утра на все лады умолял он любимую женщину стать его женой, даже если она к нему равнодушна.

— Я не верю, чтобы ты полюбила этого облезлого козла. Тут кроется иное. Может, тебе не хочется ходить на поденную работу? Но я давно прошу тебя тратить все деньги, что я приношу в получку. Ты не можешь, не смеешь оставить меня и Катрину. Вспомни клятву, данную моему отцу.

— Девочка будет жить со мной, а тебе давно пора вить свое гнездо.

— Я никогда не женюсь.

Жаннетта вся засияла от радости, но, тотчас же испугавшись, что выдаст себя, сказала с напускным равнодушием:

— Тоже нашелся монах. О-ла-ла! Слишком ты красив и силен, чтобы выстричь на макушке тонзуру. Вспомни лучше, как я шлепала тебя, когда ты бил баклуши или дрался с мальчуганами на улице, а я была уже замужем. У тебя был тогда голосок, как у пискливой девчонки. Я гожусь тебе в тетки, парень.

— Для меня на свете нет и не будет более молодой и желанной.

Жаннетта закрыла лицо руками. Она была счастлива этим признанием, но снова тревожные сомнения из-за разницы в годах и женское самолюбие победили.

— Не дури, ищи своей судьбы. Твои родители прокляли бы меня, если бы я пошла с тобой под венец. Я выйду замуж за ровню. Мужу моему будет сорок лет, и никто не скажет, что Жаннетта соблазнила мальчишку. Мужчине положено жениться на молоденькой.

— Кто сказал? Турки. Я читал, что они покупают в свои гаремы сопливых девчонок. Вот, верно, скучища с ними. Хотел бы я знать, о чем с ними говорить? Я не нянька, не учитель приходской школы; мне нужна жена с головой, с характером. Знаешь, Жаннетта, когда я полюбил тебя? На баррикаде. Ты подхватила знамя, упавшее из рук Кабьена, и была прекрасна и беспощадна, как революция.

— Твои слова так красивы, точно ты выучил их из книжки.

— Пуля свалила тебя. Окровавленную, я вынес тебя из пекла, каким стала баррикада. Мне казалось, что ты убита, и я решил умереть тоже. Не бросай меня, Жаннетта. Не поступай со мной, как враг. Ты ведь решила выйти замуж не по любви. Что-то другое толкает тебя

в петлю. Мой отец, помню, внушал мне стараться не делать ошибок. «Есть закон ошибок, это палка о двух концах,— говорил он,— и обязательно рано или поздно она стукнет по голове».

На рассвете Жан добился от Жаннетты обещания повременить со свадьбой еще несколько месяцев.

— Мало ли что может случиться,— сказал он ей пророчески, собираясь в железнодорожное депо, на локомотив.

Более трех дней Жан был в отлучке, он вел состав в Лион и обратно. Вернувшись, он застал Жаннетту угрюмой и неразговорчивой. Снова ее обуяли сомнения. К тому же с некоторых пор, когда Жан был в поездках, ее грызла ревность.

Расстроенный и недоумевающий, молодой машинист, как всегда по вечерам, отправился в знакомую таверну, где собирались рабочие, в большинстве столяры, каменщики и маляры, работавшие на строительстве Большого Парижа. Работы подходили к концу, и они тревожно ждали будущего, предвидя безработицу и скитания.

— Вот кончаем строить хоромы. А никогда и на черную лестницу этих домов нас не пустят. Сегодня я красил стены ресторанного зала, а кто будет любоваться моей работой? Пузатые банкиры, биржевики и фабриканты.

— Да, в твоей одежонке да с пустыми карманами тебя швейцар так шуганет с порога твоего ресторана, что костей не соберешь.

— А хороший театр мы недавно сдали, жаль, что не придется смотреть, как будут в нем петь, плясать актеры и представлять всякие пьесы. В сорок восьмом году я бывал в «Комеди Франсез» и, по правде сказать, без памяти влюбился в одну актрису, которая читала «Марсельезу» так, что мы все плакали. С тех пор я часто во сне вижу сцену, меня дома жена так и прозвала театралом. Но купить билет мне не по карману, разве только на ярмарке.

— Барон Осман кидает нам подачки с барского стола, чтоб не подохли с голоду. А мы трудимся с рассвета до сумерек.

— Так было, есть и будет, покуда императоры и прочая нечисть будут управлять страной, принадлежащей

всему народу,— веско произнес Жан, окидывая сидевших за столами людей цепким, острым взглядом.

На мгновение все стихли, завороженные столь смелыми словами.

— Ты на что намекаешь? — вдруг спросил худой человек в одежде простолюдина и серой кепке, которую он не снял, хотя давно уже сидел за столом, изредка прихлебывая из кружки кислый сидр.

— А я не намекаю, я говорю прямо то, что думаю. Нет для нас иного выхода на волю, кроме рабочей революции.

— Ого, вот ты каков,— тихо огрызнулся человек в кепке; но Жан не слыхал его слов. К нему подошел старик с седой головой, изможденным лицом, на котором поражали молодые дерзкие умные глаза.

— Ты сын Иоганна Стока,— сказал он, присаживаясь к столу Жана. — Я не раз видал тебя, паренек, да не решил тогда, нужно ли знакомиться. Бывает, что дети не стоят своих родителей. Но ты не таков. Я хорошо знал твоего отца. Это был человек. Мы жили в одном домишке на улице Вожирар. Ты, верно, слыхал: Кабьен, Красоцкий и я.

— Значит, вы и есть итальянец-прядильщик по имени Пьетро. Мой отец и Кабьен искали вас в годы революции и решили, что вы погибли. Отец говорил: такие, как он, своей смертью не умирают.

— Иоганн знал толк в людях, но время умереть для меня еще не настало. Сейчас люди, как никогда, нужны, много нас погибло. Я еще могу пригодиться. Сегодня ночью я отправляюсь на родину. Ты, верно, слыхал о доблестной тысяче Гарибальди?

— Теперь будет уже тысяча и один? — улыбнулся Жан. — Газеты вопят, что война с Австрией на носу. Наш цезарь обязательно ввяжется в это дельце. Трон его качается, нужно укрепить сиденье.

— Ты прав. Он хочет показать, что был карбонарием, когда участвовал в заговоре братьев Бандьера и едва унес целыми свои кости. Сейчас ему выгодно похваляться этим перед итальянцами. Пускай! Нам это тоже на руку. Хоть с самим чертом, лишь бы выгнать Франца-Иосифа с нашей родной земли. А там и его выставим пинком в зад,— горячо произнес Диверолли.

Жан, повысив голос, обратился не столько к своему собеседнику, сколько ко всем в таверне:

— Бонапарт рад случаю таскать каштаны из огня чужими руками, тут беспроигрышная комбинация: поможет сардинскому королю Виктору-Эммануилу и оттяпает за это жирный кусок. А главное — уладит все свои темные делишки внутри страны и скроет, что в казне не осталось ни гроша. Недаром Бонапарт сказал, что нет ничего легче, чем управлять французами: каждые четыре года им нужна война, и тогда они будут довольны. Что же, после Крымской войны прошло именно столько времени.

— Замолчи,— схватил машиниста за руку итальянец. — Будь сдержан, а то дойдешь до беды. Ты забыл, что недавно издан суровый закон об охране личности императора. Легко попасть в Гвиану, но нелегко выбраться оттуда живым. Не забывай этого. Ну, а мне пора, сынок.

Жан крепко обнял Диверолли. Итальянец вышел. К машинисту тотчас же подсели рабочие. Какой-то извозчик, изрядно выпив, принялся задираться и возносить Наполеона III. Завязался спор. Слегка охмелевший от нескольких рюмок аперитива, Жан вспылил.

— Наполеон поднялся оттого, что французский народ пал. Его слава — наш позор! — крикнул он.

— Врешь,— сказал владелец таверны,— император выиграл войну в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году. Он отличный воин, дипломат и правитель. При нем у рабочих всегда хлеб и жирный суп на столе. Я считаю, что он достойный преемник своего дяди.

— Кнутолюбцы! — рассвирепел Жан, окончательно потеряв самообладание.

— Глядите, парень от похвалы императору взбесился, как бык при виде пунцовой тряпки,— сказал многозначительно худощавый сутулый человек и надвинул до самых бровей мятую кепку.

— Вы называете великим того, кто превзошел предшественников в произволе! — вскричал Жан. — Сила кулаков не есть сила справедливости, и вы, плававшие в крови революции, братья и сыновья тех, кто жизнь отдал за ваше счастье и свободу, превозносите кого? Палача и мошенника, обманувшего народ.

В ту же ночь Жан был арестован. Управляющий министерством внутренних дел генерал Эспинас, пользуясь

военной диктатурой, введенной после попытки покушения на императора, располагал отныне всей полнотой власти. Он имел право, утвержденное услужливым большинством Законодательного собрания, арестовывать, ссылать, держать в тюрьме без суда каждого заподозренного в неповиновении и критике бонапартистского режима и особы императора.

Жан подпал под этот закон. Он отнесся к аресту с редким хладнокровием и проявил горячность только тогда, когда Жаннетта бросилась к нему на грудь и, заливаясь слезами, сказала:

— Миленький мой, я люблю тебя больше всего на свете и, как только мы будем вместе, буду твоей женой, что бы ни сказали об этом все кумушки Франции.

Жан часто слыхал от отца о тюремных нравах верхнегессенских тюрем. Но большая камера, куда его заперли, ничем не походила на каменный мешок, где два года томился портняжный подмастерье в тридцатых годах XIX века. В помещении, годном вместить двадцать человек, находилось свыше сотни. Для Жана нашлось подобие места возле огромной зловонной бочки у самой двери. Там он мог приместиться, только сидя боком. В камере был такой назойливый шум, что даже привыкший к грохоту локомотива и поездов Жан очень скоро почувствовал боль в висках и головокружение. Маленькое окошко, забранное решеткой, находилось под самым потолком и почти не пропускало света. В камере царил полумрак и было так душно, что арестованные сидели (лечь было негде) полуголыми, задыхаясь от вони.

Кормили в тюрьме плохо и мало, и скоро Жан начал испытывать отвратительное, непрерывно сосущее чувство голода. Силы его стали быстро падать. Все арестанты этой камеры — рабочие — предназначались к отправке на каторжные работы в Гвиану, где свирепствовала смертельная желтая лихорадка. Как некогда в Кайенне, каторжане, имевшие несчастье быть высаженными на этом острове, очень скоро умирали.

Разговоры узников велись об ожидавшей их участи и о возможности побега. Но вырваться из тюрьмы было невозможно. Жан изнемогал от голода, тоски по Жаннетте. Никогда раньше он не предполагал, что человек так нуждается в том, чтобы быть одному. В тюрьме он

ни на мгновение в течение суток не оставался без людей, и это стало для него мучением таким же, как полное одиночество. Теснота и смрад притупляли ощущения. Он научился спать сидя и привык к зуду, появившемуся от грязи и множества насекомых, ловлей которых развлекался иногда много часов подряд.

Плохая еда, голод и теснота озлобили людей.

Непрерывно в камере возникали шумные ссоры и стычки. Жан, как и все остальные арестанты, мечтал об отправке куда угодно. Даже острова с убийственным климатом больше его не пугали.

Заключенные были как бы заживо похоронены и ничего не знали о том, что творилось за стенами тюрьмы. А в это время Франция начала войну.

Однажды после нескольких месяцев пребывания в тюрьме Жана вызвали на допрос.

— Ты сын коммуниста, пытавшегося второго декабря тысяча восемьсот пятьдесят второго года убить императора. Злоумышленник прятался на одной из разрушенных баррикад, когда его императорское величество объезжал ликующую столицу. Убийцу звали Иоганном Стоком.

Жан не знал, где и когда погиб отец, куда зарыли его тело.

— Мой отец всегда порицал террор, он был коммунистом,— гордо ответил молодой машинист.

— Не оспаривай доказанных фактов. Твой отец был негодяем и бунтовщиком. Он расстрелян на месте преступления, хотя заслуживал не пули, а четвертования, как, впрочем, и ты, его отродье!

— Вы можете делать со мной что хотите, но не смеете оскорблять память честнейшего из людей.

— А, вот как ты говоришь об отъявленных врагах своего императора. Так получай же прежде, чем тебя сгноят в каземате. — И следователь плетью ударил Жана по лицу.

В ту же минуту арестант поднял руки в кандалах и с размаху опустил их на голову допрашивающего его жандарма.

Через час избитый, обливающийся кровью рабочий был водворен в подвальный карцер, где и пролежал больным более полугода. В это время ушел этап на Гвиану. Жан Сток остался в парижской тюрьме.

Весной Австрия предъявила ультиматум сардинскому королю, требуя разоружения его войск в течение трех дней, и получила отказ. Войска Франца-Иосифа вступили в Пьемонт. Наполеон тотчас же двинул свою армию. Пруссия объявила нейтралитет. В Англии друг Наполеона III старик Пальмерстон снова стал премьер-министром.

Политика — ремесло сложное и хитрое. Гарибальди, который в 1849 году во имя Римской республики сражался против Франции, теперь явился ее союзником, как и сардинское правительство.

Восьмого июня союзная армия вступила в Милан, который австрийцы, боясь мести населения, должны были поспешно очистить. К этому времени во всей Верхней Италии, вплоть до папской области, вспыхнуло народное восстание. В Тоскане уже в конце апреля было создано временное правительство; то же произошло в Парме и Модене, а в различных областях папской области — Болонье, Ферраре, Анконе — была провозглашена диктатура сардинского короля Виктора-Эммануила. Вскоре произошло решительное сражение при Сольферино.

Австрийцы расположились на высотах под прикрытием четырех больших крепостей. Император Франц-Иосиф, подошедший со свежими силами, принял главное командование. Однако, несмотря на превосходную позицию и большую численность армии, австрийцы после жаркой битвы с французско-пьемонтской армией под начальством Луи-Наполеона должны были отступить. Наполеону удалось пробить центр вражеской армии и занять многие высоты. Наступившая к вечеру гроза помешала, однако, полностью использовать победу. Австрийцы успели отступить. После нескольких маленьких стычек было заключено перемирие, и через три дня Франц-Иосиф и Наполеон III встретились в Виллафранке, близ Вероны, и выработали главные условия мира. Австрия уступала Ломбардию Франции, которая должна была передать ее Пьемонту; мелкие итальянские провинции оставались во владении своих князей; основывался союз итальянских государств под верховной властью папы. Венеция оставалась в руках Австрии.

С горьким чувством разочарования итальянские патриоты встретили эти условия мира. Доблестный Гари-

бальди, доставивший своими вольными дружинами много беспокойства Австрии, не мог удовлетвориться подобными результатами борьбы. Он отправился в Романию и принялся формировать народную милицию.

Наполеон, давший невольный толчок итальянскому народно-освободительному движению, отныне не был в силах остановить его. Пруссия между тем мобилизовала свою армию и объявила, что в момент, когда война Франции с Австрией выйдет за пределы Ломбардии, она исполнит долг союзника Австрии и во главе немецких войск двинется во Францию. Наполеону не оставалось ничего другого, как удовлетвориться добытыми землями. Племянник не посмел, не мог решиться на то, на что отважился бы, вероятно, его дядя. Всякое дальнейшее покровительство освободительному движению в Италии к тому же неминуемо привело бы его к открытым столкновениям с папой и французскими клерикалами. Из опасения нанести удар своей династии, он отступил и потребовал Ниццу и Савойю в виде «вознаграждения» за помощь, оказанную соседнему королевству Сардинии.

Поднявшаяся в Италии волна народного движения не утихала. Гарибальди со своей «тысячей» высадился в Сицилии; в течение немногих месяцев знаменитый уроженец Ниццы, вокруг которого собрались добровольцы из всех стран мира, положил конец господству Бурбонов в обеих частях Сицилии.

В конце лета 1859 года, ввиду победы в Италии, Наполеон III дал амнистию заключенным.

Жан Сток вернулся домой совершенно больным. Спустя несколько месяцев, оправившись немного, он женился на Жаннетте. Потерявший место в депо, изможденный и внешне изменившийся настолько, что выглядел теперь старше своей невесты, Жан хотел отложить брачную церемонию до лучших времен, но Жаннетта сама настояла на свадьбе.

Наконец-то Жан был вознагражден за долгие годы, когда считал себя нелюбимым и отвергнутым. Благодаря заботам жены, молодости и природному здоровью, Жан Сток скоро окреп настолько, что смог приняться за поиски работы. Тщетно обивал он пороги частных железнодорожных компаний. Его бесцеремонно выпроваживали.

— Тебе надо пойти к Плонплону,— сказала мужу как-то Жаннетта. — Он, как и граф Морни, хозяин крупных акционерных железнодорожных обществ.

— Ты сошла с ума. Ведь он двоюродный брат коронованного прохвоста. Та же погань. Зачем мне пачкаться об таких людей? Лучше подохнуть, чем просить у них работы.

— Ты не знаешь его. Не зря этого толстяка прозвали «красным принцем». Он с рабочими запанибрата.

— Волк овце не товарищ.

— Я говорю тебе, что Плонплон терпеть не может Луи-Наполеона и даже не считает его своим родственником. Люди правильно говорили, что императорская мамаша Гортензия и папаша Веруэл ничего общего не имели с Бонапартами.

— Какая нам разница, чьим именем прикрывается деспот,— прервал Жан.

— Но Плонплон распоряжается французскими железными дорогами, а тебе нужно снова водить локомотив. Моя подруга служит горничной у жены «красного» Бонапарта — Плонплона. Эта сардинская принцесса не гнушается говорить с простыми людьми. Может, она якшается с нами назло императрице Евгении, которая спесива, как гусыня. Но какое тебе до этого дело. Я уже попросила эту знатную даму, чтобы принц поговорил с тобой, и представь, когда она узнала, что ты сидел в тюрьме, то сейчас же согласилась помочь.

Жан поморщился, но, подумав и посоветовавшись с друзьями, уступил настояниям жены и отправился на прием к Плонплону.

Принц Наполеон, прозванный Плонплоном, считался опасным уродом в роду Бонапартов и бедствием императорской династии. Его все возрастающая, искусственно подогреваемая популярность среди простых людей вызывала беспокойство в правительственных сферах. Императрица резко обвиняла его в посягательстве на корону ее мужа. Но Плонплон отшучивался и продолжал разыгрывать из себя рьяного демократа-республиканца, посещал народные собрания и увеселения, проповедовал атеизм, устраивал шумные пиршества в дни христианского поста и всячески поносил католическую церковь и римского папу, объявляя себя воинствующим вольтерьянцем.

Одни считали Плонплона чудаком, другие — ловчайшим пройдохой, метящим в императоры.

«Красный принц» жил в небольшом особняке, открытом для всех. Плутоватого вида разбитной швейцар проводил Жана Стока в большой кабинет хозяина, где собралось несколько молодых светских людей, державшихся очень развязно.

Принц оказался низким тучным человеком, удивительно похожим на корсиканца Бонапарта. Желая подчеркнуть свое большое сходство с ним, Плонплон причесывал волосы на пробор и носил мундир, подпиравший короткую шею и второй подбородок круглым высоким воротником.

— Вы провели год в тюрьме за то, что нелестно отозвались о царствующей особе? — без обиняков спросил принц Наполеон. — Какие, однако, нравы! А как же свобода слова, эта основа прогресса и счастья народа? Что же, однако, сказали вы такого еретического? Уверен, что одну только правду, и поэтому сочувствую вам. Потерять год жизни в вашем возрасте весьма, должно быть, досадно. Если вы действительно смелы, то скажите ваше мнение о режиме, господствующем во Франции.

Жан коротко сказал:

— Я коммунист, сын коммуниста и враг цезаризма.

— Что ж, это, правда, крайность, но, значит, вы республиканец. Уже в древности люди отдали республике предпочтение перед всякой другой формой правления,— сказал Плонплон громко, чтобы его слышали все собравшиеся. — Итак, очевидно, вы смелый человек и, главное, свободолюбивый галл. В век пара и электричества люди должны иметь достойных представителей у кормила власти. Не правда ли, господа?

Все громко согласились с мнением Плонплона, а он, слегка приподнявшись на носки лакированных сапог, принялся охорашиваться перед стенным зеркалом. Он был собой весьма доволен. Жан едва удержался от улыбки и подумал: «Этот толстый павлин изрядно-таки глуп».

— Что вы, представитель народа, думаете о религии и о папских прелатах, этих выжигах и лицемерах, которые сейчас так могущественны в нашей стране? — важно изрек Плонплон, обратившись к Стоку, и выпятил при этом маленькую нижнюю губу, прикусив верхнюю.

Точно так же делал, по рассказам современников, император Наполеон I.

— Я не люблю ничего темного, ваше сиятельство,— сухо ответил Жан. — Религия, по словам одного ученого, всего лишь опиум народа.

— Блестящее определение. Поздравляю вас и вашего ученого. Именно дурман, наркотическое средство. Суеверия всегда ввергали Францию в ужасающие бедствия. Вы, очевидно, философ, господин Сток, и делаете этим честь трудовому классу. Я с удовольствием помогу вам получить место машиниста на одном из наших паровозов.

Плонплон прошелся по комнате, заложив руку за спину. Жан выждал, пока он остановится, поклонился и вышел.

Он снова начал водить поезда. Прошло немногим более года, и внезапно Сток получил приглашение к «красному принцу». Он застал у него несколько десятков рабочих.

— Я стою во главе комитета, ведающего отправкой рабочих делегаций на Всемирную выставку,— сказал Плонплон собравшимся. — Несмотря на противодействие министра торговли, мне удалось добиться разрешения для трехсот французских тружеников на поездку в Англию. Надеюсь, вы оцените мои усилия и добрую волю. Я всегда был другом прогресса и труда. Уверен, господа, что вы сумеете поддержать престиж Франции перед всеми странами мира, которые соберутся по ту сторону Ла-Манша.

Принц произнес еще несколько слов о своей готовности защищать интересы народа перед правительством.

Жан Сток был очень удивлен и обрадован неожиданной возможностью побывать в Англии.

Когда рабочие вышли от «красного принца», Стока охватили сомнения, и он поделился ими с товарищами:

— Противно что-то пользоваться милостью этого отродья Бонапартов. Не верю я им, хоть и терплю, как всех эксплуататоров и хозяев. Как он ни заискивает перед нами,— хочет быть императором и тем же миром мазан. Знаем мы таких республиканцев.

— Ты не прав. Это добрый человек,— сказал чеканщик Толен, молодой парень с веселыми глазами. — Ехать нам все равно надо. Повидаем рабочих других стран, да и своих французских изгнанников. Давно пора искать путей

к нашему объединению. Есть ли у тебя знакомые в Лондоне, Жан?

— Там живет учитель и друг моего отца, ученый, немец-коммунист Карл Маркс. Ты слыхал о нем?

Толен отрицательно покачал головой.

Большой рыжий бульдог, зарычав, бросился вперед и оскалил острые желтоватые зубы. Галчонок отчаянно закричал и угрожающе взмахнул одним грифельно-серым крылом с черной каймой. Второе было сломано и бессильно свисало. Бульдог напал на птицу, но тотчас же отскочил прочь. Острый, длинный клюв нанес ему несколько быстрых колких ударов по тупому широкому носу и мягким, морщинистым, отвислым, седеющим щекам. Бульдог от неожиданности застыл на месте. Глаза его зловеще налились кровью, шерсть на затылке встала дыбом, и по спине до самого обрубленного толстого хвоста пролегла волнообразная коричневая полоса — свидетельство гнева. Но маленький галчонок не только не отступал, а даже перескочил на тоненьких лапках ближе к неожиданно возникшей опасности. Взгляд его совершенно черных круглых глаз выражал неописуемую отвагу и готовность биться до последнего дыхания. Мгновение простояли они оба неподвижно: один — нахохлившийся, обороняющийся, маленький, другой — пугающе мощный, рассвирепевший, готовый к прыжку.

Бульдог вдруг показал все зубы, грозившие мертвой хваткой, и, рыча, снова пошел на галчонка. Он распластал его на земле одним движением крепкой лапы и приготовился перегрызть птице горло. Но галчонок, барахтаясь под брюхом пса, смотрел на врага гипнотически блестящими, широко раскрытыми глазами, зычно кричал, отбивался клювом и крылом. Встревоженные птицы, заслышав его призыв о помощи, грозно каркали и вились над бульдогом, стараясь отвлечь его на себя и запугать. И пес снова остановился в нерешительности.

С маленькой террасы дома, завидев столь неравный поединок, сбежала в сад пожилая женщина. Позади нее тотчас же показался Энгельс.

— Какое мужество! Обреченный галчонок не трусит и не сдается,— слегка заикаясь, быстро выговорил он и схватил пса за ошейник. — Не всякий мог бы похвалиться

таким героизмом в подобных условиях. Ни с места, Догги!

Бульдог покорно опустил обрубок хвоста и коротко обрезанные уши. Фридрих приказал ему идти в комнаты, затем с трудом поймал ковыляющего и отбивающегося галчонка, очевидно выпавшего из гнезда, и передал его домовладелице. Женщина шумно выразила свою радость по поводу того, что птенец остался невредим.

Фридрих любил собак и лошадей. С детства он страстно увлекался верховой ездой и был отличным наездником и объездчиком норовистых, лихих коней. Головокружительная отчаянная скачка с рискованными препятствиями была для него истинным наслаждением. Он ловко брал барьеры и без труда преодолевал препятствия. Эти упражнения были для Фридриха полны особого смысла, как физическая тренировка его военных занятий, школа выдержки и отваги.

Как бы ни был он утомлен или раздражен, стоило ему вскочить на коня и помчаться по проселочным дорогам, чувство силы и беспредельной воли до краев наполняло его душу, освежало мозг. Конь беспрекословно подчинялся всаднику, чутко отвечал на малейшее повелительное движение ноги в стремени.

Как хорошо, отпустив поводья, где-нибудь в лесной чаще чуть покачиваться в плоском английском седле, доверившись четвероногому другу. Чуткий конь безошибочно выбирает лучшую дорогу. После доброй передышки Фридрих снова гнал коня и летел вперегонки с ветром.

Маркс знал бесстрашие Фридриха, его кавалерийскую удаль и постоянно беспокоился, как бы он не расшибся.

— Прошу тебя, Фридрих, не рисковать головой. Право, будет еще много более существенных поводов для этого в будущем,— говаривал он.

Энгельс весело смеялся в ответ и заверял, что если он и сломит себе шею, то уж, наверно, не при падении с лошади. Он всегда бывал совершенно спокоен в седле и чувствовал себя в своей стихии, когда послушный конь переходил с рыси на галоп.

Энгельс знал особенности собак, с которыми ходил на охоту и проводил нередко часы досуга. В большом барменском купеческом доме всегда жили борзые, овчарки и таксы.

День, когда ранним утром в манчестерском садике разыгралась короткая драма, чуть не стоившая жизни галчонку, был обычный, серый. Холодный мелкий дождь несколько раз шел, прекращался, чтобы начаться снова. Небо темное, как вода в канаве, казалось, спустилось до самого шпиля ратуши.

Двадцать восьмого ноября рано наступает вечер. Фридрих долго возился в этот короткий день с иностранной перепиской своей коммерческой фирмы, которую вел один в конторе. После долгой тревожной недели он наконец почувствовал себя успокоенным. Из Лондона пришло письмо от Карла о том, что Женни вне опасности. Критический период болезни прошел. В сумерки Энгельс пешком отправился домой. К обеду, который, согласно английскому обычаю, бывал в восемь часов, он ждал Вильгельма Вольфа, одного из самых близких и дорогих ему людей. В промозглый вечер поздней осени приятно вернуться в обогретый, уютный дом, и Фридрих испытал это чувство, когда поставил сырой зонт, снял калоши и вошел в свою спальню, где ярко горели огонь в большом камине и свечи в старом, чуть позеленевшем канделябре.

Переодевшись и тщательно приведя в порядок окладистую, шелковистую бороду цвета бронзы, Фридрих прошел к жене. Мери была нездорова и, по настоянию врача, лежала на диване. Завидев вошедшего Фридриха, она попыталась встать. Ее бледное опухшее лицо слегка порозовело, и запавшие больные глаза оживились.

— Прошу тебя не делать резких движений, дорогая,— забеспокоился Энгельс,— как ты себя чувствуешь? Покой — самое главное для сердца, когда оно начинает шалить.

Фридрих пододвинул кресло поближе к жене, поправил на ее плече ворсистый теплый платок и сел, вытянув ноги.

— Увы, даже радость в последнее время причиняет мне физическую боль и усиливает одышку,— тихо и печально сказала Мери,— но я не теряю надежды пожить еще немного. Я так люблю тебя, Фредди.

— Гони от себя мрачные мысли, они ведь тоже следствие недомогания,— сказал, волнуясь, Энгельс.

В дверь постучали, и появился Вольф. Вслед за ним в комнату, всем своим видом изображая покорность и мольбу о прощении, вошел рыжий бульдог и улегся возле Мери.

Вильгельм Вольф выглядел необычно торжественным. На нем был новенький сюртук до самых колен, а белоснежную манишку украшал под подбородком черный бантик. В руках он держал большую деревянную коробку с золотым бумажным ободком..

— Дорогой Фридрих, друг мой, поздравляю тебя от всего сердца,— начал он, сильно покраснев. — Как и все любящие тебя, я счастлив, что сорок лет тому назад в осенний день ты появился на свет. Человечество стало от этого богаче. Прими мой скромный подарок — колониальные сигары.

Энгельс горячо обнял Вольфа, поставил коробку с сигарами на стол и сказал, широко улыбаясь:

— Ты и Мери, которая сегодня утром напомнила мне о том, что хотелось бы забыть, ввергаете меня в смущение. Сорок лет! Да надо ли радоваться тому, что начинаешь седеть, и отмечать столь печальное обстоятельство. Главное, что в сорок лет я чувствую себя все еще юношей. И все-таки четыре десятилетия долой со счета. Тут есть о чем призадуматься. Байрон, помнится, говорил, что, примирившись, с двадцатью пятью годами, мы примиримся со всем в жизни. А каково же перешагнуть через сорок?

— Пустое,— живо отозвался Вольф,— пусть поэты боятся старости, они недальновидны. Есть какая-то своя прелесть в накоплении лет, опыта и мыслей. Это тоже капитал. Мне уже за пятьдесят, а я, старый брюзга, хотел бы еще жить и жить, но прошлого не отдам.

— Ты прав, дружище. Глядя на тебя, я бодро вступаю в пятое десятилетие, тем более что рассчитываю прожить еще минимум лет так приблизительно до ста. Скромное желание. При коммунизме люди будут наслаждаться бытием не менее чем до ста пятидесяти. Не правда ли?

Люпус спросил с тревогой о здоровье Женни. Узнав, что наступило улучшение, он очень обрадовался. Энгельс передал Вольфу письмо из Лондона.

— Все хорошо. Мы вправе выпить сегодня лишний бокал. Женни будет жить. Карл просит меня немедленно сообщить тебе об этом и передать поклон. Прочти сам.

— Бедная Женни,— с большим чувством произнес Вольф, дочитав письмо,— по мнению врача, лучшее, что могло выпасть ей на долю, была оспа, настолько напряжена была ее нервная система. Если бы не эта болезнь,

ее подстерегала жестокая горячка или что-либо другое, ведущее только к смерти.

Наступило продолжительное молчание. Энгельс механически гладил круглую голову пса, который не отрывал от него любящих глаз. Мери сказала:

— В книге об оспе, которую мы прочли, узнав о болезни госпожи Маркс, сказано, что в Англии сто лет назад, до открытия вакцины, девушка, не переболевшая оспой, рисковала остаться старой девой.

— Непонятно,— очнувшись от глубокого раздумья, сказал Люпус.

— Видите ли, женихи предпочитали рябых невест. Ведь после болезни, которая считалась неизбежной, их избранница могла оказаться слепой или обезображенной до неузнаваемости.

— Так-так. Логика рыночная. Товар лицом.

В это время рыжий бульдог подошел к Энгельсу и несколько раз потерся головой о его ногу, затем встал на задние лапы и, подскочив, внезапно лизнул в щеку.

— Что это, поздравление или просьба о прощении? — рассмеялась Мери.

Фридрих погладил бульдога за ухом. Пес облегченно вздохнул, приоткрыл пасть и обнажил зубы. Он счастливо улыбался. Энгельс между тем рассказал о происшествии в саду.

— Древние германцы в обмен за хорошую собаку отдавали двух коней,— сказал Люпус, тоже большой любитель собак.

— Я не знаю, кому из этих животных отдать предпочтение,— заметил Фридрих,— человек многим обязан им на протяжении всей своей истории.

— В деревне, где я родилась, была собака, которая вытащила во время пожара из огня двоих детей. Она пасла большое стадо, и моя мать утверждала, что она понимает овечий язык и знает каждую овцу и ее привычки.

— Щенка для этого кладут на выкорм овце, как только он родится. Пес питается овечьим молоком и действительно вырастает полноправным членом, а затем поводырем стада,— пояснил Люпус. — Я читал у Плутарха и Плиния замечательные страницы о том, как ценили собак древние греки.

— Еще бы,— сказал Фридрих,— собаки и в военном деле имеют большие заслуги. За пять тысяч лет до нашей

эры они уже надежно охраняли крепости, были наилучшими караульными и будили стражу при малейшей опасности громким предостерегающим лаем. В войнах рабовладельческого периода собаки в бою всегда шли в первой шеренге, за ними рабы и лишь затем воины. Древние римляне, гунны, кельты и тевтоны широко пользовались собаками для сторожевой службы. То же было и в средние века. Собак, сопровождавших обозы и военный транспорт, одевали в особые панцири с остриями для защиты от нападения неприятельской конницы. Во время войны Испании с Францией четыре тысячи обученных военных собак оказали решающую помощь испанской пехоте.

— Для меня собака олицетворяет не воинскую доблесть, а верность,— заговорила Мери. — Недавно я слышала о бульдоге, который не пережил смерти своего хозяина и умер на его могиле, отказавшись есть и пить.

— Помнишь ли ты, Люпус, имена преданных четвероногих друзей двух замечательных якобинцев? — спросил Фридрих.

— Нет,— чуточку насупился Вольф.

— Собаку Робеспьера, с которой он не расставался, звали Брунт, а у Филиппа Леба, достойнейшего из революционеров, покончившего с собой в роковую ночь девятого термидора, был пес Шилликем, он привел на могилу Филиппа его вдову и затем издох от горя.

— Ну, вот видите, я же права, когда говорю о собачьей привязанности и верности до гроба.

Часы показывали восемь. Мери осторожно поднялась с дивана и под руку с мужем прошла в столовую. Она старалась скрыть начавшуюся при этом одышку.

На столе, покрытом накрахмаленной белой скатертью, среди множества хрустальных графинов и серебряных ваз стоял традиционный пирог с шоколадными инициалами «Ф. Э.», утыканный сорока ярко горящими маленькими свечами. По настоянию Мери Фридрих загасил их одним выдохом, и затем все трое заняли свои места. У ног хозяина улегся рыжий пес. Приподняв голову и поводя большими черными ноздрями, он вдыхал соблазнительные запахи, однако притворялся, что совершенно безразличен к множеству вкусных блюд и закусок, которыми изобиловал стол. Энгельс налил в бокалы густое, багровое рейнское вино и предложил выпить за отсут-

ствующих друзей и за Люпуса. Затем Вильгельм, приладив негнущуюся салфетку под подбородком, произнес тост в честь Фридриха и Мери.

— А теперь пьем за то, ради чего стоит жить на земле,— за коммунизм! — провозгласил Энгельс.

Когда ужин был съеден и на столе появились фрукты, кофе и сигары, Мери, сославшись на свою болезнь, вышла из столовой. Рыжий бульдог проводил ее и вернулся, чтобы снова занять свое место подле Фридриха. Шел дождь, усилившийся к ночи, ветер ворвался в трубу и, шипя, загасил огонь. Энгельс разжег камин, а Вольф молча курил, наслаждаясь покоем и обществом друга.

Фридрих заговорил, все более воодушевляясь, о том, что с каждым днем заметно ширится в Европе национально-освободительное движение. Шестидесятые годы должны принести важные перемены. В связи с войной, затеянной Бонапартом против Австрии на итальянской земле, обострились социальные противоречия в Германии. Стремление немцев к объединению усиливается с каждым днем.

В своей брошюре «По и Рейн», изданной год назад, Фридрих выступил пылким сторонником освобождения Италии, беспощадно срывал маску с Бонапарта, притворившегося освободителем итальянского народа, а по сути, готовившего ему новое закабаление. Энгельс показал, что, ведя войну на реке По, император замахнулся на германский Рейн. Бонапартистская клика хочет экономической и политической раздробленности немцев. Энгельс разоблачал тайные замыслы Наполеона III, надеясь, что война Пруссии против французского императора вызовет могучее народное движение, которое сметет берлинских реакционеров, захвативших власть, а затем вся Германия объединится наконец благодаря революции. Свои взгляды Фридрих облек в форму строгого военно-стратегического исследования и, по совету Маркса, издал книгу анонимно. Безымянный труд обратил на себя внимание и вызвал толки в Берлине. Автора сочли одним из видных германских генералов.

Энгельс, также без подписи, издал продолжение своей брошюры, назвав ее «Савойя, Ницца и Рейн».

— Представь себе,— говорил Фридрих Вольфу,— с кем у нас разногласия? С Лассалем. Ни Мавр, ни я не можем согласиться с его позицией в отношении австро-итало-французской войны.

— Этот напористый малый мне вообще не по душе. Честолюбец, который хочет в одно и то же время возглавить восстание плебса и быть признанным патрицием. Слыхал ли ты, что он придумал? Для пущей аристократичности приставил французское «де» к своей фамилии,— зло заметил Вольф, допил чашку черного кофе и встал, чтобы налить себе еще одну.

— Ты прав, Люпус. Ему, несомненно, где-то в глубине души нравится авантюрист Бонапарт и особенно его головокружительная карьера. Этот верный рыцарь графини Гацфельдт выпустил недавно памфлет, направленный, по сути, против моей брошюры «По и Рейн».

— Разве? Мне ничего об этом не известно. Что же он тщится доказать?

— А то, что Пруссии следует поддержать Францию и выступить против Австрии. Все это облечено, как всегда у Лассаля, в пышные фразы. Франция, мол, освобождает итальянцев от чужеземного ига, а Пруссии представляется возможность при этом свести счеты со своей старой соперницей Австрией. Вреднейшая пропаганда. Лассаль утверждает далее, что если прусское правительство возьмет на себя такую миссию, то сами немецкие демократы поднимут прусское знамя и опрокинут на своем пути все преграды. Какая чепуха!

— Я ничего другого и не ждал от Лассаля. В то время как мы последовательно боремся за революционный путь к объединению Германии снизу, через демократическую республику, этот напыщенный краснобай предлагает нам не только признать современное прусское правительство Бисмарка, но и объявляет его носителем идеи объединения всей нашей родины. Разве ему не ясно, что значит это объединение сверху? Что это, глупость, наивность или расчет?

— Верно, Люпус. Лассаль скоро полностью раскроет свою истинную сущность вульгарного прусского демократа с ярко выраженными бонапартистскими наклонностями.

— Да, эта порода человека мне известна, они вроде пауков-водомеров, которые важно ходят по воде, яко Христос по Геннисаретскому озеру, и умудряются не замочить при этом лапок.

— Паучок-то паучок, но беда в том, что Лассаль фактически поддерживает захватнические планы Бонапарта. И снова нам приходится разрушать иллюзии, которые

Лассаль питает относительно коронованных освободителей. Луи Бонапарт хочет главенствовать во всей Европе. Это несомненно. А раз так, итальянцам надо быть настороже и знать, что национальное освобождение — дело их собственных рук. Гарибальди понял это. Но среди немцев Лассаль может замутить воду.

— Не беспокойся, Фридрих,— веско сказал Вольф. — Памфлет Лассаля вовсе не отражает взглядов наших партийных друзей. Мавр, конечно, в этом уверен. Как я, однако, соскучился по нем! Жаль, что мы не живем все в одном городе. Изгнание не было бы столь гнетущим. Я часто подолгу думаю о Мавре. Какую безмерную силу духа надо иметь, чтобы вынести все, что сваливается на его плечи, и, однако, он продолжает поставлять миру необычайные, все новые и новые мысли. Поистине неиссякаемы мозг и душа этого человека. И все же жизнь его трагична.

— Ты мрачен, Люпус. Мы доживем до осуществления мечты, которая теперь уже стала учением, теорией и находит себе больше и больше сторонников. К тому же как много в истории примеров того, что гениальные открытия опережают время. Но как бы трудна ни была судьба гениев, они черпают силы в сознании добра, сделанного людям, даже если всходят на костер.

— Карл видит сквозь года и земные толщи. Перед ним как бы раскрываются недра, и он черпает из них то, что нужно, чтобы человечество шло к своей цели, к жизни без насилия. Как астроном открывает светило иногда раньше, чем оно появляется на небосводе, так он открывает неведомые, таинственные созвездия будущего. Пройдут годы, и народы земли удивятся величию сердца и ума Карла Маркса и будут чтить его, недоумевая и горюя о том, что он был нищ, преследуем и часто оклеветан. И ты, Фридрих, тоже, не отрицай, награжден необыкновенной душой.

— Не надо сравнений, Люпус. Мы в лучшем случае только кой в чем разбираемся, для Карла же нужны другие мерила.

Было около одиннадцати, когда Вольф собрался уходить. Фридрих с собакой пошел его проводить. Город крепко спал. Грязные газовые фонари скупо освещали безлюдные мокрые улицы. Люпус шел медленно, покашливая и ежась от сырости.

— Я стал ужасно раздражителен и часто хвораю, то ли печень, то ли незаметно подкралась худшая из всех болезней — старость. Хотелось бы еще хоть одним глазком взглянуть на Бреславль, даже и на тюрьму, где потерял несколько хороших лет. Во сне только и вижу что родную сторонку и тюремный каземат. И даже он люб стал мне. Я был тогда молод, здоров и боролся в Германии.

Фридриху стало жаль друга. Он попытался утешить его, ободрить, но Вольф с сомнением покачал головой. На холодном ветру он как-то сжался, посинел и выглядел одряхлевшим и тяжело больным.

— Только и спасаюсь от этого климата крепким кофе и пивом, хотя они и вредят моей печени. Кстати, Фридрих, о многом мы поговорили сегодня, а про военные действия в Апеннинах ты умолчал. Как же так? Тебя не зря прозвали нашим военным ведомством. Ты и впрямь первый военный теоретик нашей партии и замечательнейший военный знаток революционного пролетариата.

Энгельс воспринял эти слова Люпуса как шутку, чем крайне раздосадовал его. Старик вспылил, и Фридрих едва потушил его гнев.

— Как тебе угодно, Фридрих, а сегодня, в день твоего сорокалетия, я предсказываю, что именно так о тебе скажут и через сто лет.

У моста через узкий, неспокойный в эту ветреную ночь канал оба друга, условившись о скорой встрече, расстались. Фридрих, тихо насвистывая, свернул в переулок и скоро очутился возле ратуши. Рыжий бульдог гордо шел с левой стороны, сурово поглядывая на немногих случайных прохожих. На площади, где не было ни души, Энгельс вынул из кармана перчатку и бросил ее далеко перед собой. Обрадованный пес во всю прыть побежал за ней и, вернувшись обратно, положил перчатку к ногам хозяина.

— Отлично, хвостомахатель,— похвалил бульдога Фридрих и погладил ладонью собачью голову, проведя при этом пальцем между глаз. — У тебя, однако, Догги, прямо-таки рембрандтовские вертикальные морщины на лбу, — удивленно пробормотал Фридрих, — ты, видимо, среди собак настоящий мыслитель.

Вернувшись домой, Энгельс долго сидел за рабочим столом.

В этот раз он просмотрел свои статьи о волонтерах-саперах, их значении и деятельности, которые печатались в одном из военных журналов, и затем принялся писать продолжение начатой «Истории винтовки». Совсем по-новому прослеживал Энгельс развитие основного вида ручного огнестрельного оружия. Затем, отложив перо, Фридрих погрузился в увлекательные размышления о будущем социалистическом обществе и его несокрушимой военной силе. Новая, никогда не виданная доселе армия, состоящая из замечательных, ловких, даровитых, интеллигентных людей, будет стоять на страже своих завоеваний. И горе тем, кто посягнет на социалистические страны. Их войска никогда не будут знать поражения.

Энгельс, прикрыв глаза ладонью, видел эти армии. Они были оснащены небывалой, поразительной военной техникой.

«И подобно тому,— думал он,— как предпосылкой наполеоновских походов был рост производительных сил начала XIX века, основой новых усовершенствований в военном деле будут новые производительные силы. Это будет грандиозно».

Глава шестая

КОГДА РАСКРЫВАЮТСЯ НЕДРА

Почти всю зиму Маркс болел. Сырой, пронизывающий воздух английской столицы вызывал у него неудержимый кашель и боли в груди. Не имея денег на оплату счетов доктора, он лечился сам, старался не курить, пил снадобья, приготовленные Ленхен, не выходил в туман из дома. Болезнь развилась, однако, настолько, что он не мог более писать. Всякое движение причиняло ему физические страдания. И все же он бодрился и шутил.

— Я столь же многострадален, как Иов, но не столь богобоязнен,— смеясь, говорил он.

По вечерам, после изнурительного дня, Карл читал для отдыха Аппиана о гражданских войнах в Риме, в греческом оригинале.

По своему обыкновению, он делился с Энгельсом впечатлениями о казавшейся ему ценной книге. Он писал другу, что Спартак в изображении Аппиана является «са-

мым великолепным парнем во всей античной истории» и был, несомненно, великим полководцем с благородным характером, как и подобало истинному представителю античного пролетариата. Зато римский военачальник Помпей выглядит у Аппиана неказистым и бездарным. Юлий Цезарь намеренно допускал в борьбе с ним военные промахи и капризы, чтобы сбить с толку самодовольного противника. По мнению Аппиана, которое разделял и Маркс, любой римский генерал, даже столь посредственный, каким был Красс, уничтожил бы Цезаря в первом бою во время Эпирской войны. Но Помпей был глуп и недальновиден. С ним можно было ошибаться безнаказанно.

Маркс так увлекся перипетиями борьбы, происходившей в античном мире двадцать веков назад, что казалось, переселился в Древний Рим, где с детских лет ему было многое знакомо.

Размышляя над Аппианом, Карл решил, что Шекспир, когда писал комедию «Бесплодные усилия любви», правильно судил о Помпее как о бесхарактерном ничтожестве.

В конце января работа для «Нью-Йорк дейли трибюн», которая была главным источником существования семьи Маркса, из-за экономического кризиса и назревавшей войны Севера с Югом временно прекратилась.

Приостановилось и издание американской энциклопедии. В ней особенно часто под именем Маркса печатался Энгельс, а гонорар за эти статьи шел на Графтон-террес. Денежные возможности Энгельса были несколько ограничены. Эрмен после смерти Энгельса-старшего никак не соглашался признать право его сына на определенную долю доходов всей фирмы. Фридрих все еще числился конторщиком и получал небольшое жалованье.

Весной Маркс нелегально, с паспортом на имя Бюринга, решил отправиться в Германию. Он хотел еще раз попытаться вернуть себе прусское подданство.

Энгельс смог дать Марксу на поездку всего десять фунтов, но обеспечил оплату векселя на тридцать, которые удалось получить у других лиц. Оставив часть этой суммы семье, Карл уехал из Англии. Он рассчитывал, не без оснований, на денежную помощь дядюшки в Голландии, управлявшего имуществом его матери.

Маркс бывал в Голландии многократно и знал хорошо ее быт, нравы, песни и эпос.

Амстердам, несмотря на весну, встретил Карла холодным проливным дождем и серым туманом.

Исстари этот город прозван северной Венецией. Тихие каналы рассекают Амстердам во всех направлениях. Медленно движутся по ним барки и лодки с рыжими парусами, крепко вываренными в дубильной воде. Красивы и разнообразны мосты, соединяющие маленькие островки, застроенные хмурыми домами в три-четыре яруса. По удивительно чистым улицам степенно проходят женщины в тяжелых пышных платьях и белых негнущихся рогатых чепцах. Проезжают малыши в колясочках, запряженных козлами и собаками. Со всех сторон непрерывно доносится трудный, цокающий голландский говор.

На торговых улицах перед лавками в ясные дни сидят на деревянных табуретах купцы в стеганых жилетах и шапочках, важно посасывают трубки, неторопливо читают газеты и изредка перекидываются словом.

В бывшем гетто, где улицы особенно узки, темны, мощены круглым большим булыжником, жил некогда шлифовальщик алмазов Спиноза. Марксу захотелось побывать там, где вырос этот великий философ, где подвергался он гонениям мракобесов, где много страдал и думал. Он нанял первого встречного извозчика и попросил отвезти его к дому знаменитого амстердамца. Возница долго размышлял, кто бы это мог быть, и, наконец, взмахнув кнутом, погнал лошадь по однообразным улицам преимущественно с кирпичными зданиями, зелеными парками и небольшими площадями. Наконец старая, тряская, потрепанная от времени и непогоды карета остановилась у дома великого философа.

Погостив несколько дней у своего двоюродного брата, образованного адвоката, весьма интересующегося теоретической юриспруденцией, в его зажиточном, благоустроенном доме на нарядной улице Кайзерграфт, возле Западного рынка, Карл отправился в Залтбоммел, к брату своей матери, богатому купцу Филипсу.

В Голландии нет больших расстояний, и путь был недолог. Поезд шел по равнине. Вокруг были бесконечные поля, засаженные цветами. На длинных поливных грядках росли разноцветные тюльпаны, дефидоли, гиацинты, нарциссы — весьма ходкий товар национального экспорта.

Необычные, превосходно содержащиеся огороды выглядели чрезмерно прозаическими. Глаза тщетно искали

на горизонте горы и леса. Иногда на смену цветочным полям за окном появлялись луга, на которых пасся отборный молочный скот.

Карлу быстро надоели коровы и тюльпаны, издали очень похожие на огромный редис, и он погрузился в чтение газет.

В маленький живописный зеленый Залтбоммел Карл приехал рано утром в субботу. На улицах города царило необычайное оживление. Это был день чистки города. Домохозяйки и прислуги в огромных фартуках и чепцах, обутые в деревянные сабо, вооружившись щетками, тряпками, ручными пожарными трубами, окатывали стены домов струей воды, протирали двери, оконные рамы, пороги. Вода, журча, стекала, очищая тротуары. Сутолока и трудовой азарт передавались детям, которые, несмотря на окрики взрослых, старались также принять участие в этом еженедельном общегородском служении божку чистоты.

В доме дяди ничто не изменилось с той поры, когда Карл юношей приехал к голландским родственникам в первый раз. За обильным обедом велись бесконечные беседы о сбыте голландских товаров, о колебании цен на табак, сыр и пряности, о наглости Бельгии. Тетушка Маркса, лучшая из домохозяек, исчерпывающе знала весь Готский альманах и могла без устали говорить обо всех королевских домах Европы и особенностях той или иной коронованной особы. Предпочтение перед всеми династиями она безоговорочно отдавала голландскому королевскому двору, о котором знала все до мельчайших подробностей.

— Наша дорогая королева,— говорила за обедом госпожа Филипс, раскладывая куски гусятины по тарелкам,— вынуждена экономить на газовом освещении и гасить лампы на приемах, когда гости переходят из одного зала в другой, настолько туго ей сейчас приходится.

— Профессия королей теперь вовсе не так уж прибыльна. Наш парламент все время сокращает ассигнования для двора, а расходов много и жизнь непрестанно дорожает,— пошутил дядя Филипс.

Карл отдыхал в кругу своих родственников. Часто он отправлялся на прогулки вдоль живописно обсаженного деревьями канала или усаживался на скамье близ дома под большими каштанами у самой воды и принимался за

чтение. Его обычно сопровождала резвая ватага мальчуганов. Где бы Маркс ни бывал, к нему всегда льнули дети. Их влекли к этому седоголовому человеку с густой окладистой бородой его задушевность, простота и особенное, проникновенное знание детской души. Как никто, он умел держаться с детьми на равной, дружеской ноге. Голландским ребятишкам он рассказывал увлекательные истории о прошлом их родины, о войнах за независимость от испанского ига и огромных каравеллах Непобедимой Армады. Это было захватывающе интересно. И кудесник, переносивший их в подлинный и вместе сказочный мир истории, был Маркс. Он знал также все их игры, заботы и с самым серьезным видом разбирал возникавшие между ними раздоры.

Из Голландии Маркс отправился в Берлин, где встретился с Лассалем, предложившим ему издавать совместно газету.

— Вы, Маркс, и я будем ответственными редакторами,— сказал при этом Лассаль.

— А Энгельс как же? — спросил Маркс.

— Что же, если трое не слишком много, то и Энгельс может быть ответственным редактором. Только вы оба вместе не должны иметь больше голосов, нежели я один, так как в противном случае я по каждому вопросу буду оставаться в меньшинстве.

Карл подробно уведомил друга об этом разговоре с Лассалем в полном иронии письме:

«В качестве аргументов за то, что ему необходимо вместе с нами быть во главе дела, он привел следующее: 1) он по всеобщему мнению ближе стоит к партии буржуазии и поэтому ему легче будет доставать деньги, 2) ему придется пожертвовать своими «теоретическими занятиями» и своим покоем, необходимым для этих занятий, а за это ему нужна ведь какая-нибудь компенсация и т. д. «Впрочем,— добавил он,— если вы не согласны, я все же готов и впредь, как до сих пор, помогать газете в денежном и в литературном отношении; для меня это было бы даже лучше: я пользовался бы всеми выгодами от газеты, не неся за нее никакой ответственности и т. п.». Все это, конечно, сентиментальные фразы. Лассаль, ослепленный тем успехом, который ему принесли в кругу некоторых ученых его книга о Гераклите, а в кругу па-

разитов — его вино и кухня, не знает, разумеется, какой незавидной славой он пользуется среди широкой публики. Кроме того, его мания считать себя всегда правым; его пребывание в мире «спекулятивных понятий» (парень мечтает даже о новой гегелевской философии в квадрате, которую он намеревается написать); его зараженность старым французским либерализмом; его бахвальство, навязчивость, отсутствие такта и т. д.

Лассаль мог бы быть полезен как один из редакторов при условии строгой дисциплины. В противном случае он только осрамил бы нас. Ты понимаешь, конечно, что мне было очень трудно высказать ему все это откровенно... Поэтому я держался в рамках общей неопределенности и сказал, что не могу ничего решить, не переговорив предварительно с тобой и с Люпусом...»

Энгельс вполне разделял колебания Маркса и отклонил предложение Лассаля.

Берлин поразил Карла своей казарменной атмосферой, чванливым самодовольством и преобладанием военных мундиров над штатским платьем. На заседании палаты депутатов Карл, сидя в ложе журналистов, думал о том, что окружающее напоминает канцелярию и школу одновременно.

В тесном зале на деревянных скамьях сидели депутаты, на которых бесцеремонно покрикивал председатель. Угодливо пресмыкался он перед развалившимися тут же в мягких креслах лож министрами бравого короля Вильгельма. Карл поражался бессловесной жалкой роли, которую соглашались добровольно играть тут «избранники» народа. Поведение председателя, воплощавшее лакейское нахальство, по мнению Карла, заслуживало не только сопротивления, но и доброй оплеухи.

Приятельница Лассаля, графиня София Гацфельдт, несколько раз чрезвычайно почтительно принимала у себя Карла и раз даже уговорила его, желая поддразнить королевскую семью, поехать с нею в театр. Король Вильгельм и его свита сидели в соседней ложе, и Маркс мог вдоволь наглядеться на правителя Пруссии, который отличался от многочисленной смиренной чиновничьей массы, заполнившей зал, только тем, что еще выше, чем другие, поднимал узкую, большую голову и сидел прямо, точно проглотил палку. Несколько часов подряд на королевской

сцене шел весьма посредственный балет, и Марксу все это показалось скучным. В антракте графиня Гацфельдт веером указывала Карлу на наиболее видных деятелей столицы.

«Экий хлев пигмеев»,— подумал Карл, прислушиваясь и присматриваясь ко всему вокруг.

Из бывших друзей далекой университетской поры Маркс повидал Фридриха Кёппена, который жил замкнуто, одиноко в пыльной большой квартире, заставленной шкафами с книгами. Его уже нельзя было, как в молодости, называть йогом. Полнота придала ему представительности и разгладила морщинки на лице. Только в опустившихся линиях узкого рта и в выражении глаз сквозила иногда грустная ирония.

— Ты все еще очень молодо выглядишь, годы тебя не тронули,— удивился Маркс.

— Да и ты, Карл, хоть и поседел, но стал значительнее и мужественнее. Очевидно, наша шкура, как хорошо скроенные сюртуки, не теряет вида и после долгой носки,— пошутил Кёппен и рассказал затем, что по-прежнему смыслом всей его жизни и деятельности осталось изучение индийских верований. Он показал Карлу объемистые тома своих исследований о Будде.

Встреча друзей юности была сердечной, и они отметили ее доброй выпивкой. Весь вечер, наслаждаясь отличным вином и сигарами, Маркс и Кёппен вспоминали прошлое, как бы перевоплощаясь во времени и молодея; обсуждали также настоящее и особенно подробно и долго делились мыслями об Индии, которою оба горячо интересовались.

— Ты все ищешь в буддизме решение всех проблем? — спросил между прочим Карл.

— Видишь ли,— ответил Кёппен,— я ненавижу филистерскую Германию, да и всю современную Европу, и чувствую себя совершенно чужим в девятнадцатом веке. Я нашел для своей души другую родину и наслаждаюсь величием и чистотой ее помыслов и устремлений. Что из того, что я переселился на несколько тысяч лет назад? Пусть это только утопия, повернутая не вперед во времени, а назад, в глубь веков, она дает мне спокойствие и радость.

— Утопия наизнанку,— не мог не улыбнуться Маркс.

— Мудрецы Древней Индии постигли самую суть

взаимоотношений людей. О если бы их правила поведения внедрились хоть когда-нибудь на земле. Но мы сейчас обречены жить среди двуногих хищников и их жертв. Мы точно в тропическом лесу, и мне бывает страшно.

— Боюсь, друг, древние книги, вместо того чтобы расчистить пути твоему мышлению и вывести тебя на простор, превратились для тебя в непроходимые заросли и загородили действительность.

— Я пребываю в гостях у мудрости. Она всегда юна. Вслед за мудрыми индийцами я повторяю: когда исчезнут все личные желания, может еще остаться желание увидеть плоды своей работы. Возьми, Карл, мои книги, это все, что я сделал путного в жизни, прочти их, пожалуйста.

— Спасибо, старина, я уверен, что это весьма поучительный труд. Я вспоминаю изречения индийских мудрецов о том, что надо трудиться ради самого труда.

— Это верно, однако я дополню твои слова еще одной истиной: когда ты отдаешь все свои силы для блага других, плоды появятся независимо от того, увидишь ты их или нет. И потому не предавайся унынию, которое способно заражать других и тем увеличивать бремя их жизни. Пусть же наш разум будет спокоен, ибо это означает мужество и умение без страха встречать испытания и горести.

— Зачем же ты сам не живешь, как мудрец, и предаешься меланхолии?

— Увы, наша действительность очень мрачна и смрадна... А ты, Маркс, как мне известно, создаешь сам новые философские теории. Стоит ли? Ведь мир так уже стар, так непоправимо несчастен,— печально произнес Кёппен. — Что можешь ты сделать для людей, раз они обречены с самого рождения на болезни, старость и смерть? Познав это, Будда некогда ушел на гору и размышлял там целых шесть лет.

— В этом мало утешительного,— усмехнулся Маркс,— нельзя изменить человеческую природу. Но можно из того недолгого срока, когда человек живет, изъять голод, холод, непереносимые мучения, унижения, скорбь и обиды. Насколько я помню легенду о Будде, он был принцем и провел тридцать завидных лет в сказочной роскоши своего дворца. Буддизм, как и другая любая религия, учит смирению нищих и утверждает право на наслаждение для богатых.

— Я другого мнения, но не будем спорить. Несомненно одно — ты, как и мой Будда, всегда искренне жалел человечество и хотел ему блага.

— Буддизм зовет к нирване и этим ослабляет в нас желание бороться за счастье и радость при жизни. Живая современная Индия чрезвычайно интересует меня уже давно. Тебе, верно, неизвестны мои статьи о ней, написанные, правда, несколько лет назад.

— Нет, к сожалению. Я очень хотел бы услышать твои мысли об этой дорогой моему сердцу стране.

— Индия кажется мне замечательной и по величию своего прошлого и, несомненно, будущего. Но пока что Джон Буль изрядно грабит, разоряет и жестоко эксплуатирует свою богатейшую колонию. Однако и здесь диалектика может служить ключом к пониманию многих мнимых загадок. Вот тебе пример. Английская промышленная буржуазия стремится покрыть Индию железными дорогами исключительно только ради своих хищных замыслов, для того чтобы удешевить доставку хлопка и другого сырья на свои фабрики. Но раз ввезены машины в страну, обладающую железом и углем, никто не сможет помешать народу этой страны вскоре самому производить такие же машины, например локомотивы. Появление железной дороги вызовет необходимость доставки других машин, и мы скоро увидим, как локомотив явится предвестником современной промышленности в этом сказочном далеком краю. А жители Индии, по признанию самих англичан, отличаются редкими способностями. Они усваивают с необычайной легкостью знания и отлично применяются к современным новым условиям труда. Им нетрудно будет управлять любой машиной, а впоследствии создавать ее.

— Мне никогда не приходило это в голову. В моем сердце живет старая Индия, страна чудес, священных Ведд, баядерок.

— Я недавно снова много работал, изучая финансы Индии, которые, кстати, сейчас англичане привели в большое расстройство. Во всяком случае, я уверен, что можно ожидать в более или менее отдаленном будущем возрождения этой великой и интересной страны. Я читал в «Письмах об Индии» князя Салтыкова, хорошо знавшего индийцев, что они даже в самых низших классах отличаются большей утонченностью и любовью к пре-

красному, нежели итальянцы. Да, у Индии поразительная стать и культура. Жители ее даже свою покорность уравновешивают каким-то особым, невозмутимым благородством. Несмотря на природное долготерпение, они необычайно храбры. Брамин напоминает мне и осанкой, и внутренним складом древнего грека, а то, что я узнал о племени джат, кажется мне чрезвычайно похожим на древних германцев.

— Да, да, ты совершенно прав, дорогой Маркс, и, как в нашей молодости, поражаешь меня своим проникновением в самую сущность предмета. Когда и как постиг ты Индию? Ты сыплешь мыслями с щедростью тучи, разливающейся животворящим дождем. Говори, мой друг, я же угощу тебя наивной легендой, которую отыскал в старой индийской книге. Но прежде скажи мне, прав я или нет, утверждая, что буржуазный мир, в отличие от древнего, не способен создать никаких ценностей для человечества?

— Это неверно. Напротив. Повторяю тебе сделанный мною применительно к Индии вывод по этому вопросу. Буржуазный период истории призван создать материальный базис нового мира: с одной стороны, развить мировые сношения, основанные на взаимной зависимости всех представителей рода человеческого, а также и средства этих сношений; с другой стороны, развить производительные силы человека и при помощи науки обусловить превращение материального производства в господство над силами природы.

— Остановись. Я должен подумать над тем, что ты сказал,— прервал Кёппен. После недолгого раздумья он попросил Карла продолжать.

— Изволь. Буржуазная промышленность и торговля создают материальные условия нового мира подобно тому, как геологические революции, извержения вулканов, землетрясения, наступления льдов и смена эр создали поверхность Земли. После того как великая социальная революция овладеет всеми достижениями буржуазной эпохи, производительными силами и мировым рынком и подчинит их общему контролю, наступит расцвет. Человеческий прогресс не будет подобен больше кровожадному Молоху, который за каждое благодеяние требовал жертвы... Теперь отдохнем на твоей легенде. О чем она?

— Об опиуме, который повлек за собой недавно жестокую войну в Китае. Цветок мака грозит вырождением местному населению и безмерно обогащает колонизаторов. Я расскажу тебе, откуда и как, согласно старинной легенде, появилось это опьяняющее растение. Знаю, Карл, что ты не только трезвый экономист, новатор, ученый, неистовый революционер, но и вдохновенный поэт. Ты оценишь глубину фантазии древних индийцев. Итак, ты ведь знаешь, что они верят в перевоплощение душ. На этом веровании основан также и их эпос. Ничто так не открывает истинный дух народа, как его сказки.

И Кёппен поведал Карлу старинную легенду.

— Жил на берегу священного Ганга мудрец. Он был стар, и никто не знал, сколько ему лет, так как те, кто родился в одно с ним время, давно исчезли.

Лежа на песке, мудрец думал о бренности людских желаний, о суете жизни. И был у него только один друг — плешивая мышь. Она прибегала к нему и жаловалась на изнуряющий страх перед котом.

«Если б я сама была котом! Преврати меня в кота»,— попросила она мудреца.

«Я исполню твое желание, но клянись, что никогда не пожелаешь мне зла».

Мышь обещала. Старец превратил ее в огромного кота. Воинственно мяукая, кот ушел в лес.

Прошло немного времени, и пришел кот к мудрецу. Он был печален, уныло повис его пышный хвост.

«Увы,— сказал он,— я несчастен. Жалка судьба кота, так как есть на свете тигры. Если б я был тигром!»

И кот принялся умолять мудреца сделать его тигром.

Мудрец, удивляясь постоянной неудовлетворенности всех живых существ, потребовал вновь повторить клятву и превратил кота в тигра. Это был великолепный хищник, наполнивший смертельным страхом леса и деревни. Но однажды тигр встретил слона, который не удостоил его даже взглядом. И загрустил, поник головой могучий тигр.

«Тигр — ничто в мире,— сказал он мудрецу,— слоны — вот кто владыка среди зверей. Преврати меня в слона».

И стал тигр слоном.

Богатейшие государства мечтали завладеть слоном. Народ поклонялся ему, как святыне. Сотни слуг обмы-

вали и кормили его. Но однажды на спину слона водрузили позолоченные носилки, и маленькая женщина гордо уселась на пышных подушках. Слон был оскорблен и, вырвавшись, тайком убежал на берег Ганга. Он бушевал.

«Женщина сильнее слона. Сделай меня женщиной или умертви».

Подумал старец и решил помочь слону, но потребовал снова клятвы, что тот никогда не пожелает ему зла. Затем, окунув его в воды Ганга, он превратил слона в красивую женщину. Молва о ее красоте понеслась по Индии, и начались войны за обладание ею. Кровь полилась ручьями, народ стонал от военных поборов и голода. И наконец богатейший и храбрейший магараджа овладел красавицей. Все ее прихоти мгновенно исполнялись, и не было счастливее и любимее женщины на свете.

Но мысль о том, что откроется тайна ее происхождения, отравляла дни и ночи прекрасной магарани. И однажды она потребовала умертвить старца с берега Ганга, которого чтила вся страна. Долго магараджа не решался исполнить желание жены, а когда он уступил и послал убийц к старцу-кудеснику, потускнело солнце и исчезла магарани, а на том месте, где она стояла, копошилась, пища, облезлая мышь. С отвращением придавил ее сапогом пораженный магараджа. Там, где пролилась кровь мыши, вырос пунцовый мак. Тщетно призывая исчезнувшую красавицу, магараджа сорвал маковку и вдохнул пряный запах черных семян. В охватившем его полузабытьи увидел он превращения мыши, нарушившей клятву и отплатившей злом за добро. Сила опиума в том, что в его чаду человек видит все перевоплощения живых существ и причину всех причин.

Далеко за полночь засиделся Карл у товарища своей юности.

На следующий день Маркс узнал, что ему отказано в восстановлении прусского подданства и тем самым в возвращении на родину.

В Берлине Маркс попытался наладить отношения с венской газетой «Пресса». Редакция обещала ему оплачивать статьи значительными суммами. Из Америки «Нью-Йорк дейли трибюн» запросила снова его корреспонденции. Карл воспрянул духом, надеясь, что отныне

его семья перестанет терпеть непрерывные бедствия, а он сможет наконец отдаться работе над книгой о капитале и труде.

Из прусской столицы Карл проехал в Кёльн. Он рассчитывал забрать оттуда большое количество своих книг, которые вынужден был оставить у врача Даниельса в 1849 году. Но Даниельс был вскоре арестован по делу кёльнских коммунистов, в тюрьме он заболел чахоткой и умер после освобождения. Книги Карла пошли по рукам, и большую часть их разворовали. Безвозвратно исчезли сочинения Фурье, Гете, Гердера, Вольтера, очень ценимое Марксом издание «Экономисты XVIII века», книги Гегеля и много других.

Совершенно равнодушный ко всяким ценностям и вещам, Маркс всегда очень дорожил своей библиотекой и не смог скрыть своего огорчения, узнав о ее пропаже.

Из Кёльна Карл отправился в Трир, чтобы повидаться с матерью. Снова очутился он на берегу Мозеля, усеянном красными маками и бледно-лиловым вереском, взбирался на вершину горы св. Марка, гулял по Симеонштрассе. Родной ветер играл его густыми волосами, но были они сейчас не черными, как когда-то, а совершенно белыми, с тем особенным голубоватым отливом, который свойствен седине брюнетов.

Трир был прекрасен в убранстве весенних цветов. В укрытом маленьком дворике при доме Генриетты Маркс росли лавровые деревья. Карл обрадовался им, как старым друзьям. Он любовался их цельными блестящими темно-зелеными листьями, нравился ему их ни с чем не сравнимый сильный аромат.

Карл осторожно сорвал ветку, любуясь декоративной красотой растения. Благоухающий лавр Аполлона воспевали поэты и писатели, он стал эмблемой почета. Римские генералы венчались лавровыми венками и, как символ победы, поднимали их перед собой. Существовало поверье, что лавр защищен от молнии и предохраняет от болезней. Больше всех других деревьев Карл любил упругий лавр.

Из окон дома раздался старческий слабый голос. Генриетта Маркс звала к себе сына. Карл поднялся по ступенькам на террасу и пошел по коридору. Неприметно для себя он смял в руке листок лавра и с удовольствием вдохнул его острый, пряный запах.

В комнате матери было душно и мрачно. Генриетте Маркс минуло уже семьдесят четыре года. Боясь простуды, она запрещала проветривать комнату и считала, что болезни — следствие свежего воздуха. По той же причине старуха носила поверх теплого платья пуховую шаль, голову укутывала большим капором, а ноги прятала в меховые ботинки. Из-за болезни глаз она нуждалась в полутьме, и окна были затянуты темными шерстяными портьерами.

— Дитя мое,— сказала Генриетта Маркс глухо и ласково,— я так рада, что дожила до встречи с тобой. Софи обещала распорядиться, чтобы к обеду приготовили форель. Ты ведь так любишь рыбу. С тех пор как я стала немощной, никто в доме не может испечь лимонные коржики так, как это надо. Они горчат. Как охотно ты ел их, когда был маленький.

Карл ощутил прилив волнующего чувства нежности к матери и взял ее опухшую руку. Но рука уже не пахла, как много лет назад, корицей и мускатным орехом. Пальцы, изуродованные в суставах, походили на оплывшие желтые свечи.

— Видишь, какой у меня ревматизм,— сказала Генриетта тихо. — Мазь из лаврового масла облегчает мои боли, но ничто не исцеляет в старости.

И старушка начала пространно описывать свои недуги. Говорила она смиренно и не жалуясь. Не было в ней больше ни сварливости, ни горячности. Даже скупость, отличавшая ее в былые годы, заметно уменьшилась.

— Кое-какие твои векселя я решила немедленно порвать. На том свете мне они все равно не понадобятся, да и тебе ведь нелегко живется. Когда-то я мечтала видеть тебя богатым, но ты был своеволен и хотел жить только своим умом. Может быть, ты и был прав, да и вообще, кто знает, что лучше на земле? Столько знатных и обеспеченных людей после революций и войн обеднели. По правде сказать, я ничего больше не понимаю в том, что делается на свете. К счастью, у меня на родине, в Голландии, живут тихо и степенно, и мои гроши у Лиона Филипса будут целы. В Германии я могла бы остаться нищей. Но, слава богу, дочери уже замужем и мы прожили жизнь, не прося милостыню. Все, впрочем, в божьей воле.

Карл вспомнил рассказы сестер о чрезвычайной набожности матери и ее частых посещениях протестантской кирхи. Но не вера, а старость изменила ее к концу жизни, пришло сознание бренности всего того, что казалось ей столь незыблемым и ценным.

Карл молчал, изредка поднимая глаза на старую мать, которая смотрела на него с нежностью.

— Ах, Карльхен, каким ты был необыкновенным ребенком! Мы с покойным отцом не могли надивиться твоей памяти и уму. А сказки, которые ты рассказывал! И даже шалости твои не были злыми.

Генриетта погрузилась в воспоминания. Эта женщина олицетворяла его детство. Она одна сохраняла в своей памяти его словечки, проказы. И Карл остро почувствовал неразрушимую связь с матерью, выпестовавшей его и некогда проводившей в жизнь. Прежнего многолетнего недовольства и досады на нее более не оставалось. Генриетта была разрушена старостью. Глядя на ее изборожденное морщинами лицо и согбенную фигуру, Карл испытывал острую жалость и томящую грусть. Такое чувство рождается в душе человека перед руинами или на пепелище родного дома.

Мать заговорила о давно умершем Генрихе Марксе, и еще грустнее и тише стало на душе Карла. Когда пришло время обедать, он осторожно взял старушку под руку, чтобы проводить в столовую. Вдруг она остановилась и всплеснула руками:

— Какой, однако, ты стал высокий, я едва достаю головой до твоего плеча. А раньше мы были одного роста. Как же это случилось?

За столом в первый день приезда Карла собралось много родственников. Он увидел своих племянников. Многие из них были уже почти взрослыми.

«Вот они, ушедшие годы»,— думал Маркс, глядя на шумную молодежь и на приближавшихся к старости сверстников. Сестра Софи была уже седой женщиной с круглым полным лицом, двойным подбородком и усталыми выцветшими глазами. Все ее мысли вращались вокруг семьи и каждодневных личных забот, как, впрочем, и у остальных членов семьи.

Пробыв в Трире всего два дня, Карл собрался в путь.

— Я чувствую, что вижу тебя в последний раз, дорогой мой сынок,— сказала ему мать и заплакала.

Карл испытал вдруг страх разлуки с нею. Он крепко обнял старушку. С матерью исчезали для Карла не только годы юности, но и воспоминания о них, и тем самым умирала часть его самого.

Покуда Карл был в отъезде, Женни, пережившая после страшной болезни второе рождение, радовалась весне. Каждый цветок казался ей чудом. Обостренное ощущение жизни давало счастье. Все вокруг было так замечательно и прекрасно: небо, столь часто менявшее свои краски, полет облаков, пение птиц и великолепие растений. В это время к ней пришло сердечное письмо из Америки от жены Вейдемейера, Луизы, с которой она подружилась более десяти лет назад во Франкфурте-на-Майне. Тотчас же Женни засела за ответ, в котором в мельчайших подробностях делилась тем, что пережила.

«Да и разве это возможно,— писала она,— чтобы такие старые партийные товарищи и друзья, которым судьба уготовила почти одни и те же страдания и радости, одни и те же светлые и мрачные дни, стали когда-нибудь чужими друг другу, несмотря на время и океан, разделившие нас. И вот я протягиваю Вам руку издалека, как мужественному, верному товарищу по борьбе, страданиям и испытаниям. Да, моя дорогая госпожа Вейдемейер, у нас обеих довольно часто бывало мрачно и тяжко на душе, и я слишком хорошо представляю себе, что Вам пришлось пережить за последнее время! Я представляю себе всю Вашу борьбу, заботы и лишения, ведь я часто переживала то же самое. Но страдания закаляют, а любовь служит нам поддержкой!

...Позвольте мне сегодня рассказать Вам о новом периоде нашей жизни, в котором наряду со многими мрачными сторонами имеются все же и некоторые радостные, солнечные моменты.

...Рискуя прослыть в Ваших глазах самодовольной, слабой матерью, я должна все же похвастать достоинствами милых девочек. У них обеих чрезвычайно доброе сердце, хорошие наклонности, поистине очаровательная скромность и девическая застенчивость. Женни 1 мая исполнится семнадцать лет. Она чрезвычайно миловидная девушка; со своими темными, блестящими густыми

волосами и такими же темными, блестящими и ласковыми глазами, со своим смуглым лицом креолки, которое приобрело, однако, свойственную англичанкам свежесть, она выглядит даже красивой. Глядя на милое добродушное выражение круглого, как яблоко, детского лица, забываешь о некрасивом, вздернутом носике и радуешься, когда открывается прелестный ротик с красивыми зубами.

Лауре в сентябре прошлого года исполнилось пятнадцать. Она, пожалуй, более красива и у нее более правильные черты лица, чем у ее старшей сестры, полной противоположностью которой она является. Она так же высока ростом, так же стройна и изящна, как Женни, но во всем светлее, легче, прозрачнее. Верхнюю часть ее лица можно назвать красивой, так хороши волнистые, пышные, каштановые волосы, так очаровательны милые зеленоватые глаза, в которых всегда как бы светится радостный огонек, так благородна и красива форма ее лба. Только нижняя часть лица менее правильна и еще не вполне оформилась. Обе сестры отличаются поистине цветущим видом, и обе так мало кокетливы, что я часто про себя дивлюсь этому, тем более что не могу сказать того же об их матери во времена ее молодости, когда она еще носила легкие, воздушные платья.

...Они свободно владеют английским языком и довольно хорошо знают французский. По-итальянски понимают Данте, немного читают также по-испански. Только с немецким дело никак не идет на лад; хотя я стараюсь всеми силами время от времени разговаривать с ними по-немецки, они всегда не охотно идут на это, и здесь не помогает даже мой авторитет и их уважение ко мне. У Женни особые способности к рисованию... Лаура относилась к рисованию так небрежно, что мы, в наказание, перестали ее учить рисовать. Зато она прилежно учится играть на рояле и очень мило поет с сестрой немецкие и английские дуэты. К сожалению, девочки очень поздно стали учиться музыке — примерно лишь года полтора назад. Достать для этого денег было выше наших сил, к тому же у нас не было рояля, да и наш теперешний, который я взяла напрокат, настоящая развалина.

Девочки доставляют нам много радости своим милым скромным характером, а их младшая сестренка — кумир и баловень всего дома.

...Да и трудно себе представить более очаровательного, красивого, как картинка, наивного, забавного ребенка. Девочка особенно отличается своей удивительно милой болтовней и своими рассказами. Этому она научилась у братьев Гримм, ставших ее неизменными спутниками. Мы все до одурения читаем сказки, и горе нам, если мы пропускаем хоть один слог в «Белоснежке», у «Румпельштильцхена» или у «Короля-дроздовика». Благодаря этим сказкам девочка, наряду с английским, научилась немецкому и говорит по-немецки необычайно правильно и точно. Девочка — поистине любимица Карла и своим смехом и щебетанием отвлекает его от множества забот. В хозяйстве мне по-прежнему верно и добросовестно помогает Ленхен. Спросите о ней Вашего мужа, он Вам скажет, какое это для меня сокровище. В течение шестнадцати лет она делила с нами и радость и горе».

Далее Женни рассказывает о мучительной поре борьбы с клеветой Фогта и о полной победе Маркса в этом неравном бою, о своем заболевании черной оспой, едва не кончившемся смертью.

«Однако мой организм победил, нежнейший и преданнейший уход сделал свое дело, и вот я теперь снова сижу совершенно здоровая, но с обезображенным лицом, со шрамами темно-красного цвета вроде теперешнего модного цвета маджենты. Только в сочельник бедные дети смогли вернуться в родительский дом, по которому они страшно тосковали. Первое свидание было неописуемо трогательно. Девочки были глубоко потрясены и с трудом сдерживали слезы, увидев меня. Пять недель назад я еще вполне прилично выглядела рядом с моими цветущими девочками. У меня, как это ни удивительно, не было седых волос и зубы и фигура тоже еще остались хорошими, так что меня считали хорошо сохранившейся — и вот теперь всему этому пришел конец! Я сама себе казалась диковинным зверем, которому место скорее в зоологическом саду, чем среди представителей кавказской расы. Однако не пугайтесь: теперь вид мой не столь ужасен, и шрамы начинают заживать.

...Мои девочки сердечно кланяются Вашим милым детям и целуют их — одна Лаура целует другую,— а я мысленно целую каждого из них. Вам, мой дорогой друг, я

шлю сердечнейший привет. Будьте мужественны и стойки в тяжелые дни. Мужественным принадлежит мир. Оставайтесь твердой, верной опорой Вашего мужа, будьте крепкой духом и телом, будьте верным, не требующим чрезмерного почтения товарищем Ваших милых детей и при случае снова дайте знать о себе.

Ваш искренний друг *Женни Маркс*».

Красоцкие прибыли в Америку незадолго до начала великой войны между Севером и Югом. Переезд через океан длился более двух недель и, несмотря на то что Лиза и ее семья ехали в каютах первого класса, оказался чрезвычайно тяжелым. Помимо штормов и трудностей преодоления небольшим судном Атлантики, Лизу удручало зрелище нищеты переселенцев, находившихся в трюме, где везли также скот. Несчастнейшие из несчастных, ирландцы, немцы и выходцы из разных славянских стран устремлялись в Новый Свет в поисках хоть какого-либо заработка и угла. Они тяжело болели не только из-за лютой качки, но и от длительного недоедания. В пути умерло несколько детей и стариков. Наконец пароход добрался до Нью-Йорка. Жутко ступить на новую, незнакомую землю, которая должна заменить тебе навсегда родину. Чувство гнетущей тоски испытала и Лиза, сойдя на берег. Все было здесь чужим и казалось недружелюбным. Через несколько дней Красоцкие встретились с Иосифом Вейдемейером, которому они привезли письма от Вольфа.

— Когда я в ноябре тысяча восемьсот пятьдесят первого года, подобно вам, впервые коснулся ногой материка, несправедливо названного Америкой, а не Колумбией, то испытал великое разочарование. Прошло немало лет, а все еще нет во мне расположения к этому краю. Не потому, что он плох. О нет. Источники богатства этой страны бесчисленны. Она обладает плодороднейшими равнинами, богатейшими каменноугольными залежами, нефтяными источниками и различными рудами. Она производит огромную массу хлопка, убойного скота, зерна. Вы увидите здесь большие судоходные реки и озера с прекрасными берегами, безопасные гавани не только на побережье Атлантического океана, но и Тихого.

— Но что же тогда отравляет вам пребывание здесь?

— А то, что я не думаю, чтобы было еще какое-нибудь место на свете, где бы мышление лавочника встречалось в более отвратительной наготе. Всякая цель в жизни, кроме делания денег, считается здесь нелепостью, глупостью. Вы прочтете это на каждом встречном лице, на каждом камне. Это одна сторона медали, а вторая — нищета, крах многих надежд, тоска по родине.

— Ну, а вы как живете и устроены ли сейчас? — с истинным сочувствием спросил Сигизмунд. Ему, как и его жене, очень понравился Вейдемейер с первых же его слов. Лиза дружелюбно вглядывалась в большое, обветренное, сильное лицо бывшего артиллерийского офицера, о котором с любовью говорил ей Вильгельм Вольф.

— Все бывало. Пытался организовать издание еженедельника. Это было азартной, отчаянной затеей,—рассказывал доверчиво Вейдемейер. — Представьте, без денег, без основательной поддержки все-таки издал «Восемнадцатое брюмера» Маркса. Великолепное произведение. Затем служил землемером, нотариусом, читал и читаю лекции по рабочему вопросу. Боролся и борюсь за свои коммунистические идеи. Я ведь из Вестфалии. Мы народ упорный.

— Что же, хотели вызвать революцию в Соединенных Штатах? — чуть улыбнулась Лиза.

— Нельзя, увы, искусственно создавать революции при помощи заговоров и каких-либо рецептов. Социальные кризисы обусловливают ее наступление, а они являются объединенным результатом борьбы классов скорее, чем мелких стараний отдельных людей,— сказал Вейдемейер очень серьезно.

— Узнаю друга Маркса или, как о вас писали, его «агента».

— Я не хотел бы повторять вам то, что писал в ответ на это прозвище, но придется, раз вы запомнили этот термин. «Агенты» знают, что единство действия, твердость и согласие в мыслях, которые всегда характеризовали их, поддерживали их во все времена,— не будут понятны их оппонентам, потому что у этих последних самих никогда не было твердо обоснованных принципов. Мы не агенты, мы верные друзья Маркса.

Хорошо изучивший Америку, отзывчивый Вейдемейер советами во многом помог Красоцким на первых порах их обоснования в Новом Свете.

Время было трудное. Маркс называл XIX век веком хлопка, и более всего название это подходило именно к пятидесятым и шестидесятым годам в Америке. «Царь-хлопок», как называли его американцы, господствовал безраздельно, и носителями этой силы были рабовладельцы. Хлопок, пользовавшийся огромным спросом на рынке, возделывался неграми-рабами в Южных штатах. Чем выше был спрос на хлопок, тем больше завоевывал он земель. Росли прибыли и вместе с ними потребность в рабах для владельцев хлопковых плантаций. Пиратская торговля захваченными в плен африканскими неграми бойко велась на рынках Виргинии, Миссури и многих других штатов. Большие корабли снаряжались в Нью-Йорке и в гаванях Новой Англии за рабами. Ежегодно рабовладельческие штаты доставляли на хлопковые плантации не менее сорока тысяч рабов.

«Жители Виргинии,— как говорили американцы,— разводят рабов точно так же, как в Вермонте разводят лошадей».

Лиза содрогалась, видя воочию то, о чем читала в «Хижине дяди Тома». Но, кроме черных невольников, она увидела и белокожих. Это были рабочие.

Очень скоро Красоцкие поняли истинное положение жителей Америки. Возделывание хлопка обогащало рабовладельцев, а обработка его и превращение в ткани — фабрикантов. Они были едины, пока дело шло о наживе, но начинали драться, когда приходило время делить добычу. Рабовладельцы требовали свободы торговли, чтобы ввозить дешевые иностранные товары и без всяких ограничений наслаждаться плодами труда своих черных невольников, а фабриканты настаивали на высоких охранительных пошлинах. Они стремились обогатиться благодаря дешевому труду закабаленных рабочих и урвать у рабовладельцев часть их добычи. Борьба между братьями-врагами непрерывно велась в конгрессе Соединенных Штатов, приближая войну.

Борясь с плантаторами Юга, буржуазия Севера громко заговорила о необходимости уничтожить рабство. Недавно образованная республиканская партия благодаря агитации за освобождение негров приобрела громадное влияние. В 1860 году, после горячей избирательной схватки, республиканцы получили большинство в кон-

грессе. Их кандидат Авраам Линкольн был избран президентом. Начался экономический кризис. Вскоре Южные штаты объявили о своем выходе из Союза. В апреле 1861 года разразилась гражданская война между Севером и Югом.

Иосиф Вейдемейер тотчас же ушел добровольцем на фронт. Он был назначен командиром второго артиллерийского полка и получил чин подполковника. Красоцкий, также хорошо знавший военное дело, последовал за ним в качестве офицера. Лиза с дочерью осталась в Миссури вместе с семьей Вейдемейера.

Все свое время и силы Лиза посвящала устройству госпиталей в наспех сооруженных бараках. Это было трудным делом. Не хватало медикаментов, белья, врачей.

Уже много лет Лиза была полностью оторвана от России, и тем более поразило ее письмо от дальней родственницы, сообщавшей о заточении в Петропавловскую крепость Дмитрия Писарева.

Лиза вспомнила Варвару Дмитриевну и ее слова: «Я хочу, чтобы у моего сына был талант правды, чтобы он никогда не лгал».

Митя вырос и, как предполагала некогда Лиза, стал незаурядным человеком. Он оказался прирожденным журналистом, страстным правдолюбцем, своеобразным отличным стилистом, неотразимым в полемике.

Нельзя петь, если нет от природы данного голоса, танцевать без чувства ритма, рисовать, не имея зрения, различающего тончайшие оттенки цвета. Нельзя истинно служить искусству без творческого дара и быть писателем, не имея своего особого видения, слуха, мышления и слога. И Писарев нашел в себе дар созидателя мыслей, образов, идей. Он отличался разительным трудолюбием и жадностью к знаниям, и его дарование благодаря этому окрепло и раскрылось. Время ему благоприятствовало.

Литературный дебют Писарева был блестящим. Его пригласили сотрудничать в «Современник», журнал Некрасова и Чернышевского, владычествовавший над думами новых людей России. Но он продолжал печататься в «Русском слове» с неизменно возрастающим успехом. Весной 1861 года Писарев закончил университет и получил степень кандидата.

Юный, красивый, стройный, безыскусственный в обращении, весь какой-то вдохновенный и приподнятый, он производил необычайное впечатление. Истинно талантливый человек всегда как бы излучает свой свет, и Дмитрий Писарев был таким.

Его творчество было уже вполне зрелым. Почти в каждом номере журнала появлялись статьи Писарева, посвященные наиболее волнующим вопросам литературы и политики, которыми жили его современники. Казалось, этот орленок — весь порыв, упоенье жизнью, готовность взвиться ввысь — не может встретить непреодолимых препятствий. Им должна была бы гордиться отчизна. Но тюрьмы не пустовали ни при Николае I, ни при его преемнике. Двадцатидвухлетний Писарев был погребен в Петропавловской крепости. Причиной заточения была написанная им прокламация для «карманной» нелегальной типографии. В ней он призывал к свержению самодержавия и разоблачил клевету на Герцена петербургского барона Фиркса, скрывавшегося под псевдонимом Шедо-Ферроти.

Тюрьма оказалась для Писарева огнем, закалившим сталь. Все, что успел он вобрать, продумать и перечувствовать за свою короткую жизнь, снова в полутьме и полном одиночестве камеры прошло перед ним. Он обрел новые силы в страсти творчества.

Петербургский генерал-губернатор Суворов, внук великого полководца, не раз своей властью облегчал режим крепости для политических заключенных. И Писарев мог писать.

Настойчивым, неутомимым ходатаем за Дмитрия стала его мать. Ни унижения, ни долгое выстаивание в сановных приемных, ни отказы не ослабляли ее энергии. После ареста Дмитрия она поселилась в Петербурге, напротив Петропавловской крепости. От передачи к передаче, от редкого свидания к свиданию медленно тянулось для Варвары Дмитриевны жестокое время. Каждый день приходила она к крепостным воротам, не замечая дождя, снега, жары, подолгу стояла у тюрьмы, сжав руки, с тем выражением лица, которое появляется над свежей могилой. Из окна ее квартиры была видна та же безрадостная гряда серого камня. Накануне коротких свиданий с сыном мать заново училась улыбаться, чтобы скрыть свои страдания. Однажды Дмитрий сунул ей

записку. Небольшой листок бумаги был покрыт крошечными, как маковые зернышки, буквами. Не растерявшись, Писарева сделала вид, будто с ноги ее свалилась туфля, и, быстро наклонясь, спрятала в нее записку. Не раз выносила она из крепости таким образом письма.

«Героические матери революционеров,— думала Лиза о Писаревой. — Каждая из них без размышлений приняла бы на себя удар, нанесенный ее сыну, закрыла бы его своим телом в момент смертельной опасности». Лиза написала в далекую Россию Варваре Дмитриевне исполненное нежности и почтительности письмо. На другом материке земли она непрестанно мечтала о родине. Из Лондона из «русской печатни» ей присылали «Колокол». В нем как-то прочла она письмо за подписью «Русский человек».

«Наше положение ужасно, невыносимо,— писал он,— и только топор может нас избавить, и никто, кроме топора, не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали, и она удивительно верна,— другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! К топору зовите Русь».

Лизе казалось, что автор нашел слова для ее собственных чувств.

«К топору, к борьбе, к революции! — повторяла она. — Больше нет иллюзий. Один коварный тиран сменил другого. Освобождение крестьян всего лишь подлый, злой обман. Эшафот, каторга, ссылка подстерегают попрежнему каждого, кто возвысит свой голос за права народа, за вольность».

Герцен прислал Лизе напечатанную в Лондонской русской типографии прокламацию «К молодому поколению». Автором ее был Николай Васильевич Шелгунов.

«Проснулась моя Россия. Ничто не в силах остановить более лаву, льющуюся из вулканического кратера,— писала, ликуя, Лиза, повторяя затем вслед за автором зажигательного воззвания: «Нас миллионы, а злодеев сотни... если каждый... убедит только десять человек, наше дело и в один год подвинется далеко. Но этого мало. Готовьтесь сами к этой роли, какую вам придется играть, зрейте в этой мысли, составляйте кружки

единомыслящих людей, увеличивайте число прозелитов, число кружков, ищите вожаков, способных и готовых на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны тени мучеников 14 декабря! Ведь в комнате или на войне, право, умирать не легче!»

В это же время в Петербурге появилась на русском языке книга Гильдебранда «Политическая экономия настоящего и будущего», в которой автор, нападая на книгу Энгельса о положении английских рабочих, в самых радужных красках описывал житье тружеников во Франции и Великобритании. Петербургские реакционные журналы всячески расхваливали книгу Гильдебранда. И только «Современник» решительно стал на защиту Энгельса.

В просторном кабинете Некрасова шла оживленная беседа. Николай Васильевич Шелгунов, нервно размахивая рукописью только что законченной статьи, говорил громко и быстро:

— Господа Катков и Достоевский не унимаются и продолжают нападать на нас за непочтительность к Гильдебранду. Но сей ученый муж, как точно высказался об этом Чернышевский, обнаруживает крайнюю несостоятельность в своих суждениях и наклонность к пустому словоизвержению всякий раз, когда пытается бороться с социалистами. Как вы знаете, в числе писателей, на которых поднял меч Гильдебранд, есть и Энгельс, один из лучших, замечательнейших немцев. Имя это у нас до сих пор еще неизвестно, а между тем европейская экономическая литература обязана ему лучшим сочинением об экономическом быте английского рабочего. Разница между Гильдебрандом и Энгельсом в том, что Энгельс худое называет худым и хочет, чтобы его не было, а Гильдебранд находит, что дурное не только не дурно, но что оно так и должно быть.

— К чему же еще сводятся мысли Энгельса? — болезненно-слабым голосом спросил Некрасов. Лицо его было пепельно-тусклым. Он встал и принялся сутулясь ходить по комнате. Подтачивающий его недуг превращал сорокалетнего поэта, полного творческой мощи, в дряхлого старика. Было нечто общее во внешнем облике великого певца русского народа с немецким поэтом Гейне.

— Фридрих Энгельс,— ответил Шелгунов,— доказывает, что после промышленного переворота английские рабочие стали самым прочным, постоянным классом населения, тогда как прежде они были подобны прожилкам в среде буржуа. Оба эти класса ныне жестоко враждуют. Господин Энгельс мудр, полагая, что английские рабочие раньше или позднее добьются прав для себя. Однако, я полагаю, Россия страна особенная. Русский мужик топором прорубит себе дорогу к социальной справедливости.

— Отлично сказано, Николай Васильевич,— продолжая медленно ходить по кабинету, тихо произнес Некрасов. — Вы смелы. То-то разъярятся все наши российские мракобесы. Отредижируйте же обязательно вашу статью для ноябрьской книжки «Современника».

Гражданская война в Соединенных Штатах чрезвычайно интересовала Маркса и Энгельса. Тщательно изучили они причину ее возникновения. Симпатии их были, естественно, на стороне северян, о чем они писали в своих статьях и письмах друг другу.

Борьбу против рабства негров Маркс и Энгельс считали кровным делом трудящихся классов. Рабство в Южных штатах препятствовало успешному развитию рабочего движения за океаном. Покуда труд черных несет на себе позорное невольничье клеймо, не может быть свободным и труд белых. По мнению Маркса, идеологи рабовладельческого строя старались доказать, что цвет кожи не имеет решающего значения и трудящиеся классы вообще созданы для рабства.

Война в Америке приняла затяжной и трудный характер. В связи с этим Маркс окончательно лишился своего постоянного заработка в «Нью-Йорк дейли трибюн». Но эта личная неудача нисколько не повлияла на его все возрастающий интерес ко всему происходящему в Новом Свете. Он от всей души желал победы северянам и неотрывно следил за развитием военных действий. Считая себя не особенно сведущим в военном деле, Карл постоянно расспрашивал Энгельса о значении событий на далеких фронтах, и Фридрих с глубоким, чисто профессиональным знанием дела подробно сообщал ему свои выводы и предположения по поводу военных действий в Америке.

— Ты отличный тактик и стратег,— сказал как-то Карл, когда Фридрих объяснял ему и Женни сложность войны внутри одного государства.

Было это летом, когда Энгельсу на несколько дней удалось вырваться в Лондон. Окна домика на Графтон-террес были настежь открыты. В палисаднике цвели жимолость и желтые ирисы. На рабочем столе Карла лежала большая карта Америки, и над ней склонились три головы — седая Карла, темно-русая Фридриха и каштановая, как бы чуть посыпанная кое-где пеплом, Женни.

— Северяне допускают непростительную ошибку,— чуть заикаясь от волнения, объяснял Энгельс,— они не освоили еще методов ведения гражданской войны. Смотрите, как оголены их фланги. Необходимо немедленно ввести в дело вновь образованные корпуса, а вместо этого они вот уже больше месяца держат их на расстоянии почти что пятисот миль от поля боя.

— Право же, вы подмечаете каждый стратегический промах, пользуясь информацией и картой, так, точно находитесь непосредственно на поле боя,— заметила Женни, ласково поглядев на возбужденное лицо Энгельса.

Как всегда, дни, проведенные друзьями вместе, промелькнули с досадной быстротой. Фридрих уехал. Помчались письма из Лондона в Манчестер и обратно. Маркс писал чаще, нежели Энгельс. Это объяснялось тем, что в столице он бывал иногда лучше осведомлен обо всем, интересовавшем обоих.

Летом 1861 года Маркс участвовал в устройстве митинга протеста против ареста Бланки и тяжелых условий его заключения. Судьба этого великого революционера постоянно волновала Маркса. Позднее он переслал в Париж деньги, собранные немецкими эмигрантами, на издание брошюры о процессе Бланки, на котором старый боец держался, как всегда, героем.

Осенью до Энгельса дошла весть об изменившейся судьбе одного из знакомых ему русских узников, Бакунина, бежавшего в Америку.

«Побег Бакунина меня очень обрадовал,— тотчас же написал он Карлу. — Бедняга, наверное, порядком настрадался. Совершить таким способом путешествие вокруг света!»

Венская газета «Пресса», на которую Маркс возлагал столь большие надежды, подвела его. Вопреки обеща-

ниям, она не только редко печатала его статьи, но к тому же платила только за одну из пяти.

Маркс и его семья уже не раз находились на краю бездонной нищеты, но 1862 год грозил стать для них еще более катастрофическим, нежели все предыдущие.

«Если он будет походить на старый, то, по-моему, пусть лучше отправляется к черту»,— писал Карл в Манчестер в конце декабря.

Новый год оказался действительно хуже того, которому пришел на смену. Снова над домиком № 9 по Графтон-террес нависли унизительные лишения и угроза долговой тюрьмы. Прекращение сотрудничества в «Нью-Йорк дейли трибюн» тяжело сказалось на жалком бюджете Маркса. Долги росли. Семья из шести человек требовала больших расходов. Энгельс посылал непрерывно, но небольшие суммы, так как сам был денежно все еще не устроен.

Носильные вещи Карла, Женни, всех детей и даже Ленхен были давно заложены в ломбарде. Не было больше денег не только на то, чтобы оплачивать взятый в лучшие времена напрокат рояль, но и рассчитаться с мясником и булочником. Попытка расплатиться с одними долгами влекла новые. Нужно было изловчаться, хитрить, просить об отсрочках, чтобы предотвратить выселение из квартиры и накормить детей. Здоровье Карла было подорвано. Тело покрылось карбункулами, начались тяжелые недомогания, связанные с застарелой болезнью печени. Раздражительность возрастала тем больше, чем мучительнее тянуло его к работе над продолжением книги по политической экономии. Нищета порождала горестные вспышки.

Это утро началось с подсчета долгов, не терпящих отлагательств с оплатой.

Женни, посеревшая, измученная, вошла в кабинет мужа с большой пачкой счетов. Ее голос необычно дрожал:

— Вот газовое общество прислало последнее предостережение. Если сегодня мы не внесем одного фунта десяти шиллингов, газ будет немедленно выключен. Ты не сможешь больше работать по вечерам. В доме нет ни одной свечи, и купить тоже не на что.

Карл поднялся из-за стола. Ему мучительно хотелось курить, но не было денег даже на самые дешевые сигары или табак.

Женни продолжала говорить все быстрее, и голос ее казался Карлу необычно высоким и странным. Он хотел остановить ее, но это было уже невозможно.

— Мы отказались давно от того, чтобы Лаура брала уроки музыки, но все еще не расплатились с учителем. Семь шиллингов. Как их достать, ведь он беден и нуждается в них. Домохозяин вчера орал во все горло на улице, что мы должны ему за целый год и он подаст в суд. Это был спектакль для кумушек всей округи.

— Но Энгельс ведь прислал нам на днях немного денег.

— Да, немного; этого не хватило даже для булочника. Мясник, зеленщик и бакалейщик грозят, что засадят тебя в тюрьму. Мы все страдаем. В городе открылась Всемирная выставка, а наши бедные девочки сидят дома. Все до последней пары обуви я заложила в ломбарде. И так уже много лет. Ни малейшего просвета. Почему? За что?

И вдруг, потеряв самообладание, Женни закричала:

— Я не могу больше, не могу! Лучше умереть, нежели дальше жить. Видеть детей и тебя голодными я больше не в силах.

Карл бросился к жене и прижал ее голову к своей груди. У него дрожали скулы и страшная гримаса горя исказила на мгновение лицо. Он умолял Женни успокоиться и еще раз набраться терпения.

— Ты ведь такая сильная,— заговорил он твердо.— Потерпи немного, и все наладится, я уверен в этом. И мы перейдем от страдания к радости. Помнишь наш любимый финал бетховенской Девятой симфонии? Она зазвучит и для нас, моя любимая.

Но Женни не успокаивалась. Карл молча гладил ее волосы. Что мог он сказать ей еще?

Снова горе перелилось через край, и нервы Женни больше не могли выдержать непрерывного напряжения. Во время этой печальной сцены в комнату родителей вошли Женнихен и Лаура. Лица девушек были необычно серьезными и решительными.

— Я достаточно взрослая, чтобы помогать своей семье,— сказала Женнихен,— вы не захотели зимой, чтобы я поступила в театр. Это к тому же оказалось нелегко, да и не знаю, достаточно ли я талантлива, чтобы быть на сцене. Теперь мы обе — ведь Лаура всего на год моложе меня — решили искать место гувернанток.

— В этом нет ничего плохого,— вмешалась Лаура,— нам пора зарабатывать. Двумя ртами будет в доме меньше, а главное, мы с Женнихен сможем помочь вам, отдавая все, что заработаем. Пожалуйста, Мавр и мамочка, не возражайте.

— Нет, нет,— в слезах ответила Женни,— вы обе еще так молоды, вам надо учиться. Я знаю, чем помочь. Разреши мне, Чарли, продать твою библиотеку.

Карл невольно ухватился рукой за спинку кресла. Он любил свои книги и привык к ним. Они были всегда его послушными и верными помощниками, со многими из них он странствовал с юности. Карл хотел возразить, но тотчас же, внутренне устыдившись, что колеблется, поспешил одобрить решение жены распродать то единственное, что было ему так нужно и так дорого.

— Конечно, родная. Делай, как считаешь нужным. Продай книги, на что они нам? Мне останутся все сокровища библиотеки Британского музея. Я постепенно окончательно отучусь полемизировать с авторами на полях книг и делать пометки карандашом и ногтем.

— Мавр, дорогой, разве ты сможешь жить без возможности рыться в книгах? Конечно, нет. Отцу они необходимы. Не надо, мамочка, лишать его надежнейших друзей. Позволь же нам с Лаурой искать себе место гувернанток,— настаивала Женнихен.

— Позже, мои девочки, позже, когда вы будете старше. Сейчас это слишком трудно для вас и опасно.

Женни продолжала горько плакать. Карл настойчиво уговаривал ее скорее распродать библиотеку.

Не признавая фетишей и не привязываясь к вещам, Карл делал исключение только для книг. С молодых лет он собирал их и берег. Книги были для него насущной необходимостью, такой же, как хлеб и вода. Однако попытка Женни продать библиотеку мужа оказалась тщетной. Не нашлось покупателя. Других источников добыть денег не оставалось. Карл писал Фридриху 18 июня 1862 года:

«Дорогой Энгельс!

Мне в высшей степени неприятно вновь занимать тебя своими злоключениями, но что поделаешь? Жена говорит мне каждый день, что лучше бы ей с детьми

лежать в могиле, и я, право, не могу осуждать ее за это, ибо унижения, мучения и страхи, которые нам приходится переносить в этом положении, в самом деле не поддаются описанию. Все 50 фунтов пошли, как тебе известно, на покрытие долгов, из которых не удалось уплатить и половины... Я не хочу уж говорить о той по-настоящему опасной в условиях Лондона ситуации, когда приходится в течение 7 недель оставаться без единого гроша, поскольку это стало у нас хроническим явлением. Но ты хорошо знаешь по собственному опыту, что всегда имеются текущие расходы, по которым надо платить наличными. Для этого пришлось вновь заложить вещи, взятые из ломбарда в конце апреля... Бедных детей мне тем более жаль, что все это происходит во время выставочного сезона, когда их знакомые развлекаются, а они только страшатся, чтобы к ним кто-нибудь не зашел и не увидел всей этой мерзости.

Что касается остального, то я теперь усиленно подвигаюсь вперед, и, как это ни странно, моя черепная коробка уже несколько лет не работала так хорошо, как сейчас, при всей окружающей меня нищете... Заодно я, наконец-то, разделался также с поганой земельной рентой... У меня уже давно были сомнения относительно полной правильности теории Рикардо, а теперь я, наконец, вскрыл обман. С тех пор как мы не виделись, сделал также еще несколько интересных и неожиданно новых открытий...

У Дарвина, которого я снова просмотрел, меня забавляет его утверждение, что он применяет «мальтусовскую» теорию *также* к растениям и животным, между тем как у г-на Мальтуса вся суть заключается как раз в том, что эта теория применяется *не* к растениям и животным, а только к людям — численность которых возрастает, мол, в геометрической прогрессии — в противоположность растениям и животным. Примечательно, что Дарвин в мире животных и растений узнает свое английское общество с его разделением труда, конкуренцией, открытием новых рынков, «изобретениями» и мальтусовской «борьбой за существование».

Энгельс тотчас же пришел на помощь другу и его семье, выслав деньги, и на короткое время обитателям дома № 9 на Графтон-террес жить стало легче.

В Лондоне было, как никогда, шумно в это лето. Позади «Хрустального дворца» вырос целый квартал наскоро построенных на одном из пустырей павильонов. В июне там открылась Всемирная промышленная выставка. Вереницы карет, наемных кебов, толпы людей направлялись со всех сторон столицы посмотреть все то, что из разных стран было привезено напоказ ради купли, продажи и рекламы.

Вместе с делегацией французских рабочих на выставку прибыл и Жан Сток.

Жером Бонапарт сдержал свое слово и организовал пятьдесят избирательных бюро в Париже, с помощью которых были устроены выборы заранее намеченных им делегатов. Рабочие ста с лишним профессий были приглашены на голосование. От железнодорожных машинистов Жан Сток был избран единогласно. Большой успех на выборах пал и на долю чеканщика Толена. Расходы на поездку столь необычной делегации взял на себя «красный принц» Плонплон. Он провел добровольную подписку и получил благодаря своим связям кое-какие суммы из имперского и городского казначейства.

В Лондоне Жан вместе с Толеном тотчас же отправился на Графтон-террес к Марксу.

— Сын Иоганна Стока. Отлично. Я очень, очень рад тебе. Весть о гибели твоего отца глубоко поразила всех нас. Он был лучшим среди лучших бойцов пролетариата. А ты, парень, как прожил свои два с небольшим десятилетия?

Жан вкратце рассказал Карлу свою жизнь, все время оговариваясь, что она проста и незатейлива.

— Хорошее прошлое и добрая закалка у этого парня,— сказал Карл жене, когда она позвала их к чаю.— Это — сын, достойный своего мужественного и умного отца.

— Скажите, Жан,— спросила Женни, узнав, что он перенес заключение,— вас не испугала тюрьма? Отважились бы вы на поступки, которые грозили бы вам снова кандалами?

Сток широко улыбнулся. Блеснули его прекрасные белые зубы.

— Тюрьма — что роды у женщины — быстро забывается. Ведь с ней знакомишься ради доброго дела, ради

людей,—значит, нечего и пугаться. Страшновато только по первому разу.

Все дружно рассмеялись. Сток заговорил о разрозненности рабочих и необходимости им скорее объединиться.

— Помню, мать учила меня в детстве притче о том, как уничтожать зло! Каждый отдельный человек слаб, он как прутик, но, если связать их вместе, получится веник, которым ничего не стоит вымести любую нечисть. Почему бы нам не объединиться, чтобы быть силой в борьбе за права свои? Взять хотя бы, к примеру, английских промышленников. При всякой попытке рабочих добиться повышения заработной платы и сокращения рабочего дня они тотчас же везут к себе французских, германских, бельгийских или других иностранных трудящихся. Не раз мог и я перебраться через Ла-Манш. А когда мы будем едины, то не позволим разжигать между нами рознь и грязную конкуренцию. Французы, немцы, англичане, поляки — мы трудимся на одних и тех же машинах, шьем теми же иглами, куем на одинаковых наковальнях, рубим теми же топорами. Посмотрел я машины на выставке; какая бы ни была на них марка — все один черт. Вот хотя бы локомотив. Он теперь везде один, и каждый машинист знает, как его водить. Одно у нас оружие, одна доля, один труд. Пора связать нам себя в один пук, и тогда все пойдет сразу по-другому. Я давно рвался в Лондон, чтобы повидаться с вами, отец Маркс, и с нашими братьями, французскими изгнанниками.

Карл с волнением слушал молодого рабочего, ищущего путей к объединению с иноземными трудящимися и совместной борьбе. Это предвещало воскрешение великих дней, когда был создан «Манифест Коммунистической партии».

Французские рабочие расспрашивали Маркса об особенностях развития британской индустрии.

— В Англии, в стране машин и пара, существуют и поныне многие отрасли промышленности, где полностью сохраняется ручной труд,— ответил им Карл. — Кое-где вы можете увидеть, что работают так же, как в стародавние времена. Вот хотя бы изготовление хлеба. Английская пословица гласит, что каждый человек должен в своей жизни съесть мерку грязи, а Джон Буль и

не подозревает, что ежедневно, не в переносном, а в прямом смысле слова, поглощает невообразимую мешанину из паутины, муки, квасцов, тараканов и человеческого пота. Зная отлично Библию, англичане повторяют, что человек должен добывать хлеб в поте лица своего, но не предполагают, вероятно, что человеческий пот является обязательной приправой к хлебному тесту. Теперь приближается, видимо, час гибели небольших пекарен и наступает эра хлебных фабрик.

— Я хотел также посоветовать вам побольше читать,— сказал Жану и Толену Маркс, когда они собрались уходить. — Один из великих французов в своих увлекательных книгах вывел целую плеяду живых людей, вы их, наверное, встречаете сейчас в Париже. В империи Бонапарта они процветают. В эпоху толстого Луи они были только в зародыше. Я говорю о Бальзаке.

Карл долго размышлял над тем, что говорили ему два француза. Он давно не чувствовал такого прилива сил, как сейчас.

В эти же июньские дни на Графтон-террес прибыло коротенькое письмецо. Лассаль извещал о своем приезде в Лондон на Всемирную выставку и обещал быть в тот же вечер. Узнав об этом, Женни разволновалась и засуетилась. Ей не хотелось, чтобы Лассаль заметил, какая нужда господствовала в ее доме.

— Мы, конечно, не в состоянии принять этого баловня графини Гацфельдт так, как он это сделал в своей роскошной берлинской квартире, когда у него был Карл, но тем не менее все должно быть безупречно,— говорила она, вытирая торопливо пыль с многочисленных книг и наводя в квартире порядок.

Ленхен отнеслась к словам Женни недоброжелательно и не скрыла этого:

— Только немного расплатились с долгами и вздохнули свободно и снова лезете в западню. Стоит только появиться лишнему пенни в доме, как он у вас вызывает нестерпимый зуд. Так и ищете, кому бы дать или на что бы потратить. Нет чтобы одеть девочек как положено. Я бы тогда слова не сказала. Лондон завален всяким добром. Так нет, нужно откармливать этого приезжего гуся, да еще так, чтобы он, боже сохрани, не догадался, что съедает последние куски в нашем доме.

Но Женни обняла Ленхен и так ласково принялась

уговаривать не восставать против ее плана, что та быстро уступила.

— Вы сатану и того уломаете, когда захотите,— сказала она, смягчаясь, и отправилась в бакалейную лавку. Лаура и Женнихен побежали в цветочный магазин, и скоро маленькая столовая на Графтон-террес совершенно преобразилась. Женни достала из комода недавно выкупленные из ломбарда старинные скатерти шотландской работы и кое-что из посуды. Она внимательно осмотрела дочерей. Молодость и свежесть служили им великолепным украшением. Женни принарядилась, набросив материнскую кружевную шаль поверх старого поношенного платья. Лассаль вовсе не заметил следов бедности в этом гостеприимном, приветливом семействе.

С тех пор как в начале века лорд Денди посвятил всю свою жизнь возведению в культ мужского туалета и приобрел много последователей, Англия считается первой страной по искусству наряжать мужчин. Лассаль, и до этого щеголь, приехав в Лондон, отправился на Бонд-стрит, где приобрел все самое модное, начиная от зонта, превращающегося в трость, и кончая сюртуками и шляпами всех фасонов.

Надушенный эссенцией лаванды, блестящий, как его цилиндр, Лассаль обнял Карла, называя его «дорогим другом», затем красиво склонил перед Женни и ее старшими дочерьми густо смазанную душистым маслом голову.

— Ах, какое прелестное дитя,— сказал он и поцеловал в румяную щечку Тусси, которая пытливо и смело разглядывала этого фатовски одетого господина.

За столом, когда Ленхен разносила великолепно сервированный чай с вкусными печеньями, Лассаль не преминул сообщить, что привык ни в чем себе не отказывать и жить на широкую ногу.

— Ничего не поделаешь, нужно всегда выставлять себя богатым человеком, это все идет на пользу нашему общему делу. Деньги при всей мерзости, которую они порождают в руках буржуа, великая сила, когда они в кармане социалиста. На днях одно дельце обошлось мне в пять тысяч талеров. Что ж, потери неизбежны, когда приходится быть также дельцом. Хорошо тебе, Карл. Ты занят только теоретической работой и поэтому свободен. Я не только теоретик, но и практик. Ну, подумайте сами: с одной стороны, моя внешняя форма...

— Да, ты похож на прирожденного барона,— сощурив глаза и не глядя на Женни, чтобы не рассмешить ее, сказал Карл.

— Кому, как не тебе, имеющему жену баронессу, знать это,— сказал весьма довольный Лассаль, так и не заметив насмешки в тоне Маркса. — Вы ведь знаете,— продолжал он,— что я посетил Цюрих. Это была поистине триумфальная поездка. Рюстов, Гервег и много других замечательных людей приветствовали меня. Затем Италия. Я дал немало советов Гарибальди. Результаты тотчас же сказались. Кстати, вы, надеюсь, уже прочитали моего «Юлиана Шмидта»? Мне не хочется повторять всего, что говорится в разных сферах об этой вещи. Не хочу показаться нескромным, но факт остается фактом. Я мог бы возгордиться, если бы не был от природы защищен от тщеславия мудростью. Но все-таки трудно удержаться, когда почтенные и вполне искренние люди постоянно трубят тебе, что ты великий ученый, мыслитель.

Лассаль встал, он был в упоении. Голос его звучал неестественно, он некрасиво размахивал руками, прохаживаясь по комнате. Всем стало неловко, но он этого не замечал.

— Меня считают жестокосердным донжуаном, но я фактически скорее нежен и чувствителен, как Вертер. Я был любим многими женщинами, но, увы, не любил сам и превыше всего ценю свою свободу. Скажите, госпожа Маркс, что такое брак? Я имею в виду людей моего масштаба.

Женни прикусила на мгновение нижнюю губу, чтобы не выдать чувства, которое внушал ей этот фразер, но затем, овладев собой, ответила:

— Французы говорят, что брак — это разговор. Выбирая супруга или супругу, нужно прежде всего проверить, долго ли будут они удовлетворять друг друга как собеседники. Я убедилась, что в этом много правды. Если бы мне предстояло прожить несколько жизней, я была бы неизменно счастлива с моим мужем, потому что мысль его неисчерпаема и разговор с ним всегда доставляет высшее наслаждение.

Лассаль слащаво, неискренне улыбнулся:

— Великолепно. Карл нашел достойную себя собеседницу. Ему повезло больше, чем мне.

Лассаль бесцеремонно отнимал у Карла его время, утомляя неуемными разглагольствованиями о себе, своих достоинствах и преуспеянии. Как-то он явился, когда Женни была одна дома, и тотчас же доверил ей под величайшим секретом свои сугубо важные дела «мирового значения».

— Вам, мадам, как весьма незаурядному человеку, могу признаться, что благодаря именно мне, моему неоспоримому убеждению, Гарибальди не пошел на Рим, а отправился в Неаполь. Я убедил его стать там диктатором, но не затрагивать при этом интересов сардинского короля Виктора-Эммануила. Затем, по моему же совету, старый полководец должен собрать народную армию, чтобы двинуть ее на Австрию. Вы понимаете, что это означает для Германии? Свободу. Я полагаю, что Гарибальди соберет без всякого труда не менее трехсот тысяч добровольцев. После этого особый корпус переправится на Адриатический берег, в Далмацию, и поднимет восстание в Венгрии. Это будет грандиозно, уверяю вас.

Лассаль подробно описал Женни свой план, который, по его словам, он как представитель немецкого революционного рабочего класса, сообщил не только Гарибальди на острове Капрера, но и в Лондоне теперь самому Мадзини.

— Этот великий революционный аскет тоже восхищен тем, что я ему сказал, и вполне одобрил мои предложения. Если так пойдет, как я указал, все кончится скорой и блестящей победой итальянского народа. Я кладу на всю операцию ровно шесть недель. К тому же мое политическое влияние в Берлине сейчас очень велико. Я смогу многое там предпринять. Ни для кого более не тайна, что именно моя брошюра об итальянской войне предотвратила вмешательство Пруссии в войну на Апеннинском полуострове.

— Вы, верно, очень устаете от столь больших и ответственных дел? — с едва уловимой иронией спросила Женни.

Лассаль не заметил насмешки в тоне собеседницы и ответил важно:

— Еще бы!

Женни поспешно отвернулась, чтобы гость не видел ее лица. Ей, как и Карлу, Лассаль стал смешон. Ленхен

презирала его не только за самоуверенность и самовлюбленность, но и за эгоизм и обжорство.

Называя Маркса своим интимнейшим, дорогим другом, Лассаль снова говорил ему:

— Ты свободный человек. Теоретическая работа берет меньше времени. Право, я завидую тебе; будучи постоянно занят важными практическими делами, я вынужден писать лишь урывками.

Целыми часами Лассаль просиживал на Графтон-террес, часто к отчаянию всех обитателей маленького дома, которых он отрывал от занятий. Нередко Карл и Женни открыто высмеивали ничем не обоснованные политические прожекты Лассаля и его утомительную спесь.

— Я разработал до мелочей и предложил поход от Падуи на Вену с целью выбить оттуда Габсбургов. Гарибальдийский полковник Рюстов одобрил мой план и согласился с тем, что все это осуществимо. Мы освободим Германию таким же образом.

— В таком случае,— щурясь, заметил Маркс,— полковник Рюстов тоже выжил из ума.

— Ты хочешь сказать, что я настаиваю на нелепости, что я глуп? — рассвирепел Лассаль, вскочив со стула. Затем он произнес с апломбом, взмахнув при этом кудлатой негритянской шевелюрой: — Я напрасно горячусь. Ты, Карл, живешь в мире абстракции, и я прощаю тебе, ты ничего не смыслишь в реальной политике.

— Однако то, что вы теперь постоянно проповедуете, весьма напоминает мне статьи некоторых просвещенных бонапартистов,— поддела гостя Женни.

Чем больше Маркс и его жена высмеивали «теории» Лассаля, тем сильнее было его бешенство и все меньше находил он возражений. Напористость и многословие не имели никакого успеха на Графтон-террес.

— Если бы мы не были в таком ужасном положении и этот субъект не забирал у меня так много времени и тем не мешал работе, он доставил бы мне истинно царское развлечение. Жаль, что Фридриха нет с нами. Послушав и повидав Лассаля, он запасся бы материалом для смеха, по крайней мере, на целый год,— сказал как-то Карл, когда поздно вечером остался наконец наедине с женой после многочасовой беседы с Лассалем.

— Я очень устаю от его постоянной похвальбы и противных манер откровенного карьериста,— ответила Женни.

Перед отъездом из Лондона Лассаль еще раз зашел к Марксу, чтобы поделиться очередным замыслом.

— Я, быть может, вскоре создам-таки свою газету,— сказал он, бесцеремонно рассевшись в единственном кресле за столом Маркса, в то время как тот расхаживал по комнате. — Я предлагаю тебе, Карл, быть участником этого грандиозного предприятия. Что ты думаешь об этом, дорогой друг?

Маркс мельком глянул на Лассаля и ответил равнодушно:

— Я охотно стану английским корреспондентом твоей газеты, не принимая на себя, однако, никакой ответственности. Политически, как я не раз тебе уже говорил, мы решительно ни в чем не сходимся, кроме некоторых весьма отдаленных конечных целей.

На этом разговор оборвался.

Поглощенный самим собой, мотовски тративший на себя деньги, безотказно предоставляемые ему графиней Гацфельдт, Лассаль долго не замечал нужды, в которой жили Маркс и его семья. Когда же он понял, что из-за американских событий Карл остался без всякого заработка и находится в критическом материальном положении, то с обычной напыщенностью предложил юной Женнихен место компаньонки у графини Гацфельдт в Берлине. Маркс едва стерпел это проявление черствости, бестактности и наглости. Узнав, что Марксу грозит выселение из квартиры, Лассаль согласился ссудить его небольшой суммой под вексель при условии, если Энгельс даст поручительство. С горечью согласился на это Карл. Ленхен припомнила тогда, что на одни только сигары и извозчиков Лассаль, как он сам похвалялся, тратит в день более одного фунта стерлингов.

В конце лета Карл получил постоянный пропуск корреспондента венской газеты на Всемирную промышленную выставку в Лондоне.

Наконец Карл, Женни и их дочери смогли отправиться туда, куда в эти дни устремлялись толпы людей всех сословий. Всемирная промышленная выставка привлекла к себе посетителей всех стран Европы. Лондон был переполнен приезжими. Газеты посвящали целые полосы описанию павильонов, индустриальных товаров и знатных особ, прибывших на остров.

Дамы, затянутые в тугие корсеты, в пышных кринолинах на металлических обручах, с плоскими шляпками поверх локонов, напоминали большие опрокинутые цветные бокалы. Их юбки едва умещались в каретах, шарабанах и омнибусах, непрерывно подъезжавших к украшенной разноцветными флагами арке у входа на выставку. Из совершенной по акустике оркестровой раковины неслись по всей площади звуки симфонической музыки.

— «Травиата»,— обрадовалась Лаура,— не правда ли, нет ничего лучшего в мире звуков, чем Верди?

— Есть,— ласково ответила ей мать,— бессмертная музыка Рихарда Вагнера. Ничто не может сравниться с «Тристаном и Изольдой».

— Кроме «Лоэнгрина»,— возразил Карл.— Я люблю эту оперу больше. Впрочем, мне кажется, что Верди такой же титан и революционер в оперной музыке, как и Вагнер.

— Досадно, что творец «Тристана и Изольды» порвал со своим предтечей — Глюком. Вагнер,— пояснила Женни дочерям,— восстал против утверждения автора «Орфея и Эвридики», будто истинное назначение музыки — помогать поэзии. «Я больше не пишу опер,— заявил Вагнер.— Не желая, однако, изобретать произвольного названия для своих произведений, я называю их отныне драмами».

По странной случайности во время рассказа Женни о Вагнере симфонический оркестр исполнял марш из «Лоэнгрина».

— Чудесно! — прошептала Лаура.— Мне слышится призыв к героическим поступкам, религиозный экстаз, томление...

— И чисто языческая страсть,— подсказала Женни.

Карл предложил начать осмотр выставки с индустриального павильона. Он очень интересовался технологией машин, изучал ее, посещал лекции, знакомился с практическим курсом машиностроения, делая множество выписок. Пытливо и внимательно рассматривая всевозможные инструменты и станки, он обстоятельно объяснял жене и дочерям их назначение и историю. Его интересовала каждая деталь и особенно технические новинки.

— Посмотрите на эти великолепные послушные орудия труда,— говорил он увлеченно,— здесь можно воочию убедиться в том, что, если оставить в стороне изобретение пороха, компаса и книгопечатания — того, что послу-

жило предпосылкой современного буржуазного прогресса,— все в индустрии началось с изобретения часов и ветряной либо водяной мельницы.

— Как же так? — удивилась Женни. — Что общего у этих машин с часами?

— А откуда взялась водяная мельница? — спросила Лаура.

— Она попала в Рим из Малой Азии во времена Юлия Цезаря,— ответил Карл. — Несомненно, что именно часы подсказали в восемнадцатом веке изобретение автоматов в производстве. Все в индустрии началось с заводных и пружинных механизмов и от мельницы с зубчатой передачей и прочими деталями. Взгляните на этот механический молот или на тот огромный пресс. Как и в мельнице, в этих удивительных машинах все процессы производятся без непосредственного человеческого труда. Другое дело — источники энергии, но, я вижу, вам скучно, мои дорогие.

— Нет, что ты, Мавр,— возразила скорее из любви к мужу, чем из подлинного интереса к индустрии Женни.

Карл с восхищением наблюдал за электрическим локомотивчиком, ведущим длинный состав, за неуклюжим двигателем и светильником, которые должны были прийти на смену газовым фонарям.

В павильоне Австрии Лаура увидела среди музыкальных инструментов выстроившиеся в ряд великолепные рояли. Их отполированные деки отражали все окружающее, как зеркала. Тонкими пальчиками Лаура прикоснулась к клавишам. Они ответили ей звонким мелодичным звуком. Тогда она присела на круглый винтовой табурет и сыграла «Песню без слов» Мендельсона, вложив в исполнение всю нежность юной души. Вздохнув, Лаура отошла от инструмента, иметь который было ее давнишней несбыточной мечтой.

В каждом павильоне, отведенном какой-нибудь стране, промышленные фирмы разложили образцы своих товаров, усиленно рекламируя их. Агенты различных фабрикантов и купцы состязались в переманивании заказчиков и покупателей.

Великолепные ткани, ковры, вычурная, громоздкая, украшенная резьбой мебель, сложная парфюмерия и изысканные предметы туалета и обихода мало чем внешне отличались, были ли они изготовлены во Франции, Гер-

мании, Австрии или Англии. Все они были рассчитаны на угождение вкусам богатых людей и стоили дорого. Еще менее разнились товары «для народа», которые изредка попадались на выставке. У Женни разболелась голова от назойливого гула, мелькания множества лиц и возбуждения, которое господствовало на этом параде вещей и людей, охваченных нарастающим азартом купли и продажи.

Лаура и Женни увлекли мать и отца послушать музыкальные выступления на открытом воздухе под большим серо-зеленым тентом.

Мюзик-холл — творение Англии — полон традиций, как цирк. Его клоун — рыжий, нелепый, полутрезвый шотландец — потешал публику особым выговором, кривлянием и рассказами о пресловутой «национальной» скупости. Затем на сцену выскочил забулдыга матрос, лихо отплясывая матлот. Томная жирафообразная певица, переминаясь с ноги на ногу, взывала к публике: «Приди же поскорее, я нежная возлюбленная». Самый большой успех выпал на долю бочкой вкатившейся на сцену комической старухи; она выкрикивала что-то невнятное, шепелявя на чистейшем лондонском простонародном жаргоне, «кокни», и была, казалось, пропитана терпкой вонью пивнушек. Ее волосы растрепались, на лице застыло выражение блаженства. Бессмысленная болтовня, бесстыдные пляски актрисы, изображающей не то торговку рыбой, не то портовую сводню, сопровождались довольным ревом и хохотом толпы.

После фокусника, проглатывающего тлеющие папиросы, после китайцев-жонглеров и монотонно поющего гимны негра наступила очередь выступлению зрителей. Комическая старуха и матрос, на этот раз припомаженный, натянувший на лицо постную пасторскую мину, пели куплеты под аккомпанемент оркестра, приглашая публику присоединиться. Сначала припев подхватило лишь несколько голосов. Оркестр ускорил темп. «Матрос», размахивая руками, отсчитывал такт. Зрители набирались решимости,— все новые и новые голоса подхватывали припев:

Стоит мне забыть свой зонтик дома,
И тотчас же дождь пойдет.
Дождик, дождик, переста-ань.

Из мюзик-холла, мимо дорогого ресторана, на открытой террасе которого сидели нарядные посетители, оста-

вив дочерей у выставки цветов, Карл и Женни прошли по пыльной дорожке к маленькому пруду. Два белоснежных лебедя, обогнув камышовые заросли, медленно плыли по светлой поверхности воды, почти прикасаясь друг к другу блестящими крыльями. Женни не отрывала глаз от величавых, прекрасных птиц. Она думала о их любви и верности, о том, что пара лебедей, соединившись, никогда уже не расстается. Если один из них умирает, другой также обрекает себя на гибель.

Лебеди подплыли совсем близко к берегу, на котором стояли Женни и Карл, взявшись за руки.

Маркс мучительно искал способа, как бы вырваться из создавшегося безвыходного безденежного положения.

Он решил поступить служащим в железнодорожное общество. Голландский адвокат Филипс имел большие знакомства в Лондоне и взялся походатайствовать за своего двоюродного брата. В одно обыкновенное сырое сентябрьское утро, надев сюртук, шляпу, вооружившись большим дождевым зонтом, Карл пошел наниматься на работу. Он произвел хорошее впечатление на почтенного управляющего канцелярией.

— Видите ли, в нашем деле все решает почерк,— сказал тот важно. — Наше дело — бумаги. Приходилось ли вам, мистер Маркс, писать?

Карл ответил, что случалось.

— Вот текст. Прошу вас переписать его с возможной тщательностью и четкостью.

Карл отошел к соседнему столу и принялся списывать документ. Он старался во много раз больше, нежели на уроках чистописания в гимназии Фридриха Вильгельма, осторожно выводил буквы, пытаясь сделать их разборчивыми и красивыми. Ему показалось, когда он закончил это испытание, что никогда еще не достигал такого каллиграфического совершенства. На лбу Карла выступил пот. И, однако, выражение презрения и негодования появилось на лице канцелярского начальника.

— Мистер Маркс, человек с таким почерком обречен в Англии, если он не наследный лорд, на жалкое существование. О чем думали ваши родители и вы сами? Готов держать любое пари, что для того, чтобы разобрать хоть одно ваше слово, нужны ученые, расшифровываю-

щие древние письмена на камнях. Сожалею, но мы не можем предоставить вам никакой работы.

Карл вернулся домой крайне удрученный. Но как бы ни было тяжело у него на душе, он отдавался весь работе и быстро находил удовлетворение и покой.

В эти поистине кошмарные дни, критически анализируя труды Рикардо, Маркс в «Теориях прибавочной стоимости» развивает свои выводы о капиталистическом накоплении и экономических кризисах. Ничто не могло помешать его мозгу творить и делать величайшие открытия.

Несмотря на все тяготы и заботы по дому, Женни постоянно выполняла секретарские обязанности. Нелегко было переписывать рукописи Маркса, а когда он диктовал, трудно было успевать записывать. Это было ответственным делом и требовало, как и ответы на письма, основательных, разносторонних знаний. Такт и деловитость Женни были поразительны. Она нередко вела вместо Карла деловые переговоры с типографиями и издателями. Чтобы добиться в Париже издания на французском языке книги «К критике политической экономии», Женни решила сама отправиться на континент, в страну, откуда ее когда-то выслали. Однако невезение, которое могло бы вызвать немало мистических страхов у суеверных людей, преследовало ее на всем протяжении этого короткого пути. Сперва корабль попал в сильную бурю и случайно уцелел, в то время как идущий поблизости пошел ко дну. Локомотив поезда, в котором находилась жена Маркса, испортился и долгое время простоял в пути. Свалился омнибус, в котором она ехала по улицам Парижа. Когда Женни пересела в наемный кеб, тот столкнулся с другим экипажем. Знакомого, ради которого она предприняла это путешествие, как раз перед ее приездом хватил удар.

В это же время Маркс в Лондоне пережил немало волнений. Сестра Ленхен, Марианна, еще молодая женщина, приехала погостить в семью Маркса и серьезно заболела сердцем. Целую неделю Карл и Ленхен выхаживали ее попеременно. Но ничто не помогло. За два часа до возвращения Женни из злополучного и безрезультатного путешествия во Францию Марианна скончалась.

В дом, не видевший давно ни одного беспечного дня, вошло еще одно несчастье. Марксу пришлось войти

в новые долги, чтобы добыть необходимые деньги на погребение Марианны. Таковы были рождественские каникулы в доме № 9 на Графтон-террес.

Карл постоянно заботился о своих соратниках и готов был отказать своей семье в самом необходимом, лишь бы помочь нуждающемуся товарищу. В эти дни нагромождения неудач он писал Энгельсу о том, что у их соратника, коммуниста Эккариуса, от скарлатины умерли один за другим трое детей и сам Эккариус находится в нужде. «Собери немного денег среди знакомых и пошли их ему», — просил друга Карл, хотя в это время в его доме не было ни угля, ни провизии и лавочники наотрез отказывали ему в кредите.

Лассаль злобно и настойчиво требовал выплаты ничтожно малой денежной суммы, которую дал Марксу под вексель. С большим трудом расплатился с ним Энгельс, снова спасший Карла от неминучей беды.

Мери Бёрнс внезапно умерла. Вечером, в ночь смерти, она выглядела здоровой, цветущей, как в ранней молодости. Фридриха не было дома, и Мери рано ушла в свою комнату, чтобы лечь спать. В полночь младшая сестра, Лиззи, нашла ее уже мертвой. Энгельс узнал о случившемся только утром следующего дня. Помимо общей квартиры с Мери Фридрих снимал также отдельно две комнаты. Он принимал там по делам фирмы посторонних ему людей и своих многочисленных, не всегда симпатичных ему родственников, часто наезжавших в Манчестер.

Смерть Мери потрясла Энгельса. Он чувствовал, что с этой горячо любившей его женщиной хоронит последнюю частицу своей молодости. Мери Бёрнс была добродушна, остроумна и на редкость приветлива. С ней Фридрих отдыхал и чувствовал себя освеженным и набравшимся сил. Она никогда ничего не требовала и ни о чем не расспрашивала.

С тех пор как судьба свела их в этом же Манчестере почти двадцать лет назад, Мери привязалась к Фридриху всем своим простым, бесхитростным сердцем и через всю свою жизнь пронесла непрерывно возраставшее беспредельное чувство. Она нашла в Фридрихе свое счастье и благодарила случай, давший ей, маленькой скромной ра-

ботнице из порабощенной Ирландии, такого необыкновенного, доброго, чуткого мужа и друга.

Мери была подобна резеде, неприметной, незатейливой и, однако, благоухающей, как лучший из цветов. Энгельс понял возле ее гроба, что лишился огромной, совершенной по силе и чистоте любви. Мир для него, казалось, опустел. Сердцу стало холодно, одиноко. Никто, думал он, не будет уже так любить его, как Мери. В гробу, как-то сразу похудевшая, она казалась снова очень юной.

«Бедная девочка,— думал Фридрих,— любила меня всем своим сердцем». Всегда мысль о ее огромном чувстве вызывала в нем нежность и грусть. Но только потеряв жену, он понял, как она была ему необходима и сколь велика была и его привязанность к ней. Сестра умершей, Лиззи, понимала переживания Фридриха. Она сама горько оплакивала Мери.

Огромная выдержка помогла Фридриху внешне не выразить своего смятения и отчаяния. В поисках душевной опоры он тотчас же написал Карлу. Тяжесть свалившегося неожиданно горя была так сильна, что нужно было плечо друга, чтобы устоять.

Письмо Энгельса, однако, попало в накаленную другими бедами атмосферу. Когда Карл, вскрыв конверт из Манчестера, сообщил о смерти Мери, вся его семья была вначале потрясена этим неожиданным известием. Но в тот день до вечера в рабочей комнате Карла просидел судебный пристав, присланный домовладельцем. Перехватив на крыльце Женни, мясник представил ей опротестованный вексель. В нетопленной комнате верхнего этажа уже несколько дней лежала в постели больная Женнихен. Лаура и Тусси давно не выходили из дома, так как не имели ни одежды, ни обуви.

Оставшись поздно вечером один, Карл взялся за перо.

«Чудовищно эгоистично с моей стороны,— писал Карл в Манчестер после нескольких формальных слов соболезнования по поводу смерти Мери и описания подробностей своего критического положения,— в такой момент рассказывать тебе об этих кошмарах... у себя же дома я играю роль молчаливого стоика, чтобы уравновесить бурные взрывы с другой стороны».

Прочитав письмо Карла, Фридрих почувствовал себя обиженным и огорченным. Мери еще не была похоро-

нена, а друг не нашел для него слов утешения и сочувствия. Впервые омрачилась светлая дружба этих людей.

Энгельс высказал на бумаге Марксу все, что думал. Ему было особенно больно оттого, что даже городские обыватели проявили в тяжелые дни душевное участие, только Карл этого не сделал.

Расстроенный письмом друга, Маркс ему объяснил, как сложившиеся неудачно обстоятельства привели их к этому удручающему недоразумению, и просил извинить и понять его. Одновременно он сообщал о своем решении резко изменить образ жизни, объявив себя банкротом и несостоятельным плательщиком, чтобы избавиться от кредиторов и судебного преследования. Он намеревался также уговорить Ленхен Демут поступить на другое место и соглашался подыскать подходящие места гувернанток старшим своим дочерям. Сам Карл с Женни и Тусси думал переселиться в один из казарменнных домов, построенных для бедняков столицы.

«Послать детей в школу в новой четверти я не смог, так как не заплатил еще по старому счету, да и, кроме того, у них совершенно непрезентабельный вид.

Благодаря вышеизложенному плану я надеюсь, по крайней мере без какого-либо вмешательства третьих лиц, вновь обрести покой,— писал Карл в своем исповедальном письме и, верный себе, своей постоянной жажде знания и творчества даже в столь мрачных обстоятельствах, заканчивал: — В заключение нечто, с предыдущим не связанное. Подойдя к разделу своей книги, трактующему о машинах, я оказался в большом затруднении. Мне всегда было не ясно, как сельфакторы изменили процесс прядения, или, вернее, так как уже и раньше применялась сила пара, в чем выражаются функции двигательной силы прядильщика, помимо силы пара?

Был бы рад, если бы ты мне это разъяснил».

В другом письме по поводу размолвки Карл подробно объяснял, как могло возникнуть это тягостное недоразумение.

«Могу тебе теперь также откровенно сказать, что, несмотря на весь тот гнет, под которым я жил все последние недели, ничто меня и в отдаленной степени так сильно не угнетало, как боязнь, что в нашей дружбе

образовалась трещина. Я много раз говорил своей жене, что для меня вся эта мерзость — ничто по сравнению с тем, что мне пришлось еще из-за всех этих житейских дрязг и ее крайнего возбуждения надоедать тебе своими личными нуждами вместо того, чтобы утешать тебя в такой момент. В результате домашний мир был сильно нарушен и бедной женщине пришлось поплатиться за эту историю, в которой она была совершенно неповинна; ведь женщины вообще привыкли требовать невозможного. Она, конечно, не имела представления о том, что́ я тебе пишу, но если бы немного подумала, то могла бы догадаться, что выйдет нечто подобное. Женщины — даже те из них, которые одарены большим умом,— забавные создания. Утром моя жена так плакала над Мери и над твоей утратой, что совершенно забыла свои собственные горести, которые как раз в этот день дошли до своего апогея, а вечером она была уверена, что, кроме нас, нет ни одного человека, который мог бы так же страдать, если у него в доме нет брокера и нет детей».

Письма Маркса полностью устранили то, что причинило боль обоим друзьям. Фридрих признался, что его мучила мысль о возможности потери вместе с Мери самого лучшего своего друга.

Эта печальная размолвка была единственной во всей истории дружбы Карла и Фридриха.

С помощью сложной и необыкновенно рискованной деловой комбинации Энгельс собрал 100 фунтов и отправил их в помощь Марксу. Одновременно Эрнст Дронке, бывший член редакции «Новой Рейнской газеты» и многолетний друг Маркса, ставший ныне богатым купцом в Ливерпуле, согласился, под поручительство Энгельса, ссудить ему двести пятьдесят фунтов стерлингов. Деньги эти впоследствии выплатил также Фридрих.

С тремястами пятьюдесятью фунтами на руках Карл наконец смог расплатиться со всеми долгами, закупить для семьи необходимое и приняться за работу над «Капиталом».

В конце 1862 года прекратилась переписка между Лассалем и Марксом. Лассаль продолжал упорно внушать рабочим мысль о возможности мирного преобразования прусского юнкерского государства в свободную,

управляемую народом Германию. Для этого он рассчитывал договориться с королем о всеобщем избирательном праве и организации производственных товариществ.

Фердинанд Лассаль, как никогда, обольщался собственными успехами. В Берлине, в Ораниенбургском предместье, в квартале машиностроительных рабочих, он выступил с речью, которую горячо одобрила графиня София фон Гацфельдт, сидевшая в первом ряду в шляпе, утыканной разноцветными страусовыми перьями. Она не опускала лорнета, любуясь своим другом, защитником, своим «Буддой» — Фердинандом.

Лассаль, прохаживаясь по маленьким подмосткам, отбрасывая рукой в перстнях мелко завитые черные волосы, великолепно одетый, держался важно и самоуверенно.

— Рабочие, вы должны отдаться историческому развитию с личной страстью!

София фон Гацфельдт вслушивалась в чрезвычайно туманно изложенные мысли и нежилась в переливах густого, волнующего баритона Лассаля. Она думала: «Все, что он говорит, великолепно; на свете нет равного ему оратора и мыслителя».

А Лассаль продолжал:

— Пусть же нравственная строгость охватит все ваше существо, пусть ваша жизнь станет достойной этой строгости. Пороки угнетенных, праздные развлечения людей не мыслящих, даже невинное легкомыслие ничтожных — все это теперь недостойно вас. Вы — рабочее сословие. Вы — скала, на которой зиждется церковь настоящего.

Все, что Лассаль говорил далее в лекции, названной им «Программой работников», было грубой вульгаризацией «Манифеста Коммунистической партии» и других произведений Маркса и Энгельса, ставших к этому времени широко известными. Погоня за красивостью речи была так велика у Лассаля, что ради цветистости фразы он, сам того не замечая, часто лишал ее смысла и говорил смешные и нелепые вещи.

Лассаль оглушал красноречием, лишенным вкуса и нередко ума. Не мысль, а слова пленяли его. Торопливый, тщеславный, он жаждал славы, не гнушаясь средствами, какими мог ее добыть, и не желая затрачивать ради этого большого труда. Быть первым повсюду и во

всем — таков был девиз этого не лишенного дарований и, главное, обладавшего великолепной памятью человека. Не будучи по рождению ни богатым, ни знатным, он должен был пробиваться в жизни без чьей-либо поддержки и делал это мастерски.

Бракоразводный процесс графини Гацфельдт, который Лассаль, не будучи юристом, вел много лет с необычайной изворотливостью и упорством, принес ему знакомства в среде немецкой знати и репутацию неподкупного идеалиста, защитника слабых. Выиграв дело, он получил большие деньги и вечную преданность влиятельнейшей придворной дамы. Ловкий, пронырливый, болтливый, чрезвычайно суетливый, он безошибочно определил для себя поле деятельности и решил возглавить германское рабочее движение, грозившее власть имущим, которые никогда не подпустили бы к себе как равного сына купца из Бреславля. С азартом игрока бросился Лассаль к намеченной цели, и графиня Гацфельдт помогала ему во всем. Он переходил от одной женщины к другой, предпочитая замужних, так как для брака искал объект с особенными достоинствами. Графиня терпеливо выслушивала его исповеди о довольно однообразных приключениях. В благодарность за это Лассаль говорил своим случайным любовницам:

— Графиня сделала меня гораздо лучше и чище, нежели я был до встречи с ней. Во мне бушевали дикие страсти, я нередко впадал в страшный гнев, становился жестоким, забывая о всяком сострадании. Она отучила меня от всего этого и пробудила во мне добрые инстинкты, подавив дурные. Нет возможности оценить величие и возвышенность ее души. Если мне суждено надеть цепи Гименея, я смогу быть счастливым только с той женщиной, которая полюбит моего друга Софию фон Гацфельдт с истинной нежностью.

Лассаль оценивал людей часто только по тому, как они относятся к нему. Хорошими были те, кто восхищался им. Беспристрастие было ему чуждо. Он враждовал с каждым, кто его критиковал и осуждал.

Тщеславный — тщеславен во всем. Успех ли это в деле, творчестве, у женщин или у случайных прохожих — ему все равно. Это низменное свойство обладает способностью смещать в человеческом сознании все масштабы. Честолюбец не различает степени успеха, он насла-

ждается одобрением достойных и недостойных, значительных и ничтожных. Лассаль любил собирать дань восхищения. Он не гнушался спекуляциями, если это обещало выгоду, и жил припеваючи, мысленно видя себя уже на вершине власти и бешено прокладывая к этому пути. Он хотел возглавить низшее сословие, и ему был выгоден шум вокруг его персоны.

Суды, которым он подвергался, превращались в желанную и важную рекламу. Обычно, будучи осужденным за выпад против власти к нескольким месяцам тюремного заключения, Лассаль начинал длительную тяжбу, переходя из судебной инстанции в инстанцию, и отделывался денежным штрафом. А слава революционера, мученика и героя прочно сопутствовала ему, и высшие чиновники королевства должны были считаться с растущим авторитетом противника, живущего в изысканной, чисто аристократической роскоши.

Игра становилась для Лассаля беспроигрышной. Когда за издание брошюры «Программа работников» он был привлечен к ответственности, то с обычным бесстыдством плагиатора, приписывая себе некоторые идеи «Манифеста Коммунистической партии», заявил на суде:

— Я утверждаю далее, что эта брошюра является таким же научным произведением, как многие другие, произведением, излагающим уже известные результаты, но что она во многих отношениях является даже научным открытием, развитием новых научных мыслей. Я напечатал ряд обширных трудов в различных и трудных областях науки, не жалея сил и бессонных ночей, чтобы расширить пределы самой науки, и я, может быть, имею право сказать, подобно Горацию: «Я боролся не без славы!» Но я сам вам заявляю: никогда ни в одном из своих обширных трудов я не написал ни одной строки, которая была бы по своему замыслу более строго научной, чем это произведение от первой строки до последней. Бросьте взгляд на содержание этой брошюры. Это содержание состоит ни в чем ином, как в философии истории, сжатой на пространстве сорока четырех страниц... Это есть развитие объективного, разумного хода мыслей, лежащего вот уже более тысячи лет в основе европейской истории, развитие внутренней души мира.

Лассаль решил возглавить движение по организации Германского рабочего союза. В мае 1863 года во Франк-

фурте-на-Майне он выступил на собрании членов и делегатов многочисленных рабочих союзов. Он использовал для своей речи громадный литературный и статистический материал и забросал слушателей бесчисленными цитатами. Речь его длилась более четырех часов и подавила слушателей. Из зала раздавались голоса, что пора кончать. Лассаль оборвал выступление на полуслове, и один из его сторонников объявил, что продолжение ее будет через два дня.

Не найдя общего языка с делегатами и испугавшись, что потерпит поражение, не будет никуда избран и останется за бортом рабочего движения, Лассаль изменил тактику и на общем собрании рабочих коснулся злободневных вопросов и резко обрушился на прогрессистскую партию.

Он подчеркнул, что не собирается основывать какой-либо особой классовой партии рабочих, но хочет развернуть знамя демократии, под которое одинаково призывает и буржуа и рабочих. Но рабочие в силу своего классового положения призваны быть главной опорой демократии.

Эти слова, сказанные Лассалем с большим жаром, привлекли на его сторону значительную часть тех слушателей, которые до этого не были его последователями. В течение нескольких недель до собрания во Франкфурте велась усиленная устная и письменная агитация в пользу Лассаля.

Через три дня после этого в Лейпциге, в зале Пантеона, состоялось основание Общегерманского рабочего союза. Одиннадцать городов были представлены двенадцатью делегатами. Союз был организован на строго централистских началах. Произошло это отчасти потому, что немецкие законы не допускали сношений между политическими союзами. Руководство принадлежало председателю, каким на пять лет был избран Фердинанд Лассаль. Мечта его стала наконец явью. С Лассалем теперь нельзя было не считаться даже таким всесильным в Германии лицам, как сам железный канцлер Отто Бисмарк. И Лассаль решил предпринять поход на Берлин. Осада прусской столицы не увенчалась большим успехом. Союз имел в ней очень мало членов, и то не из рабочих. Лассаль прочел лекцию, рассчитанную на сенсацию, где всячески поносил правящие круги. В зале находилось

всего несколько десятков человек. Противники из так называемой прогрессистской партии не явились; собрания потеряли для них интерес новизны, а Лассаль не казался опасным.

Гораздо удачнее для председателя Рабочего союза сложились его другие дела. Он не только был представлен благодаря связям графини Гацфельдт одним из генералов канцлеру Бисмарку, но сумел понравиться, стал часто бывать в его доме, где они часами дружелюбно беседовали. Все это Лассаль держал в глубокой тайне, понимая крайнюю двусмысленность своего поведения. Он старался убедить Бисмарка, что, несмотря на все различия их точек зрения, оба они одинаково заинтересованы в том, чтобы заменить трехклассную избирательную систему всеобщим избирательным правом. Лассаль рассчитывал при этом на свой дар убеждать людей, в который он бесконечно верил. Он писал Бисмарку:

«Ваша светлость!

Циркулируют слухи о предстоящем вскоре роспуске палаты депутатов и предоставлении права всеобщих и прямых выборов.

Если эти слухи хоть сколько-нибудь обоснованны, то прошу Вашу светлость срочно, во всяком случае до опубликования закона о выборах и даже до окончательного установления текста его, переговорить со мной. Весьма важные причины заставляют меня обратиться с этим к Вам и прошу в утвердительном случае сообщить мне наиболее удобное для Вас время для беседы».

Не получив ответа, Лассаль вновь продолжает добиваться встречи:

«Ваша светлость!

Я бы не стал настаивать, но события таковы, что прошу извинить мою настойчивость. Я уже писал Вам несколько дней назад, что нашел «волшебный рецепт» весьма обширного действия. Наша следующая беседа будет, как я полагаю, наконец сопровождаться окончательными решениями, и так как их, как я опять-таки полагаю, больше нельзя откладывать, то я бы хотел завтра в $8^1/_2$ часов вечера позволить себе переговорить с Вами. Если Ваша светлость в это время заняты — прошу назначить мне любое другое возможно ближайшее время».

Но Бисмарк медлил.

В марте Лассаль предстал перед судом по обвинению в измене за свою речь «Обращение к берлинским рабочим». Лассаль защищался сам.

— Меня обвиняют в том,— говорил он,— что я добиваюсь всеобщего избирательного права и этим хочу ниспровергнуть конституцию. Но я возвещаю вам с этого мирного места, что, быть может, не пройдет и года, и господин фон Бисмарк сыграет роль Роберта Пиля, и всеобщее избирательное право будет даровано! Я знал это уже в тот первый день, когда начал эту агитацию... И кто ясным взором смотрел на положение вещей, тот не мог не видеть этого...

Как бы объясняя себе самому свою тесную связь с лютым недругом рабочего класса, Лассаль в той же речи говорил далее:

— Это старый закон истории, что враждебные партии питают друг к другу своеобразное тяготение, словно какое-то химическое средство заставляет их поддерживать друг друга в борьбе...

Лассаль хотел привлечь короля и консервативную партию, чтобы они оказывали ему содействие, как своему невольному союзнику. Но у него и в мыслях не было отказываться от роли представителя крайней левой. Несомненно, Лассаль знал, что своей тактикой он ведет очень опасную игру. Но он верил, что в его руках достаточно много козырей, чтобы можно было рискнуть. Он считал себя достаточно сильным, чтобы в любую минуту по своему желанию вернуться назад. Но он упустил из виду, что для политика существует закон последовательности, что лишь в первом шаге он имеет полную свободу действия, а все последующие шаги уже предопределены первым.

В одном из писем Бисмарку Лассаль писал: «...рабочее сословие было бы склонно... видеть в короне естественного носителя социальной диктатуры, если бы корона со своей стороны когда-либо могла решиться на, конечно, весьма маловероятный шаг, а именно, если бы она пошла воистину революционным и национальным путем и превратилась из монархии привилегированных сословий в социальную и революционную монархию».

Но не столько Лассаль был нужен Бисмарку, который в любой момент мог сменить милость на гнев, сколь Бис-

марк являлся основной надеждой честолюбца в его стремлении возвыситься. Покуда же полиция, прокуратура и суды не щадили председателя Рабочего союза. Его крупная азартная игра во имя славы далеко не была еще выиграна.

Желание упрочить свое положение, сознание политической непорядочности, боязнь разоблачения побудили Лассаля добиваться, чтобы Союз был в безусловной зависимости от своего председателя. Он резко восставал против того, чтобы какое-либо из отделений Союза решало вопросы без его позволений и указаний, переданных им лично через уполномоченных. Деспотически, единовластно вторгался он, несмотря на очень короткий срок пребывания на посту главы Рабочего союза, во все поступки его членов. Стоило кому-нибудь возразить ему, как Лассаль требовал его исключения и преследования. Так было с рабочим Юлиусом Фальтейхом, который осмелился выступить против одного его проекта. Особенно рассвирепел Лассаль, узнав, что Фальтейх требовал большей самостоятельности для отделений. Не ограничившись пространным посланием об исключении ослушника, Лассаль послал в Дрезден, где тот работал, доверенного человека, приказал собрать там членов Союза и заставить их изгнать Фальтейха из своей среды. Точно так же своей властью председателя Лассаль, часто по прихоти, смещал и назначал членов правления Союза. Желание восхвалений дошло у Лассаля до мании. Он обратился к Фрейлиграту с просьбой воспеть его в стихах, но поэт благоразумно отказался. Тогда он нашел другого стихотворца и щедро оплатил его творение:

Сюда, немецкий пролетариат,
Сюда! Призыв не оставляй бесплодным:
Ведь ты стоишь пред мужем благородным,
Который путь тебе расчистить рад.
Он не сидит в парламентском собрании,
Чуждается крикливых излияний;
Дитя народа Фердинанд Лассаль
Кует слова, могучие, как сталь.
«Довольно вы других обогащали,
За них обильно проливая пот,
Довольно роскошью их окружали,
А сами изнывали от забот!
Пусть впредь не издеваются над вами:
Плоды трудов должны вкушать вы сами!» —
Так говорит вам Фердинанд Лассаль,
И клич его ко всем несется вдаль,

Со времени вступления в тайный союз с Бисмарком Лассаль резко изменился. Он боялся, что связь эта станет известной, и уже подумывал о том, чтобы отойти от рабочего движения. Прежде всегда рвущийся к деятельности, он начал искать путей, чтобы отступить в сторону от опасной политической игры. В это время Лассаль встретил на курорте Елену фон Дённигес и в первый же вечер знакомства влюбился в нее. Все в этой девушке с лицом, не отвечавшим требованиям классической красоты, но привлекательным и волнующим своей русалочьей прелестью, понравилось любимцу графини Гацфельдт. Рыжевато-золотые длинные волосы и зеленые, узкие, дерзкие глаза Елены, прекрасные плечи и руки, живой южный темперамент и смелая речь резко отличали ее от барышень, искавших только развлечений. После неудачного сватовства к Ольге Солнцевой Лассаль не пытался более устроить свою семейную жизнь и довольствовался случайными, короткими связями.

Отец Елены фон Дённигес, друг Рутенберга, некогда в Берлине знавший Маркса, в эту пору был баварским уполномоченным при швейцарском правительстве и жил в Женеве. О легкой интрижке с его дочерью не могло быть и речи, и Лассаль, со своей обычной быстротой действий, решил жениться.

Елена была родственной ему натурой. Честолюбивая, не глубокая, порывистая, пылко любившая всякие приключения, она, благодаря рассказам о победах Лассаля у женщин и в политике, увлеклась им еще раньше, чем увидела. Среди скучнейших людей, которые бывали в доме ее отца, он казался личностью особо выдающейся.

У Елены был жених, богатый молодой аристократ фон Раковиц, но она сделала все возможное, чтобы обольстить Лассаля. Это было вовсе не трудно. Он добровольно влетел в ее сачок. Очень скоро Елена согласилась стать его женой. Во время помолвки с нею Лассаль писал графине Гацфельдт:

«Вы очень ошибочно судите обо мне, полагая, что я не могу довольствоваться некоторое время наукой, дружбой и красивой природой. Вы думаете, что мне необходима политика.

Ах, как мало вы меня, в сущности, знаете! Я ничего не желаю так сильно, как окончательно развязаться с политикой, и сыт ею по горло. Правда, я вновь воспылал бы к ней большей страстью, чем когда бы то ни было раньше, если бы наступили серьезные события или если бы я получил власть или имел в виду средство приобрести ее... Ибо без высшей власти ничего нельзя сделать. А для ребяческой игры я слишком стар и слишком велик. Оттого я в высшей степени неохотно принял на себя председательство. Я уступил лишь вашим настояниям. И это положение сильно гнетет меня теперь. О, если бы я мог отделаться от него!

Боюсь, что события будут развиваться медленно, очень медленно, а моя страстная душа не терпит этих детских болезней и хронических процессов. Политика для меня — это активная деятельность настоящей минуты. Все другое можно сделать, оставаясь в рамках науки! Я попытаюсь в Гамбурге произвести давление на ход событий. Но насколько это подействует, я ничего не могу сказать. И сам я не на многое надеюсь!

Ах, если б я мог бросить все!

Эти строки были мною уже написаны, когда я получил письмо от Елены, в высшей степени серьезное письмо! Положение вещей становится серьезным, очень серьезным. И снова падает тяжелым бременем на меня. И в то же время я не могу уже отступить назад. Но я и не понимаю, собственно, чего ради я должен отступить! Это прекрасная женщина и по своей индивидуальности единственная женщина, которая вполне ко мне подходит. И вы сами признали бы ее таковой. Итак, вперед, через Рубикон! Это путь к счастью! И для вас, добрая графиня, по крайней мере так же, как и для меня.

Положение вещей в высшей степени запутано. Меня вновь охватывает сильное любопытство, как доведу я все это до конца. Когда я вел ваш процесс, я часто испытывал это совершенно безличное, объективное любопытство — словно я читал роман,— как-то мне удастся спасти и себя и вас из этого положения!

Ну, прежние силы еще целы, цело и былое счастье! Я приведу все к блестящему успеху. Прибой волн подхватывает меня... Вынесет ли он меня наверх, как шиллеровского водолаза?»

Прибой, однако, не вынес его наверх.

— Елена, вы созданы быть женою цезаря,— говорил он девушке, которую решил назвать своей женой,— со мной вы подниметесь высоко. С вами вместе мы завоюем мир. Уже сейчас сотни газет разносят ежедневно мое имя по самым отдаленным уголкам Германии. Но любите ли вы меня, моя сирена?

— Люблю. Я ведь сама искала с вами встречи, наслушавшись о вашем необыкновенном мужестве. Так увлекательно быть женой цезаря. — Елена засмеялась игриво. — Однако мне предстоит совершить убийство. Сердце моего жениха Янко фон Раковица отдано мне навеки. С чудовищным эгоизмом должна я уничтожить его, а могла бы дать счастье этому благородному, скромному человеку. Как же мне быть?

— Моя будущая жена, я буду всегда твоей силой и волей,— сказал Лассаль, снова пылко целуя невесту.

Однако брак так и не состоялся. Родители Елены были в высшей степени предубеждены против Лассаля. Не только его политическая деятельность казалась им двусмысленной, но и личная репутация. Много лет Лассаля считали любовником графини Гацфельдт, живущим у нее на содержании. Зная об этих слухах, фон Дённигес, когда дочь сказала о своей любви к Лассалю, решительно отказал в своем согласии на брак. Чтобы сломить сопротивление родных, Елена и Фердинанд разработали сложный план действий. Но прежде чем Лассаль переступил порог дома господина фон Дённигеса, чтобы еще раз попытаться уговорить его, Елена убежала из дома, поссорившись с матерью. Она заявила Фердинанду, что отдает себя и свою судьбу в его руки и предлагает, не дожидаясь согласия родителей, обвенчаться или бежать за границу. Однако Лассаль категорически отказался действовать таким образом. Его испуг, колебания поразили девушку.

«Так вот каков на самом деле этот прославленный за бесстрашие и энергию герой,— думала она в отчаянии.— Боится общественного мнения пуще всего на свете».

— Вы даже не авантюрист, каким мне казались иногда,— сказала Елена, чувствуя, что любовь ее уходит так же внезапно, как зародилась. По настоянию Лассаля она должна была вернуться к матери.

— Я старше вас, дорогая, и уверен, что, благодаря свойственному мне обаянию, встретившись с вашей матерью и отцом, смогу без труда победить все их предрассудки. Но для этого надо показать им все мое великодушие и честность. Я возвращаю невинным их сокровище. Всю свою жизнь я был чужд распутства, вопреки дурной молве обо мне.

Елена безразлично слушала того, кто еще недавно казался ей столь замечательным человеком. Она хотела поскорее увидеть своего прежнего жениха Раковица. По сравнению с Лассалем тот значительно выиграл в ее мнении. Восхищенный возможностью показать себя фон Дённигесу с лучшей стороны, Лассаль не замечал, как изменилась к нему девушка. Они холодно расстались. На другой день Янко фон Раковиц приехал к своей невесте.

Лассаль лишился возможности встречаться с Еленой. Он скоро понял всю несуразность своих поступков и то, что потерял любовь своей невесты. Самолюбие его было уязвлено. Он считал делом чести вернуть себе Елену. Лассаль решился теперь на все, даже на то, чтобы перейти в католичество, если это нужно для брака. Он хотел привлечь к своему сватовству баварского короля Людовика II, лишь бы тот воздействовал на строптивого отца. В это дело вмешалась и графиня Гацфельдт.

В Мюнхене, куда помчался Лассаль, баварский министр иностранных дел после нескольких бесед, во время которых речь шла и о политике, помог несчастливому жениху встретиться со своим подчиненным фон Дённигесом. Но препятствием к браку отныне была уже сама Елена. Она написала Лассалю, что раскаивается во всем, что между ними было, и решительно отклонила его домогания.

«Я счастлива, что господин Янко фон Раковиц вернул мне любовь и простил. Я отдала ему навсегда свою верность и сердце».

Лассаль разъярился. Он обзывал ее бранными словами, заявляя повсюду, что она порочна. Вскоре он послал оскорбительное письмо и вызов ее отцу. Старик фон Дённигес почел за лучшее уехать, а Янко фон Раковиц заменил его на дуэли.

Лассаль был смертельно ранен пулей в живот и через три дня после тяжких страданий скончался.

В слякотный февральский день 1863 года в Варшаве вспыхнуло восстание. Маркс и Энгельс с горячим сочувствием отнеслись к повстанцам. Они придавали исключительное значение этому событию и решили выступить от имени Лондонского просветительного общества немецких рабочих с воззванием. Подробно изложить свои взгляды они намеревались в брошюре «Германия и Польша». Маркс готовил политическую часть этого произведения, а Энгельс — военный разбор. Так как Фридрих знал лучше русский язык, то Карл просил его в связи с событиями в Польше следить за тем, что печатает орган русской революционной эмиграции в Лондоне — «Колокол».

Маркс писал в Манчестер:

«...теперь Герцену и К° представляется случай доказать свою революционную честность».

Еще в период подготовки восстания, осенью 1862 года, Герцен уже вел переговоры с представителями польских революционных организаций. Он требовал, чтобы поляки в своей программе оговорили право крестьян на землю и свободу каждого народа решать вопрос своего государственного устройства. «Колокол» напечатал обращение Центрального народного комитета в Варшаве к издателям газет и затем ответ на него.

«Да воздвигнется Польша,— писали Герцен и Огарев,— независимая, искушенная в несчастьях, окрепнувшая в бою; да воздвигнется она бессословная, отбросив средневековые доспехи, без кольчуг и аристократического щита; пусть она явится славянским поюневшим атлетом, подающим одну руку бедному хлопу, а другую равноправному соседу.

Во имя их примите и нашу дружескую руку... мы ее подаем вам, *как русские,* мы любим народ наш, мы веруем в него и его будущность и именно потому подаем вам ее *на дело справедливости и свободы!»*

Герцен постоянно защищал Польшу. Он не раз обращался к русскому войску, призывая его не поднимать оружия против поляков в защиту царского правительства, которое является несчастьем не только Польши, но и России. Герцена не смутило, что в связи с этим вся орава русских либералов отхлынула от «Колокола». Он до конца мужественно отстаивал свободу поляков и бичевал карателей, палачей и вешателей.

«Мы с Польшей, потому что мы за Россию»,— говорил Герцен.

Маркс и Энгельс в это же время напряженно собирали необходимые сведения для предполагаемой брошюры. В подготовительных набросках Карл подробно прослеживал захватническую политику не только царской России, но и Пруссии по отношению к Польше. Работая, Карл забирался в глубь предмета все дальше и дальше. Ради самого незначительного факта или возникшего у него сомнения он мог перерыть десятки книг и проводить в Британском музее без перерыва по десяти часов в день. Никогда ни один противник не мог обличить его в опрометчивости или искажении.

Научная совесть Карла была чрезвычайно сурова. Он не позволял себе говорить о предмете, покуда досконально не изучил его, и не публиковал ничего до тех пор, пока не добивался ясности, точности, наибольшего совершенства формы изложения. Он не выносил на люди незаконченных произведений и, покуда не сверял всего до последней запятой и точки, прятал рукопись от постороннего ока.

«Лучше сжечь свой труд, нежели издать его недоделанным»,— считал он. Добросовестный в мелочах, как и во всем значительном, Маркс обязательно тщательно вписывал в свои книги имена тех, чьими мыслями или цитатами воспользовался.

— Я воздаю каждому по его заслугам,— любил он повторять шутя.

Постоянно неудовлетворенный тем, что сделал, и потому заново отчеканивающий тексты, Карл летом 1863 года решает опять иначе изложить теоретическую часть своего экономического труда в более, как ему казалось, систематизированном виде и приступает к новому варианту. Так, в ходе работы, он постепенно создавал новую рукопись трех томов труда о капитале.

Маркс почти неотрывно проводит дни в тиши читального зала Британского музея либо в своей комнате, где работать, однако, ему труднее. То одна, то другая дочь отрывает его от занятий.

Маркс был кротким отцом и тщетно пытался иногда прибегнуть к отцовской власти.

— Тусси, милочка, сделай одолжение и дай мне дописать эту страницу,— упрашивал он дочь.

— Мавр, не ты ли говорил, что дети должны воспитывать своих родителей? — последовал ответ. — Посмотри, какой беспорядок на камине. Чего только там нет: какие-то свертки бумаг, книги, сигары, табак, пресс-папье и горы спичечных коробок. За всем этим совсем не видны наши фотографии. Ты, наверно, сам не можешь тут разобраться. Помочь тебе расставить все это в порядке?

— О нет. Вещи, что здесь, являются ко мне по первому слову, как по мановению волшебной палочки.

— Да ты колдун! — рассмеялась Тусси.

Старый мавр, старый мавр,
Мавр с пушистой бородой.
Мавр с пушистой бородой,—

запела она испанскую песенку, которой научил ее Энгельс, и, вдруг засвистев в два пальца, как заправский озорник, через окно выскочила в палисадник.

— Вот уж действительно тебе следовало, как всегда говорит об этом наша мама, родиться не девчонкой, а мальчишкой, мой Бэби,— крикнул Маркс вдогонку дочери.

Война Северных и Южных штатов Америки, проходившая с переменным успехом, неудача польского восстания чрезвычайно волновали Маркса. По поручению Просветительного общества немецких рабочих он написал воззвание с призывом собрать средства в пользу участников польского восстания. Маркс подчеркивал в этом документе, что без независимости Польши не может быть независимой и единой Германии. Воззвание, подписанное также Вильгельмом Вольфом, Лесснером, Эккариусом и другими, было издано отдельной листовкой и разослано в разные страны мира.

В 1863 году умерла престарелая Генриетта Маркс, и Карл поехал в Трир для урегулирования вопроса о наследстве. Стояли холодные декабрьские дни. Город утонул в снегу. Маркс был болен карбункулезом и с трудом двигался из-за не зажившей еще раны. Тем не менее он, вопреки уговорам родных, ежедневно выходил из дома и писал об этом в письмах к Женни:

«Каждый день совершаю паломничество к старому дому Вестфаленов (на Римской улице), который интере-

сует меня больше, чем все римские древности,— ведь он напоминает мне о счастливейшей поре юности, в нем же таилось мое самое драгоценное сокровище. Кроме того, со всех сторон меня то и дело спрашивают о quondam[1] «самой красивой девушке Трира» и «царице балов». Чертовски приятно мужу сознавать, что жена его в воображении целого города продолжает жить как «зачарованная принцесса».

На обратном пути из Трира в Лондон Карл заехал в Залтбоммел к дяде и вынужден был задержаться там на два месяца ввиду резкого обострения болезни. Только в конце февраля очутился он наконец снова дома.

Получив небольшое наследство, Маркс решил переменить квартиру, где столько раз находился под угрозой долговой тюрьмы и пережил много горя.

Дом № 1 Модена-вилла, Мейтленд-парк, Хаверсток-хилл, был большой, вместительный, удобный и примыкал к тенистому парку. Рабочая комната Карла помещалась во втором этаже. В широкое окно врывался чистый воздух, напоенный ароматом деревьев и трав. Вдоль стен стояли шкафы, полные книг. До самого потолка лежали на них свертки газет, рукописей и стопки тетрадей в черных клеенчатых переплетах. На камине Карл поставил в рамках под стеклом портреты дорогих ему людей: жены, дочерей, Энгельса и Вольфа. Посреди комнаты стояли простой небольшой стол и деревянное кресло. Напротив окна был кожаный диван. С тех пор как Карл вот уже более года не переставал болеть, он вынужден был в течение дня ложиться, чтобы дать отдых истомленному телу и глазам.

В комнате повсюду лежали табак, трубки, сигары и десятки спичечных коробок.

— Мои книги не вернули мне даже тех денег, которые я прокурил, работая над ними,— посмеивался Маркс.

Ни одна вещь в его комнате не стояла без определенного назначения. Книги в шкафах он расставил отнюдь не в соответствии с их форматом. Брошюра прижималась к тяжелому объемистому фолианту, если это определялось ее содержанием, маленькая книжка подпирала большую.

---

[1] Некогда *(лат.)*.

— Они мои рабы и служат мне так, как я этого хочу.

Память Карла постоянно приходила ему на помощь, когда он искал ту или иную выписку в своих тетрадях или нужную страницу в книге. Он не напрасно изощрял ее всячески с самых юных лет, выучивая, как это делал Гегель, наизусть стихи на незнакомом ему языке. Читая книгу, Карл, чтобы вернуться к чему-либо снова, загибал углы страниц, покрывал поля карандашными пометками и подчеркивал строчки. Его вопросительные и восклицательные знаки бывали красноречивее всяких слов.

В большом светлом кабинете мужа Женни покрыла пол недорогим зеленым ковром, и вскоре на нем от дверей до окна пролегла полоса, узкая, как лесная тропка. Это Карл, который, подобно Аристотелю, часто, прежде чем присесть к рабочему столу, в ходьбе обретал искомые мысли, вытоптал ее, двигаясь по комнате. И, как на Графтон-террес, из соседней гостиной, где стоял теперь хороший рояль, часто в рабочую комнату Карла доносился нежный голос поющей Лауры. Отец широко открывал дверь и слушал. Особенно большое удовольствие доставляли ему песни на слова поэта Бёрнса, которого он очень любил.

Мельник, пыльный мельник,
Мелет нашу рожь.
Он истратил шиллинг,
Заработал грош.

Пыльный, пыльный он насквозь,
Пыльный он и белый,
Целоваться с ним пришлось —
Вся я поседела!

Мельник, пыльный мельник,
Белый от муки.
Носит белый мельник
Пыльные мешки,

Достает из кошелька
Мельник деньги белые.
Я для мельника-дружка
Все, что хочешь, сделаю.

Женни-младшей исполнилось уже двадцать лет; более хрупкая, чем Лаура, она была очень хороша собой. Обе старшие дочери Маркса вступали в жизнь цельными, широкообразованными, самоотверженными людьми. Как их отец и мать, они были чужды эгоизма и всякой фаль-

ши, в чем бы она ни проявлялась. Смысл жизни обе девушки видели в духовном совершенстве, в борьбе за счастье наибольшего числа людей. Вырастая в атмосфере большой любви родителей друг к другу, с детства вплетая в речь мысли и строки Шекспира, Данте, Шелли, Гейне, зачитываясь Бальзаком и Диккенсом, юные девушки мечтали о том времени, когда и в их жизнь войдет таинственное и вечное чувство. Любовь представлялась им, как всем чистым и высоко парящим душам, потрясением, подобным удару молнии, превращающей зыбкий песок в прозрачное стекло.

Карл и Женни внимательно и бережно наблюдали за своими прелестными, ставшими взрослыми дочерьми. А Ленхен, чей меткий и лаконичный язык не раз удивлял всех, кто ее знал, как-то заметила:

— Люди говорят: с малыми детками горе, с подросшими вдвое. А про наших девочек я скажу: чем они старше, тем радости нам больше.

Возле дома Женнихен устроила прекрасную оранжерею. Таким же страстным цветоводом, как и она, был Фридрих Энгельс. Нередко Женнихен посылала ему семена особо редких растений и давала советы, как следует их выращивать. Каждое утро спешила она в свой застекленный чудесный сад, волнуясь и радуясь. И всегда находила что-либо новое. То наконец расцвели долгожданные розовые азалии, то желтые вьющиеся розы, то лиловый гелиотроп. Женнихен склонялась над чашечкой цветка, и ей казалось, что она слышит его дыхание. Она всегда была очень мечтательна и вдохновенно сочиняла сказки.

Однажды Женни-старшая, побывав в оранжерее, вернулась оттуда и сказала мужу с нескрываемым восхищением:

— Девочка создала висячие сады Семирамиды. Это, право, поразительно, Чарли. Туманы и слякоть бессильны перед чарами Женнихен. У нее все в цвету.

Художественное чутье помогло Женнихен на удивительных отвесных клумбах рассадить растения так, что они образовали сложную гамму оттенков от палевого до алого.

— Итак, теперь в нашем доме две Флоры. У тебя появилась сильная, серьезная конкурентка. До сих пор ты одна была богиней цветоводства,— пошутил Карл.

Тысяча восемьсот шестьдесят четвертый год был омрачен для Маркса и Энгельса смертью их любимого друга Вильгельма Вольфа. Люпус умер, не достигнув и пятидесяти пяти лет, от кровоизлияния в мозг. Более месяца до этого страдал он бессонницей и тяжелейшими головными болями. Врачи не знали, чем ему помочь, и путались в определении болезни. Именно тогда, когда решено было, что Вольф болен почками, он потерял сознание, и обнаружилась их ошибка. Энгельс не отходил от ложа больного и сообщил об опасном положении Карлу, который тотчас же приехал в Манчестер. Кончина Люпуса повергла обоих его друзей в глубокую печаль. Карл произнес на могиле Вольфа речь, вылившуюся из любящего сердца. Вместе с Фридрихом он задумал написать биографию покойного и решил посвятить его памяти самое значительное из своих произведений. Когда удрученный Карл вернулся в Лондон, он узнал, что Вольф завещал ему все свое небольшое, скопленное тяжелым трудом состояние.

Маркс смог без помех отдаться работе. Книга о капитале, над которой он работал вот уже двадцать лет, поглотила всю его душу и время. Он считал, что завершение этого главного труда всей его жизни наиболее важно именно для рабочих, нежели что-либо другое им совершенное. Все написанное прежде казалось ему всего только мелочью. Однако до окончания всей работы было еще далеко. Безжалостная придирчивость и нечеловеческая добросовестность непрерывно толкали его к новым исследованиям, аналитическим проверкам, размышлениям. Увещевания Фридриха работать, не возводя столько барьеров и препятствий на своем творческом пути, не возымели никакого действия. Маркс был верен себе. Рукопись росла неимоверно и была далека от намеченной цели. То одна, то другая ее часть подвергались коренной переделке. Работоспособность Карла достигала баснословных размеров. Чтобы написать одно какое-либо теоретическое положение, он перечитывал десятки, а то и сотни книг, отчетов и углублялся в длиннейшие статистические справочники и таблицы. Цифры были для него нередко полны особого магического смысла, и за их простой изгородью он открывал картины целой эпохи в жизни людей или народа во всей неприглядности и

значительности. Маркс творил. Эти периоды всегда были для его души как оазисы в пустыне.

Многолетняя убийственная каждодневная война с нищетой временно кончилась. Но ничто уже не могло вернуть ему потерянного, некогда могучего, здоровья. Сопротивляемость организма была утрачена. Помимо хронической мучительной болезни печени, он часто простуживался и вынужден был лежать в постели. Даже в жаркие летние дни 1864 года его снова как-то свалила изнурительная инфлюэнца. Но и во время болезни, вопреки указаниям врача и просьбам родных, он не переставал читать. Что только не привлекало его пытливый умственный взор! Несмотря на головную боль, озноб, потерю обоняния и вкуса, он зачитывался книгами по физиологии, учением о тканях и клетках, а также анатомией мозговой и нервной системы. Он решил тогда же серьезно заняться этими предметами, начать посещать лекции и анатомический театр. Энгельс в этих вопросах значительно опередил его и к этому времени уже глубоко и разносторонне изучил естествознание.

Когда Карл выздоровел, то часто в перерыве между работой, под вечер, уходил один гулять. Неподалеку от его дома начинались поля. Ранняя осень радовала теплыми тихими вечерами.

Карл отправился в сторону столь любимого им Хэмпстед-хис. Навстречу, подпрыгивая на одной ноге и распевая, появился мальчуган в рваных штанах и ботинках.

— Послушайте, сэр, я уверен, что в кармане у вас есть перочинный ножик. Не хотите ли поменяться вслепую? Мой, будьте уверены, гораздо новее и лучше вашего. Ну что, рискуете или нет? Я готов просчитаться.

Карл нисколько не удивился такому предложению. Он знал детскую игру в менялки. С той же быстротой, как это сделал маленький незнакомец, он достал ножик и с опаской прикрыл его ладонью.

— Раз, два, три, мена состоялась,— важно и хитро заявил мальчишка.

Оба игрока передали друг другу свои ножи. Карл тотчас же обнаружил, как, впрочем, и предполагал, что обманут: в руках у него лежало совершенно ржавое подобие перочинного ножа. Мальчик убежал так стремительно, что Карлу осталось одному весело посмеяться над этим забавным происшествием.

Вернувшись домой, он застал у себя гостей. Французы — чеканщик Толен, машинист Сток, учитель Ле Любе — и несколько незнакомых англичан-рабочих поджидали его в столовой, где Женни и Ленхен хлопотали, радушно угощая их чаем.

— Привет и братство, отец Маркс,— сказали они чинно.

— Очень рад вам, друзья. Что привело вас ко мне?

Толен заговорил первым:

— Мы приехали по приглашению английских тружеников на переговоры с дружески протянутой рукой, чтобы наконец объединиться.

— В добрый час. Давно пора,— ответил Маркс.

— Я Оджер,— сказал один из англичан,— сапожник, председатель местного союза лондонских профсоюзов, и пришел, чтобы пригласить тебя, Маркс, выступить на митинге от имени немецких рабочих. Мы сняли под собрание большой Сент-Мартинс-холл. Помимо войны в Северной Америке и дел в Италии, рабочие — англичане, французы, итальянцы и немцы — имеют много болячек, к которым давно следует совместными усилиями приложить лечебный пластырь. Дальше нам жить так на свете нельзя. Мы знаем тебя, Маркс, и ждем твоего слова.

Карл дал согласие прийти на митинг, однако решил, что с речью в этот раз выступит не он, а портной, коммунист Эккариус.

Двадцать восьмого сентября 1864 года в Сент-Мартинс-холле собрались тысячи рабочих. Огромный светлый зал не смог вместить всех желающих. Духота была удручающая, и у Карла кружилась голова. Он думал, глядя на волнующуюся, охваченную одним вдохновенным добрым порывом толпу, о прошедших долгих годах затишья в борьбе.

«Разные мещанишки, меряющие мировую историю своим локтем и масштабом последних газетных сообщений, могут воображать, что для огромных исторических процессов десятилетие больше, нежели один миг. Они не в силах представить себе и того, что может снова наступить день, в котором сконцентрируется все прошедшее десятилетие».

Подперев голову кулаками, Маркс внимательно слушал Эккариуса. Лицо его просветлело. Портной чуть глуховатым низким голосом толково, увлеченно говорил

о том, как после мирового экономического кризиса обострились отношения между капиталистами и людьми труда. Рабочие защищались стачками. Фабриканты ответили на это ввозом иностранной рабочей силы.

— У нас, пролетариев, одни судьбы и страдания, кто бы мы ни были, к какой бы расе ни принадлежали,— продолжал Эккариус.

Он подошел к краю рампы. Свет круглых газовых ламп осветил худую сутулую фигуру оратора в поношенном костюме, простерщего вперед большие, темные, исколотые руки.

— Во всех европейских странах рабочие стремятся к солидарности в борьбе за свои права.

— И в Америке тоже,— крикнул кто-то из зала.

— В этом наше спасение и сила,— продолжал Эккариус.

— Да здравствует интернациональное соединение! — ответили десятки голосов. — Продолжай, старина, ты говоришь дело.

— Английские рабочие прошли суровую, трудную школу чартизма. Они знают, где зарыта собака. Это они помешали старому ненасытному хищнику Пальмерстону ввязаться в войну на стороне рабовладельцев Юга и напасть с ними на северян, которые не хотят торговать людьми, как скотом, и дают неграм свободу. Борьба за освобождение, где бы она ни велась, вызывает горячий отклик и сочувствие в наших пролетарских сердцах. Слава отважным братьям — польским повстанцам, восемнадцать месяцев боровшимся за свободу. Мир меняет наконец свою шкуру. Французские рабочие вновь начали политическую борьбу. В Германии организовались профессиональные союзы. Участились забастовки. И наш великий, огневой призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — снова звучит над землей.

Полукруглый зал Сент-Мартинс-холла напоминал большой храм. Люди многих национальностей собрались в нем на торжество международного братства. Они ликовали, радовались, пели. Молодой француз Толен, сидевший подле Маркса, сказал ему, восторженно улыбаясь:

— Не правда ли, отец Маркс, сегодня рухнула башня вавилонская? Согласно библейской сказке, люди, построив ее, заговорили на разных языках, сегодня же они снова обрели и поняли друг друга.

— Скажи проще,— вмешался Жан Сток, слышавший эти слова своего земляка,— рабочие объединяются, чтобы расправить спины и не дать буржуазии выжать из них все жизненные соки.

На митинге в Сент-Мартинс-холле было решено создать Международное Товарищество Рабочих. В организационный комитет вошли от немецких тружеников Карл Маркс и Эккариус.

Спустя некоторое время на дому у Карла собралась подкомиссия, чтобы составить Учредительный манифест и временный Устав Международного Товарищества. После долгих обсуждений Марксу было поручено написать их одному.

В письме в американскую действующую армию подполковнику Иосифу Вейдемейеру Маркс писал:

«Недавно созданный международный рабочий Комитет... не лишен значения. Его *английские* члены являются... настоящими рабочими королями Лондона; это те самые люди, которые устроили грандиозную встречу Гарибальди и посредством колоссального митинга в Сент-Джеймс-холле... помешали Пальмерстону начать *войну против Соединенных Штатов*, что он собирался сделать. Французские члены Комитета — незначительные фигуры, но они являются непосредственными представителями ведущих «рабочих» в Париже. Существует также связь с итальянскими обществами... Хотя я в течение ряда лет систематически уклонялся от какого-либо участия во всевозможных «организациях» и т. д., тем не менее на *этот раз* я принял предложение, так как в данном случае имеется в виду такое дело, в котором можно действовать со значительным успехом».

Революционер, каким всегда и прежде всего был Маркс, отдал все силы нелегкому делу укрепления Международного Товарищества Рабочих. Надо было объединить рабочее движение разных стран, весьма разнородных по уровню развития, преодолевая при этом много неожиданных препятствий.

Всего шесть дней писал Маркс временный Устав и большой Учредительный манифест интернационального товарищества рабочих. Заканчивая его, он заклеймил преступный замысел и безумие господствующих классов, готовивших крестовый поход за океан и равнодушно взи-

равших на умерщвление польского восстания. Все это также указывало, гласил Манифест, «...рабочему классу на его обязанность — самому овладеть тайнами международной политики, следить за дипломатической деятельностью своих правительств и в случае необходимости противодействовать ей всеми средствами, имеющимися в его распоряжении; в случае же невозможности предотвратить эту деятельность — объединяться для одновременного разоблачения ее и добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами.

Борьба за такую иностранную политику составляет часть общей борьбы за освобождение рабочего класса.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Так зародился I Интернационал, и Маркс стал его душой.

Человеческий мозг — чудо, которому нет равного в мире. Неисчерпаемый, бездонный, он несет в себе исполинскую силу, создающую все на земле: искусство, науки и ремесла, добро и зло, любовь и жестокость. Он обегает вселенную и пронизывает недра земли. Необъятная, как Галактика, память хранит в себе всю историю человечества.

Мозг — фабрика всех фабрик и книга всех книг. Нет в мире ничего, что не было бы произведено его гением. Человеческий мозг — родина богов, и он же величайший богоборец.

Труд создал мыслящего человека, и ему обязан мозг своим развитием и могуществом, смелостью, с которой он открывает тайны природы.

Тысячелетиями билось человечество над разгадкой того, что же управляет миром, каковы непреложные законы развития общества и есть ли они вообще?

Одним мир казался демоническим хаосом, другим — стройным, неизменным творением божества. И только гениальный мозг Маркса сорвал покров с тайны рождения и развития общества.

1960

СОДЕРЖАНИЕ

ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ

Роман

Книга вторая

Серебрякова Г. И.

С 32 Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. 3. Похищение огня. Роман. Кн. II. М., «Худож. лит.», 1978.

423 с.

Роман «Похищение огня» (книга вторая) рассказывает о наиболее трудном периоде жизни К. Маркса, когда он был вынужден с семьей жить в изгнании в Англии, о революционной борьбе К. Маркса и Ф. Энгельса в годы реакции, многолетней работе К. Маркса над «Капиталом» и создании Первого Интернационала.

С $\frac{70302\text{-}023}{028(01)\text{-}78}$ **подписное** **Р 2**

Галина Иосифовна Серебрякова

Собрание сочинений

том 3

Редактор В. Буланова

Художественный редактор
Д. Ермоленко

Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры Т. Бардина
и Г. Володина

ИБ № 873

Сдано в набор 11.03.77. Подписано в печать 27.11.78. А 01032. Формат 84×108[1]/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 22,26 усл. печ. л. 23,346 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ 1947. Цена 1 р. 80 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.